ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №6 | 2020

Сергей Бастин

Порт

65 × 75

2003

Николай Лой

Полярная станция

56 × 75

1980

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №6 | 2020

В номере

Д*и*Н время

Марина Саввиных
3 Поле битвы—сердца людей

Сергей Шулаков, Николай Бурляев
5 Соткать нить света

Д*и*Н симметрия

Владимир Луговской
7 Тысячи вёрст тумана

Николай Клюев
46 На груди колыбельных полей…

Александр Блок
79 Две надписи на сборнике

Сергей Обрадович
91 Завод

Евгений Замятин
94 Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма

Владимир Нарбут
164 В огне

Юрий Олеша
170 Беатриче

Георгий Шенгели
183 Рыдания сквозь время

Василий Казин
189 Красная песня о кирпичах

Д*и*Н краеведение

Марина Саввиных
8 Боевой командир

Д*и*Н пародия

Евгений Минин
31 В Москве небезопасно…
117 Взирая мутным оком…

Д*и*Н диалог

Юрий Беликов, Геннадий Красников
32 На Марсе—то же, что и на Земле, или Пандемия ничего не меняет

Д*и*Н проза

Александр Астраханцев
47 Проигрыши

Вадим Наговицын
57 Неизлечимая болезнь

Д*и*Н стихи

Михаил Попов
77 Воля тёплая Господня

Андрей Шацков
80 Звезда декабриста

Ирина Каренина
84 Песенки мёртвой стрекозы

Михаил Свищёв
88 По ту сторону порога

Ольга Козэль
90 Оттепель

Тамара Сальникова
92 Крещена полынью и крапивой…

Дмитрий Филиппенко
149 На границе счастья и разлуки

Аркадий Гонтовский
154 Фонарь над бездной

Алёна Бабанская
165 Мотыльковое

Алексей Чернец
168 Чтоб вечно стоять на Угре…

Алексей Зябкин
171 Пело в руках ремесло

Александр Рудыка
174 Отрог

Геннадий Рязанцев-Седогин
176 Вне времени

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Гурам Сванидзе
95 Zoo

Д*и*Н ПЕРЕВОД

Зорица Кубурович
103 Ласточки

Д*и*Н АРТЕФАКТ

Рассказы Наримана Ибрагимова, записанные Андреем Тарасовым
107 Встречайтесь у фонтана

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Владимир Селянинов
118 Симона Сермяжная

Виталий Пырх
127 Сюрчиха

Геннадий Соловьёв
136 Пьянству бой!

Игорь Креймер
148 Святой

Ольга Штыгашева
150 Дядя Лёша—Дед Мороз

Андрей Растворцев
155 Тринадцатое полнолуние

Евгений Шестов
159 Стеклянные блики

Д*и*Н РЕВЮ

Игорь Прососов
126 Свободные

Д*и*Н ФАРС

Вера Арямнова
179 Пёс

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вячеслав Лютый
181 «У берега вода чиста и холодна…»

Елена Крюкова
184 Книга живых

Д*и*Н ВЗГЛЯД

Дмитрий Косяков
187 «Золушка» и философия восемнадцатого века

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

190 Остановись, мгновенье!
193 По волнам нашей памяти

194 Д*и*Н АВТОРЫ

Д*и*Н ГАЛЕРЕЯ

Репродукции картин любезно предоставлены *«Арт-галереей Романовых»* (Красноярск). Эта частная галерея не только экспонирует произведения искусства, в ней имеется художественный салон, где можно купить понравившиеся работы.

г. Красноярск, ул. Вавилова, 27а;
тел.: 8 (391) 240-61-32, 8 (391) 273-48-48

Часы работы: с 11 до 19.
Выходной: понедельник.

art-rom-gallery.ru

Марина Саввиных

Поле битвы — сердца людей

I.

Одно из самых сильных впечатлений моего детского чтения — финал гоголевской «Страшной мести». Помните? Великий грешник, на совести которого не осталось доброго места, да и совести самой не осталось, бежит по земле, пытаясь скрыться от Божьего суда. Но водит его Господь кругами, и не может грешник достигнуть намеченной цели.

«Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конём своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить её в Чёрном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал отчего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы… а конь все нёсся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник… Он силится остановиться, крепко натягивает удила; дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что всё в нём замерло, что недвижный всадник шевелится и разом открыл свои очи; увидел нёсшегося к нему колдуна и засмеялся. <…> Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. <…> Ворочал он по сторонам мёртвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпат, как две капли воды схожих лицом на него. Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Ещё раз засмеялся рыцарь и кинул её в пропасть».

Перечитываю сегодня эти строки, и сердце сжимается ужасом узнавания. Большой художник — всегда пророк. Он принадлежит всем временам. Ведь «времена — одновременны», события — изоморфны. Изменчивы только оболочки вещей, сущность — не меняется.

Разве не полонил душу старой Европы страшный Колдун? Не заставил пресмыкаться перед нечистью за жалкий кусок отравленного хлеба? Не извратил до полной противоположности все её духовные сокровища, достижения, подвиги и надежды? Не надругался над её тысячелетней мудростью? Да и не тянет ли Чудовище мерзкие лапы свои к горлу Руси — наследницы гиперборейского духа? Так же, как и у гоголевского великого грешника, нет у Чудовища ни совести, ни милосердия — ничего человеческого, тем более — страха Божия и стыда Божия. И всё идёт к тому, что мир окончательно падёт перед ним на колени.

Но мы знаем: могучий Витязь уже открыл глаза и призывает верных своих к духовной битве.

Рать подымается неисчислимая,
Сила в ней скажется — несокрушимая.

И пока мы живы, пока можем передавать детям и внукам частицы вечного огня, Чудовищу придётся преодолевать наше сопротивление. Там, где мы стоим заставой, *оно не пройдёт!*

Такой видится мне символика, на которой зиждется многолетний труд основателей и продолжателей Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь».

II.

Девиз Форума — «Любовью и единением спасёмся». Сейчас, когда глобалистские поползновения транснациональных структур парадоксальным образом ввергают человечество в раздробленность почище средневековой, призыв к всеславянской соборности звучит подобно набату. Русский язык, на котором создаётся самое живое и человечное искусство, становится и крепостью, и знаменем, и оружием. Форум «Золотой Витязь», объединяя деятелей кино и театра, музыкантов, художников и писателей, объединяет и братские народы.

Кажется, кто только не иронизировал над евтушенковским «Поэт в России — больше, чем поэт», а ведь так и есть: если не больше, чем поэт, то — меньше, чем человек. Быть человеком нынче — задача не из лёгких. А уж «поэтов»-то и «писателей», с готовностью перебежавших на путь Колдуна и радостно подвизающихся на нём, расплодилось на белом свете превеликое множество. «Золотой Витязь» активно и отчётливо очерчивает поле

противостояния этому злу. Усилия организаторов Форума в этом направлении серьёзно поддерживает Русская православная церковь. Однако это не значит, что участники Форума отдают должное исключительно православной тематике. Они очень разные, и объединяет их искреннее стремление к истине, добру и красоте.

Николай Петрович Бурляев — президент МСФ «Золотой Витязь», приветствуя участников XI литературного форума, 15 октября 2020 года состоявшегося в Москве, подчеркнул: «Наш литературный форум родился в 2010-м году под духовным покровительством великой русской души, выдающегося писателя Валентина Григорьевича Распутина, остро осознававшего необходимость единения позитивных сил литераторов славянского мира. Время насильственного „разбрасывания камней“, внедрения в сознание народа вседозволенной, пошлой „рыночной“ литературы пора преодолеть».

Литературный форум обычно собирался в Пятигорске, в лермонтовских местах. А нынче — прошёл в Москве, в обстановке, приближенной к фронтовой. Ничего не поделаешь — гадкая зараза не оставила организаторам выбора: либо провести Форум в «щадящем» режиме, либо не проводить совсем. И праздник состоялся! 15 октября в Издательском совете РПЦ прошёл круглый стол, посвящённый проблемам современной русской литературы, — с участниками Форума и представителями РПЦ. Митрополит Климент, архиепископ Калужский и Боровский, обратился к собравшимся с речью, в которой обозначил основные «болевые точки» современного искусства и показал возможные пути выхода из ситуации, подчас совсем плачевной, особенно когда она, ситуация, отзывается самым разрушительным образом на воспитании подрастающего поколения, на семьях, на школе. Выступающие говорили о своей работе, о трудностях, проблемах и достижениях.

А вечером в Доме кино лауреаты и дипломанты «Золотого Витязя-2020» получили заслуженные награды. Обо всех, конечно, рассказать не смогу — «Золотой Витязь» щедр и многогранен. Остановлюсь на том, что особенно задело внимание. Золотые медали им. А. С. Пушкина вручены поэту Владимиру Кострову, писателю Альберту Лиханову и сербской писательнице Лиляне Хабьянович-Джурович (она не смогла приехать, но награда отправится к ней с заслуживающей доверия оказией). Для того, чтобы чувствовать живую связь времён, честное слово, иногда достаточно посмотреть на таких подвижников, как Владимир Андреевич и Альберт Анатольевич. Посмотреть на них и послушать. Моё поколение росло на их книгах — стихах и прозе. Мы сами уже бабушки и дедушки, но наши старшие — как прежде, «на коне». И сила духа, и память, и стать…

Особый приз Форума получили книгоиздатель Аркадий Елфимов и журналист Анна Шафран — люди, хорошо известные в литературных — и не только! — кругах.

Среди награждённых — много авторов журнала «День и ночь», что очень радует: не зря трудимся! Альбина Гумерова, Сати Овакимян, Виктория Чембарцева, Вера Зубарева, Элка Няголова, Сергей Шулаков, Арсений Замостьянов, Александр Торопцев, Нина Ищенко…

Дипломы присуждены красноярцам Дмитрию Косякову и Владимиру Нестеренко. Труды праведные вашей покорной слуги тоже были отмечены высокой наградой. Золотым дипломом в ряду других уважаемых изданий державно-патриотической направленности награждён литературный журнал для семейного чтения «День и ночь».

«Золотые витязи-2020» — у поэта Олеси Николаевой, прозаиков Михаила Попова, Евгения Шишкина и Александра Торопцева, православного публициста епископа Балашихинского Николая (Погребняка), историка Виктора Захарченко, переводчика Алехандро Гонсалеса из Буэнос-Айреса и сценариста Владимира Малягина.

III.

В заключение — несколько строк, совсем личных… Николай Петрович Бурляев — кто ж не знает его блестящие актёрские работы?! — изумительный человек. Во-первых, в нём всё — от костюма до выражения лица в разные моменты действия — проникнуто абсолютно естественным аристократизмом — в том не имеющем отношения к сословным глупостям смысле слова, который предполагает в человеке благородные намерения и поступки — от природы и в результате пожизненной работы над собой. Вдуматься только, сколько сил отдано — бескорыстно! — делу, которое до сих пор кое-кто считает безнадёжным. Но когда видишь, как много способен сделать человек, отважно вкладывая силы в дела по Божьему промыслу, не только надежда оживает в сердце, но и уверенность появляется: победа будет за нами!

И отдельная песня — в честь члена редколлегии «ДиН» Александра Владимировича Орлова. В этом году он стал директором литературного Форума — в такое-то время, когда никто не знал до последней недели перед «слётом», состоится оный или нет. Слёт состоялся и прошёл фактически без сучка, без задоринки, если не считать каких-то совсем уже мелочей, без которых не обходится ни одно, даже самое «высокопоставленное», мероприятие.

Так что — низкий поклон вам, добрые люди, за то, что призываете к духовной брани честных, смелых и чистых сердцем. Может быть, не всегда мы такие, но стремимся к этому. А это уже много!

15–18 октября 2020 г.

Сергей Шулаков, Николай Бурляев

Соткать нить света

Форум «Золотой Витязь», с 2014 года осуществляющийся на основе указа президента России «Об утверждении Основ государственной культурной политики», перешагнул десятилетие своей деятельности.

Николай Петрович Бурляев — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель и общественный деятель, народный артист России, лауреат многочисленных премий, основатель и президент Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь», член Патриаршего совета по культуре, первый заместитель председателя Общественного совета при Министерстве культуры РФ. В этом году Международный славянский литературный форум, как часть форума искусств, проходит в одиннадцатый раз.

— Николай Петрович, вся ваша кинематографическая жизнь связана с литературой: вы участвовали в экранизациях классики, среди которых «Маленькие трагедии», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Несколько дней из жизни Обломова», «Игрок», «Мастер и Маргарита», «Иваново детство», «Отпуск в сентябре». Вы работали над картинами, раскрывающими значение авторов первого ряда русской и мировой культуры: «Лермонтов», «Любовь и правда Фёдора Тютчева», «Гоголь. Ближайший». И всё же два ваших специальных образования — это актёрское и режиссёрское. Как родилась идея литературного вектора форума «Золотой Витязь»? Только ли из-за вашего понимания роли и места русской классической литературы в мировой культуре?

— В силу своей режиссёрской профессии, предполагающей обращение ко всем видам искусства, внимание к литературе для меня всегда было основополагающим. Если быть актёром я не стремился, хотя я много снимался как актёр, но самым сокровенным моим творческим устремлением было желание заниматься литературой, его я ощутил лет так в шестнадцать. А позже к этому подвигла и очевидная деградация нашего общества в отношении к Слову. Гоголь писал: «Сейчас идёт бой, самый главный бой — бой за душу человека». И когда пришла зрелость, для меня стало очевидным, что поле боя за русскую литературу сегодня, быть может, окажется самым важным. Одиннадцать лет назад я предложил Валентину Распутину организовать Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь». Вместе мы начали создавать его, затем непрерывно развивали, и наше соратничество длилось вплоть до ухода Валентина Григорьевича.

— Вы автор нескольких книг, отмеченных на литературных конкурсах: Горьковская премия, номинация на Патриаршую литературную премию, в прошлом году вы стали лауреатом премии имени М. Ю. Лермонтова. Вы что-нибудь пишете сейчас, хватает ли времени на литературное творчество? Когда мы можем ожидать выхода ваших новых книг?

— Пишу непрестанно. В этот год, благодаря «домашнему аресту» из-за пресловутой пандемии, осуществил свою «Болдинскую весну»: написал пять повестей и литературный сценарий нового художественного фильма. Готовлю к изданию многотомник, призванный обобщить всё, что удалось написать за полвека: литературные сценарии, повести, поэзию, публицистику, воспоминания о моих великих друзьях-соратниках, вошедших в пантеон русской культуры двадцатого века.

— В длинном и коротком списках литературного форума «Золотой Витязь» этого года сравнительно много авторов нового поколения, тридцати пяти — пятидесятилетних: Альбина Гумерова, Наталья Мелёхина, Дмитрий Ермаков, Нина Ищенко, Александр Тихонов, Виктория Чембарцева… Как, на ваш взгляд, за время своей работы форум повлиял на творчество уже хорошо известных или начинающих российских авторов, какое влияние оказал на формирование актуальных и востребованных обществом течений современного литературного процесса?

— Об этом не мне судить. Однако, по мнению сотен лауреатов литературного «Золотого Витязя», наш форум стал одним из интереснейших и самых престижных для современного литературного процесса смотров. Произошло это благодаря тому, что девиз «Золотого Витязя» — «За нравственные идеалы, за возвышение души человека» — стал мощным магнитом для позитивных литературных

сил славянского мира, не желающих предавать дар, вручённый им Господом, предавать читателей, искренне верящих в высокие идеалы и их жизнеспособность. Лермонтов писал: «Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно…» Литературный «Золотой Витязь» пытается нести Правду и находит всё больший отклик в сердцах литераторов и читателей.

— С другой стороны, на форум представляют свои произведения и уже состоявшиеся поэты и писатели: Олеся Николаева, Надежда Кондакова, Михаил Попов, Евгений Шишкин и другие. Как вам кажется, в чём для них, имеющих приличные тиражи, свою аудиторию, заключается привлекательность участия в форуме?

— Полагаю, именно в том, о чём я уже сказал. Поле литературного «Золотого Витязя» духовно и экологически чисто, и это не может не притягивать и не вселять веру в то, что, лишь соединив силы Добра и Правды, можно сохранить себя, свою душу и помочь искушаемому миру. Недаром многие мудрые люди, жившие прежде и живущие ныне, говорили и говорят о том, что спасение России есть спасение мира. Гибель России — гибель мира. Мы обязаны оправдать их надежды.

— На этот раз в довольно большом количестве на форум подали свои работы представители православного духовенства. Свидетельствует ли это, что наша литература возвращается на путь, на который её огромными усилиями ставил Гоголь, — путь Православия, искусства как религии, служения Богу?

— Литература должна возвышать и гармонизировать душу, театр должен быть храмом, квадрат экрана кино и телевидения — иконой, помогающей душе в стремлении в Горний Мир, в постижении Бога и себя. Как говорил философ, всё нужно мерить мерою Христа и не бояться остаться в одиночестве.

— Но должна ли литература быть именно такой? Плохо ли, если бы, по выражению Константина Мочульского, без Гоголя в русской литературе «воцарился бы вечный Майков»?

— А без Валентина Распутина, Василия Шукшина, Василия Белова, Николая Рубцова — воцарились бы вечные Быков, Шнур и «Чёрные квадраты». Истинное искусство всегда опиралось на божественное начало. Священное Писание говорит о том, что пусть хоть до небес возрастёт их величие, но как прах оно рассеется, и не останется о нём следа… В истории мировой литературы остались Пушкин, Лермонтов, Достоевский и другие великие творцы Слова, а вся эпатажная шелуха развеялась как дым.

— Николай Петрович, литературный форум «Золотой Витязь» приносит и практические результаты, не так ли?

— На юбилейный десятый форум, прошедший в прошлом году, приехали поэты и писатели из Сербии, их опекала доктор исторических наук, руководитель Центра изучения современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, часто выступающая по телевидению, балканист Елена Гуськова. После форума в российских федеральных СМИ появились статьи о книгах наших сербских друзей. Многие толстые литературные журналы, особенно в провинции, которые, как известно, исторически являются для русских людей и мерилом эстетических воззрений, источником информации и даже порой адвокатом, держат свои тиражи, публикуя произведения, прошедшие отбор форума «Золотой Витязь». Эксперты и политики много рассуждают о желательности формирования современной национальной культуры не в электронном виде, не на серверах заморских «партнёров», а в традиционной, испытанной столетиями сфере литературных журналов, в издательском деле. «Золотой Витязь» реализует эти идеи практически: произведения лауреатов форума можно найти, открыть и прочитать, вдохновиться благодаря этим текстам на реальные поступки.

— Мы не должны забывать и о внешних обстоятельствах. Какие изменения претерпела организация очередного Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» в условиях, не сглазить бы, затухающей, но ещё не побеждённой пандемии?

— Из-за настойчивых рекомендаций разного рода специалистов в этом году мы не смогли провести литературный форум «Золотой Витязь» в лермонтовском Пятигорске, где он проходил уже несколько лет. Но благодаря неравнодушию моих друзей одиннадцатый Международный славянский литературный форум пройдёт в Москве пятнадцатого октября, в день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы рассадим гостей в зале в соответствии с неукоснительными пожеланиями служб, что призваны заботиться о нашем физическом, телесном здоровье, обеспечим средствами индивидуальной защиты. Однако Псалтирь говорит: «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж».

— Какие организации, в сложных условиях объявленной пандемии нашедшие возможность поддержать проведение форума «Золотой Витязь», вам хотелось бы особо отметить?

— Прежде всего, лично главу Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалина),

руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Вадимовича Сеславинского, председателя Союза кинематографистов России Никиту Сергеевича Михалкова, Литературный фонд «Дорога жизни», директора Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», поэта, прозаика, историка Александра Владимировича Орлова. Помогли предприниматели братья Васильчуки и президент «Волгатрансстроя» Вячеслав Сонин. За что я безмерно всем им благодарен. Мне очень бы хотелось, чтобы государственные ведомства, нацеленные президентом страны на укрепление традиционных ценностей, более весомо поддерживали флагман русской культуры «Золотой Витязь», ставший инициатором появления указа президента «Об Основах государственной культурной политики», направленного на укрепление традиционных опор государства, собирание основ, традиций, векторов современного развития нашей культуры для передачи грядущим поколениям.

— Трудно представить, чтобы вы не задумывались о будущем форума «Золотой Витязь». Каким вы видите форум в две тысячи двадцать первом году?

— Никогда не занимался отвлечёнными предположениями, каким будет очередной форум, просто работал. Неустанно ткал нить света и контуры будущих фестивалей, несмотря на порой противодействие и подножки, веруя более всего в помощь Божию и Победу. Русская пословица гласит: к смерти готовься, а рожь сей. Шукшин довольно часто повторял старинное русское самоироничное присловье: «Не жили хорошо—нечего и привыкать». Вместо «нечего» Василий Макарович употреблял не бранное, но крепкое словечко. Однако это не значит, что мы опустим руки и будем отвыкать от достойной жизни, подразумевая очень важный для русского человека смысл, который Шукшин сформулировал уже сам и всерьёз: «Не стыдно быть бедным, стыдно быть дешёвым!»

Д*и*Н симметрия

Владимир Луговской

Тысячи вёрст тумана

Прогульщик

Грузная, бумажная работа.
Осень на Пречистенском бульваре.
Водка в ошалелой голове.

Тянется дощатыми руками
Зданий вырастающее тело.
Камень опускается на камень,
Рявкает по жести молоток.

Мостовую выела проказа,
С куполов облезла позолота.
К золотому пыльному Кавказу
Рыбами уходят облака.

Мне же нестерпимо надоели
Каждая строка и каждый образ
Потому, что я к концу недели
Становлюсь измученным и добрым.

А стихи рождаются от злости,
А Москва—большая богадельня,
Где, скрипя, донашивает кости
Призрачный народ редакторов.

● ● ●

Надевай свою куртку кожаную,
За пояс синий наган.
С ветром летним встревоженное
Дыханье встающих стран.

Ветер сабельный, бешеный.
В лесах кровяной листопад.
На западе, тучей завешенный,
Мутный военный закат.

Счастье, тобой вечно славимое,
Рожками поёт с перрона.
Чёрные, вихрем взметаемые,
Знамёна ползут в вагоны.

Впереди—небо, ветром исхоженное,
Тысячи вёрст тумана.
А тебе только куртка кожаная,
Только синий холод нагана.

1920

Марина Саввиных

Боевой командир

Главы из книги «Горизонты Рожкова»[1]

1. На запад!

В начале октября 1941 года в маленькую комнату бывшей назаровской сберкассы, отведённую под кабинет командира 942-го артиллерийского полка, вошёл прекрасно одетый молодой человек в модном длинном пальто и широкополой велюровой шляпе. Майор Фомин, командир полка, поднял голову от бумаг, бросил на вошедшего испытующий взгляд, и лицо его сразу стало строгим, даже суровым… Идёт война с таким серьёзным противником, какого Рабоче-крестьянская Красная армия ещё не встречала. Алексей Григорьевич Фомин уже испытал на себе его силу. Командиром гаубичного артиллерийского полка он прошёл с боями от западных границ Союза до Днепра. Он видел и пережил такое, что ясно понимал: лёгкой и быстрой победы не будет. Стране надо собрать все силы в мощный кулак. Как можно быстрее. Размышлять и раскачиваться некогда. В Красноярске срочно комплектуется новая стрелковая дивизия. Срок—два с половиной месяца. Фомин—командир создающегося в её составе полка. Ему нужны не просто добросовестные исполнители, а—без преувеличения—работяги и подвижники! И что же? Кого прислали? Какого-то «денди лондонского»! Фомин не знал тогда, что с этим «денди» его свяжут годы настоящей офицерской дружбы. По направлению штаба 374-й стрелковой дивизии к месту службы—на должность помощника начальника штаба—прибыл Павел Рожков.

«Всё надо было создать „на чистом месте“,—пишет Павел Иванович в своих записках.—Штабных офицеров, да и просто кадровых военных почти не было. Поэтому я должен был приступить к работе без промедления. Майор Фомин разрешил мне уделить несколько часов устройству личных дел. Поменяв гражданскую одежду на военное обмундирование, побывав в отведённой мне комнате в домике местного колхозника, я снова вернулся в штаб.

В этот же первый для меня военный день вместе с командиром полка засиделись в штабе до глубокой ночи. Нужно было изучить работу штабов артиллерийского полка военного времени, заполнить штатные списки личного состава дивизионов, батарей, взводов и орудий. А вновь прибывших на комплектование солдат и офицеров распределить, после короткого знакомства с ними, по подразделениям… Алексей Григорьевич, несмотря на короткое время работы в полку, хорошо знал людей. Всё, что он делал, было солидно, внушительно. Сам он работал быстро и аккуратно, изредка посматривая на меня, проверял ту работу, которую я выполнял. Мне хотелось, чтобы моя работа ему понравилась, и, как бы проверяя сделанное, я изредка также посматривал на лицо своего боевого командира. Свою задачу Фомин представлял очень отчётливо и хотел, чтобы и мы все знали и понимали её до конца и правильно».

Алексею Григорьевичу Фомину было тогда тридцать пять. Большая красивая темноволосая голова, ранняя седина на висках, умный проницательный взгляд… Они были почти ровесники с Рожковым, но Павел безоговорочно принял его авторитет. Спустя годы он старательно воспроизводит в дневнике вехи жизненного пути своего наставника-друга: «Красноярец А. Г. Фомин прибыл на родную землю, к своим землякам, чтобы быстро научить их сложному артиллерийскому искусству, научить воевать с грозными, хорошо вооружёнными солдатами фашистской Германии. Город Красноярск, обширный Красноярский край, красноярцы-сибиряки были хорошо известны Алексею Григорьевичу. Он родился 25 февраля 1905 года в Красноярске, в семье деповского рабочего. Алексей с большим успехом закончил среднюю школу в г. Красноярске, пошёл по стопам отца, пройдя обучение слесарному делу, влился в замечательный отряд красноярских деповских рабочих, известных своей революционностью. Путь передового рабочего-комсомольца по призыву партии получил новый крутой поворот. Алексей по направлению комсомола поступил в Томское артиллерийское училище, известное

1. *Марина Саввиных.* Горизонты Рожкова. Документальная повесть о судьбе металлурга.—Красноярск: «Платина», 2008.

в стране хорошей подготовкой замечательных командиров-артиллеристов. Когда я был студентом Томского государственного университета (ТГУ) в 1929–1931 гг., то со студентами, моими товарищами по учёбе, не раз бывал в подшефном артиллерийском училище. Хорошее оснащение военного училища современными наглядными учебными пособиями, строгий порядок, высокая культура были прочной традицией, которая давала курсантам возможность под руководством всесторонне образованных офицеров-преподавателей готовить из себя боевых артиллерийских командиров. По окончании училища Фомин стал профессиональным военным и к началу Великой Отечественной войны был кадровым офицером высокой квалификации. Военному делу, непрерывной долголетней службе в Советской армии, благородному служению социалистической родине красноярец Алексей Фомин посвятил многие годы своей жизни».

Осенью сорок первого в 347-ю стрелковую дивизию по мобилизации и добровольцами шли сибиряки-красноярцы разных возрастов и профессий. Прибывали горожане и колхозники, жители степного юга и далёкой тундры. Военных навыков большинство из них не имело. Павел Иванович пишет:

«Нам предстояло не только укомплектовать, но и обучить, сплотить и сделать боеспособными полк и каждого солдата, вновь прибывающего с пополнением. С первого дня работы в штабе под руководством Фомина я с головой ушёл в полковые и прежде всего штабные дела: надо было доводить до конца комплектование подразделений, сколачивание и обучение штаба, штабов дивизионов и служб полка. Работы было так много, вся работа настолько срочная, что мы, офицеры штаба и командование полка, свободного времени совсем не имели.

Сам Фомин был загружен ещё больше. Он постоянно держал связь с командованием дивизии, местными партийными, советскими и хозяйственными организациями, бывал в подразделениях. Нам надлежало выполнить огромную практическую работу и одновременно изучить сложное, многообразное военное дело, и прежде всего артиллерию. Необходимо было перестроить себя, свою психологию. Надо было из мирных советских тружеников воспитать военных, боевых солдат и офицеров, которые, при всей своей сердечной доброте и традиционной русской гуманности, могли бы бесстрашно сражаться с кровожадным, наглым интервентом, фашистским завоевателем».

Современному читателю, наверное, нелегко представить себе, что такое советский артиллерийский полк к началу Второй мировой войны. Орудия — пушки и гаубицы — в основном передвигались с места на место на «конной тяге». Следовательно, артиллеристы, помимо точного наведения орудий и меткой стрельбы, должны были как минимум знать, «с какой стороны к лошади подойти». Очень быстро выяснилось, что большинство офицеров «конную тягу» видели только издали. Да и лошади, поступавшие в полк из местных колхозов и совхозов, а то и — прямо табунами — из Хакасии, военной службы не знали. Их никогда не приучали ни к строю, ни к верховой езде, ни тем более к жёстким условиям артиллерийской службы. Так что работа, которую комсостав полка должен был выполнить за месяц, по объёму соответствовала бы не одному году. Если бы не война, которая уже перевернула и большевистские представления о времени.

«В Назарово, — продолжает Павел Иванович, — к 1941 году не было крупных промышленных предприятий. Все строения были небольшие, деревянные, для размещения личного состава использовались любые мало-мальски пригодные помещения, плохо оборудованные, с печным отоплением. Для учебных целей совсем не было места, учебных пособий было так мало, что на пользование ими, уставами и наставлениями командиры составляли почасовые графики работы. Размещение многочисленного конского состава представляло немало затруднений, типовых конюшен не было и в помине. Для содержания лошадей использовались старые сараи примитивного кирпичного завода. Сбруй, уздечек для лошадей было так мало, что часть лошадей содержали табунами; артиллерийской амуниции не было совсем. На каждую батарею приходилось по несколько саней и кошёвок с обыкновенной колхозной, деревенской сбруей. Большинство офицерского состава с лошадьми было плохо знакомо, а многие до этого к лошадям близко не подходили. А надо было сделать так, чтобы взводы, батареи, дивизионы были чётко организованы, чтобы люди — солдаты и офицеры — стали монолитной, слаженной, подвижной и легко управляемой боеспособной организацией. Чтобы пушки и гаубицы, которых ещё к тому времени в полку не было, стали грозным оружием».

По направлениям военкоматов в полк ежедневно прибывали новые люди. Их нужно было встретить, распределить по подразделениям, включить в поток новой, непривычной для них военной жизни, приучить к строгой дисциплине, обучить специальностям наводчика, связиста, топографа. Не говоря уже об управлении лошадьми. Фомин учил и воспитывал личный состав полка прежде всего собственным примером.

«Всем хотелось быть такими же, как Фомин. Однажды при проведении занятий по верховой езде обнаружилось, что многие офицеры не умеют ездить на лошадях, не справляются с управлением. Лошадь везёт офицера куда захочет... Закончив занятия на плацу, многие убедились, что пока из них

кавалеристов не получается. И приуныли. Алексей Григорьевич, чтобы подбодрить своих офицеров, выбрал самую непокорную, необученную лошадь, вывел её перед строем и стал показывать и рассказывать, как надо обращаться со строевым конём. Показ верховой езды нас оживил и ободрил. Лошадь под руководством нового наездника преобразилась, подтянулась, стала стройной и охотно выполняла приказания седока. Лошадь и всадник словно стали одним целым, слились воедино. Лошадь стала резвой, движения её — строгими и красивыми. Она почувствовала, что ею управляет сильный, ловкий и умелый человек. После этих занятий интерес к коню, к верховой езде охватил всех офицеров. Обучение людей и лошадей пошло живее, успешнее. Многие офицеры восхищались Фоминым. Он оказался способным зажечь интерес к каждому делу. Появилась уверенность в том, что конно-артиллерийские батареи, а значит, и весь полк, будут иметь хорошо обученные и съезженные орудийные упряжки. Через несколько месяцев, уже будучи на фронте, наши артиллерийские лошади работали слаженно и позволяли выполнять ответственные боевые задания. Движущаяся колонна конной артиллерии вызывала восхищение. Жители городов и деревень прифронтовой полосы с гордостью смотрели на красивые дружные упряжки, составленные из сибирских лошадей»[2].

В ноябре формирование полка — «по штату военного времени» — было закончено. Солдаты и сержанты были за два месяца подготовлены из вчерашних рабочих и колхозников Красноярского края. Офицеры — или кадровые военные, уже успевшие повоевать и выписавшиеся из госпиталей, или призванные с мест своей мирной службы инженеры, техники, строители, учителя. Да «конная тяга» — полудикие степные лошади, наскоро объезженные в Назарово на учебном плацу. И на всё про всё — семь пистолетов ТТ, сохранившихся у прибывших из госпиталей офицеров, тринадцать винтовок, два телефонных аппарата и к ним полтора километра телефонного провода. А если к этому добавить, что настоящих артиллерийских орудий и приборов в полку до приезда на фронт и в глаза не видели (не было даже учебных плакатов!), то сам факт отправки его в самое пекло войны кажется невероятным. Но это — факт. Он подтверждён дневниковыми записями Рожкова.

В конце октября в 942-й артполк с проверкой приехал тогдашний командующий Сибирским военным округом генерал-лейтенант Медведев. Прибывшие с ним офицеры проверяли всё — от работы штаба до хозяйственной части. Инспекторы сделали вывод: пора на фронт! И назначили дату отъезда. Уже третьего ноября командир дивизии полковник А. Д. Витошкин потребовал от Фомина доклад о работе в полку по выполнению инспекторских замечаний. Фомин с отчётом отправил в Красноярск Рожкова. Так у Павла появилась возможность перед отъездом на фронт повидаться с семьёй. Поручение Фомина он выполнил (обратив попутно внимание на личные и профессиональные качества полковника А. Банифатьева, который принял его с докладом) и седьмое ноября, день двадцать четвёртой годовщины Октябрьской революции (праздник, народом искренне любимый и всегда с энтузиазмом отмечаемый), провёл у родителей. «Настроение у них было тревожное, — записывает он позже в дневнике. — Отец знал войну. Он был на фронте в Первую мировую».

Попрощавшись с родителями, сёстрами, родными и близкими и вернувшись в Назарово, Павел снова с головой ушёл в организационную работу. Наконец семнадцатого ноября на станции Ададым началась погрузка первого эшелона полка. Полк отправлялся тремя эшелонами. В каждом — по дивизиону. Штаб, штабная батарея и все полковые службы уезжали последними.

«Командир полка майор А. Г. Фомин, начальник штаба капитан К. И. Тихомиров и все офицеры штаба, торжественно попрощавшись с личным составом первых эшелонов, пожелали им счастливого пути, напутствовали деловыми советами. Наконец и наш эшелон тронулся. Исчезают последние строения станции и посёлка Ададым. Все воинские эшелоны шли с большой скоростью. Редкие кратковременные остановки были предназначены для смены паровозной и поездной бригад и для заправки паровоза топливом и водой. После двух суток пути на большой станции, где имелись специальные платформы, удобные для вывода лошадей из вагонов (в каждом вагоне везли восемь лошадей), наш эшелон поставили в тупик. Лошадей вывели из вагонов на привокзальную площадь, и солдаты начали энергично гонять их прямо небольшими табунами. Уставшие от долгого стояния в вагоне, лошади сначала двигались медленно, но постепенно их мышцы освобождались, размягчались, бег наших лошадок ускорялся. Такой тренаж в течение двух часов оживил животных, которые за время пути начали уже болеть и падать. Лошадей завели в вагоны. И снова в путь. С тем же временны́м графиком. На запад!»[3]

В конце ноября эшелон прибыл на станцию Молочная, что под Вологдой. Здесь была уже настоящая зима. Стояли крепкие морозы. По заледенелым полям гулял пронзительный ветер. Почти без отдыха, с ходу, замерзая и отогреваясь на ночёвках в деревнях у русских печек, 942-й артполк вместе

2. Из записок П. И. Рожкова.

3. Из записок П. И. Рожкова.

с подразделениями своей дивизии совершил шестисоткилометровый марш-бросок до Череповца. Колонны артиллеристов Фомина пешим порядком двигались по заснеженной дороге, а в небе над ними барражировал фашистский самолёт. И сбрасывал вместо бомб разноцветные листовки: «Сибиряки, мы с вами не воюем!», «Сибиряки, мы дойдём только до Урала!». Были тут и карикатуры на Сталина, и просто ругательства и угрозы. «Сначала нам было страшно,— вспоминает Павел Иванович,— но потом мы почувствовали даже какую-то безопасность. Хорошо, что не бомбит, не обстреливает из пулемёта! Листовки призывали советских солдат брать эти бумажки и с ними сдаваться в плен. Всем обещали сохранить жизнь, сулили всевозможные блага и богатство. К чести сибиряков, листовки они сразу же рвали, в гневе топтали ногами. Не было замечено ни одного случая, чтобы кто-то прятал листовку в своей одежде». Тяжёлый, горький это был поход. Вологодские деревни показались Рожкову значительно беднее красноярских. Во всём чувствовалась близость фронта. На лицах местных жителей, в основном женщин, стариков и детей (взрослые мужчины и парни призывного возраста давно уже воюют),— растерянность и тревога. «Наступило горе на мирных жителей нашей Родины,— записывает Рожков в дневнике.— Что их ждёт?»

На ближайшей грузовой станции недалеко от Череповца артиллеристы снова погрузились в вагоны и по железной дороге — дальше на юго-запад, ближе к фронту. На каждой остановке к эшелонам устремлялся народ. Люди с надеждой вглядывались в лица своих защитников, внимательно рассматривали хорошо одетых солдат и офицеров. Рожкову слышались одобрительные возгласы: «Сибиряки! Эти остановят и побьют фашистов. Мы победим и будем спасены».

Но вот и пункт назначения. Новая разгрузка, новый марш. Повинуясь неуёмному инстинкту прирождённого исследователя, Павел всю дорогу ведёт дневник, записывая впечатления. Он отмечает, например, что в бедных северных деревеньках среди низеньких избушек-развалюх гордо возвышаются белокаменные церкви — нарядные, опрятные. «У нас в Сибири этого не увидишь,— сожалеет Рожков,— все церкви разрушены в период коллективизации». Колонна полка двигалась к фронту всё быстрее и быстрее, безостановочно, по прямой. «Стороной миновали Бокситогорск,— подчёркнуто в дневнике,— это новый промышленный город, здесь находится крупнейшее месторождение бокситов».

Вскоре стала слышна прифронтовая канонада. «Мы ещё не в бою. Но где-то невдалеке идут сражения. Гибнут наши люди. Пока мы к этому не готовы. Нет орудийных систем и боеприпасов, нет средств связи, приборов наведения».

После нескольких переходов полк разместился в большой деревне, где его экипировка наконец завершилась. Была получена со складов артиллерийская амуниция, собраны комплекты упряжи (которая оказалась безнадёжно велика для сибирских лошадок, отнюдь не предназначавшихся для работы породистых тяжеловозов! — всю «конскую амуницию» пришлось перекраивать и перешивать), созданы упряжки по шесть лошадей, и началась их выездка — без орудий, пока только для того, чтобы приучить «конную тягу» ходить под седлом в строгом порядке. Все эти — пока ещё мирные — действия требовали массу времени, изобретательности, моральных и физических усилий множества людей. Для сборки амуниции, например, Фомину пришлось организовать что-то вроде фабричного конвейера. Солдаты и офицеры, никогда прежде не вникавшие в устройство конской упряжи, превратились в сборщиков. Фомин рассадил их поудобнее, показал, что и как нужно делать,— и «процесс пошёл».

Но это было ещё не всё. Штабным офицерам предстояла довольно трудоёмкая работа с топографическими картами: их нужно было разобрать, склеить, научиться быстро укладывать огромную карту в сумку-планшетку, чтобы в случае надобности моментально развернуть её на нужном месте. Нехитрое вроде бы дело, но требует специфической сноровки, навыка. Не говоря уже об умении управляться со средствами связи — полевыми радиостанциями, телефонными аппаратами, коммутаторами… Старшие офицеры, командир полка Фомин, начальник штаба Тихомиров, майор Чистяков всячески помогали младшим товарищам набраться опыта. Личный состав полка ежедневно выкладывался до предела. «Солдаты и офицеры падали от перегрузок, от переутомления, но были довольны,— вспоминал Павел Иванович.— Упряжки натренированы, хорошо повезут орудия, будут способны к манёвру. Тренировки орудийных упряжек продолжались всё свободное время. Лошади были приучены ходить цугом, маневрировать при движении разными аллюрами. Наконец-то получены новые гаубицы — калибра 122 мм. Новое осложнение: орудия получены, а передков для их транспортировки лошадьми на складе не оказалось. Попробовали станины гаубиц закреплять на обыкновенных деревенских санях. Сани рассыпались от перегрузки на первых же десяти километрах. Пришлось снова ждать. Только энергичные действия Фомина, Тихомирова и командира 374-й стрелковой дивизии Витошкина помогли снять это затруднение. Все орудия, оборудование и боекомплект были получены. Полк наконец-то стал артиллерийским в полном смысле этого слова!»

Читаю военные дневники Рожкова… Эти записи чаще всего похожи на лабораторные отчёты

учёного-натуралиста: точная фиксация событий, эмоции — редки и скупы, наблюдательность и объективность — во главе угла, почти никаких оценочных суждений — только факт! Читаю — и поражаюсь невероятному единству традиционного русского разгильдяйства и столь же привычной для нашего человека готовности к сверхчеловеческому усилию, которое большинством даже и не воспринимается как что-то особенное, как подвиг. Сколько времени, сил, физического и интеллектуального ресурса бессмысленно растрачено в первые годы войны из-за чьего-то элементарного головотяпства! Не в этом ли тогда состояло не измышляемое сталинской пропагандой, а самое что ни на есть реальное вредительство?! Бессознательное, как рассеянность маленького ребёнка. Дорого же досталось стране военное взросление! Как, впрочем, и самонадеянность её тогдашних политических вождей!

2. «Синявинская эпопея»

Войска Волховского фронта (под командованием генерала армии К. А. Мерецкова) уже в середине декабря сорок первого года должны были прорвать блокаду Ленинграда и соединиться с оборонявшим город Ленинградским фронтом. По всему восточному берегу Волхова в полной боевой готовности стояли части 59-й армии во главе с командующим генерал-майором И. В. Галаниным. Им предстояло встретиться с тридцатью пехотными дивизиями 18-й армии вермахта. Передний край немецкой обороны проходил по западному берегу реки широкой полосой, включающей железнодорожное полотно и шоссейную дорогу. Оборонительные рубежи были хорошо укреплены: несколько глубоких траншей, замаскированные танки, артиллерийские орудия, пулемёты... Рожкова, весь военный опыт которого до сих пор был опытом беспрерывной борьбы с катастрофической неготовностью наших вооружённых сил к боевым действиям, поразило «благоустройство» фронтового быта солдат вермахта. Тогда они ещё располагались на завоёванной земле с привычными для себя удобствами. Немецкие спецподразделения вместе с укреплениями строили вполне комфортабельные — по военным меркам, конечно, — блиндажи, бани. По воскресеньям немцы не воевали, устраивали себе отдых. Так что по сравнению с фронтовой жизнью наших солдат немецкие имели вполне цивилизованные условия.

374-я стрелковая дивизия почти сразу же по прибытии была брошена в бой. Артиллеристы Фомина получили приказ обеспечить огнём её наступление. Полк занял огневые позиции — так сказать, «окопался». В дневнике Рожкова читаю: «В наличии на огневых позициях — снаряды 122 мм только для гаубиц, да и то в ограниченном количестве. Фомин оборудовал свой наблюдательный пункт на колокольне церкви прибрежной деревни Званка. Получили разведданные, схемы целей. Командиры внимательно вели наблюдение переднего края обороны противника. К этому моменту в полку не было никаких средств связи — ни радио, ни проводных. Только большой опыт Фомина позволил с помощью конного разведчика установить связь со старшим на огневой позиции и передать ему установочные данные для пристрелки по целям. С помощью того же конного разведчика была передана команда для стрельбы на поражение».

В 2002 году Павел Иванович сам рассказывал об этом журналистам В. Магоне и В. Пашниной, которые брали у него интервью для газеты «Новый Енисей»: «Представьте себе такую картину: пехота во время наступления закрепляется на занятых позициях, а мы, артиллеристы, — в километре сзади, и нам необходимо огнём поддержать пехоту. Наш наблюдатель взбирается на колокольню, записывает координаты, затем передаёт записку вниз, где её ожидает разведчик на лошади. Тот скачет во весь опор к артиллеристам, передаёт координаты, потом возвращается к наблюдателю для корректировки огня и снова мчится к артиллеристам...» («Новый Енисей», №7, 21 июня 2002).

После кратковременной артподготовки пехота пошла в наступление на передние траншеи немецкой обороны. Бой безрезультатно продолжался несколько суток. Продвижения не получалось. Дивизия, говоря языком военных сводок, «имела значительные потери в личном составе». Наконец был получен приказ отвести её в тыл. «Боевое крещение» Павла Рожкова закончилось горьким поражением.

Дивизия заняла рубеж между двумя посёлками: Спасская Полисть — на севере, Мясной Бор — на юге. Спасская Полисть... Званка... Грузино... Мостки... Какие названия! Северная Россия с её старинной культурой... Радищев, Державин, Пушкин, Лермонтов... Всё это — нежно и трепетно — вспоминалось и Павлу. Он даже специально отмечает в дневнике, что Званка, откуда майор Фомин вёл наблюдение за немецкими укреплениями, — это та самая Званка, державинская. И Пушкина вспоминает, и пушкинский Петербург, и военную годину 1812 года... Под ударом врага оказалась вся великая русская культура, которая возвышалась перед внутренним взором Павла как нечто бесконечно желанное, бесценное, близкое и никогда не достижимое вполне. То есть — святое. Враг покусился на святыню! Этим всё сказано! Глубокое чувство защитника родной культуры, в которой черпались постоянно подвергавшиеся потрясениям духовные силы (припомним стыд и отчаяние Норильлага, дневник Рожкова, где объективно представлены факты «готовности» 374-й дивизии к боевым действиям!), в те годы

было так органично для большинства русских людей, что записи Павла Ивановича звучат как бы ещё одной, пусть незаметной, скромной, но уникальной нотой в великой оратории патриотического духа военных лет. Анна Ахматова тогда писала стихи о статуе Ночи в Летнем саду, которую ей пришлось вместе с другими женщинами закапывать от бомбёжек:

> Ноченька!
> В звёздном покрывале,
> В траурных маках, с бессонной совой.
> Доченька!
> Как мы тебя укрывали
> Свежей садовой землёй…

А кто не помнит знаменитых строчек Константина Симонова:

> …за каждою русской околицей,
> Крестом своих рук ограждая живых,
> Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
> За в Бога не верящих внуков своих…

Ветеран войны, выдающийся учёный-физик Игорь Синани, тоже участник боёв под Ленинградом, рассказывает в мемуарах: «Я принёс из города комплект пластинок с записью оперы „Евгений Онегин“. Помню, был вечер, уже совсем темно, и в комнате я один. Включил последнюю сцену, и тут меня охватило чувство невозможности слушать любимые мелодии, когда смерть из отдалённой туманности превратилась в реальность и встала совсем рядом. Вот-вот должен начаться штурм города—молодые, сильные мужчины чужой страны, направляемые преступной волей, тяжёлым катком танков уничтожат и людей, и их творения… Я не выключил „Онегина“, неожиданно для себя решив: наслаждайся лучшим, что у тебя есть, несмотря ни на что. Мне дороги минуты, когда я понял, что можно не бояться прикосновений радости, даже если скоро придётся расстаться со всем. Это воспринималось как победа жизни над мрачной властью ожидаемой гибели» («Звезда», №2, 2005).

А Павел Иванович рассказывал: «В моей полевой сумке всегда находился небольшого формата томик Пушкина. Я его по настроению открывал, листал его страницы, чтобы насладиться стихами…»

В записных книжках Рожкова сорок второго—сорок четвёртого множество стихов: Пушкин, Лермонтов, Гейне, Саади, Некрасов… Выписки из фронтовых газет, в которых печатали стихи советских поэтов. Фрагменты философских, научных сочинений. Такое впечатление, что не в землянке человек сидит, а в читальном зале «Ленинки». Господи! Откуда? Я долго недоумевала—и вдруг поняла! Почти у каждого офицера в полку среди личных вещей было несколько книг, может быть, две-три—самых любимых, самых важных… Сослуживцы обменивались ими, делились впечатлениями. Как ни парадоксально, но круг общения Рожкова на фронте почти не отличался от прежнего, московского, состоявшего из интеллигентов высочайшей пробы! Может быть, поэтому в военных дневниках командира-артиллериста—заботы, тревоги, размышления о настоящем и будущем, но ни тени пессимизма, ни единой попытки обвинить кого бы то ни было (кроме фашистов, конечно) в тяготах и ужасах всего происходящего.

Вновь убеждаюсь, что Павел Иванович и тогда, и впоследствии всю жизнь—был искренним коммунистом. Крестьянский сын, внук и правнук, он глубоко верил учению, которое давало людям надежду на светлое будущее для всех. Воспитанник русской науки и культуры, возвысивших его душу и укрепивших разум, он горячо любил Россию, за которую воевал. Вера, любовь, глубочайшее чувство высшей правоты нравственного закона, добытого по́том и кровью предков, вселяли такую силу в подобных ему людей, что они потом годы и годы заряжали ею окружающих и почти нечеловеческими усилиями подняли страну из руин.

Вспоминая военные годы, Павел Иванович не раз говорил о том, что, как бы ни было трудно офицерам, основная тяжесть войны приходилась на рядовых. Офицер—в землянке, солдат—в окопе, первый удар принимает на себя. В холоде, в грязи, во вшах… «Тряхнёшь, бывало, гимнастёрку над костром—треск стоит». А жизнь солдатская на войне—как лист на ветру. Мгновение—и нету. Как-то, спеша на батарею, Рожков встретил в траншее двух солдат; они отдыхали, ели селёдку—один из них посылку получил с «большой земли». «Товарищ капитан! Попробуйте».—«Обязательно попробую, спасибо! На обратном пути». Возвращается—обоих уже нет. Убиты.

Павел Иванович всегда преклонялся перед солдатским подвигом, всё, что мог, старался сделать для личного состава, который отвечал своему командиру таким же тёплым, дружеским отношением.

В январе 1942 года войска Волховского фронта прорвали оборону противника на Любанском направлении. В районе Мясного Бора ширина прорыва составляла всего три-четыре километра. В эту «горловину» вошли соединения 2-й ударной армии и части 52-й и 59-й армий. А девятнадцатого марта «мышеловка» захлопнулась, и группировка оказалась в окружении, в «мешке», лишившись всех видов снабжения. Правда, к концу марта в осаде удалось пробить «коридор», по которому стали доставлять окружённым продовольствие, боеприпасы, фураж, понемногу вывозить раненых и больных. Только в мае Ставка разрешила вывести 2-ю армию из окружения! А шестого июня немцы окончательно перекрыли горловину «мешка». В окружении остались сотни советских

солдат и офицеров. Когда спустя две недели в районе Мясного Бора пробили «коридор» всего в триста-четыреста метров, они выходили отдельными группами — по болотам и бездорожью — к своим. Любанская катастрофа произошла, как подчёркивает Рожков, из-за трусости и бездействия генерала Власова, который перешёл к немцам, изменив Родине. С сегодняшней точки зрения многое из происходившего тогда выглядит гораздо более сложно и как минимум неоднозначно. О генерале Власове уже немало сказано — раскрыто фактов и придумано легенд. Не нам судить, насколько он был виноват в провале той Любанской операции. Но… переход на сторону врага во все времена расценивался как предательство. В данном случае предательство — налицо.

Десятого сентября 1942 года 374-я стрелковая дивизия и 942-й артиллерийский полк получили приказ выйти к Неве в районе Синявино, соединиться с войсками Ленинградского фронта и вместе с другими частями прорвать блокаду Ленинграда. Войска вновь углубились в расположение врага на девять-десять километров. И Любанская история повторилась! Воевать было нечем — не хватало боеприпасов, продовольствия, средств связи, люди гибли практически безоружными. Вскоре наступление было остановлено, и наступающие войска полностью окружены. Двадцать восьмого сентября, выходя из окружения вместе с майором Чистяковым, Павел Рожков был ранен в спину, под лопатку. Сутки спустя, ночью двадцать девятого сентября, недалеко от села Гайтолово, ранен снова — осколочное ранение обеих ног. «Немецкий солдат, поднявшись на бруствер траншеи, бросил в меня гранату, — рассказывал Павел Иванович. — В этот момент я упал, на моё счастье, вперёд головой — на высокий ящик из-под снарядов крупного калибра. Бóльшая часть осколков при взрыве гранаты отлетела вверх. Мелкие осколки вонзились в ящик и — в мои ноги, пробив голенища обоих сапог». Я видела эти осколки вместе с другими «артефактами», извлечёнными в госпиталях из тела Рожкова, — Павел Иванович хранил их в особой жестяной коробочке.

Дневник Рожкова лета-осени 1942 года прекрасно сохранился. И я приглашаю читателя вместе со мной перелистать его пожелтевшие странички (некоторые из них Павел Иванович сам успел «расшифровать» и даже отпечатать на пишущей машинке, остальные обрабатывала и набирала я). Итак…

Дневник П. И. Рожкова

(август — сентябрь 1942 года)

«…Наш 942-й артиллерийский полк 374-й стрелковой дивизии с 12 по 25 июля 1942 года стоял лагерем около Третьего посёлка вблизи станции Гряды. Район сильно болотистый, много торфяников с редкими небольшими островками берёзового леса. До войны здесь добыча торфа производилась машинным способом, теперь же работают только вручную, выкладывая нарезанный торф в штабеля. Работают женщины и девушки. Среди них молодая учительница. Она выделяется своим внешним видом и содержательным разговором. Школа не работает, и она вместе со всеми участвует в разработке торфа. Норма — 15 кубометров торфа на человека нарезать и выложить в штабель. Сухой торф — очень лёгкий, тёмно-коричневого цвета. Работа нелёгкая, но топливо нужно для жизни людей и промышленности.

25 августа в 13:05 полк поднят по тревоге. Быстро и довольно организованно приведены в готовность все подразделения полка, и через 30 минут колонна тронулась из района Третьего посёлка в направлении станции Большая Вишера. В 8:05 сделали привал на днёвку в 1 км севернее Луга. Полк разместился в красивом редком лесу с кустарником, метрах в 150 от главной дороги. В 20:20 после быстрого сбора походным порядком направились к Большой Вишере к месту погрузки.

26 августа в 11:47 вторым эшелоном отправились со станции Б. Вишера, начальник эшелона — капитан Емельяненко. Это высокий стройный молодой человек. Лицо у него симпатичное, приятное. С людьми строг, но вежлив и выдержан. Я — заместитель командира второго дивизиона, то есть помощник Емельяненко. Сбылось моё стремление стать строевым командиром. Несколько месяцев при всяком удобном случае я просил командира 942-го артполка майора А. Г. Фомина отпустить меня из штаба полка с должности первого помощника начальника штаба — командиром батареи. Наконец-то Алексей Григорьевич внял моей просьбе, но поставить командиром батареи не согласился. Сказал, что ниже заместителя командира дивизиона не отпустит. Справились с погрузкой отменно хорошо. Наблюдать, как неторопливо, но дружно, слаженно наши земляки выполняют новую, непривычную для них работу, доставляет большое удовольствие. Какой славный, трудолюбивый, нетребовательный народ! День жаркий. Светит солнце, лёгкие белые облака кое-где движутся по небу. Жизнь проходит в движении. От Москвы — 500 км. От Ленинграда — 150. От ст. Окуловка свернули на север.

27 августа 1942 года проехали ст. Любытино, затем — по новой, недавно построенной железной дороге.

В 14:50 прибыли на станцию Неболчи. Новая дорога ещё кое-где не закончена строительством. Много работающих, на особо трудных участках работают железнодорожные воинские части.

Неболчи — небольшая станция. Мелкие деревянные постройки. Впервые вблизи станции встретил исключительно чистый, белый, мелкий кварцевый песок. Такой песок содержит не менее 96–97% кремнезёма и для стекольной промышленности, для металлургии является настоящим кладом. На песчаный карьер проведена узкоколейная железнодорожная ветка: видимо, песок добывался для местной стекольной промышленности.

Новая дорога Любытино — Неболчи построена во время войны. Дорога проходит по сплошным лесным зарослям. Стволы крупных деревьев стоят так близко от пути, что ветви этих деревьев легко достать руками из движущегося вагона. Почва на большем протяжении песчаная. Население Неболчи без видимого интереса относится к проходящим эшелонам. В разговор вступают неохотно, сказывается влияние близкого фронта.

В 18:10 тронулись на восток.

28 августа, 7:50. Прибыли на ст. Подборовье Северной железной дороги (недалеко от Тихвина). Круг девятимесячных скитаний по фронту замкнулся к моменту, когда мы выехали с Савёловской дороги на Северную. И дальше на запад.

29 августа (10:10) остановились на ст. Жихарево, в 80 км от ст. Ленинград. Здесь железная дорога в образцовом порядке. Поезда движутся быстро. Погода стоит на редкость благоприятная. По всей трассе ж/д ведутся ремонтные работы. Работают девушки, парни и подростки. Болото, снова болото. Немец обессилен, молчит. За время пути — ни одного фашистского самолёта, ни одного происшествия. Только вдали слышится канонада. К 14:00 полк сосредоточился 250 метрами южнее совхоза „Васильково". Места красивые, но также болотистые. Населённые пункты частые, встречается население. Мы всего в 30 км от ст. Мга и приблизительно в 100 км по прямой от Чудова. Во время разгрузки произошёл воздушный бой между нашими истребителями и немецкими „мессерами". Один наш самолёт загорелся и упал на землю в 2 км от нас. Лётчик выбросился с парашютом и остался жив. Ходят разговоры, что мы войдём в подчинение 8-й армии. Так ли будет?

31 августа прибыл первый эшелон дивизии — первый стрелковый полк. Полковник Ермаков указал ориентировочно район сосредоточения дивизии: Лаврово, в 9 км от нашей стоянки. Звуки канонады раздаются реже; и район станции, и прилегающую дорогу немцы обстреливают из дальнобойных орудий. Многие снаряды падают в болото, в рыхлую почву и не разрываются. Это тот редкий случай, когда болото в оценке людей, особенно военных, получает признательность. Пусть больше снарядов немецкой артиллерии попадает в болото. Изредка „юнкерсы" пролетают над нами. Целый день воздух — наш. Наши самолёты группами по 5–7 машин патрулируют в небе. Я окончательно перешёл в дивизион. Новые дела, новые люди. Жизнь в дивизионе заполнена интересной работой. Всё это мне по душе. Офицеры дивизиона встретили меня дружелюбно, отношения между ними простые, сердечные, часто раздаются весёлые шутки.

2 сентября. Никто из моих сверстников-однополчан не сделал заявления об открытии второго фронта. Все опасаются ошибиться и даже в шутку прогнозы не высказывают. А союзники всё ещё не готовы к наступлению. Дивизия сосредоточилась в районе 6–7 км южнее оз. Ладожское. Немцев здесь не было. Деревни целы. Поля засеяны. С утра слышится канонада. Идёт бой, но далеко. Вчера один „мессер" сбил нашего морского истребителя. Лётчик выпрыгнул с парашютом удачно. Лётчик — молодой парень. На лице тревога. Жив, и это большое счастье. В дивизионе жить и работать много веселее. Люди хорошие, дружные...

4 сентября получен боевой приказ: дивизия передвигается в район Каменки (4 км юго-западнее Путилово). Полк в 22:00 начал марш. Проведено партийное собрание. Задача марша — двигаться только ночью. Марши помогают сколачивать людей. У нас, артиллеристов, люди редко бывают в строю. Поэтому в артиллерии работать на марше нужно неустанно. Надо достигнуть такой слаженности, чтобы на марше каждый боец в любой момент был боеспособен и полностью готов вести бой с противником.

Всего пройдено 25 км. Утром *5 сентября* прибыли на место сосредоточения (6:30). Дорога была хорошая, и передвижение материальной части провели успешно. Авиация противника действует активно, бомбят главным образом дороги. Нашей авиации не видно. Мы совершили марш благополучно. Наша соседка, 191-я стрелковая дивизия, уже вступила в бой. До Ленинградского фронта на самом близком участке всего 6–8 км. Наши вошли в немецкую оборону клином. Немцы сопротивляются упорно, боятся окружения в районе Шлиссельбург, Липка, Дубровка. Перед маршем меня вызвали из дивизиона для работы начальником штаба полка вместо уехавшего на учёбу майора Маркса. На этом месте в штабе чувствую себя уверенно, ориентируюсь во всех делах. Работа зам. командира дивизиона проще, но для меня более интересна. Есть большая возможность заниматься, а мне нужно будет в ближайший месяц отработать основы артиллерийской стрельбы по наставлению.

8 сентября. Ждём боевой приказ. Сегодня в дело, в бой за город Ленина. Задача наша настолько

возвышенная, что каждый человек чувствует себя неловко оттого лишь, что мы стоим в резерве. Будем драться в составе 2-й ударной армии. Мы счастливы, что наконец снова в бой. Я уверен, что дела 2-й армии будут успешными. Я убеждён, что воевать нам следует ночью. Наши ночные атаки с группами отборных людей будут для немцев губительными. Подготовку к атакам проводить так: изучить передний край, выявить все огневые точки. Всё это представить на схеме с указанием расстояний от исходного рубежа. Такими схемами обеспечить всех до командира отделения. Ночная атака сильна внезапностью. При ночных атаках техника врага теряет своё боевое значение. Сегодня ухожу в дивизион, и вот снова получил возможность стажироваться на должности строевого командира. Это меня радует. Люблю простую солдатскую жизнь. Все дни и ночи исполнены делами. Надо смотреть за состоянием орудий, приборов, амуниции. Особенно много внимания требуют лошади. И всё же как-то грустно, жаль расставаться с Володей Яковкиным, Посниковым, Володей Елисеевым…

Приказано в 21:00 выступить в район Синявинских высот (оз. Синявинское) и принять боевой порядок. Действовать будем в составе 4-го гвардейского корпуса (генерал-майор Рогинский). Задача — прорваться к Неве, соединиться с войсками Ленинградского фронта. Задача важная, можно сказать, историческая. Первыми поздороваться с ленинградцами, открыть дорогу в город, слава которого так велика, что сказать не находится нужных слов. Наша дивизия входит в прорыв, уходящий на 12 км в глубь немецкой обороны, но до Ленинграда всего 4 км. Заманчиво. Правда, позиция наша чрезвычайно тяжёлая. Места заболоченные. А наше вклинение имеет форму мешка. Оба фланга открыты.

Утро 9-го было „оживлённым“. Раздавалась сплошная канонада от артиллерийских выстрелов и разрывов бомб. Воздух загажен фрицами — их „мессеры“ и „юнкерсы“ беспрерывно контролируют дорогу. Выстрелы ружейные, автоматов, пулемётов аккомпанируют басистым голосам всех видов артиллерии. Ночью все спали в щелях. Просто и общедоступно устройство этих убежищ. Два метра длины, полметра глубины. Подстилается хвоя и собственные пуховики-шинели — и ложись спать, да как ещё хорошо спится после тяжёлого перехода и работ по рассредоточению и оборудованию батарей!

Получена задача — стрелковые полки тремя эшелонами прорываются на южный берег Невы, в район Дубровка — Московская. Наш артиллерийский полк с 445-м гаубичным артиллерийским полком поддерживает пехоту. Вчера во время движения вышел казус, предоставивший возможность проверить себя. Колонна разорвалась. Остановившиеся повозки сбились в кучу, повозочные стояли, не знали куда ехать. Я выехал на боковую дорогу и долго ездил, меняя направление. Но хорошо накатанной дороги не находил. И никого не встречал. Это меня насторожило. Уже в этом почувствовал угрозу. Останавливался, снова ездил в разных направлениях, отыскивая дорогу с металлическими опорами линий высокого напряжения. Опасность реальная попасть к немцам, так как в 2–3 км передний край обороны противника — большими изгибами. Можно приехать прямо в гости к немцам. Много разных невесёлых мыслей рождалось в голове. Часто останавливался в раздумье. Мне более всего не хотелось конфузиться перед своими командирами. Ездил долго, часто спрашивал у встречных. Снова выехал к деревне Новая и от неё пошёл искать направление, по которому прошла полковая колонна. Новое моё путешествие было веселее. Шли сплошные колонны стрелков 23-й бригады. Никогда раньше не видел так много людей, движущихся на фронт. Вначале я отыскал штаб дивизии (Фомин, Горожанин), а затем получил приказание комдива, поехал обратно и скоро встретил полк. Когда блудил — чёрные мысли бродили в мозгу, и думал, как станет радостно, когда увижу свой дивизион. Однако этого чувства не испытал. Видимо, заботы и нахлынувшие дела вытеснили чувство радости, которое неизбежно должно было появиться. За время своих блужданий много раз обнаруживал места со складскими запахами войны.

10 сентября всё утро и день бьёт наша артиллерия. В ответ раздаются отдельные выстрелы фрицев, но зато слышатся с их стороны сплошные потоки клокочущих автоматов. Идёт наступление. Наши рвутся к Неве. Чтобы гулять по Невскому, надо пройти Неву. За Невой наши войска.

11 сентября. Живу на огневых позициях 2-го дивизиона. Все батареи расположены рядом в линию. Крупный недостаток имеет такой боевой порядок. Немец точно засёк наши позиции и ведёт частые обстрелы. Снарядов не жалеет. Мы имеем потери людьми и орудиями. Только что вернулся из расположения тылов дивизиона. Ходил туда по делам снабжения боеприпасами. Продовольствия почти нет нигде. Передо мной при движении в одну и другую сторону дорога подвергалась обстрелу. На обратном пути меня остановили крики людей, лежащих в кюветах. Это оказались раненые. Люди и повозки с людьми движутся, не обращая внимания на мольбы о помощи. Угрожая пистолетом, я остановил трёх бойцов, несущих обед. Стали смотреть раненых. Темно. Ночь тёмная, хмурая. Только осветительные ракеты немцев помогают различать лежащих людей. Бинтов никто не имеет.

Значит, оказать помощь невозможно. Только одному миномётчику, который усердно убеждал меня, что он полезный работник для государства, что он за короткое время уничтожил много немцев, я наложил повязку на бедро правой ноги его же полотенцем. А затем остановил повозки и, угрожая пистолетом, заставил принять раненых. За время, пока всё это было закончено, люди, которых я силою оружия заставил оказать помощь своим же товарищам, беспрекословно и, я бы сказал, охотно и внимательно выполняли мои приказания. Возвратился к себе, в маленькую уютную землянку. Здесь живёт со мной мой адъютант боец Ширин. Освещаюсь лампой „фронтовой луч“. Сегодня дважды с Шириным попали под обстрел. Лежишь на мокрой земле—состояние интересное… лежишь вниз лицом и определяешь, далеко или близко разрывы, и вместе с тем наблюдаешь за собой, за своими действиями—любопытно. Поднимать голову от земли запрещает какое-то внутреннее чувство. Это не страх. Я совершенно спокоен и веду деловой разговор с Шириным.

13 сентября. Вчера наши позиции четыре раза обстреливались артиллерией противника и один раз подверглись бомбёжке. В 6-й батарее жертвы. Весь лес и вся земля вокруг избиты и исковерканы. Пройти к батареям трудно. Вечером сидел с комиссарами (бат. ком. Топин, ст. политрук Рыбаков), рассуждали об исходе этой Невской операции. Я уверен в успехе. Топин, мотивируя стратегией и тактикой, предрешает неудачу. Рыбаков, как и я прежде, высказывался за внезапное окончание войны. В газетах нас кратко называют „волховские“. Это название войдёт в историю Отечественной войны. Освещаясь „фронтовым лучом“, сидел до 24:00. Читал „Дневник партизанских действий“ Дениса Давыдова. Давыдов был адъютантом Багратиона пять лет.

Сегодня *15 сентября.* Но у меня ещё свежо в памяти 13. Хочется кратко ещё описать. Утро 13 было спокойное. Слышались отдельные выстрелы, да одиночные „мессеры“ прорезали небо в разных направлениях. Я обошёл огневые 5-й и 6-й батарей, шёл в направлении 4-й—увидел и услышал три фрицевских бомбардировщика. Они шли на восток и в районе моста на р. Чёрная начали бомбить. Большими пачками они сбрасывали бомбы с небольшой высоты. Наши зенитчики открыли интенсивный огонь. Шум от разрывов бомб и от разрыва снарядов зенитчиков и снарядов и мин начавшегося обстрела сливались воедино. Казалось, сам воздух гудел. Я продолжал идти по разбитому лесу, изредка посматривая на бомбардировщики. Вдруг один из них резко снизился, а на левом крыле появилось пламя. Самолёт на снижение шёл на запад, набирая скорость, но пламя не уменьшалось. Вокруг самолёта появилось несколько „мессеров“. Через несколько минут один лётчик выбросился и сразу же раскрыл парашют. Как позднее выяснилось, „мессеры“ с воздуха, а наши солдаты с земли усиленно обстреляли парашютиста, и он мёртвым упал на землю. Горящий самолёт пролетел прямо надо мной (я даже опасался, что он грохнет рядом со мной), всё ещё имея порядочную скорость. Наконец, показался ещё один лётчик, раскрывший немедленно свой парашют. Так как он спрыгнул близко от меня, я бросился бежать на 4-ю батарею, чтобы взять там людей—оцепить лес. Оглянувшись на бегу, увидел, что из почти падающего самолёта выбросилось ещё одно чёрное тело—видимо, это был лётчик, но его парашют не раскрылся. Самолёт упал в 1,5 км от меня, и чёрные клубы дыма обозначили место его приземления. С четырьмя бойцами я бросился бежать к месту падения, но, встретив такую же группу „истребителей“, узнал, что лётчика поймали, и вернулся.

После 12:00 пошёл в расположение тылов—там побрился, пообедал, а затем с Шириным пошёл к себе по шоссе. Вдоль этого шоссе в мирное время шла линия высокого напряжения из Волхова в Ленинград—теперь же об этом говорят кое-где уцелевшие опоры их ажурной конструкции. Вскоре левая обочина шоссе стала обстреливаться противником. Чухающие мины ложились недалеко от шоссе в мелком рубленом леске. Я вынужден был свернуть вправо и пошёл по тропе. Однако едва успел выйти на дорогу, ведущую к оп, появились три бомбовоза, повторяющие наш курс. Наши глаза нацелены на фигуры машин, зорко следят за их движением. Не долетая до нас, все машины сбросили бомбы. Казалось, все бомбы лягут на нас. Мгновенно плотно прижавшись к земле, мы попадали в грязь. Звенящий свист, раскатистый треск бомб, глыбы земли—меня слегка качнуло. Краем глаза посмотрел назад—метрах в 20–25 легли ближние от нас бомбы. Выскочив из грязи, мы побежали к деревянному настилу… Справа впереди раздались разрывы мин—дорога под обстрелом. Мой народ начал паниковать—предлагают бежать в лес. Что пользы, неразумные люди?! Немного свернув с дороги—пошли напрямую к 4-й батарее. Под бомбёжкой. С трудом продвигаясь по завалам леса. Только выбрались на чистую полянку—впереди на небольшой высоте показались ещё три бомбардировщика, идущие снова на цель. Прыжком в воронку, наполовину заполненную водой, и вдавили свои тела в глинистую массу всем своим весом. И на этот раз прошло счастливо—бомбы легли где-то слева впереди.

Наконец-то дома, на огневых позициях дивизиона. К людям вернулось их обычное спокойствие. И почему бы? Разве маленькая землянка с двумя накатами брёвен гарантирует от бомб

и снарядов? Конечно, нет. Привычка человека, что он находится там, где все остальные товарищи, определяет душевное равновесие. Я замечал, что люди легче переносят потерю товарища, если он убит или ранен около орудия, где все вместе заняты боевой работой.

На этом день не закончился. Вскоре появились бомбардировщики и с двух заходов спустили бомбы на 6-ю батарею. Через 30 минут я узнал, что два человека погибли и одна гаубица выведена из строя. Пройдя на батарею, увидел безотрадную картину. Всё изрыто — люди, орудия, трава. Бойцы торопливо сносят тела своих боевых товарищей. Что написано на их лицах, прочесть трудно, но прежде всего слышишь в таких случаях: погоди! мы с тобой рассчитаемся за всех. Вернувшись к себе в блиндаж, перекусил и стал читать мелкие книжонки о нынешней войне. Но недолго длилось спокойствие. Вдруг шквальным огнём противник обрушился на нас: вой мин, свист снарядов, гром разрывов — выстрелы, выстрелы и выстрелы.

Валятся деревья, подбитые осколками, стонет земля. Люди, как кроты, забрались в свои щели, надо уцелеть, никто не желает смотреть на эту чудовищную картину. Я впервые испытал такой длительный обстрел, начавшийся в 15:30 и закончившийся в 19:35. Воздух густо насытился ядовитым дымом, а спустившийся туман придавил его к земле. Видимость ничтожная, едва различаю свою землянку от землянки комиссаров, расположенной в 6–8 метрах от моей. Поговорили с Рыбаковым о бренности жизни. Наступила тишина, только удушливый дым долго ещё не рассеивался. Да, действительно наступила тишина. Такая странная вечерняя тишина. Вдруг раздалось пение маленькой птички, беззаботно прыгающей с ветки на ветку соседнего дерева. Для неё война ничто. Смерть для неё почти нереальна. Она так мала, что осколки её не тронут. Весь вечер читал и держал связь по телефону с КП дивизиона.

14-е прошло спокойнее. Только в 4-м батальоне осколками мины и орудия серьёзно ранены 4 человека. Вечером сидел один, топил печь и при её свете читал.

15 сентября. Утром я долго спал. Подниматься не хотелось, к тому же выходить нельзя — бомбят и бомбят. В три часа особенно сильно бомбили участок в 1 км восточнее наших огневых позиций. Заход сделали более тридцати самолётов. В батареях получили письма. Жду и я. Ширин с радостной улыбкой подаёт и мою почту. Получил шесть писем.

19 сентября. Третий день без авиации. Артиллерийский обстрел не так тревожит людей, поэтому бойцы и командиры чаще появляются на открытом воздухе. Можно ходить по земле, дышать свежим воздухом, заполненным сильными осенними запахами. Большая тяжесть лежит на сердце. Из головы не выходит мысль о доме, отце, матери и сёстрах. Писать никому не могу. Хотя бы получить письмо от Нины или от товарищей. Занятия по артиллерии идут, но не так, как хочется. Успех мал. Командир полка торопит. В штабе некому работать.

22 сентября. Дома все здоровы. Теперь мне легче на душе, спокойнее. Занимаюсь. Читаю только по артиллерии и по артиллерийскому стрелковому делу. Слежу за газетами. Наше Синявино не фигурирует более в сводках Совинформбюро. Сегодня резко похолодало. Осень полным голосом заявляет о своих правах. Снова появилась авиация. Усиленно бомбят всё тот же мост. Имеем жертвы. Артиллерийский обстрел повторялся несколько раз. Много крупнокалиберных снарядов противника не взрываются. Насчитал подряд 17 невзорвавшихся. Но они так сильно ударяют в землю, что в землянке всё подпрыгивает.

23 сентября. Вчера минуло 15 месяцев кровопролитной войны. Но горизонт ещё слишком грозен, и смотреть на него, угадывая в приближающихся тенях окончание войны, никто не решается. Все за продолжение войны. Враг силён и до нахальства дерзок. Он строит свою нынешнюю „победу“ на аферистских комбинациях. Наши союзники этому не верят и, видя ещё грозного врага, ждут, чтобы в час перелома его сил нанести удар своим мощным кулаком. В технике и организации производства американская деловитость и солидность импонирует многим. Но излишняя расчётливость в ведении войны и бесконечная медлительность приводит к тому, что фашистский зверь измывается над человечеством всего мира и больше того — угрожает всем, опираясь на ложь своих же пропагандистских органов, восхваляя свою неиссякаемую мощь. Чем больше будут медлить американцы и англичане, тем больше и дольше будет литься кровь их граждан. Записывая эти строки, я немного отвлёкся от действительности и совсем не слышу, не ощущаю взрывов авиабомб, мин и снарядов, непрерывно содрогающих землю. Между тем барабанные перепонки всё время колеблются, тишина становится менее привычной, чем постоянный гром. Осколки мин и снарядов непрерывно стучат о стволы немногих оставшихся деревьев. Обрубки их собратьев бесформенными кучами разбросаны по изрытой земле. Один осколок попал в мою землянку. Выйти сейчас из землянки равносильно тому, чтобы приставить к виску пистолет и выстрелить. Результат будет один. Разрывы продвинулись вглубь. Но земля всё так же стонет. Все эти дни читаю по артиллерийскому делу. Дело подвигается. Но обстановка

для работы тяжёлая. Мой кабинет—без стола, без света. Большая яма с несложным перекрытием.

24 сентября. Сегодня тот день, о котором наши враги заявляли: „Окончательно окружим!“ Так это или не так, окружили они нас или нет, но пока сообщение с тылами прервано, и четыре дня не подвозят продовольствие и боеприпасы. Почту не получаем тоже четвёртый день. Наши сведения о мире не двинулись дальше того, что мы прочли в „Правде“ за 16 сентября. Состояние нелепое. Никогда не испытывал такой оторванности от мира. Именно сейчас больше, чем когда угодно, все стремятся прочитать свежую газету. Интерес к информации колоссальный. Что-то со Сталинградом? Пытался группу бойцов во главе с мл. лейтенантом Копленко отправить в тыл за продуктами. Проводил их километра четыре от огневых позиций. Дорогой учил, как подсказывали совесть и знания, как нужно двигаться по территории, „засоренной“ автоматчиками противника. Место, где я с ними простился, наверное, самое опасное из всего нашего „мешка“. Снаряды туда летят беспрерывно, сильный прострел автоматчиков и сверх того ежедневная обработка с воздуха. Бомбы своими следами превратили лесные поляны в чудовищные пустыни, напоминающие безлюдные долины на Луне. От соснового леса, ещё 10 дней назад стоявшего здесь сплошным массивом, теперь остались только иссечённые обрубки да голые причудливой формы пни. Жизни в таком лесу нет. Вечером произвели с Шириным ревизию продуктов и установили режим. Оставшиеся продукты надо растянуть на четыре дня. Но получим ли мы продовольствие через четыре дня?

26 сентября. Вчера отправлял вторую группу во главе с мл. лейтенантом Гиренко—в том же направлении и с той же боевой задачей. Прошли за Чёрную речку и встретили наши части, занимающие оборону фронта на восток. Гиренко задержали и отправили обратно, но он успел в двух местах „пощупать“ засевшего в лесу „фрица“ и говорит: встретил сильный автоматный огневой ответ. Сегодня Гиренко предпринял небольшую экспедицию, чтобы выяснить, проходима ли ближайшая просека к северу от нас. Оказалось, что немцы подошли вплотную к западному берегу Чёрной речки и заняли блиндажи, в которых когда-то держали оборону на восток. Теперь же, выгнав наших из этих блиндажей частой бомбардировкой, используют их для борьбы на западном направлении. Наших частей в том районе много. Среди них—санитарная рота одного из стрелковых полков. Там много раненых. Кормить их нечем. Продукты кончились пять дней назад. Раненые бойцы с наступлением темноты блуждают по лесу в поисках пищи. Немецкие автоматчики устраивают охоту на измученных людей. Говорят, что наши самолёты сбрасывали продукты. Нам бы такое счастье! Вчера имел полтора сухаря, за ужином—пшённую кашу. Утром и в обед—по кружке кипячёной воды. Сегодня режим круче, но есть один сухарь. Половину съел утром с остатками каши, вторую—вечером с небольшой порцией пшеничного супа. Получил боевое распоряжение об организации оборонных укреплений. Собрал заместителей командиров батарей и комиссаров, прошёл с ними по батареям, указал места, где ставить сооружения. Как хочется получить почту! Что делается на белом свете?

28 сентября. Прошлая ночь принесла большую неожиданность. Поступил приказ оттянуть боевые позиции дивизиона на километр-полтора восточнее прежнего района. Оказывается, всё это связано с общим оттягиванием боевых порядков. Пехота занимает боевой порядок в районе наших наблюдательных пунктов, то есть оттянулась почти на полтора километра. Чем всё это вызвано? Связи с тылом всё ещё нет. Продовольствие в ограниченных количествах подкидывают с самолётов. Получили на два дня по 138 граммов сухарей, 200 граммов мясных консервов, 50 граммов муки, 8 граммов комбижира и приблизительно 150 граммов крупы. Народ держится стойко. Ни слова об опасности. Работают с величайшим усердием, с полным напряжением сил. Всю ночь перетаскивали орудия, преимущественно на руках. Достал пять обозных лошадей. Стало немного легче. Но бездорожье, несъезженность и слабость лошадей, предельная усталость людей тормозили дело. Погода благоприятствовала. Ночь светлая и тихая. Утро туманное. Только вода и грязь мешали... По радио узнал, что положение на фронтах—прежнее. Моздок и западнее Сталинграда. Учёба моя остановилась. Теперь только работа. День и ночь были, безусловно, счастливыми. Я знаю, что это моё крылатое счастье. Ночью были такие случаи, когда у одного орудия скапливалось по 40–50 человек. Стоя на возвышенности, я с ужасом думал, что будет, если сюда прилетит хоть одна мина, не говоря уже о большом огневом налёте. У немцев есть „ванюша“—шестиствольный миномёт. Снаряды его бьют подобно нашей „катюше“. Наступающая ночь сулит ещё бóльшие трудности.

7 октября. Сегодня моя первая годовщина пребывания в артиллерийском полку. Год назад инженер Р., одетый со всей тщательностью русского интеллигента, появился в штабе дивизии, вызывая немалое удивление военных. Теперь я сам удивился бы немало, увидев такого человека. Год войны сделал из меня начальника штаба артиллерийского полка. Всё же своё родное дело—металлургию—вспоминаю очень часто. Скорей бы. Всё-таки я

удивительно спокоен. Везу свой воз исправно. Каждый день собираюсь записать кое-что о днях, проведённых в окружении. Больше того — о выходе из этого проклятого места.

Да, теперь в моей биографии появилось новое и необычное. Я был в окружении в районе Синявино. Утром 29-го наши орудия оказались на дороге, перетащить их на огневые позиции не хватило сил. Единственным выходом оставалось стащить орудия с дороги, замаскировать их, а людям дать отдых. В течение дня и вечером поступали разные приказания, отменяющие одно другое. Ясности в обстановке не было, поэтому не могло быть ясности и в действиях. Около 22-х часов меня, Бондаренко и Топина вызвал командир полка. В землянке сидели майор Чистяков, подполковник Фомин, батальонный комиссар Рабинович, капитан Емельяненко. Поставили задачу: своими силами выкатывать орудия на шоссе, а затем прямым ходом через Чёрную речку выходить в район Новой. То есть орудия нужно было силами людей прокатить по шоссе около 10 км! Дано указание действовать так, чтобы ни одно орудие, ни одна винтовка, ни один оптический прибор не достались врагу — всё должно быть разрушено. Чувство, охватившее меня в этот момент, передать невозможно. Мне стало ясно одно: мы отрезаны от тылов, то есть полностью окружены. Дана команда спасать материальную часть, но в успехе этого мероприятия никто не уверен. Все ясно поняли, что без попытки спасти её уйти нельзя, но спасти невозможно. Наши люди очень бережливы, бросить что-нибудь трудно… вот только беречь жизнь, беречь людей мы не умеем. Все трое вышли из землянки командира, взволнованные суровой новизной предстоящего. Прощаясь с Фоминым, мы крепко пожали друг другу руки, внимательно посмотрев в глаза. Когда мы стояли втроём под звёздным небом, я всё думал, что Фомин опытнее всех, его голос должен быть решающим…»

Павлу Ивановичу так и не удалось осуществить своё намерение и подробно описать, как они с Чистяковым выходили из окружения. Сохранились разрозненные фрагменты записей, где он вспоминает о своих сослуживцах. Отдельные эпизоды тех драматических событий вспыхивают среди размеренного, спокойного повествования яркими пятнами, как бы высвечивая общую картину. Под Синявино Рожков командовал дивизионом, а помощником начальника штаба 942-го артполка был тогда В. А. Елисеев, бывший директор норильской школы, единственной в то время в заполярном городе. Когда окончательно выяснилось, что надо своими силами прорываться из окружения, Елисеев, как сообщает Рожков, «принял все необходимые меры, чтобы спасти знамя полка и штабную секретную документацию». Часть бумаг была просто уничтожена. Остальные Елисеев сложил в свой вещмешок, выбросив из него все личные вещи. Знамя полка он снял с древка, а затем, сбросив гимнастёрку, обмотал полотном знамени собственное тело. Сверху — гимнастёрка, телогрейка, ремни, личное оружие. В левом кармане гимнастёрки, ближе к сердцу, по фронтовой традиции — партбилет и офицерское удостоверение. И — на восток, вплавь через Чёрную речку, через топи и болота. С Елисеевым было трое или четверо солдат. По дороге к ним присоединились ещё несколько человек. Среди них — восемнадцатилетний Василий Черкашин, который уже после войны, переписываясь с Павлом Ивановичем, вспоминал, как, выходя из окружения, наткнулся в камышах на артиллерийского капитана… Фамилии его Черкашин не запомнил, но очень хорошо запомнил, как артиллерист наставлял солдат, что делать в случае, если его убьют. Речь шла о знамени полка и документах, которые нужно было обязательно доставить командиру 374-й стрелковой дивизии. К счастью, всё обошлось благополучно. Группа Елисеева вышла из окружения. А за спасение чести полка капитан Елисеев был награждён медалью «За отвагу». Приведу фрагмент рукописи Павла Ивановича, посвящённый Елисееву. На мой взгляд, он особенно точен по стилю и отменно передаёт психологическое состояние офицеров, ставших заложниками синявинской трагедии:

«Капитан Елисеев имел при себе честь полка в виде знамени полка и штабных документов и личную честь в виде партийного билета и офицерского удостоверения, которые, как и я, всегда держал в левом кармане гимнастёрки. Ни он, ни я не задумывались над тем, что будет с нами. Если бы мы попали в плен к немцам и при обыске были бы найдены партийные билеты, а у него, у Елисеева, знамя полка и секретные документы штаба полка!.. в этой сложной обстановке некоторые слабовольные люди теряли присутствие духа, закапывали свои партбилеты в землю, и, конечно, найти их уже не могли — из окружения выходили беспартийными».

В середине октября 1942 года 374-я стрелковая дивизия отправляется в тыл. Несколько дней войска стоят у станции Жихарево. Павел записывает в дневнике: «Мы ещё не уехали. Нет порожняка. Живём в приличном домике в деревеньке Саракассы. После землянки и наших избушек этот домик кажется раем. Война далеко, только отдалённый гул артиллерийской канонады напоминает о том, что она идёт. Самолётов не видно. Только сейчас появился один „фриц“, да и тот немедленно скрылся. В 22:00 16 октября эшелон №16905 тронулся наконец на восток. Синявинская эпопея для нас закончилась. Круг замкнулся. Прибыли на станцию Жихарево 29 августа, а закончили жизнь в этом районе 16 октября. Всего месяц и 19 дней.

Но сколько грозных событий пришлось пережить и испытать незабываемых чувств! Едем на восток. Видимо, предстоит отдых».

К сведению читателя

К августу 1942 года Волховский и Ленинградский фронты разделяло лишь шестнадцатикилометровое пространство, занятое и укреплённое противником. В середине августа 1942 началась наступательная операция Красной армии по деблокаде города Ленина Ленинградским фронтом и двадцать седьмого августа 1942 года — Волховским фронтом.

В августе-сентябре 1942 года войска двух фронтов обескровили ударную группировку, предназначенную для штурма Ленинграда, и значительно подорвали её наступательные возможности. К исходу второго дня соединения Волховского фронта подошли к посёлку и железнодорожной станции Синявино. Четвёртого сентября 1942 года генерал Манштейн, только что прибывший под Ленинград, получил приказ Гитлера взять на себя командование 366-м пехотным полком. Восьмого сентября 1942 года в районе Невской Дубровки и деревни Анненское встречный удар нанесла Невская оперативная группа Ленинградского фронта. Форсирование Невы — полноводной реки с быстрым течением — разворачивалось необычайно трудно. Были удачными действия войск Ленинградского фронта в районе Невской Дубровки, где удалось вернуть ранее утраченный в ходе весеннего ледохода 1942 года «Невский пятачок». Двадцать первого сентября 1942 года немцы, завершив перегруппировку прибывших дивизий, начали контрнаступление с самыми решительными целями. Удары наносились с севера и юга, чтобы отрезать вклинившиеся войска Волховского фронта прямо у основания клина, а затем рассечь и уничтожить окружённые группировки советских войск по частям. Тридцатого сентября 1942 года окружённые советские части предпринимают последнюю попытку прорвать окружение. После отражения этих атак немцы окончательно сжимают клещи и соединяются на берегах реки Чёрная. Тем не менее отдельные группы советских войск всё ещё держались в труднодоступной болотистой местности до второго октября 1942 года. Попытки выручить окружённые войска предпринимались советской стороной вплоть до первого октября, однако все они закончились безуспешно. Пятнадцатого октября 1942 года после сильной артподготовки оставшиеся части Волховского фронта отбрасывают свои войска на позиции, которые они занимали до начала Синявинской операции. На этом сражение в Синявинских болотах закончилось.

«…Для прорыва обороны Ленинграда надо было захватить Синявино. Это проклятое Синявино советские войска штурмовали с сентября 1941-го до января 1943 года. Кости советских солдат там лежали пирамидами. Это я не для красного словца. Термин „Синявинские высоты“ во время войны приобрёл новый смысл. Раньше под этим понимали возвышенную местность, а во время войны — груды тел советских солдат. После войны некоторых похоронили. Но не всех. У нас всё просто — потери считать по числу похороненных. А те, которых не похоронили? Те не считаются. Те из статистики выпали. Так мы военную историю и изучали. Мне в Военно-дипломатической академии Советской Армии объясняли: в районе Синявино обошлись почти без потерь. Там положили тысяч сто, не больше. Пропорционально числу убитых там должно было быть тысяч триста-четыреста раненых и искалеченных… Синявинские высоты наши войска штурмовали и в 1941-м, и в 42-м, и в 43-м. Здесь была прорвана блокада Ленинграда. Поэтому погибших немерено — хотя официально захоронены 128 390 бойцов и командиров. Нужно помнить, что хоронили тех, кто поперёк дороги лежал. А до тех, кто в кустах да канавках, руки не доходили. Их не хоронили, а потому в статистике и не учитывали. Вот потому и выходит, что потерь там почти не было. Всего только 128 тысяч убитых» (Виктор Суворов, «Тень победы», часть вторая, глава тридцатая).

«Моё крылатое счастье…»

Из личного архива П. И. Рожкова

«…Наши позиции разделялись большой широкой полосой, где протекала речка Полисть с низкими ровными берегами, покрытыми травой и кустарником. Однажды, возвращаясь с задания на свой КП, я встретил на берегу Полисти начальника штаба дивизии А. Банифатьева, который в сопровождении нескольких офицеров быстро шёл по берегу. Я вернулся в штаб полка, доложил Фомину о выполненном поручении. Во время нашего разговора Фомина попросили к телефону. Он был очень огорчён услышанным. Ему сообщили, что полковник Банифатьев попал под артобстрел и был смертельно ранен. Это была огромная потеря для дивизии и всей армии. Спустя некоторое время исполнение обязанностей начальника штаба дивизии было возложено на подполковника Антонова, с которым мне приходилось встречаться, когда я был назначен командиром 942-го артполка.

…Штабной блиндаж был расположен на берегу ручейка с редкими кустарниками и небольшими деревьями. Ручей впадал в речку Полисть. По берегу ручья в низине росли ландыши. Много крупных цветов. Мы их не рвали, просто любовались. Я там впервые в жизни увидел ландыши, и они так глубоко запали мне в душу, что и сейчас, закрыв глаза, вижу эту полянку на бережку тихого ручейка…

…Гавриил Романович Державин — замечательный русский поэт восемнадцатого века, по сути дела — первый русский Поэт! Он родился 3 июля 1743 года в деревне под Казанью. Выйдя при Александре Первом в отставку, Державин поселился на берегу Волхова, в деревне Званка. Это та самая Званка, где в 1942 году немецко-фашистские войска на высоком берегу реки прямо в самой деревне создали укреплённый район…

…На фронте и такое бывало: перед маршем нашего артиллерийского полка, который должен был войти в прорыв обороны немцев в районе Синявино, дивизион под моим командованием был сосредоточен в небольшой роще смешанного леса. Над нами в небе появилась эскадрилья немецких самолётов, направляющихся в тыл советских войск. Дивизия русских зенитных орудий занимала позиции неподалёку от места расположения нашего полка. Когда зенитчики открыли огонь по самолётам противника, я с группой офицеров вышел на открытую площадку, и мы стали наблюдать за разрывами снарядов. Внезапно большой осколок зенитного снаряда со свистом пролетел вниз вдоль моей спины и вонзился в землю позади, у самых каблуков моих сапог. Углубление от осколка выглядело рваным шрамом на влажной, покрытой травой земле. Выходит, что я случайно выбрал место, где в это время находиться было безопасно! Если бы я сместился назад на 5–10 см, осколок нанёс бы смертельный удар в мою голову.

…У ленинградского поэта В. Рождественского есть стихотворные строки:

Они забудутся не скоро,
Сраженья у Мясного Бора,
У Спасской Полисти и Званки
На безымянном полустанке…»[4]

«…2-я ударная армия вела активные боевые действия в районе Мясного Бора в период с января по июнь 1942-го года и тем оттянула непосредственно на себя 16 немецких дивизий. В настоящее время совершенно очевидно, что 2-я ударная армия, несмотря на её поражение, в труднейшее для страны время спасла Ленинград. В это время, как стало известно из немецких источников, фашистские армии готовились к последнему, решающему штурму города. Вот в это-то время и началось наступление Волховского фронта.

Вдоль узкоколейки, не сумев вывести из окружения, командование оставило 12 тысяч раненых солдат и офицеров»[5].

«…8 марта 2003 года. Говорил по телефону с Алёшей Антоновым, моим лучшим другом, ординарцем моим, когда я командовал 942-м Рижским артиллерийским полком 374-й Любанской стрелковой дивизии Волховского фронта. Прекрасный, дивный, умный, способный ординарец был. Расстались с ним в Ленинграде, где я был в запасном полку в ожидании нового назначения. Я получил назначение и уехал в действующую армию. А Алексей был назначен командиром 76-миллиметрового орудия. Он остался жив. А ординарец и радист, которые были рядом со мной на командном пункте в Староселье на берегу реки Великая, погибли при обстреле нашей позиции артиллерией противника, расположенной на противоположном берегу»[6].

3. Военные пути-дороги

В двадцатых числах октября дивизия — на отдых и комплектование — разместилась в Калинине. Здесь Павел Рожков приказом по армии был утверждён в должности начальника штаба 942-го артиллерийского полка, которую фактически принял во время выхода из окружения. Он по-прежнему много работает и скрупулёзно ведёт записи, благодаря которым теперь можно более или менее точно восстановить его служебную жизнь (личная — в дневниках почти не отразилась, и лишь по единичным, усердно «вымаранным» фразам можно догадаться, что она была! что Павел не только воевал, а тяжко переживал разлуку с родными, с оставленной дома семьёй… хотя вполне возможно, что «личные» странички дневника по разным причинам позднее были самим Рожковым из него изъяты… Что ж! это право моего героя — не пускать в свою интимную жизнь посторонних!). В Калинине впервые за всю войну началось более или менее обстоятельное оснащение полка. Прибывают новые лошадки — низкорослые невзрачные «монголы» и чуть ли не персидские скакуны! Да что лошадки! Полк получает пятнадцать автомобилей!!! В конце января Павел записывает: «Формирование закончено полностью. Никто раньше не предполагал таких результатов и лучшего ожидать не мог. У нас 100% личного состава, материальная часть по штату… Причём всё новое, только что с завода. Вместо тракторов получили автомашины ЗИС-42 на гусеничном ходу. Полк имеет очень серьёзный вид и обладает внушительной огневой силой. Об одном приходится сожалеть: нет времени на обучение людей. Подбор командного состава на этот раз слабее. Выучка командиров батарей — скоротечная. Придётся учить стрелять на фронте».

Двадцать пятого января эшелон №30122 отправляется из Калинина на Ленинград. На фронт

4. Из военного дневника П. И. Рожкова.
5. Из записной книжки П. И. Рожкова, 1980-е годы.
6. Из записной книжки П. И. Рожкова. Н. П. Рожкова рассказывала, как тепло Павел Иванович всегда вспоминал об Алексее Антонове, который был искренне, по-братски привязан к своему командиру. Когда Рожков лежал в госпитале в Тихвине, ординарец приводил к нему под окошко его любимую лошадь по кличке Светлана — повидаться *(М. С.)*.

возвращались прежней дорогой: Лабутинская, Неболчи, Хвойная, Подборовье.

Дневник П. И. Рожкова
(февраль 1943 года)

«*5 февраля. 4:00.* Записываю эти строки в вагоне. Все выгрузились, мы с командиром полка стоим в опустевшем вагоне. Ждём доклада об окончании разгрузки. Станция Глажево — новый пункт в длинной цепи наших военных дорог. Готовимся к боям. Я уверен в успехе на этом участке фронта. Мы впишем хорошую страницу в историю войны и этим положим начало настоящей боевой истории полка. До Ладожского озера — 30 км, до Войбакала — около 15.

6 февраля. Мы вошли в состав 54-й армии. С 24:00 движемся дальше к фронту. Совинформбюро доставляет много радостей. Наши войска на юге творят чудеса, бьют немцев. У Сталинграда взяты в плен 24 генерала, среди них фельдмаршал Паулюс. Более всего меня удивило, что среди тыловых организаций немцев имеется совсем не обычная для армии строительная организация Тодта. Становится понятной удивительная подвижность немцев в создании инженерно-фортификационных сооружений.

11 февраля. 6:00. Неизвестный лес в 12 км восточнее Любани. Прибыли сюда 9 февраля — и с тех пор круглыми сутками сижу, разрабатываю документы, планирую огонь дивизионов, управляю, воюю. Наш полк временно придан 281-й стрелковой дивизии, которой поставлена задача овладеть населённым пунктом Басино и дальше, выйдя на рубеж ручья Светречено, развивать наступление. Вчера в 10:05 начали артподготовку, а в 11:30 пехота пошла в атаку. Однако успеха нет. Досадно. Ещё нигде нам не удавалось сделать что-то полезное для Родины…

12 февраля. Сегодня третий день боя за Басино. Наша пехота на прежних рубежах. Продвижения нет. Вчера артиллерия совершила колоссальную работу, выпущено 1800 снарядов. Авиация работала также усиленно и в невиданном до сих пор масштабе. Только «царица полей» как залегла, так и продолжала лежать. Раненых очень много. Мы потеряли лейтенанта Буняева, добродушного весельчака. Получили ранения подполковник Чистяков и капитан Щербань. Такие потери на второй день после вступления в бой!..»

Весна и лето 1943-го на Волховском фронте не принесли заметных перемен. Шли затяжные, изматывающие бои. В июле командир 942-го артиллерийского полка Н. И. Чистяков был тяжело ранен, и в полк — под Вороново — прибыл новый командир, майор Бергер. Но с ним тут же произошёл трагикомический случай, из-за которого военная судьба Рожкова вновь круто изменилась. В штабе дивизии разрабатывалась новая наступательная операция; для получения боевого задания Бергер поехал к командующему артиллерией — как полагалось, верхом, — но ездить он не умел, упал с лошади, сломал руку и был отправлен в госпиталь. Командующий А. Г. Фомин вызвал в штаб Рожкова и приказал принять командование полком, готовиться к наступлению. «Когда я вернулся в свой полк, — рассказывал Павел Иванович, — мои разведчики, побывавшие на передовой у пехотинцев, доложили, что они слышали, как немцы через рупор кричали: „Еврей Бергер упал с лошади, сломал руку и отправлен в госпиталь. Теперь полком командует сибиряк Рожков“. Вот как была поставлена разведка у немцев!»

До самого ноября военная судьба бросала Рожкова и его полк на разные участки фронта. И в одном из боёв осколком немецкого снаряда командир 942-го артиллерийского полка был ранен в голову. Правда, «крылатое счастье» Рожкова, видимо, и здесь сыграло свою роль! Осколок угодил в звезду на шапке-ушанке и буквально вдавил её в лобную кость. Армейская звёздочка смягчила удар. Он не стал для Павла смертельным, хотя и оставил у него на лбу глубокую отметину на всю жизнь. Ранение было тяжёлое, и до февраля сорок четвёртого Рожков находился на излечении в госпиталях Тихвина и Окуловки. А 374-я стрелковая дивизия уже в январе участвовала в освобождении Любани, за что и получила «прибавление» к порядковому номеру — Любанская. Это был настоящий военный успех, о котором Павел так долго мечтал, к которому так тщательно готовился и в котором, конечно же, были и его труд, и его кровь! И вот — дивизия приносит «пользу Родине» без него…

Спустя много лет после войны Павел Иванович на основе воспоминаний одного из участников событий написал статью о Любанской операции сорок четвёртого. Вот она.

Бои за освобождение Любани

В описании боевого пути 374-й Любанской стрелковой дивизии обязательно должен быть раздел, в котором рассказывается о боях с 25 по 28 января 1944 года. В то время вокруг Любани и других населённых пунктов этого района немецко-фашистские войска имели несколько опорных пунктов, связанных между собой укреплёнными оборонительными позициями с траншеями полного профиля, с оборудованными стрелковыми ячейками и противоосколочными перекрытиями. На подступах к переднему краю противник оборудовал проволочные заграждения и минные поля. Оборонительные рубежи перекрывались огнём

артиллерии, миномётов и пулемётов. У немцев на небольшом участке фронта стояли батареи 150 мм орудий, три батареи 105 мм пушек, шесть автоматических пушек, много миномётов, крупнокалиберных и обычных пулемётов. На этих рубежах оборонялись подразделения 24-й пехотной дивизии, 12-й артиллерийской дивизии и 31-го пехотного полка фашистов.

Наша 374-я стрелковая дивизия с 22 января 1944 года вошла в состав 115-го стрелкового корпуса 54-й армии. Дивизией в то время командовал Борис Алексеевич Городецкий, ветеран дивизии, прошедший с нею весь путь, начиная от формирования её в городах Красноярского края осенью сорок первого года. Дивизия получила задачу развить успех на левом фланге корпуса в общем направлении на Чудский Бор — Померанье, преодолеть промежуточный рубеж обороны противника на реке Тигода, перерезать Октябрьскую железную дорогу, шоссейную дорогу Любань — Чудово, а в дальнейшем овладеть городом Любань.

Части дивизии 1242-й сп, 1244-й сп, 1246-й сп и отдельный лыжный батальон, а также 942-й артиллерийский полк получили пополнение и провели обучение личного состава, привели в боевое состояние вооружение и технику, провели тщательную рекогносцировку противника. Войска дивизии после совершения форсированного марша из района Зенино с ходу вступили в бой в ночь на 23 января. Преодолевая огневое сопротивление противника, отразив несколько яростных немецких контратак, поддержанных танками, части дивизии продолжали движение на Померанье.

К исходу дня 28 января передовые подразделения дивизии, сломив сопротивление врага, вышли к шоссе и к полотну Октябрьской железной дороги и овладели станцией и населённым пунктом Померанье. Овладев этими рубежами, дивизия отрезала с юга группировку немцев, находящуюся в городе Любань. К этому времени другие соединения 54-й армии перерезали дороги на Любань с севера. Немцам угрожали окружение и плен. Под усиливающимся напором сибиряков-красноярцев, взаимодействующих с другими соединениями армии, противник был вынужден спешно оставить Любань и начать отвод войск по дороге на Коркино — Апраксин Бор. В течение четырёх суток части дивизии вели упорные бои с группой противника, прикрывающей отход главных сил оккупантов. Таким образом, своим успехом в боях за Померанье 374-я стрелковая дивизия содействовала освобождению Любани от немецко-фашистских захватчиков.

В приказе Председателя Государственного Комитета Обороны СССР Генералиссимуса И. В. Сталина от 28 января 1944 года в числе соединений и частей, участвующих в освобождении города Любань, упоминается 374-я стрелковая дивизия, с этих пор получившая право носить почётное звание Любанская.

Разведывательные группы дивизии после взятия Любани внимательно следили за поведением противника и обнаружили его отходящие колонны по дороге на Апраксин Бор. К 29 января противник был окружён, дорога перерезана в районе 37,8 км. Эту задачу выполнили бойцы 1241-го стрелкового полка. В течение 30 января противник пытался прорваться, предпринимал неоднократные контратаки, поддерживаемые сильным огнём артиллерии, крупнокалиберных пулемётов и пехотного оружия. Одновременно немцы атаковали из Апраксина, чтобы обеспечить выход своим отрезанным подразделениям.

В течение суток 1242-й пехотный полк вёл бои по уничтожению живой силы противника. Другие два стрелковых полка (1244-й и 1246-й) отбивали контратаки немцев, идущих из Апраксина на помощь своим окружённым частям. Для отражения контратак противника на прямую наводку были поставлены орудия второй и седьмой батарей 942-го артиллерийского полка и орудия полковой артиллерии. В результате двухдневных боёв группировка противника была частично уничтожена и частично рассеяна. Было уничтожено много немецких солдат и офицеров, разбито 4 орудия, 8 пулемётов, 9 автомашин. В боях были захвачены следующие трофеи: орудий разных калибров — 34, пулемётов — 38, автоматов — 32, винтовок — 134, автомашин — 111. Было захвачено 15 различных складов.

С рассветом 31 января части 374-й Любанской дивизии перешли к преследованию противника в общем направлении на город Луга. В боях за освобождение города Любань многие солдаты и офицеры дивизии отличились мужеством, бесстрашием и прекрасной выучкой. Многие оставили жизни на полях под Любанью. Память о них останется в наших сердцах навсегда.

В боях за освобождение города Любань мне участвовать не удалось, так как 14 ноября 1943 года в боях перед Вороново я получил тяжёлое ранение головы и находился в госпитале. О сражениях 1944 года, в которых принимали участие войска 374-й Любанской стрелковой дивизии, мне рассказывал бывший заместитель командира первого дивизиона 942-го артполка майор Яков Иванович Жильцов, участник этих боёв, ныне проживающий в городе Красноярске.

П. Рожков, 22.01.1977 года.

В конце января советские войска прорвали блокаду Ленинграда. Девятисотдневная осада города на Неве закончилась. Закончилась и боевая судьба Волховского фронта. Его части были переданы

Ленинградскому и Второму Прибалтийскому фронтам. Управление фронтом перешло в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. Это произошло пятнадцатого февраля 1944 года. А двадцать пятого февраля Павел Рожков выписался из госпиталя и получил назначение на Ленинградский фронт — командиром 725-го артиллерийского полка 196-й Гатчинской стрелковой дивизии. И хотя воевать на Ленинградском фронте ему пришлось недолго, он вместе со своим полком участвовал в освобождении Прибалтики и ещё дважды был ранен: в июне сорок четвёртого — пулей в стопу левой ноги, в августе — в районе Лауры (Латвия) получил пулю снайпера в бедро. Павел Иванович считал эти ранения лёгкими, хотя именно они, в конце концов, стали причиной самых тяжких его физических страданий на склоне лет.

А в ноябре сорок четвёртого Рожков становится слушателем Высшей офицерской артиллерийской школы сначала в Ленинграде, а затем в Коломне — под Москвой. Здесь, в Коломне, Павел Иванович и встретил Победу.

«Как бы хорошо мы ни представляли ход военных действий на территории фашистской Германии, — вспоминает он, — сообщение Советского Информбюро буквально поразило и необыкновенно обрадовало! Конец войне! И хотя мы уже не были участниками последних боевых операций, но нас, офицеров Советской армии, с огромной теплотой и сердечностью встречали, приветствовали, обнимали и целовали, не стесняясь слёз и дрожащего голоса, взволнованные мужчины, женщины и дети Коломны и Москвы».

Тринадцатого мая 1945 года, успешно сдав выпускные экзамены, Рожков получил направление на Третий Украинский фронт — в город Субботицу, что в Югославии. Так началось «военное турне» Рожкова по израненной Европе. По дороге к месту службы — в Вене — Рожков узнал, что штаб Третьего Украинского фронта из Югославии выбыл и теперь дислоцирован в Австрии, в предместье Вены — Бадене, знаменитом курорте, излюбленном месте отдыха русской богемы и аристократии, многократно воспетом на золотых страницах русской прозы… Вот где неутолимая «культурная жажда» молодого русского офицера получила некоторое удовлетворение! Он бродил по улицам Вены, наслаждаясь красотой её архитектуры… восхищался разнообразием экзотических цветов и деревьев в роскошном Баденском ботаническом саду. Это были мирные впечатления, питавшие воображение молодого человека почти забытыми интеллектуальными импульсами… Всё говорило Рожкову о том, что война для него — закончена, и его, только что подтвердившего свою высокую военную квалификацию, неудержимо потянуло домой, к любимому гражданскому ремеслу — цветной металлургии.

В Бадене, в штабе армии, Павел получил направление на должность начальника штаба 985-го Будапештского артиллерийского полка 320-й стрелковой дивизии. Полк, как и другие русские войска, двигался на Родину шоссейными дорогами по только что освобождённой от немцев Европе, и Рожков — где поездами, где на попутных машинах — догонял свой новый полк, пока не догнал его в Румынии, в небольшом селении недалеко от города Клуш.

«Поездка по странам Европы, только что освобождённым Советской армией, — пишет Павел Иванович в военных записках, — позволила мне лично убедиться в горестном положении народов Польши, Германии, Чехословакии, Австрии, Венгрии и Румынии. Простые люди, пережившие ужасы фашизма, с большой благодарностью относились к нам, советским офицерам и солдатам, окружали нас вниманием, заботой, сердечной дружбой. Наши солдаты и офицеры оказывали нуждающимся людям всевозможную помощь и привлекли к себе доверие и любовь освобождённых от фашистского ига людей разных национальностей».

Сегодня эти искренние, бесхитростные строчки читаются с особым чувством! Волна надругательств над памятниками советским воинам-освободителям, прокатившаяся по Прибалтике в последние несколько лет… Злобное «оккупанты» о советских войсках, освобождавших Европу, на страницах рижских и таллиннских газет… Потоки бессмысленных обвинений в адрес Советского Союза с высоких трибун в Латвии, Литве, Эстонии, за мирное свободное будущее которых сложили головы тысячи русских парней… Коротка память, да ложь длинна. И всё меньше остаётся свидетелей, которые могут собственным примером опровергнуть эту ложь. Павел Иванович Рожков не понаслышке знал аргументы против клеветы, возводимой на советского солдата. Как же болело его сердце, сердце ветерана Второй мировой, когда он с ней сталкивался!

985-й артиллерийский стал третьим полком, в котором ему довелось служить, но родной 942-й всегда оставался для него самым лучшим, самым организованным и надёжным — по всем статьям! Павел Иванович отмечает в своих записках: «Побывав во всех подразделениях своего нового полка, познакомившись с личным составом штаба, я невольно с чувством гордости вспомнил свой первый родной полк, где всё было отлажено замечательным офицером-артиллеристом, умным и храбрым красноярцем А. Г. Фоминым».

Длинный путь полка на родину закончился в Каменец-Подольске на Украине. Здесь, в Прикарпатском военном округе, началась постепенная демобилизация — сначала рядовых солдат, а затем и офицерского состава. Последнее военное

подразделение, штабными делами которого распоряжался Рожков,—1837-й гаубичный полк 503-й артиллерийской бригады. Павел Иванович занимался его демобилизацией, мечтая о возвращении к инженерной работе. Наконец многочисленные просьбы начальника штаба об увольнении в запас были удовлетворены, и двадцать восьмого июня 1946 года он едет домой, в Красноярск. В Москве—остановка. Надо ведь решить ещё проблему трудоустройства. Рожкова принимает начальник «Главникелькобальта» А. А. Миронов, которого Павел знал ещё студентом. Тот предложил Рожкову работу по специальности на комбинате «Печенганикель», расположенном на Кольском полуострове. В тот же день Павел познакомился с директором комбината Шевелёвым. Состоялся долгий, заинтересованный разговор… для отказа от назначения у Павла Ивановича вроде бы не было оснований. Директор и будущий специалист «Печенганикеля» договорились, что вместе вылетят на комбинат, как только закончится московская командировка Шевелёва. Казалось, вот она, судьба! Но… «крылатое счастье» Рожкова и здесь напомнило о себе, в который раз спасая ему жизнь и круто меняя направление личной истории.

Благодаря предложению Шевелёва у Павла оказалось несколько лишних дней в Москве. Он потратил их на то, чтобы встретиться со старыми московскими друзьями, с дорогими его сердцу профессорами МИЦМИЗА. В первую очередь он отправился на Крымский Мост, 3, где тогда находился институт цветных металлов и золота. Ему повезло. Он смог в один день увидеться и поговорить и с В. А. Ванюковым, и с А. А. Цейдлером, и с академиками Д. М. Чижиковым и И. Н. Плаксиным.

«В знакомом мне кабинете,—пишет Павел Иванович,—где в тридцать восьмом году нашей группе МТ-34 Игорь Николаевич читал факультативный курс металлургии благородных металлов, я увидел Плаксина и ещё одного человека с очень характерными чертами лица. Игорь Николаевич, знакомя нас, подчеркнул, что мы—однокашники, выпускники „Минцветметзолота“.

„Селивёрстов… Николай Степанович, главный инженер Красноярского аффинажного завода“,—представил незнакомца Плаксин. Тут же завязался разговор. Селивёрстов с воодушевлением рассказывал о своём заводе, о перспективах его развития. И когда узнал, что я красноярец, что родители мои живут в Красноярске, стал настойчиво убеждать меня оставить идею поездки на „Печенганикель“, а вернуться на родную сибирскую землю. Игорь Николаевич предложение Селивёрстова решительно поддержал. И добавил, что директор аффинажного завода—тоже выпускник нашего института и бывший аспирант кафедры тяжёлых цветных металлов Николай Дмитриевич Кужель. „Кроме того,—сказал Плаксин,—мне хорошо известно, что на Красноярском заводе работает ещё один инженер-металлург нашего института, Дмитрий Васильевич Филатов“.

Филатова я немного знал по институту. Он учился на курс старше меня. Таким образом, на Красноярском аффинажном заводе непроизвольно сформировалась серьёзная корпорация инженеров-металлургов Московской высшей технической школы. Всё складывалось наилучшим образом. Всё благоприятствовало моему возвращению к месту ссылки опального деда-украинца. Решение было принято. Я поблагодарил Игоря Николаевича, и видно было, что он удовлетворён.

Вместе с Селивёрстовым мы встретились с начальником Главного управления лагерей МВД СССР полковником Добровольским. Разговор был деловым, коротким. Добровольский отдал распоряжение о моём оформлении на Красноярский аффинажный завод.

Итак, проблема трудоустройства решена наилучшим образом. Необходимо перед отъездом в Красноярск заглянуть к Миронову. Когда я вошёл в кабинет начальника „Главникелькобальта“, Александр Александрович встал, пошёл навстречу, пожал мне руку и сказал: „Ты—счастливый человек!“ Естественно, я его спросил, в чём же моё счастье. И он рассказал, что директор комбината „Печенганикель“ Шевелёв не стал ждать моего прихода в главк, чтобы оформить назначение и вместе с ним улететь на комбинат. Шевелёв и его сотрудники поспешили очередным рейсом из Москвы вылететь на Кольский полуостров. Но случилось непредвиденное: самолёт потерпел аварию недалеко от комбината, и все, кто был на борту, погибли: и экипаж, и пассажиры…»

Так замкнулся—и тут же разомкнулся—очередной виток судьбы моего героя. Он начал войну старшим лейтенантом, закончил—майором. Заслужил боевые награды. Не раз смотрел смерти в глаза. Шесть раз был ранен и перед тем, как вступить на дорогу, открывающую новый горизонт,—чудом!—избежал трагического конца! Военный этап закончился для Павла Ивановича такой яркой, страшной и в то же время счастливой метой, что невозможно было не вдохнуть полной грудью ветер свободы и надежды, который настойчиво звал Рожкова в Красноярск! Он едет в поезде на родину, смотрит на пролетающие за окном вагона берёзовые рощи, горные перевалы, степи и тайгу—и вспоминает о городах и сёлах, ландшафтах и достопримечательностях тех мест, которые он наблюдал, следуя дорогами войны сначала с востока на запад, потом—с запада на восток. До австрийских Альп и обратно в Россию.

«О друзьях-товарищах…»

Из личного архива П. И. Рожкова

Журналист-краевед Иван Лалетин в заметке о Рожкове, опубликованной в газете «Красноярский рабочий» (3 ноября 2000 года), специально отметил: «Встречаясь с молодёжью, Павел Иванович рассказывает школьникам не столько о себе, сколько о тех замечательных людях, с которыми его сводили жизненные дороги — и фронтовые, и производственные». То же самое почувствовала и я, разбирая архив экс-директора «Красцветмета». Очевидно, он готовил материал для большой книги воспоминаний о войне. Сохранилось несколько почти готовых очерков о фронтовых друзьях, а также отрывки, наброски… Кое-что, видимо, предназначалось для работы журналистов. Один из очерков Павел Иванович заканчивает так: «Конечно, это очень беглое, поспешное и слабое повествование, и если вы что-нибудь из него получите, чтобы оставить память у норильчан об их земляке, я буду очень благодарен и удовлетворён». По сути дела, в этих простых словах заключено своеобразное завещание самого Рожкова, и я считаю долгом в этой книге отвести несколько страниц — воспоминаниям Павла Ивановича о фронтовых друзьях.

О В. А. Яковкине

Владимир Авенирович Яковкин окончил астрономическое отделение физико-математический факультета Ленинградского государственного университета задолго до начала Великой Отечественной войны. По зову сердца молодой астроном уехал на Чукотку, на самую отдалённую факторию, где находился астрономический пункт Академии наук СССР. Там, в девственной тундре, Яковкин вёл астрономические наблюдения на передвижных пунктах на некотором расстоянии от фактории. По ночам он занимался своей работой, а днём, после короткого отдыха, в одиночку ходил по тундре, изучая её природные особенности. Однажды каюр, местный абориген-чукча, который на собачьей упряжке перевозил Яковкина с аппаратурой к намеченному участку, посидев сутки в палатке, заявил, что ему пора, сидеть на месте он больше не может. Уговоры не помогли. Чукча уехал, как он объяснил, к своему старому другу, которого давно не видел и который живёт недалеко, «километров шестьдесят-семьдесят отсюда». Яковкин не в шутку встревожился. Но сделать ничего не мог. Ему оставалось только ждать свой «транспорт» обратно. Но каюр слово сдержал (как, впрочем, и всегда впоследствии). Он вернулся бодрым, радостным и разговорчивым. В гостях его хорошо угощали, о чём он поведал в деталях, энергично жестикулируя. Каюр огорчался: «Сейчас, куда ни поедешь, везде люди. Плохо. А вот раньше было хорошо. Выйдешь в тундру — тишина, никого нет, ни одного человека. Знаешь, как весело! Теперь скучно. Очень скучно».

Когда началась война, Яковкин покинул Чукотку. На это решение повлияла и его личная драма. Владимир Авенирович разошёлся с женой и с горечью оставил любимое дело. Приехав в Игарку, Яковкин встал на военный учёт, и его довольно быстро призвали в Советскую армию. Владимир был этому рад: жизнь не сложилась — так появился достойный выход! Между Игаркой и Красноярском курсировал тогда пароход «Спартак». На нём Яковкин и отправился на «материк». И здесь, на борту парохода, неожиданно встретил свою судьбу… Это была молодая, стройная, очень красивая девушка, студентка педагогического института. Она возвращалась с летних каникул на учёбу в Красноярск. Фамилия у девушки была интересная, звучная — Чернобровкина. Молодые люди, казалось, всю жизнь только и ждали этой случайной встречи! Шла война, никто не мог даже отдалённо предположить, какие испытания уже совсем скоро выпадут на долю всей страны и каждого, и, пока «Спартак» не спеша двигался по Енисею в направлении Красноярска, они решили пожениться. Вскоре в одном из красноярских загсов была зарегистрирована новая семья. Но совместная жизнь молодых продолжалась недолго. Владимиру нужно было ехать к месту службы — в Назарово, где формировался 942-й артиллерийский полк, — вступать в должность старшего адъютанта второго дивизиона.

Мы с Володей подружились мгновенно. Наши отношения были почти идеальными. И хотя мы были равны по званию, я старательно учился у него. И недаром! Всё, что он делал, было отмечено основательностью и творческим походом. Его оперативные и топографические разработки были уникальны! Это заметил командир полка майор А. Г. Фомин, и положение Володи в полку изменилось. Его перевели в штаб полка на должность помощника начальника штаба по разведке (ПНШ-2). До этого должность ПНШ-2 занимали два кадровых офицера. Но получалось так, что Фомин и Тихомиров не слишком одобряли их работу. Мои отношения с ними также не ладились, потому что они были кадровые военные, а я — с гражданки, и… слишком разное у нас было образование. Приход Володи Яковкина в штаб полка был для меня как праздник! Конечно, он был интеллектуал высшей академической пробы! Но и практикой владел в совершенстве. Его отец, Авенир Алексеевич Яковкин, профессор, известный в стране астрономом, работал в то время в Киевской обсерватории. Когда мы с Володей говорили о его отце, он как-то в порыве откровенности признался, что ничего не понимает в той астрономии, которой занимается профессор Яковкин. Может быть, в этом была доля

свойственной ему скромности, но был, конечно, и особый смысл. Академическая наука всегда академична, а Владимир тянулся практике, к жизни. Наша совместная работа в штабе артиллерийского полка стала для меня интересна и необременительна. Находилось время для задушевных бесед, мечтаний, хотя объём нашей деятельности всё время возрастал. Ежедневная оперативная работа, сводки, доклады в штаб дивизии, разведданные за сутки… Но Владимир всё делал быстро, чётко, красиво. Помимо всего прочего, он хорошо рисовал, чертил, быстро делал сложные расчёты… Словом, во всём, что он делал, чувствовался талантливый математик.

После того как Яковкина перевели в штаб полка на должность ПНШ-2, все дела разведки приняли другой оборот. Это было уже под Спасской Полистью, на Волховском фронте. Хорошо знавший математику, геодезию, топографию, новый ПНШ-2 изменил всё по существу. Разведка стала активной, действенной. Мы систематически, в разное время суток, выходили на наблюдательные пункты полка и дивизионов. Создавалась более полная разведсводка о противнике, его численности, передвижениях, инженерных работах, производимых солдатами…

Так как стрелковый полк, который мы поддерживали, был размещён впереди, в первых траншеях нашей обороны, то мы с Володей Яковкиным решили побывать на участке одного стрелкового батальона — посмотреть, как обстоят дела у тех, кого мы поддерживаем огнём. Нам предстояло переправиться через речку Полисть, а затем по открытой местности перебежать на наблюдательный пункт командира батальона, в первую траншею. Наше «путешествие» совершалось на глазах занимавших Спасскую Полисть немцев. К всеобщему (то есть нашему и пехотинцев, к которым мы двигались перебежками) удивлению, противник хотя нас и видел, но ничего не предпринимал, так сказать, наблюдал молча. Наш визит для бойцов стрелкового батальона и их командира-старшины оказался приятной неожиданностью. Старшина показал нам свой участок обороны, его огневую систему, укрытия, всё хозяйство, пристрелянные их и наши артиллерийские, цели. С самой выгодной точки его обороны старшина показал нам всю систему обороны немцев. Рассказал о том, как они и немцы соседствуют.

Стояла ранняя весна. Общая обстановка не позволяла вести активные наступательные действия. Да и сил не было ни у нас, ни у немцев. Всё сводилось к взаимному строгому наблюдению за противником. Мы с Яковкиным перезнакомились с людьми, с хозяйством, с их образом жизни и во всех тонкостях условились, как будем держать связь, как будем отражать атаки, если немец решится атаковать. Наше гостевание у родной пехоты завершилось «званым обедом» с фронтовыми ста граммами. А затем — обратный марш на КП артполка, в свой штаб. Наши друзья-пехотинцы были готовы прикрыть наш переход по предполью. Они внимательно следили за нашим перемещением по долине реки. Немцы сделали было несколько автоматных очередей, но вскоре затихли. Видимо, друзья-пехотинцы успешно вступились за нас. Заставили немцев замолчать.

Благополучно вернувшись в штаб, мы подробно доложили Фомину и Тихомирову о состоянии батальона, его обустройстве и готовности к отражению противника. Готовность была перманентная…

В установившейся жизни полка изредка наступали светлые, радостные дни. В полк приходила полевая почта. Газеты фронтовики получали постоянно и во множестве. А получение писем — дело особое. Наступил момент оптимистический. Письма читали. На письма отвечали. Володя получил несколько писем от родителей. Они тогда жили в Свердловске. Авенир Александрович работал на Свердловской обсерватории. Мама занималась домашним хозяйством. Сестра Катя училась в аспирантуре. Все понемногу писали. Больше всех — мама Володи. Её письма были необыкновенно интересные, просто маленькие литературные шедевры. Светлые, лиричные. Щедрое на любовь сердце Володиной мамы, её высокий интеллект глубоко запечатлелись в её письмах. Мы читали эти письма всем составом штаба. Мы все её любили. До сих пор помню, как Володина мама проводила аналогии нынешней войны с Отечественной войной 1812 года. Она посвятила много строк героям той войны — Лунину, Раевским, Платову и другим героям-патриотам. Переписка продолжалась довольно долго, но ранения и госпитали в конце концов разорвали эту связь и для меня, и для Володи…

Во время синявинских боёв Яковкин получил назначение на должность начальника штаба артиллерии 374-й дивизии, а ещё раньше наш командир полка А. Г. Фомин был назначен на должность командующего артиллерией дивизии. Когда под Синявино сложилась особенно острая обстановка, Фомин лично прибыл в полк и уже как командующий приказал майору Н. И. Чистякову принять командование полком. А я стал начальником штаба полка. Двадцать девятого сентября 1942 года я принял штаб во время выхода наших подразделений из синявинского окружения. С тех трагических дней я долго ничего не знал о Яковкине. Но неожиданно меня нашло его письмо. Он писал, что находится в городе Семёнове, является слушателем Высшей артиллерийской штабной школы и скоро заканчивает курс. А его жена благополучно закончила институт, приехала к нему в Семёнов, и они безмерно счастливы. Следующее письмо от Володи я получил спустя долгое

время. Он писал, что командует артиллерийским полком. Его жена получила военную специальность и служила в полку вместе с мужем. Такие пары, женатого командира полка и его жену-военнослужащую, приходилось иногда встречать в некоторых дивизиях. Это было нормально, даже красиво. Но—стало причиной новой семейной трагедии Яковкина. Во время налёта немецкой авиации на командный пункт полка жена Володи погибла, а он сам получил тяжёлое ранение в ногу. Он был лишён возможности двигаться. В этот момент группа немецких разведчиков увидела раненого офицера. Немцы захватили Яковкина, уложили в плащ-палатку и ускоренным шагом двинулись на запад по шоссе. Но нашлись храбрые русские бойцы и бросились наперерез убегающим немцам, несущим в палатке раненого командира полка. За такой трофей немецких разведчиков ждала награда. Видно, от предвкушения они потеряли бдительность и попали под огонь наших солдат. Несколько немцев были убиты. Остальные рассеяны по лесу. Разведчики и связисты Яковкина вынесли своего командира из опасной зоны. А потом—госпиталь. Оттуда я и получил это печальное письмо.

Кончилась война. 25 июля 1946 года я демобилизовался. Первого сентября поступил на работу на Красноярский аффинажный завод. После фронта работа на заводе увлекла. Я много читал, экспериментировал, сделал несколько удачных исследований. В 1948 году мне вместе с группой инженеров завода за разработку методов получения чистых металлов была присвоена Сталинская премия. Это был первый итог инженерной работы металлурга, вернувшегося с фронта. Было много поздравлений, приветствий, торжеств… И вдруг приходит небольшое письмо. На конверте: «СССР. Лауреату Сталинской премии Рожкову Павлу Ивановичу».

Астроном-артиллерист Яковкин поставил верный прицел. Цель достигнута. Он нашёл меня. Полковник Владимир Авенирович Яковкин, как всегда, точен. Привет тебе, друг мой Володя. Астроном. Артиллерист.

О В. А. Елисееве

Среди личного состава 942-го артиллерийского полка, как и в составе других частей и подразделений нашей дивизии, было много выходцев из разных городов и населённых пунктов Красноярского края. В том числе—и из Норильска. Но за годы войны и долгие послевоенные годы имена и лица их исчезли из моей памяти. Но я никогда не забуду одного замечательного норильчанина, бывшего директора средней школы, Владимира Андреевича Елисеева. Когда я работал в Норильске (39–41 гг.), мы не были с ним знакомы. Может быть, он и слышал обо мне, так как нас, инженеров-металлургов, тогда было мало в Норильске, а я был на заметной должности. Наше знакомство состоялось в Назарово в октябре 1941 года. Елисеев начал свою службу командиром взвода штабной батареи. По характеру службы и работы мы с ним часто встречались. Он уже в то время отличался от многих офицеров полка внешней подтянутостью, строгой личной дисциплиной. И всё же особенно близко мы сошлись—и в личном, и в служебном отношении,—когда полк весной 1942 года стоял в обороне после жестоких зимних наступательных боёв.

Главной отличительной чертой В. А. Елисеева была естественная человеческая простота. За всё время нашего пребывания в действующей армии и в мирное время я никогда не слышал, чтобы он повышал голос, его разговор всегда был ровным, спокойным, но таким убедительным, что повторения не требовалось. Всё было ясно. Так было, и когда он отдавал распоряжения подчинённым, и когда докладывал начальнику по службе в штабе полка. Офицерам, мобилизованным в армию в первые дни войны, как правило, выдавалось самое простое обмундирование. Гимнастёрка, шаровары, шинель, полушубок были точно такими же, как у рядовых солдат и сержантов. Но на Елисееве эта простая полевая военная форма сидела так ловко, так красиво, что казалось, будто он её подгонял с помощью умелого портного. На самом же деле это было обмундирование общего пошива, полученное с полкового склада и тотчас же надетое. Пистолет ТТ он носил в простенькой дерматиновой кобуре, а полевая сумка, тоже дерматиновая,—на плетёном матерчатом ремне. У других офицеров это всё было нескладно, торчало в разные стороны, а на Елисееве—выглядело настоящим офицерским обмундированием, сделанным из добротной кожи. Надо же было уметь так прилаживать на себе обыкновенное снаряжение, что даже тогда, когда Владимир Андреевич оказывался рядом с офицером, затянутым в роскошную командирскую портупею, то и тогда присутствующие замечали сначала Елисеева и только потом переводили взгляд на остальных офицеров.

Я вполне уверен, что в своей работе командира батареи Елисеев применял свой многолетний опыт педагога-воспитателя, недавнего директора школы. Он провёл большую работу по укреплению морально-бытовых качеств личного состава батареи. С большим умением и тактом Елисеев связывал командование людьми с политической работой. Его подразделение всегда отличалось особым боевым патриотическим духом. Военная зима сорок первого—сорок второго года в районе станции Мостки была очень суровая, снежная, а весна—тёплая и дружная. Снега сходили-таяли очень быстро. И все низменные участки были залиты вешними водами, а многочисленные лесные болота превратились в труднопроходимые топи.

Озёрные заболоченные участки леса были непроходимы для артиллерии и танков. Продовольствие, боеприпасы и документы доставлялись только верхом или пешим порядком. Елисеев в это время командовал штабной батареей, которую превратил в одно из самых успешных подразделений полка. Солдаты, сержанты и офицеры штабной батареи всегда имели бравый, опрятный, подтянутый вид, несмотря на крайне тяжёлые бытовые условия… Батарея обеспечивала командование полка информацией, связью, топографическими данными. Каждое утро, ещё до рассвета, Елисеев появлялся в штабном блиндаже и на командном пункте командира полка. Он всегда был впереди колонны бойцов, которые шли сменить своих товарищей, несущих ночную службу на кп. Как сейчас вижу Владимира Андреевича в телогрейке, перетянутого ремнями, с пистолетом и планшетом на боку, с длинной палкой в руке—для безопасности на болоте. Он бодро подходит к штабному блиндажу, на ходу подавая голос, узнавая, все ли мы живы и здоровы, тепло и дружелюбно приветствуя нас. Это был человек огромной энергии, всегда бодрый, жизнерадостный. Офицеры штаба полка всякий раз искренне радовались его приходу. К подчинённым Елисеев был добр и справедлив. Он знал их заботы и нужды, и они платили ему доверием и уважением.

Когда я уже был начальником штаба полка, Елисеев стал моим первым помощником (пнш-1). В те моменты боя, когда все явления скоротечны, а приказы и распоряжения должны быть исчерпывающи, кратки, точны и ясны, наше взаимопонимание с Владимиром Андреевичем было главным средством успешного и быстрого решения всех вопросов, возникающих во время боя. В короткие промежутки между маршами и боями, в часы кратковременного отдыха мы разговаривали с Елисеевым о том, что интересовало и волновало нас обоих: о Норильске и его богатствах, о Завенягине, о его таланте руководителя и инженера, много говорили об исходе войны, втором фронте, о тех местах, где приходилось воевать или отдыхать, о литературе и искусстве… Вместе с Елисеевым в штабной батарее 942-го артиллерийского полка служил молодой офицер Леонид Щербань, уроженец Сумской области, выпускник специального артиллерийского училища, которое он перед войной закончил с отличием. Щербань имел отличную военную и артиллерийскую подготовку, хорошо стрелял, быстро готовил данные для стрельбы по целям, умело управлял батареей, дивизионом и корректировкой огня. У капитана Елисеева не было специального артиллерийского образования, поэтому, подружившись с молодым офицером, он тактично и настойчиво использовал его знания для собственного совершенствования в военном деле, применял их в практике ежедневной боевой жизни. А Щербань, со своей стороны, «подпитывался» от старшего друга знаниями из области науки, литературы, истории, искусства. Это была прекрасная дружба двух боевых офицеров.

В сентябре сорок второго года В. А. Елисеев в звании капитана был назначен помощником начальника штаба полка, я к этому времени получил назначение на должность заместителя командира дивизиона. Наши встречи стали реже, но я знал по документам, которые поступали в дивизион, что и на новом месте Елисеев работает самоотверженно и квалифицированно. После неудачных боёв в течение почти всего сентября сорок второго в районе Синявино 374-я стрелковая дивизия и наш артиллерийский полк вместе с другими соединениями, участвовавшими в боях по прорыву обороны противника вокруг Ленинграда, оказались в окружении. Был получен приказ командира армии о выводе войск из окружения. Я выходил из окружения вместе с тогдашним командиром 942-го артполка майором Чистяковым. Капитан Елисеев тогда, рискуя жизнью, спас знамя полка и секретную штабную документацию.

Вскоре Владимир Андреевич был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в штаб восьмой армии. Пришло время расставания с большим, надёжным другом и верным товарищем. Как водится, мы немного посидели, хорошо побеседовали, выпили по фронтовой порции русской водки из алюминиевой кружки и расстались, договорившись, что встретимся «в шесть часов вечера после войны» в Красноярске, как тогда шутили на фронте. Я ему дал адрес моих родителей. Больше за время войны мы не встречались. Редкие фронтовые письма его извещали, что он получил назначение на должность начальника штаба минометного полка и воевал где-то недалеко от меня на Волховском фронте. Уже в сорок четвёртом году мы получили известие, что капитан—а в то время, видимо, уже майор—Елисеев получил тяжёлое ранение в голову.

Я демобилизовался из рядов Советской армии летом 1946 года и возвратился на родину, в Красноярск, где с первого сентября приступил к работе на Красноярском аффинажном заводе. В последних числах сентября в доме моих родителей был обычный семейный вечер: много гостей, родных и знакомых, у всех весёлое, бодрое настроение, за столом шла оживлённая беседа. Вдруг в окно, выходящее на улицу Маркса, громко постучали. Мама подошла к окну и спросила, кто стучит. Последовал вопрос: «Иван Павлович Рожков здесь живёт?»—«Да»,—ответила мама. «А майор Павел Рожков здесь сейчас? А то мы договорились встретиться по этому адресу „в шесть часов вечера после войны“…» Когда мама об этом сказала замолкнувшим гостям, я бросился навстречу дорогому Владимиру Андреевичу, как

всегда, аккуратному, подтянутому, с гвардейской выправкой. Застолье продолжилось, но только ещё более радостное, праздничное. Ведь теперь это была ещё и встреча старых фронтовых друзей. Трудно передать словами чувства, которые охватили нас. И чувства удивления и восторга в душе гостей… В разговорах обнаружилось, что у нас с Елисеевым у обоих осколочные ранения в голову и что мы оба остались живы благодаря случайности. Понятно, что мы тогда засиделись до глубокой ночи, а потом простились. Елисеев уехал опять в Норильск, а я продолжал жить и работать в Красноярске.

За долгие годы работы на Красноярском заводе цветных металлов мне приходилось не раз по служебным делам бывать в Норильске, и мы, конечно, с Владимиром Андреевичем встречались. Я всегда был желанным гостем его семьи. Были разговоры, горячие задушевные беседы — ведь позади остались тяжёлые годы большой грозной войны. Вспоминали о друзьях-товарищах, однополчанах — капитане Щербане, старшем лейтенанте Литвине и других товарищах, сложивших головы в боях. Через некоторое время Владимир Андреевич переехал в Красноярск, работал заместителем директора Красноярского алюминиевого завода. Наши встречи стали чаще и были связаны не только с воспоминаниями о прошлой войне, но и с работой, так как оба завода входили в один Красноярский совнархоз, а позднее — в одно министерство цветной металлургии СССР. Владимир Андреевич и здесь был таким же пунктуальным и точным, по-офицерски подтянутым, несмотря на гражданский костюм. Солдат всегда и везде остаётся солдатом. Внезапная смерть друга поразила меня, эту тяжёлую утрату я тяжело переживаю и сейчас.

О К. И. Тихомирове

В Назарово, к месту формирования 942-го полка, капитан Тихомиров прибыл из Забайкальского военного округа, где служил в кадровом артиллерийском полку. С первой же встречи он произвёл на меня самое благоприятное впечатление. Высокий, стройный, атлетического сложения, он показался мне образцовым офицером. У меня было убеждение, что именно такие офицеры во все времена были красой, гордостью и силой русского воинства! Они рождались для военного дела и всю свою сознательную жизнь, всё, что имели, до последнего дыхания, отдавали вооружённым силам Родины.

Д*и*Н ПАРОДИЯ

Евгений Минин

В Москве небезопасно…

Гадский Федя

А мне Федю бы, только Федю бы.
Он стихи мне читал год назад.
Я смотрела потом в Википедии:
У Есенина стырил, гад.
Полина Орынянская

Приключилась со мною трагедия,
Федя был для меня идеал.
Как любила красивого Федю я —
Он стихи на свиданьях читал.
Я прогнала его раньше срока,
Хоть стихи всех поэтов подряд
Мне читал — Евтушенко и Блока,
Но мои не читал!
Вот уж гад!

Сомневательное

Продажи водки в гору шли.
И мой товарищ рвался страстно
к жене, как Пушкин к Натали,
хотя в Москве небезопасно.
Владимир Салимон

Когда мы приняли на грудь
в соседнем сквере, где прохлада,
приятель молвил: — Здесь побудь,
а мне к жене немедля надо.
Меня оставил он, нахал,
допив остаток водки, кстати,
а к чьей жене рванул приятель —
к своей, моей ли — не сказал.

Юрий Беликов, Геннадий Красников

На Марсе — то же, что и на Земле, или Пандемия ничего не меняет

Уже в ранних стихах его возникает то, что не может не дать малая родина, если, конечно, она ведает — кому: «Всклёк беркута в названии Максай…» Не всклик, не крик, как в случае с Бродским, ястреба, а звукоподражательный, с детства подслушанный «всклёк беркута». К тому же из двух отвернувшихся ястребов герб России не сложишь. Тут требуются беркуты.

А Максай — это барачный посёлок на Оренбуржье, где, собственно, и явился на свет будущий поэт Геннадий Красников. Да-да, он тоже насладился, будто есенинский Хлопуша:

> Оренбургская заря красношёрстной верблюдицей
> Рассветное роняла мне в рот молоко…

И пусть, преображённый распахнутой совестливостью и неубывающим чувством вины, чем и отличаются подлинно русские, живущие во Христе поэты, Красников не мог по определению обернуться вторым Хлопушей (да и зачем быть вторым?), однако «всклёк беркута» в нём живёт и поныне. Так позванивает внутри новогоднего шара отколовшаяся от его горлышка зазубренная частичка, когда этот шар извлекают из старинной ватной коробки, дабы им наградить ель, внесённую в ваш дом или на главную площадь страны.

По большому счёту Красников — праздничный, сферический, его переполняет восторг бытия (или — перед бытием?), но «всклёк»-то откололся, и хоть прохудившееся горлышко закрыто металлическими лепестками с петелькой, за которую крепится нитка, и скола внешне не видно, зато слышно, ежели шар встряхнуть…

Этот «всклёк» — во всём: обращается ли Красников к своим ушедшим «в заоблачный плёс» духовным отцам — поэтам-фронтовикам:

> Пусть молодые пишут для живых,
> а я уже давно пишу для мёртвых…

Пытается ли разбудить тех (всё-таки пытается!), о ком вряд ли «пишут молодые»:

> Хватит уже умирать под забором
> и перед каждым лукавцем и вором
> голову хватит склонять!

Пробует ли пересилить невозможное:

> В глухую стену, как подводник в «Курске»,
> стучи сильней, чтоб слышали в Кремле…

даже когда

> Царь-колокол молчит. Мертвым мертва Царь-пушка.
> Страна несёт свой крест. Безмолвствует народ

явственно клокочет тот самый красниковский «всклёк»; а уж ежели работающие без масок заплечных дел быковы подписывают приговор не туда идущей, с их точки зрения, стране и «безмолвствующему народу» («Дрова довольны, кто бы ни рубил их») — тем более «всклёк», уже обращённый к поруганной Родине:

> Не спрашиваю я, куда идёшь,
> я за тобой, иди, моя печальница!..

Красников не безотказен, но неподкупен. Хотя кто-то мог расценить как шахматный ход с далеко намеченными пожертвованиями стихотворное напутствие от Евгения Евтушенко к первому сборнику Геннадия «Птичьи светофоры». Но разве это означало, что автор «Птичьих светофоров» должен был отказаться от самого себя? Востроглазая российская провинция (вот он, очередной «всклёк беркута в названии Максай»!) тут же заприметит: как только евтушенковские «Строфы века» пошли на приступ читательских умов, следом, точно икона Богородицы в роднике, явилась антология, составленная Владимиром Костровым и Геннадием Красниковым: «Русская поэзия. XX век». А в ней, в отличие от «Строф века», немало той самой отверженной или забытой провинции — её высоких и низких голосов. Впоследствии «шестидесятники» осознают свой опрометчивый промах и станут его восполнять обмолвками о «лучших региональных поэтах», да только упоминаемые поэты никогда не числили себя «региональными», о чём ведал и ведает Красников. Но и это ещё не весь его «всклёк».

1. На «удалёнке» от самих себя

— Гена, согласись, нынешнее бытие, причём в мировом его охвате, разграничилось на своего рода числитель и знаменатель. В числителе — жизнь до пандемии, в знаменателе — период коронавируса.

Конечно, грозные предчувствия засылали к нам своих гонцов. Например, если бы мы начали этот диалог до объявления режима самоизоляции, я — точняком! — ухватился бы за фразу в одном из твоих писем ко мне — за строчку из «Варяга»: «Последний парад наступает». Или — по Красникову:

…Наступает наше время —
не прощаясь, уходить.

Думаю, речь — о поколении, чьё вхождение в литературу пришлось на восьмидесятые годы прошлого века. Но после того, как заступили за последнюю черту поэты-фронтовики и «шестидесятники», «фронт» — вплотную! — приблизился и к нам. «Наше, наверное, самое благополучное (в известной мне истории) поколение удостоилось дожить до такого всемирного перелома…» — прислал мне весточку из-под Иерусалима поэт Игорь Бяльский. Насчёт «самого благополучного» — вопрос. Может быть, в этом внешнем-то «благополучии» — главный наш и самый болезненный «перелом»?

— Юра, извини, поскольку я предполагаю, что в дальнейшем мы будем говорить о стихах, то позволь мне, к слову, вспомнить строки из моего давнего стихотворения, но оно, по-моему, имеет отношение к началу нашего разговора:

Русский ум на всём вопрос поставит,
вечный и тяжёлый, словно крест…

И дальше:

Потому отмерила непросто
путь нам наша русская верста,
та, что — от вопроса до вопроса,
та, что — от креста и до креста.

Собственно говоря, твой трагический вопрос только подтверждает мою мысль об апокалиптичности (эсхатологичности) мышления и мироощущения русского человека, христианского по сути (душа — христианка!) русского писателя — от автора «Слова о полку Игореве» с его грозными «знаками»-предупреждениями в природе как предвестиями несчастий, катастроф до беспокойного Юрия Беликова с его «своеначальным, жадным умом». Просто так глобально обозначаешь ты проблему «бытия», к тому же сразу в его «мировом охвате», в связи с, казалось бы, повторяемым в мировой истории событием: страшные эпидемии чумы, холеры, «испанки», выкашивающие целые города, как ты знаешь, всё-таки случались в разные времена… Кстати, от чумы умер Андрей Рублёв, от «испанки» — Гийом Аполлинер, а сейчас, пятнадцатого июля, в Оренбурге умер от «ковида» мой друг и земляк, замечательный поэт Геннадий Хомутов…

— Ну вот он, «последний парад»!.. Отсчёт-то уже начался.

— Вообще, ты задел самую болевую для нашего поколения тему — другой, более страшной «пандемии», которая забрала наших учителей — поэтов-фронтовиков и наших старших товарищей — поэтов-«шестидесятников»; только за последние три-четыре года я потерял очень близких мне людей — Новеллу Матвееву, Евгения Евтушенко, Ларису Васильеву, Андрея Дементьева, оказавших серьёзное влияние на мою судьбу в литературе и в жизни… Увы, эта «пандемия» возраста действительно, как ты заметил, подбирается и к нашему поколению, в котором тоже, кстати, потерь не перечесть, о чём так сильно и горько сказано у тебя в стихотворении «Книги мёртвых»…

— А ведь и у меня — почти те же самые утраты!.. Кажется, совсем недавно они звонили мне в Пермь: Евгений Евтушенко — из своего оклахомского Талса и Лариса Васильева — из подмосковного дома-музея танка т-34. Полагаю, ты посвящён в то, что Евгений Александрович и Лариса Николаевна друг друга не жаловали, тем не менее я, как и ты, был одарён дружбой и с его, и с её стороны. Наверное, это отдельная, ещё ждущая своего часа глава. Скажу лишь, что я стал одним из действующих лиц книги Евтушенко «Счастья и расплаты», равно как и повести Ларисы Васильевой «Исчезновение императора»… Я никогда не назову их «Книгами мёртвых», я лишь осознаю, что эти живые во всех отношениях страницы ныне, по какой-то неотменимой нелепости, мы вынуждены числить за авторством ушедших. Но в моём мобильнике и по сей день продолжают сосуществовать их телефонные номера… Я часто обращаюсь к их подаренным мне книгам, и не только во время так называемого режима самоизоляции, но и просто в трудные минуты… А режим самоизоляции, раз уж мы о нём заговорили, стал лично для меня чуть ли не естественной средой обитания. Не знаю, как ты, а я, по крайней мере, живу в таком режиме уже лет тридцать. Во всех смыслах — на «удалёнке»… Даже воспринял сей факт как знак свершившейся справедливости. И не только я так воспринял. Вот ещё одно свидетельство — уже из Новосибирска, от поэта-дикоросса Константина Иванова: «Говорят, на улице — изоляция, — пишет он, — а я её почти и не замечаю: слава Богу, давным-давно сам изолировался от сего неласкового мира. Склоняюсь к пиру во время чумы с избранными музами…» А к чему «склоняется» Геннадий Красников? Или, как он сам же в том же, про «наше время», стихотворении подытожил:

Больше ничего не будет,
кроме Страшного суда»?

— Давай так посмотрим на обозначенную тобой проблему в наших условиях, и есть ли она на самом деле… Марина Цветаева говорила, что она

писала бы, несмотря ни на какие обстоятельства, — и на необитаемом острове, и на Марсе, и в тюрьме, и в монастырской келье, и даже: «Если бы меня взяли за океан — в рай — и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая…» То есть не могла не писать. Василий Розанов, например, обратил внимание на два разных типа творческого поведения, сравнивая Пушкина и Лермонтова. Пушкин мог легко променять сидение за письменным столом на первую попавшуюся дружескую пирушку, на общество дам, и практически все его произведения были созданы в стеснённых обстоятельствах, в условиях вынужденной замкнутости — во время ссылки, дурной погоды и, наконец, эпидемии холеры в тысяча восемьсот тридцатом году, благодаря которой мы имеем золотую для нашей литературы Болдинскую осень… В письме Плетнёву он шутливо писал (нам бы, дорогой Юра, поучиться такому душевному равновесию!): «Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию… Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает». Как ни рвался он в Москву к молодой невесте Наталье Николаевне, а всё ж застрял в своём селе: чем не «самоизоляция», хоть и вынужденная?..

— Не единожды слышал от собратьев-пиитов: «Всем бы такое Болдино!»

— Вот только не у всех оно отзовётся Болдинской осенью! Если ты бывал в Болдино, ты видел отреставрированную церковь Успения Пресвятой Богородицы, на ступенях её паперти барин Александр Сергеевич ещё успевал встречаться с местными крестьянами, просвещая их по части гигиены, как защититься от смертельной заразы; одним словом, не жаловался на судьбу… Лермонтов же, в отличие от Пушкина, по замечанию Розанова, если начинал писать, то уже ни на что и ни на кого не отвлекался… Тоже ведь своего рода — самоизоляция… А для кого-то оно и вообще лучший вариант, чтобы люди не видели, что там у нас под маской.

Если же речь о невостребованности, о жизни «без читателя», как говорил Георгий Иванов в русском зарубежье на «дистанционном» карантине от изгнавшей его России, то это совсем другая история, более приземлённая тема, из области «заботы суетного света», которая, как было сказано выше, абсолютно не касалась Марины Цветаевой, не касается Поэта вообще, поскольку он есть функция, включающаяся в момент, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснётся»…

— Насчёт «слуха чуткого»: девятого мая по телеканалу «Россия» шёл фильм «т-34». И тут меня пронзила странная, какая-то вывернутая ассоциация: «Лагерь построен. Восемнадцать тысяч триста восемьдесят два заключённых. Триста восемьдесят пять больных. Тридцать два человека за ночь умерли…» Это ведь цитата нынешнего дня! Тот лагерь оглядывается на наш, не настоящее — на прошлое, а прошлое — на собственное будущее! В интервью Максиму Шевченко, который, по его утверждению, переболел коронавирусом, профессор-пульмонолог Федерального научно-клинического центра Александр Аверьянов обронил это короткое, всё объясняющее слово: «Война». То есть опять — «без объявления войны»? До первопричин «войны» теперешней ещё будут доискиваться. Пусть ими занимаются те, кому по штату положено. Меня даже не это интересует: «война» кого с кем? Волнует: что после «войны»?

— Начну с того, что телевизора у меня в доме нет, так что, кроме новостей по Интернету, я ничего не смотрю, а уж таких персонажей, как Максим Шевченко с его перекошенным от ненависти к России лицом, не смотрю тем более, в том числе в гигиенических для души целях, чтобы не подцепить заразу озлобленности…

Конечно, о событии иного масштаба, но с похожей реакцией на него, прибегну к ещё одной самоцитате. В две тысячи втором году в беседе для «Литературной газеты» с тогдашним главным редактором нью-йоркского «Нового журнала», моим другом Вадимом Крейдом, поэтом, историком литературы русского зарубежья, я спросил его, как человека, давно живущего в Америке: «Не кажется ли вам, что после известных событий одиннадцатого сентября две тысячи первого года, произошедших в Нью-Йорке, где, кстати, и издаётся ваш журнал, мир кардинально изменился? Зачем труд, зачем подвиги, зачем вечные истины, зачем „Новый журнал", зачем Толстой и Шекспир, если всё это заканчивается телевизионной картинкой рушащегося на глазах мира?» Знаешь, Юра, меня тогда удивил философский ответ Крейда, хотя сомнений моих он всё-таки не развеял: «В истории есть вехи, точки отсчёта. Анна Ахматова говорила, что календарный двадцатый век начался в четырнадцатом году, когда разразилась мировая война. В том же некалендарном смысле двадцать первое столетие открывается одиннадцатого сентября. Были взорваны человеческие жизни, но не смысл человеческой жизни вообще. Лицо реальности часто безобразно, но мировое безобразие, слава Богу, не отменяет ни смысла, ни творчества».

Я ведь так понимаю, что ты как раз и говоришь о «смысле человеческой жизни»?..

— Ну да — о смысле. И даже — о бессмысленности…

— Вот тебе и экзистенциализм по Беликову — «смысл и бессмысленность»… Да, можно обрасти бородой в самоизоляции, хотя это не для меня, можно вести дистанционные семинары со студентами, а вот сейчас я ещё дистанционно набирал новый курс, наблюдая абитуриентов на экране компьютера, как будто во время сеанса из космоса… А по большому счёту мы все обречены на одиночество — от рождения до самой смерти, и пандемия, в сущности, ничего не меняет. Скажу больше: на самом деле мы на «удалёнке» и от самих себя. Знаем ли мы себя до конца? В этом смысле — поэзия и есть акт самопознания, глубинного, увы, порой и саморазоблачительного, ужасающего нас, если в нас ещё сохранилась способность чувствовать муки совести и стыда, который и есть наш личный ад на земле… Оттого поэт и не может не писать…

— Или не может писать…

— Ну, это явно не про Беликова… Я недавно перечитывал твои сложные, экспрессивные стихи, часто похожие на мунковский «Крик» в русском, откровенно исповедальном варианте, беспощадном к собственной персоне, словно каждый раз в тебе рождается новый, неизвестный тебе человек, иногда, прости (ты же любишь брутальность в своих стихах!), похожий то на врубелевского «Пана», то на его же растерянного уставшего «Демона»… Это и есть — самопознание, которому не может помешать никакая пандемия, и это уже твоя другая реальность, которая останется, когда не будет тебя, останется — с читателем или без читателя, что не имеет значения…

Кстати, перечитывая твои стихи, я всё время недоумевал, почему ты не появлялся у нас в редакции альманаха «Поэзия», где мы в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века работали с поэтом-фронтовиком Николаем Константиновичем Старшиновым; ты бы, безусловно, стал автором нашего очень популярного и уважаемого в литературном мире издания… Но вот получается, что ты сам выбрал для себя добровольную самоизоляцию…

2. А повод для сбора — забылся

— Сам, да не сам. Согласись: Луна, и Марс, и другие планеты Солнечной системы стали Земле намного ближе? Разумеется, в техническом отношении. Человечество, можно сказать, уже там топчется. Вот и сегодня мы напрямую, нарушая масочный режим, общаемся друг с другом. А тогда, в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века, разве знал Красников о Беликове? Или Беликов — о Красникове?.. Конечно, мальчик из провинциального Чусового пытался выходить в открытый Космос. Помню, где-то в конце семидесятых — с заветной запиской во внутреннем кармане от легендарной Надежды Гашевой, редактора Пермского книжного издательства и крёстной матушки многих здешних творцов, — я приехал в Москву и зашёл в редакцию «Литературки». Там работал тогда один из бывших пермяков. Земляк прочёл мои стихи и встал в позу Нострадамуса: «Это напечатают лет через пятьдесят!» Так что — после такого предсказания — не долетел я, Гена, до планеты альманаха «Поэзия». А если принять во внимание этот, в чём-то даже лестный, прогноз, то до сих пор не долетаю!..

— Извини, перебью на минуту твой «космический» экскурс в литературу… Хочу заметить, я сам родом из провинциального барачного посёлка Максай, что на Южном Урале в Оренбургской области… А вот твой «пермяк» из «Литературки» мне в своё время советовал написать что-нибудь, например, о Ленине, чтобы попасть на страницы «Литгазеты»: вот, мол, я, цинично говорил он о себе, написал такие стихи и попал в «День поэзии» (не путать с альманахом «Поэзия»). Правда, потом он же и напечатал меня впервые, когда к моей подборке вступительное слово написал Евтушенко, там тоже целая история, но не о ней сейчас речь…

— …Речь о том (давай возьмём самую фантастическую версию), что пандемия ниспослана из Космоса в качестве защитной меры от агрессивной человеческой популяции. Популяции, которая не только не может обрести гармонии на собственной планете, но уже норовит укоренить дисгармонию в космических глубинах. Что — правда. Прямо-таки библейское: «Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их…» Это — из Иеремии. И каковы же нынешние конвульсии тела Человеческого? Не будем заглядывать в чужой огород. Достаточно — одним глазком — посмотреть в теплицы отечественного телевидения. Казалось бы, на фоне пандемии наше бытие само себя переосмысливает? В сторону искупления «пагубы»? Но нет. Сплошные «Танцы со звёздами». Во всех смыслах — не только применительно к этому шоу. В общем, Гена, всё — как в твоём давнем стихотворении:

Но, может быть, уже всё так и было?
И мы совсем забыли, для чего
Все вместе собрались под этим небом…

— Послушай, Юра, всё-таки то, о чём ты говоришь, — публицистика: да, наболевшее, да, отвратное, да, пошлость, бесстыдство и мерзость зашкаливают, но — не главное… Всего этого мусора и хлама не было бы, если бы Человечество не удалялось так далеко от Главного центра, от Творца, от потерянного когда-то рая… Хотим мы это признать или не хотим, но после того, что произошло две тысячи лет назад на Голгофе, все мы — ведаем, что творим… В конце концов, даже и далёкая,

казалось бы, от христианства идея Владимира Вернадского о ноосфере, которая до поры до времени накапливает отрицательную энергию людей, всех их злодеяний, войн, преступлений, тёмных мыслей,—тоже однажды отзывается на Земле катастрофами, эпидемиями, новыми войнами и преступлениями… Мы же вспомнили в начале нашего разговора эсхатологичность и апокалиптичность, всегда, особенно в России, связанные с ожиданием «конца света»… Мне кажется, по той скорости, с которой накатываются на человечество экологические катаклизмы, всё новые и новые болезни, пандемии, всемирный сатанизм, изобретения всё более ужасающего оружия, добровольное и принудительное оскотинивание людей с помощью масскультуры и тех моральных растлителей душ, о которых говоришь ты,—всё это свидетельствует о приближении «последних времён», когда, как сказано, «живые будут завидовать мёртвым»…

— Но покуда они до этой «зависти» ещё не доросли, пусть раз и навсегда запомнят: нет никаких «звёзд» на Земле! Тем более — «мегазвёзд». Невозможно представить Пушкина, Толстого, Бунина или Шаляпина, называющих себя звёздами. «Я не снег, не звезда…» — повторял Евтушенко. И если тусклые персонажи наших дней, ничтоже сумняшеся, продолжают именовать себя звёздами, причём с полнейшим самозабвенным бесстыдством, без кавычек… вот звёзды-то (настоящие, которые там, в Космосе!) и взбунтовались! И что же?.. Показывают вышедшую из коронавируса Надежду Бабкину. Всё такая же голливудская улыбка. И не очень выстраданная оглядка: мол, надо бы переосмыслить собственную жизнь, может, петь больше лирических песен… Не «переосмысливать» надо, а замаливать! Мне кажется, что «коронавирусный полураспад» отбрасывает нас не к лучшему новому, а к худшему старому!..

— Спасибо, что в нашем разговоре так часто возникает имя Пушкина… Мы всё-таки ещё и литературоцентричная нация, кажется, единственная такая на планете, и без обращения к дорогим литературным именам и образам, ставшим нашим культурным кодом, обойтись не можем: у нас и времена года, и пейзажи, и жизнь, и смерть, и любовь, и подвиги, и семья, и дом — непременно соотносятся с любимыми строчками русских классиков, с картинами и сюжетами любимых книг, мы мыслим цитатами (как Тарковский в фильме «Зеркало»), мыслим пословицами — высшей формой философии и поэзии; одно описание дуба в «Войне и мире» Толстого — сто́ит целого философского и психологического трактата… Так что какие там дутые «мегазвёзды», если у нас была и есть великая культура — художественная, изобразительная, музыкальная, на которые настоящая пандемия бескультурья напялила не просто непроницаемые маски, но и забила им кляпами рты?!.. Вспомним не самые лучшие времена, когда к столетию гибели Пушкина Владислав Ходасевич в тысяча девятьсот тридцать седьмом году, говоря в русском зарубежье о падении уже тогда отечественной культуры с утратой интереса к творчеству поэта, с тревогой спрашивал: если не будет у России Пушкина — «каким именем перекликаться будем» в будущем, ничего хорошего не предвещающем?.. А ведь Александр Сергеевич практически никогда по отношению к себе не применял ставшее сегодня расхожим и опошленным слово «творчество», только — *труд*, его любимое слово…

Я своим студентам в Литинституте говорю: «Друзья, повесьте у себя дома над письменным столом страницы пушкинских черновиков, испещрённых вдоль и поперёк бесконечными правками и доработками, пусть они вам постоянно напоминают, что такое *труд* гениального Поэта! И чтобы нам хоть иногда было неловко, стыдно за нашу лень и неумение работать!..»

— Ты практически сейчас процитировал толстовский дневник, где Лев Николаевич, вспоминая фортепьянную, в четыре руки, игру в имении Фета, а потом и всю музыкальную изящность и изящную словесность, кается, как ему «стыдно и гадко». Ощущение, что на нынешнем витке биологического выживания Человечества обессмысливаются не только ноты, романы и стихи, но и весь ТРУД *в пушкинском понимании. Гомо сапиенсы в лице Илона Маска и его астронавтов уже ищут спасения в колонизации Марса. Но я, Гена, кажется, Маска опередил: во всяком случае, в две тысячи пятнадцатом году ко мне вдруг подступило стихотворение «Приговорённые к Марсу»:*

Мы ещё не отлетели,
но ведь скоро отлетать?..
И в земном промозглом теле
марсианский срок мотать.
Не пристало бывшим людям
о добре трындеть и зле.
Мы отцов святых забудем,
как забыли на Земле…

И ещё две строфы:

Мы по Марсу, как по маслу,
без скафандров, ясным днём,
репетируя гримасу
отрешённости, пройдём.
Но сама спадёт гримаса,
и мы вымолвим, тихи,
рудиментные для Марса,
в бездну слитые стихи…

У меня стойкое предположение, что на Марсе когда-то было нечто подобное, что сейчас на Земле.

В том числе — достижения многовековой мысли и культуры. Отсюда и — «рудиментные» стихи. То есть — утратившие своё значение. Эти достижения постепенно стали... как бы это сказать... клубным, что ли, делом. Представь: на Марсе пииты читали стихи пиитам. И уровень читающих и слушающих с ходом времён был примерно одинаков, как на Земле. Я вижу, поэт Геннадий Красников со мной согласен, но доцент кафедры творчества Литинститута имени Горького Геннадий Николаевич Красников готов мне возразить?

— Значит, так, по пунктам. О Толстом чуть позже.

Во-первых, как известно, русская поэзия всегда отличалась тем, что называется «космизмом», от Ломоносова с его

> Открылась бездна звезд полна;
> звездáм числа нет, бездне дна...

до Тютчева с его «Последним катаклизмом» и другими стихами того же порядка, до Есенина с его «Душа грустит о небесах, она не здешних нив жилица...», до Новеллы Матвеевой с её «Выселением из Вселенной», до Роберта Рождественского с его песней «Эхо», до Николая Добронравова с его «Опустела без тебя Земля...», до частушек вроде «Над селом фигня летала серебристого металла...» и так далее... Поэтому Юрий Беликов со своими ироническими «марсианскими» стихами не мог не опередить весёлого фантазёра-шоумена Илона Маска!.. И тут наша команда снова — первая: «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!..»

Во-вторых, неправота Толстого в том, что, вопреки его скепсису, литература и искусство тоже помогают жить и даже выжить, может быть, и во времена пандемии. Так, великий писатель Олег Васильевич Волков, несколько лет проведший в сталинских лагерях, рассказывал о том, что в тяжелейших условиях чаще выживали люди верующие, люди духовной культуры, наизусть знавшие стихи, отрывки прозы, русской классики... Вот и ответ на претензии к литературе Льва Николаевича!

Ну и с твоей полемически заострённой позицией, Юрий, я не могу согласиться по той же самой причине: если человечество подошло к последней черте, за которой только выживание, то всё равно у него остаются звёздное небо над головой и моральный закон внутри, а значит, мы всё равно вслед за Фетом будем повторять «рудиментные для Марса», для Земли — гениальные строки, несмотря на слабую, с точки зрения преподавателя Литинститута, рифму «огня — уходя»:

> Не жизни жаль с томительным дыханьем,
> Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
> Что просиял над целым мирозданьем,
> И в ночь идёт, и плачет, уходя.

3. Антология сбывшихся предсказаний

— Говорят, мхатовская пауза, которую нам якобы даровал коронавирус, обратила людей к прежнему, полузабытому. Если речь о России — то, вероятно, к тому, что она некогда называлась «самой читающей страной». Но обратила ли? Сходящие в тень книгочеи обеспокоены судьбой своих личных библиотек. Причём при наличии наследников. Буквально на днях разговаривал по телефону с преподавательницей университета, известным филологом, которая горько посетовала, что в случае чего её богатая, собиравшаяся десятилетиями библиотека станет, скорее всего, обузой для родственников. Если так — страшно за будущие поколения, когда потребность в постижении окружающего мира сводится к постижению эсэмэсок, просмотрам онлайн-копий и прикольных видеороликов в соцсетях. Прочтут ли они «Войну и мир», «Братьев Карамазовых», «Тихий Дон» и «Жизнь Клима Самгина»?

— С грустью могу сказать вслед за тобою, что уже не будет таких людей как твоя знакомая преподавательница-филолог... Племя библиофилов вымирает, скоро даже в Красную книгу заносить будет некого из этой породы... Да и родственникам уже не нужны эти бесценные книжные и рукописные завалы в доме. Помню, как Андрей Вознесенский обнаружил в Переделкине догорающий костёр, куда были выброшены записные книжки, страницы рукописей замечательного поэта-фронтовика Михаила Львова, с которым мне посчастливилось дружить, Андрей Андреевич успел кое-что вытащить и спасти от огня... Олег Дмитриев, который был председателем по литнаследию Николая Анциферова, талантливого поэта из донбасских шахтёров, рассказывал мне, как родственники Анциферова, когда Олег пришёл к ним узнать, что осталось из написанного поэтом, извлекли из кладовки наволочку, в которую всё было свалено в кучу. Обладавший блестящим чувством юмора, Дмитриев придумал тогда остроумный, хотя и грустный, афоризм: «Поэту надо иметь не хорошую жену, а хорошую вдову...»

Для истории давай зафиксируем ещё такой факт: заметь, как в сегодняшних глянцевых журналах для богатых, где публикуются архитектурные и дизайнерские проекты роскошных особняков, — в этих проектах предусмотрено всё — по десять спален и туалетов, там нет только — просто не предусмотрено! — запланированного места для книжных полок... А ведь в наших провинциальных бараках, в коммунальных комнатушках, в общежитиях невозможно было представить жилого помещения без книг — на полках, на табуретках, на подоконниках рядом с фикусами и запылёнными колючими столетниками... Мы

с тобой точно знаем, как ценилось знакомство в ту пору с продавцами из книжного магазина, где тебе могли из-под прилавка достать «Опыты» Монтеня, Волошина со статьёй Цветаевой о нём, да и сборники тех же «шестидесятников» — Евтушенко, Вознесенского…

— В одной из своих последних, наверное, прижизненных книг «Я пришёл в XXI век» Евгений Евтушенко дал точную оценку происходящему: «Ничто так медленно не восстанавливается, как хороший вкус и человеческая порода». И чуть ниже: «Миф о самом лучшем в мире читателе и зрителе рухнул. Мы стали не только потребителями плохого вкуса, но и его производителями».

Ещё лет тридцать назад такого не могло быть по определению! А если было, то порицалось. Вспомни тиражи книг советских поэтов. Твои же строки:

А я любил советские стихи
от Маяковского до Смелякова!..

Благодарные многотысячные залы, в которых они выступали. Я ещё — самым краем — ухватил ту пору. В восемьдесят восьмом году отдыхал в Алуште. Гляжу: один мужик (фамилия его Петренко) смотрит то в какую-то раскрытую книжицу, где фото, то — на меня (я ещё тогда сам на себя походил!). И спрашивает: «Не вы ли автор „Пульса птицы“?» Это была первая моя книга, и вышла она в издательстве «Современник» тиражом восемь с половиной тысяч экземпляров. По нынешним меркам — весьма солидным. То есть я ещё её в глаза не видел, а здешний книгочей из народа уже предъявил мне её — купленную в местном книжном магазине! Да, были времена. Кстати, не обратил внимание на перекличку названий? «Птичьи светофоры» — у тебя и «Пульс птицы» — у меня…

— Бьющийся «Пульс птицы»… Нужно иметь очень тонкий душевный и поэтический слух, чтобы так ощутить хрупкость жизни в ненадёжном мире… Конечно, здесь близость поколений, общее чувство времени, ритма, толчков крови в жилах, предчувствия будущих исторических катастроф с утратой великой страны и личных потерь при виде:

Как долго звёзды — птичьи светофоры
Открытым держат для кого-то путь…

— Беликов да Красников… Красников да Беликов… Гена, это тянет на экспромт…

Средь расейских классиков —
два извечных берега:
Беликов да Красников,
Красников да Беликов.

Чем не вариант долгожданного мира между красными и белыми? Надо нам, Геннадий Николаевич, на двоих составить какую-нибудь антологию. Чтобы будущие читатели поэзии (ежели таковые ещё сохранятся!) в один голос восклицали: «А вот в антологии Красникова и Беликова!..» А что?.. Я когда-то замышлял собрать «Антологию сбывшихся предсказаний». Это когда стихи-нострадамусы по прошествии времени становятся разворотами многих событий. И не только в судьбе их авторов… Ну, как у Лермонтова:

Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь…

Можно привести примеры и из других поэтов. Под самую завязку двадцатого века я составил сборник «Монарх. Семь самозванцев», куда среди прочих авторов вошли стихи бесприютного пермяка Валерия Абанькина. И там было стихотворение, которое почему-то сразу запоминалось:

Я скитаюсь в окру́ге Китая,
Стал уже вполовину седым,
И, окурок зубами катая,
Выпускаю задумчиво дым.

Моим думам табак не помеха.
Дым табачный, мне душу латай!
Я когда-то в Испанию ехал,
Ну а там оказался Китай…

Я с китайцами жизнь коротаю,
Я китайские шутки ловлю,
Я давно по-китайски болтаю
И уже по-китайски люблю.

Ты Испанию ищешь по свету
И узнаешь, в мечтах не витай,
Что давно даже Родины нету,
А весь мир — это просто Китай.

Сборник увидел свет в тысяча девятьсот девяносто девятом, а значит, стихи были написаны как минимум в девяностые годы прошлого века. Но если бы Абанькин дожил до нынешних времён, он бы, должно быть, удивился (а может, и не удивился бы, поскольку был учёным-биофизиком), как это всё с пандемией географически воплотилось:

Я когда-то в Испанию ехал,
Ну а там оказался Китай…

А ведь Испания и вправду по количеству заболевших коронавирусом превратилась в Китай. Да и «весь мир» в Китай превратился… Я надеюсь, ты меня поймёшь, как человек, написавший стихотворение о старике, который предупреждал: «Туча́ уже идёт». Вот так — с ударением на «ча». Уже за одно за это к такому старику нужно было бы прислушаться. Ан нет. Поэтому самое время дать ему слово. Ты помнишь эти стихи?

— Он говорил, хотя пророком не был:

«Последних сроков грозный час грядёт!» —
и, долгим взглядом вглядываясь в небо,
предупреждал: «Туча́ уже идёт».
—
Смеялись мы: «Ни облачка над нами!
Он для того клевещет на судьбу,
последними пугая временами,
что сам стоит одной ногой в гробу!»
—
Давно, старик, твои истлели кости,
в часах песочных движется твой прах,
а мы живём мертвей, чем на погосте,
при тех, последних, грозных временах.
—
Вдали — громами, будто бы гробами,
ворочает Небесный Судия,
но мы не видим мёртвыми глазами,
как догорает солнце бытия.

— Как предрёк красниковский старик, так всё и развернулось! С одной стороны — биофизик, с другой — старик. А предсказания в своей проекции сошлись. Такая вот «туча́»… Может, прав иерусалимский поэт Игорь Бяльский и «наше, наверное, самое благополучное… поколение удостоилось дожить до такого всемирного перелома…»?

— Благополучное?.. Не знаю… Слишком многих нет уже, причём уход у большинства трагический. Слава Богу, и ты, и я, по возможности, во всех наших антологиях сохраняем их имена, возвращаем из небытия их стихи… Евтушенко, звоня из Америки, не раз говорил мне: «Мы с тобой единственные антологисты». Думаю, что он и тебя, Юра, причислял к этим «двум единственным»…

— Здесь, Гена, я, кажется, должен тебе поддакнуть?.. Дабы уличить Евгения Александровича в некой парнасской сверхщедрости? Но — нет, не отберу сей титул у Красникова — не причислял меня Евтушенко к «двум единственным». К «могутным „дикороссам“» — да, к «геологоразведчикам новых талантов» — да, к «неугомонным бунтарям» — пожалуй, а «два единственных антологиста» (чуть не сказал «антагониста») — это Евтушенко да Красников.

4. Отцы — родные, братья — сводные

— Ты как-то обмолвился, что подобно тому, «как у Игнатия Богоносца на сердце было отпечатано слово „Бог“, так у нас, во всяком случае, у нашего поколения, на сердце отпечатано: „Девятое мая тысяча девятьсот сорок пятого года“». Те, у кого отпечатано другое, нынче кличут это победобесием. Хорошо, что поэты фронтового поколения этого не слышат! Тебе довелось близко знать многих из них, а с кем-то — и дружить. Я — про Евгения Винокурова, Юлию Друнину, о Николае Старшинове и Михаиле Львове ты уже сказал… И хотя по возрасту нашими старшими братьями считаются «шестидесятники», но, думаю, не ошибусь: тебе — по духу — ближе фронтовики. В чём, на твой взгляд, принципиальное отличие между «шестидесятниками» и фронтовиками? По-моему, есть некая, пусть не абсолютная, закономерность, что поэты тянутся друг к другу через поколение: «шестидесятники» — к Серебряному веку, а те, кто рождён во времена «оттепели», — к фронтовым поэтам, а не к «шестидесятникам». Или эта тяга вызвана не столько «черезпоколенческим» алгоритмом, а чем-то иным?

— Понимаешь, фронтовики по возрасту не могли быть отцами «шестидесятников», а мы, послевоенные дети, как раз подходили им и в сыновья, и в ученики… Потом, мы не были для фронтовиков конкурентами, а «шестидесятники» достаточно быстро стали отвоёвывать пространство популярности и славы, которыми ещё не успели в полной мере насладиться поэты военного поколения. Очень известный в своё время поэт-фронтовик Виктор Урин, которого своим учителем называли и Евтушенко, и Вознесенский, рассказывал мне, как за несколько лет его путешествий на машине по стране (он автор книги «179 дней в автомобиле Москва — Владивосток»), в его отсутствие в Москве, зазвенели имена этой пассионарной молодёжи, отодвинув его на второй и даже третий план… Михаил Светлов говорил ему: «Не надо было тебе, Витя, так надолго исчезать из столицы, твоё место теперь заняли другие». В общем, в этом есть своя кондовая правда. Так, Константин Ваншенкин, с которым мы тоже дружили, напечатал однажды обращённое к нему письмо Михаила Исаковского, где старый поэт советовал тогда молодому поэту-фронтовику постоянно ходить по редакциям, напоминать о себе, иначе о тебе очень быстро забывают… Это тоже к слову о твоём тридцатилетнем затворничестве… Забывают быстро. Станислав Лем написал как-то о двухтомной энциклопедии польских писателей, включающей почти двести тысяч имён, среди которых были и лауреаты Нобелевской премии: никого из них уже никто не читает, сокрушается Лем и называет эти справочники литературным кладбищем. Сегодняшние студенты Литинститута не знают ни Винокурова, ни Смелякова, ни Евтушенко, ни Соколова…

Знаешь, на Международной конференции фонда Достоевского у Игоря Волгина, где, кстати, мы с тобой и познакомились, проводилась творческая секция на тему: почему сегодня нас не знают читатели. Мне пришлось весьма резко выступить там, сказав, что вас (нас) не знают потому, что мы не знаем тех, кто был перед вами (нами), так прерывается золотая бесценная цепь культуры, связь времён, поколений, а следовательно, и читателей поэзии…

— Но по поводу печатей на сердцах поколений… Они ведь неоднородны, поколения-то. Царь Иоанн Грозный и князь Андрей Курбский принадлежали к одному поколению и даже к одной генетической ветви — Рюриковичам, а по какие стороны их, однако, разнесло! Зато мы сейчас сверяем те времена по их переписке. Так и с девятым мая на сердце. Но если б мы полностью копировали своих предшественников, если бы — хоть в чём-то — им не перечили, они бы, наверное, перестали нас уважать. Вот я читаю строфы известного тебе Сергея Князева, моего ровесника, поэта и кинорежиссёра, живущего в Подольске:

На полочке шаткой, хмурой
Стоят по соседству с Дантом
«Поэзия трубадуров»
И книжечки лейтенантов,
Сменяющие серьёзность
Тоской по военным фурам.
А мне по душе влюблённость,
Присущая трубадурам,
А мне по душе живые
Зверюшки — собачки, кошки,
Чем эти сторожевые
С винтовкою на обложке…

Сергей обозначил здесь пусть личную, но всё-таки позицию представителя поколения восьмидесятых. И мне даже кажется, что, допустим, такие поэты-фронтовики, как Юрий Левитанский («Ну что с того, что я там был?») или Давид Самойлов:

И плачу над бренностью мира
я, маленький, глупый, больной,

которые мучительно старались уйти от темы «винтовок на обложке» в сторону устройства мироздания, — они бы Князева здесь, по меньшей мере, не укорили.

— Думаю, да… Они вообще были людьми скромными, с чувством собственного достоинства, которое не позволило бы им навязывать себя и свою судьбу, свою историю другому поколению. Но разве мы копируем их? Разве не знаем, что степень таланта у них разная? Мы отличаем шедевр от простого поэтического документа эпохи, искреннее свидетельство участника событий — и великое поэтическое произведение… Но меня, скажу честно, коробит эта нарастающая потеря памяти: ладно бы ещё у нынешних зомбированных мальцов, но у послевоенного поколения… Тут есть какое-то предательство. Ну если уж ты стал далёк от своих отцов, от их трагедии, от их переживаний, разочарований, то хотя бы промолчи. Что ж ты так гордишься своим пацифизмом? Может, и внукам своим постесняешься сказать, что ты сын поколения победителей?.. Ты же не библейский Хам, с упоением открывающий «наготу отца своего»! Одно из самых отвратительных для меня человеческих качеств — неблагодарность.

Когда к шестидесятипятилетию Победы я составлял антологию военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..», ещё были живы последние оставшиеся фронтовики — Василий Субботин, Егор Исаев, Герой Советского Союза Михаил Борисов… Замечательный поэт Николай Васильевич Панченко, когда мы говорили с ним по телефону о его стихах для антологии, с печалью поведал, что у него недавно вышла книга небольшим тиражом, который почти весь, несколько пачек, лежит у него на балконе, никому не нужный… В следующий раз по телефону мне ответили: «Николая Васильевича сейчас нет дома, он ушёл кормить птиц…» Вскоре его не стало… Это тоже ведь к теме наших с тобой «птиц»… Как же можно предать этих великих стариков, о которых я написал когда-то (вот как ты меня разговорил, что я стал себя цитировать):

Мы дружили с фронтовиками,
с настоящими мужиками,
быть почётно учениками
у великих отцов своих —
тех, что скрыты уже веками
под осыпавшимися венками,
под летящими вслед плевками
на святые могилы их.

Знаем, что они пережили,
знаем, что они заслужили
и какие песни сложили —
вместе с ними пели не раз…
В майский день за Победу пили,
а бывало, и слёзы лили,
вспоминая, как протрубили
им архангелы: грозный час!..

Ну так что же, дети и внуки,
молча мы опускаем руки,
чтоб могли какие-то суки
пачкать память старых солдат?
Всё сдадим — без стыда и муки?
Впереди — подлый смех и трюки,
пляски под похоронные звуки…
Позади — Москва, Сталинград!..

5. Поколение утраченной страны

— Ты наверняка знал Есина (Михаил Кураев, который председательствовал в две тысячи пятнадцатом году на Астафьевских чтениях в Перми, так и сказал, представляя Сергея Николаевича: «Кто не знает Есина?!»). Так вот, мы иногда с Есиным перезванивались, и он мне незадолго до своей кончины то ли в шутку, то ли всерьёз поведал, что хотел бы создать «Сообщество писателей, которым не додали». Я — также не то в шутку, не то всерьёз — ответствовал, что, дескать, готов стать

вице-президентом этого сообщества, учитывая, что наверняка Есин будет его президентом. И сегодня — на правах вице-президента несозданного сообщества — хочу тебе задать вопрос напрямую: положа руку на сердце, считаешь ли ты, что на фоне творческой прописки и раскрутки (назови это как хочешь) поэтов-фронтовиков и «шестидесятников» последующему поколению не воздали должного?! Ведь то, что вы с Юрием Поляковым замыслили собрать и выпустить антологию поколения восьмидесятых, — своего рода свидетельство этого духовно-типографского дефицита!

— Да, я признателен моему другу Юрию Полякову, благодаря которому вышла наша с Костровым антология «Русская поэзия. XX век», с ним мы сделали военную антологию к семидесятипятилетию Победы, задумали антологию «восьмидесятников»… Кстати, о пандемии. К сожалению, Юра на днях заболел-таки этим «ковидом», хотя несколько месяцев берёгся, практически вёл затворнический образ… Надеюсь, всё обойдётся благополучно и он будет здоров, чего я ему от всей души желаю!

— Желаю и я…

— А вот о твоём вопросе… Дело в том, что здесь всегда всё весьма субъективно. Так, например, я не считаю, что Сергею Николаевичу Есину, с которым мы проработали на одной кафедре в Литинституте больше десяти лет и которого я очень уважаю как самобытного человека, как прекрасного педагога, как талантливого писателя, автора замечательной серии «Дневников», — что ему — не додали… Более того, я считаю, что он счастливый человек и получил всё, чего был достоин и по таланту, и по общественному признанию, и по заслуженной любви читателей, а особенно студентов. Ты не представляешь, какое количество студентов было на прощании с ним: в Доме литераторов такого не было за последние лет двадцать-тридцать, там просто невозможно было протолкнуться… Просто он попался на крючок шумного успеха своей повести «Имитатор», за которую ухватились «прорабы перестройки» и разрушители нашей страны, тогдашние «апрелевцы», «огоньковцы» Коротича, увидев в ней отнюдь не художественные достоинства, а почудившийся им выпад против советской власти… Когда же в последующих его работах они разглядели в нём «русский дух» и патриотические убеждения, они — с их возможностями на телевидении, в прессе, в комиссиях по госпремиям и прочим — внесли его в свой кондуит «не наших», спустив на тормозах его восхождение по лестнице славы… Об этом я успел написать ещё при жизни Сергея Николаевича в большой статье о нём (совсем не комплиментарной) — «Сизифов мост над рекой времени»… Надо сказать, что после долгих размышлений он принял эту статью, согласился с нею, о чём написал мне в своём последнем письме, буквально за несколько дней до ухода. Знаешь, Юра, не хвалясь, считаю, что эта статья — лучшее, что было написано о нём… Это ведь всё к вопросу на тему: додали или не додали…

— А может, Сергей Николаевич не себя имел в виду, применяя этот глагол? С его-то ректорскими познаниями писательских судеб?..

— Себя, себя он имел в виду; я видел, как ревниво он относился к успехам других, особенно своих ровесников, Маканина, например… Не завидовал, но чётко отслеживал эти успехи, ценя при этом талант. А за успехи молодых, студентов Литинститута — радовался эмоционально. Да и после каждого своего выступления, даже — на заседании кафедры творчества, как ребёнок спрашивал потом: «Ну, как я выступил?» — хотел, чтобы его похвалили…

Знаешь, Иоанн Златоуст любил повторять: «Слава Богу за всё!» У каждого писателя, поэта есть судьба, от которой не уйдёшь. А что, те из нашего поколения, кого «раскручивали» в восьмидесятые-девяностые годы, — «метафорики», «метаметафорики», «концептуалисты» (я сам печатал многих из них в альманахе «Поэзия») — их кто-нибудь сейчас знает? Помнит? Только тусовочные круги, правда, стоящие у руля по распределению грантов и премий… Когда-то об этих ребятах, во время так называемой предательской перестройки, Владимир Маканин, мой земляк, спрашивал меня: «А кто такие поэты „новой энергии“? А то я приехал в Норвегию (или «в Данию» он сказал) — а меня буквально у трапа самолёта журналисты спрашивают, как я к (!!!) ним отношусь, а я их не знаю…» А всё равно — «литературное кладбище», как ни грустно об этом говорить…

Поэтому я не сомневаюсь и даже уверен, поскольку знаю, в том числе и благодаря тому, что составляю антологию «восьмидесятников» (кстати, не без твоей щедрой и замечательной по художественному вкусу помощи), — повторяю, знаю, что наше поколение — самое мощное во второй половине двадцатого века, да не обидятся на меня «шестидесятники»!.. Этим изданием, я верю, мы сможем воздать должное нашему поколению.

— Наверное, надо хотя бы попытаться дать ему определение? «Поколение утраченной страны»? А ведь действительно мы явились на свет в одной стране и в двадцатом веке, а вынуждены уходить в другом столетии и в другой стране. Опять возникают числитель и знаменатель. Преломлённые и прело́мленные. Хотя чего я изощряюсь? Твои же слова:

…Но что-то всё-таки надломное,
надрывное всегда есть в нас.

Поэты края бытия. Так я кличу своих — «дикороссов». Ты ведь помнишь, как в «Литгазете» при поддержке Юрия Полякова была открыта рубрика с таким названием и мне довелось её вести?..

Без имён мы, Гена, не обойдёмся. Назову тех, кого уже нет: Андрей Власов из Великих Лук, Валерий Прокошин из Обнинска (оба ушли после тяжёлой и продолжительной), Михаил Анищенко из самарского села Шелехметь (сердце), уже процитированный пермяк Валерий Абанькин (задохнулся в горящем заброшенном доме), Сергей Лузан из Норильска (завершил свой путь охотника-промысловика на больничной койке в Изборске), Сергей Нохрин из Екатеринбурга (скончался после уличной драки от разрыва сердечной аорты), Анатолий Култышев из Чусового (выбросился с балкона московской многоэтажки), Геннадий Кононов из пограничного Пыталова на Псковщине (медленно и мучительно там угасал…). В общем, бесконечное Пыталово!..

— Одни только твои «дикороссы» какую печальную статистику дают — сплошной некрополь… Я очень остро ощущаю их отсутствие. Поневоле вспомнишь строки Некрасова: «Братья писатели! В нашей судьбе что-то лежит роковое!» Слава Богу, что ещё можем называть и ныне живущих, среди которых, кстати, много женщин: Мария Аввакумова, Марина Кудимова, Ольга Ермолаева, Олеся Николаева, Светлана Кекова, Надежда Мирошниченко, Надежда Кондакова, Светлана Сырнева, Лариса Тараканова, Инна Кабыш, Наталья Лясковская — это фактически живые классики, наши современники… Назову ещё несколько имён: Евгений Чепурных, Иван Жданов, Александр Ерёменко, Вячеслав Казакевич, Юрий Поляков, Михаил Шелехов, Виктор Коркия, Александр Лаврин, Григорий Калюжный, Владимир Урусов, Виктор Верстаков, Анатолий Тепляшин, Михаил Попов, Владислав Артёмов, Карен Джангиров, Михаил Яснов, Александр Кувакин…

В любом случае (прости, вновь процитирую себя) мне не обойтись без моих строк четвертьвековой давности о том, что я думаю и думал о нашем поколении:

Злые, но не безликие,
и наша цель чиста:
пока не пришли великие —
займём их места.

Грешные, не идеальные,
пьём на пиру чумы;
пока не пришли гениальные,
гении — это мы.

Сколько часы роковые
будут наш век отмерять? —
пока не пришли живые,
нам нельзя умирать.

Души мрачит искуситель,
плачут здесь, бьются, поют,
пока не пришёл Спаситель —
нас на Голгофу ведут.

Сбитыми в кровь устами
молимся: «Отпусти,
Господи, — мы устали
крест непосильный нести!..»

— Холодок по мне сейчас пробежал, сквозняк!.. Чую ветер из будущей антологии «восьмидесятников»… Эх, Гена, Гена, сейчас уже ты раскручиваешь меня на самоцитату! Страшно подумать, это стихотворение — образца того самого, поколенческого, тысяча девятьсот восьмидесятого года. И здесь опять незримо вступает в наш диалог мой тёзка Юра Поляков, потому что в бытность его редактором отдела литературы и искусства журнала «Смена» именно он сдвинул с места и опубликовал подборку «забуксовавших» там моих стихов:

Мы — поздние, поздние, поздние…
Мы схожи с рябиновыми гроздьями.
Леса опустеют старинно —
останется только рябина.
Рябина! Боярыня Морозова,
ты в будущее сослана
за то, что ещё не картина,
за то, что не к лету горька…
О, как ты любима, рябина!
Однако сквозь время пока.
Как в связке походного братства
сильнейший идёт позади —
чтоб наипервейшею зваться,
последней, рябина, иди.
Глотайте клубнику на корточках!
Но всё перетянет в мороз
скупая, отважная горсточка —
высокая красная гроздь!
И, может быть, чудо — не чудо,
а просто в преддверье зимы
у истины смыло запруды —
и вот она — чудо, и мы
поэтому — поздние, поздние,
всё время смотрящие в спину…
Но воздух уж пахнет полозьями,
и едет народ по рябину.

— Да-а-а, получается, что мы с тобой, Юра, «больны» темой нашего поколения, если это написалось у меня — двадцать пять лет назад, а у тебя — все сорок, и мы годами ищем ответ, что же и кто же мы такие, с чем и зачем пришедшие: чтобы, говоря словами Леонида Мартынова, за нами «вытерли паркет и посмотрели косо вслед» или для чего-то ещё?..

6. Фолианты сквозь слёзы

— По мне, любая антология есть попытка сгруппировать минувшее или происходящее, то, что

материализуется через свои нервные окончания, — опыт творцов. К тому же никто не сбрасывает со счетов «провокацию вкусов». Вспомни антологию русской поэзии Ежова и Шамурина образца тысяча девятьсот двадцать пятого года. Думаю, она стала кладезем для «шестидесятников». Что касается «Строф века» Евгения Евтушенко, то, когда они увидели свет, Андрей Вознесенский не без дружеской подначки сказал её собирателю, что это-де лучшее, что издал Евтушенко. «Самиздат века» Генриха Сапгира и Анатолия Стреляного явил то, что оставил за скобками или, с их точки зрения, затушевал Евтушенко. Но вот какая притча: ты уже сказал о «литературных кладбищах», и это в известной степени многое объясняет. У кого-то — маленький, почти сглаженный холмик со звёздочками над парой четверостиший. У кого-то — роскошная мраморная усыпальница. То бишь и на этом «кладбище» — неравенство. Иногда составители делают рокировки: переустанавливают памятники на собственный лад. Был Есенин по центру, стал — Даниил Андреев. Это ни хорошо и ни плохо. Просто у каждого составителя своя ДНК. А какая ДНК движет Геннадием Красниковым — одним из самых известных ныне (после Евтушенко) собирателей отечественных антологий?

— Ты, конечно, знаешь, Юра, что сразу вслед за антологией «Строфы века» Евтушенко появилась в тысяча девятьсот девяносто девятом году антология «Русская поэзия. XX век», вышедшая под редакцией Вл. Кострова и Ген. Красникова, ставшая в каком-то смысле ответом «Строфам века», слишком политизированным в духе «Огонька» Коротича (где, кстати, они и печатались фрагментами до выхода книги), антологии с навешанными ярлыками на многих поэтов и коммерчески полностью рассчитанной на западного читателя. Мы постарались снять эту «политизированность» с оценок поэтических репутаций, но всё-таки по отношению к Евгению Александровичу применить его тенденциозный принцип, включив в антологию его ранние стихи:

Я знаю: Вождю бесконечно близки
мысли народа нашего.
Я верю: здесь расцветут цветы,
сады наполнятся светом.
Ведь об этом мечтаем и я, и ты,
значит, думает Сталин об этом!
Я знаю: грядущее видя вокруг,
склоняется этой ночью
самый мой лучший на свете друг
в Кремле над столом рабочим…

Однако Евтушенко, сам обвинявший других в разного рода идеологических грехах, отрёкся от своих стихов, запретив их печатать…

Евгений Витковский, мой старый товарищ, помогавший Евтушенко составлять «Строфы века», предъявил мне претензии, что в нашей антологии пропущено много хороших поэтов, представив целый список, кого мы, по его подозрению, якобы преднамеренно не включили в книгу. Пришлось мне с тою же меркой пройтись по «Строфам века», и я составил для Жени Витковского вдвое больший список талантливых поэтов, не попавших в их антологию…

Что же касается моего «кода», о котором ты спросил, то он заключается только в одном: в любви к русской поэзии и, я надеюсь, в хорошем вкусе и профессионализме… Как-никак я занимаюсь издательской работой с тысяча девятьсот семьдесят восьмого года, с тех пор как стал редактором альманаха «Поэзия»… Свою роль сыграла и школа замечательного русского поэта-фронтовика, человека безупречного вкуса и большой культуры Николая Старшинова, с которым мы вместе издавали альманах в течение двадцати лет…

И ещё один «код», позаимствованный у Александра Блока. Когда-то он готовил к изданию «портативный» сборник стихов Пушкина и долго мучился, что́ отобрать, с чего начать — всё было жалко что-нибудь пропустить. И всё же решил: «Начнём брать только от „Редеет облаков летучая гряда“». — «Почему?» — спросили Блока. «Оно первое, от которого подступают слёзы…»

— «Я счастлив тем, что слёзы у меня.
А я-то думал — плакать не могу», —

словно подслушав Блока, написал поэт Коля Бурашников, которого насмерть запинали на одной из пермских улиц бухие сопляки. Я знаю, Гена, что его стихи ты включил в антологию «восьмидесятников». И за это тебе — низкий поклон, как и за многих других ушедших и живущих русских поэтов. Но не было и не будет идеальных антологий, примиряющих всех. Так, красниковскую «Русскую поэзию. XXI век» тут же обстрелял Захар Прилепин. Ну и что?.. Мало ли кого там нет! Меня, например, тоже. Честно говоря, другое сегодня заботит. Спрошу словами Красникова:

Много ли ещё осталось будущего,
не исчерпан ли его запас?

К тому же я когда-то заглянул в памятник византийской и древнерусской письменности «Пчела». А там начертано: «Угождать всем — зло».

— Ты сам знаешь, Юра, что о составлении антологий можно писать целые криминально-приключенческие истории, которые остаются за кадром, истории и горькие, и счастливые… Мне Алёна Агашина рассказывала, как в Волгограде в палату к умирающей матери, Маргарите Агашиной, принесла нашу антологию двадцатого

века с напечатанными в ней её стихами… И для талантливой русской поэтессы эта книга стала последними минутами радости и счастья. А ведь, кроме меня, разыскавшего и включившего эти стихи, никто бы и не вспомнил о ней…

Сегодня я могу с запоздалым сожалением совершенно искренне сказать, что без стихов Юрия Беликова наша антология очень много потеряла — во всяком случае, в этом своде стихов столетия явно не хватает яркой беликовской краски-вспышки, без которой уж точно двадцатый век — «неполный»…

— Да ладно?.. Впрочем, я дожил до таких лет и, кажется, навсегда отбитых чувств, когда уже нельзя вогнать в краску… Однако мы отвлеклись.

Есть жанровые антологии. Например, «Антология русского верлибра» Карена Джангирова или «Жанры и строфы современной русской поэзии» Евгения Степанова. Есть антологии тематические — такие как «Слово о матери» Юрия Перминова или «Свойства страсти» Сергея Кузнечихина. Есть антологии ментальные (так я их называю). Сюда можно отнести «Последнее стихотворение» Юрия Казарина и «Молитвы русских поэтов» Виктора Калугина, а в особенности «Антологию русского лиризма» Александра Васина-Макарова. По замаху, по замыслу своему и в каких-то вариантах осуществления она — проект редкий, глубинно-мистический. Русский лиризм… Что это такое? Это как в стихотворении Юрия Кузнецова «Экспромт»:

Чья, скажите, стрела на лету
Ловит свист прошлогодней метели?
Кто умеет метать в пустоту,
Поражая незримые цели?

И тут, на мой взгляд, составителю надо было метать не одну стрелу, не две, а целые колчаны. Вот одна стрела — в Маяковского (на самом деле — не только в Маяковского, но и — скрыто — в Красникова и в составителей других антологий, отдававших Маяковскому много места). А Васин-Макаров представил оного всего одним стихотворением:

Послушайте!

Ведь если звёзды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

А сверху — в биографической справке — приписочка: «Ю. Карабчиевский не прав: Маяковский не воскреснет. Разве что в строках, отобранных для данной антологии».

Вот вторая стрела — в Велимира Хлебникова. Опять-таки — в биографической справке: «Может быть, чтобы не ошибиться так, как ошибались почти все, стоит предположить, что В. Хлебников — не-человек…» — и тут же, в сноске, мельком заметив, что он ещё и не-поэт: «Он не единственный не-человек среди участников нашей антологии…»

Но интересно же! Разве нет? А ещё есть стрелы по умолчанию. Например, в третьем издании антологии за весь двадцатый век даже не упоминаются Евгений Евтушенко и Иосиф Бродский. Хотя ещё в двухтысячном году, в первом издании, Бродский там присутствовал одним-разъединственным стихотворением. Не уверен, что этим авторам отказал бы в русском лиризме, предположим, тот же Владимир Соколов, почитаемый Васиным-Макаровым и широко в антологии представленный.

— Это тема для другого большого разговора… Не Васину-Макарову и не нам с тобой, Юра, решать, кто воскреснет, а кто нет, — в стране и без того полно мерзавцев, готовых всё разрушать, и начинают они именно с культуры… Знаешь, как на вопрос: «Когда же вновь воскреснет Россия?» — отвечал псковский старец с острова Залит Николай Гурьянов? «А она и не умирала!» — говорил он. Вот и весь ответ на нашу спесивую самоуверенность, чтобы не оказаться нам в ситуации, описанной Пушкиным:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит.
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит…

— Однако, как ни парадоксально, для меня именно этим-то в том числе и ценна антология Васина-Макарова. Даже если я мыслю иначе. Но… Если уж решился своевольничать, надо своевольничать до конца. Если уж сражаться — сражайся, а не отстреливайся… шпильками. Само собой, нет объективных антологий. Посему вслед за Львом Аннинским, ещё в тысяча девятьсот семьдесят девятом году провозгласившим: «Жажду беллетризма!» — прокричу другое: «Жажду своеволия!» Под ним я подразумеваю антологический субъективизм.

Вот сказанул — и осёкся, увидев укоряющий взгляд Гены Красникова, которого — ещё за первую его книгу — поддержал и процитировал Евтушенко: «Мы — не судьи с тобой. Мы — вина». А я-то призываю даже не к судейству, а к некоему робингудству.

— Тут я стародум и консерватор до мозга костей. Не люблю, когда паразитируют на именах. Разве что вспомню любимого Бунина, которого однажды попросили ответить на анкету:

«Дивлюсь и сейчас, — пишет Бунин, — глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный вопрос: „Каково ваше отношение к Пушкину?“ В одном моём рассказе семинарист спрашивает мужика:

— Ну а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?

И мужик отвечает:

— Никак они не смеют относиться ко мне.

Вот вроде этого и я мог бы ответить:

— Никак я не смею относиться к нему…»

А Фаина Раневская когда-то поставила на место одного «оценщика» искусства. Когда в Москву привезли «Сикстинскую мадонну» Рафаэля, некий чиновник из Минкульта брякнул, что картина, дескать, не произвела на него впечатления. Раневская заметила: «Эта дама в течение стольких веков производила впечатление, что теперь она сама вправе выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого нет!..»

То же и с Хлебниковым, и с Маяковским… Мы можем быть беспощадны к врагам и клеветниками Отечества, к врагам Церкви, к пришедшим к нам с мечом, к митингующим под бандеровскими и власовскими флагами, но к собратьям по творчеству, пусть даже эстетически нам неблизким, к нашим предшественникам, не имеющим возможности защититься,—для чего? В чём упрекаем других, в том, выходит, считаем себя праведниками, святыми, лучше их… Вот оно, литературное фарисейство!

7. Кларнет—для низенькой светёлки?

— Как ты думаешь, у душ человеческих есть национальные признаки? Вот, допустим, душа русского человека… «Душа болит!»—едва ли не криком кричит шукшинский Максим Яриков в рассказе «Верую!». И если «мы—не судьи», «мы—вина», тут-то и начинается разрастание боли. А дальше что? Окуджава для себя решает так:

А душа, уж это точно, ежели обожжена,
Справедливей, милосерднее и праведней она.

С его точки зрения, душе, как глине, на пользу обжигающие страдания. У Есенина—иначе:

Если черти в душе гнездились,
Значит, ангелы жили в ней!

Кстати, в стихотворении Владимира Кострова о Сергее Есенине, которое вошло в антологию «Русская поэзия. XX век», есть закамуфлированная анафема:

Родной тальянки золотую медь
Не вырубить безродному булату.

Да-да, «булату»—вот так, со строчной буковки. Я ведь не случайно спросил про душу именно русского человека. Каких границ она может достичь через принятие вынужденной боли? Ответ нашёл в твоих поздних стихах:

Кто рвал хоругви наши и знамёна,
кто в наших детях души убивал—
мы этих бесов вспомним поимённо,
как никогда никто не вспоминал!..

Не годится русской душе окуджавская премудрость. И даже названия твоих последующих книг (после «Птичьих светофоров») заметно менялись: «Крик», «Не убий!», «Все анекдоты рассказаны». В красниковской публицистике—много рока: не музыкального, а в старинном значении судьбы: «Роковая зацепка за жизнь, или В поисках утраченного Неба», «В минуты роковые. Культура в зеркале русской истории». Ты становишься персоной одной из самых читаемых мной рубрик в «Литературной газете»—«Клеветникам России». Думаю, тебя не всегда узнавал Евтушенко, не разучившийся читать между строк—твоих, разумеется, в «Клеветниках России»—и, кажется, навеки причисливший Красникова к «поэтам вины». А Геннадий Красников бичом хлещет, подстёгивает:

Со всех сторон над русским мужиком
любая сволочь ржёт и веселится,—
какой тебе ещё придумать гром,
чтобы собрался ты перекреститься?

И вот уже, будто расслышав этот вопрос, на улицы Хабаровска вышли митингующие, отстояли заповедную гору Куштау близ Стерлитамака тамошние строптивцы… Снова призовём в свидетели Блока: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!» А что бы выбрал, живя в России, сам Красников: быть узнаваемым или неузнанным?

— Да, ты забыл напомнить афористичные строки Евгения Евтушенко: «На том и держится Россия, что у неё душа болит…» А вообще, Юра, в твоём, быть может, самом главном вопросе есть то, что Николай Лосский называл «существованием удивительного сверхэмпирического единства нации», следовательно, и в духовном плане существует «сверхэмпирическое единство»… Гениальный Паскаль говорил: «Истина одна и та же—и в Париже, и в Тулузе…» Я когда-то писал о древних китайских поэтах Ли Бо и Ду Фу, и знаешь, находил у них строчки и картины, буквально совпадающие со стихами Николая Рубцова и Есенина, а у античной поэтессы Сафо, от которой остались лишь короткие фрагменты стихов, встречаются строки, что словно бы вчера написала своим детским почерком, заглавными буквами на страничке, вырванной из школьной тетрадки, наша Ксения Некрасова… А вообще, и русская, и греческая, и китайская душа, как сказал Есенин, «грустит о небесах»… «Национальной» душа становится только в народной песне (послушай русскую, украинскую, белорусскую, сербскую, татарскую, якутскую, шотландскую народную песню!) и в отношении к родной природе, но народную песню давно извели на нашем телевидении и радио, а то, что осталось,—добили Бабкины-Ляпкины. Смольянинову Евгению ты не услышишь, так же как и Штоколова, Лемешева, Козловского, Русланову, Петрову Татьяну, я уж не говорю о Кубанском казачьем хоре

и хоре Сибирском, Оренбургском, Воронежском, когда-то славившихся во всём мире… Великий француз Экзюпери замечал: «Достаточно услышать любую народную песню пятнадцатого века, чтобы понять как низко мы пали».

— Единственное место, где, Гена, я всё это слышал, — Чусовской этнографический парк Леонарда Постникова, ставший своего рода звуковой воронкой русского духа, представь, образовавшейся на моей малой родине, среди леса и гор. Однажды приехали мы сюда с Леонидом Бородиным, прошедшим сквозь политзону русским прозаиком и главным редактором журнала «Москва». Это было незадолго до его ухода. Бородин приблизился к гостевому домику, а там правило прописано: «Уважаемые посетители! Мы приветствуем русские песни и классические мелодии. Но, к сожалению, встречаются любители „музыки“ с рявкающими звуками в грохочущем головодробительном ритме работающей пилорамы. Подобная псевдомузыка на территории нашего этнографического парка недопустима».

Это напутствие так воодушевило Леонида Ивановича, что он потом полностью воспроизвёл его на страницах журнала в своём хлёстком и прозорливом очерке. Нынче этнопарк — через пять лет после кончины его основателя — получил официальное наименование: «Земля Постникова». Так вот, Евгению Смольянинову и Татьяну Петрову я впервые услышал на «Земле Постникова». Я шёл по здешней улочке и, словно в речке, купался в их голосах, усиленных динамиком. Слышал я там и Штоколова, и казачьи хоры. Врать не буду: Окуджавы я там не слышал…

— Окуджава, конечно же, не национальный русский поэт, у него вместо «родной тальянки» «виноградная косточка», и «кларнет», и «помятая труба» — то, что мою крестьянскую курскую родню глубинно тронуть не может, слишком разные цивилизации «кларнет» и «низенькая светёлка», «виноградная косточка» и замерзающий в степи ямщик, «зеленоглазый Бог», дающий «всем понемногу», и «догадливый атаман», что «сон мой разгадал»…

Что до «узнаваемости» и «неузна́нности», то в разные периоды возраста мы по-разному относимся к этому вопросу. К тому же быть «узнаваемым» — это ещё не значит быть у́знанным. Узнаваемым я точно быть никогда не хотел, а вот из немоты и молчания, из сегодняшней вынужденной культурной эмиграции (а в духе твоей основной темы — из культурной изоляции), говоря словами прекрасного Георгия Иванова, наверное, хотел бы «вернуться в Россию — стихами» вместе со своим поколением.

ДиН симметрия

Николай Клюев

На груди колыбельных полей…

● ● ●

Братья, мы забыли подснежник,
На проталинке снегиря,
Непролазный, мёртвый валежник
Прославляют поэты зря!

Хороши заводские трубы,
Многохоботный маховик,
Но всевластней отрочьи губы,
Где живёт исступленья крик.

Но победней юноши пятка,
Рощи глаз, где лешачий дед.
Ненавистна борцу лампадка,
Филаретовских риз глазет!

Полюбить гудки, кривошипы —
Снегиря и травку презреть…
Осыпают церковные липы
Листопадную рыжую медь.

И на сердце свеча и просфорка,
Бересклет, где щебечет снегирь.
Есть Купало и Красная горка,
Сыропустная блинная ширь.

Есть Россия в багдадском монисто,
С бедуинским изломом бровей…
Мы забыли про цветик душистый
На груди колыбельных полей.

1920

Александр Астраханцев

Проигрыши

Роман-исследование *(отрывок)*

Будучи филологом-исследователем и взявшись в недавнем прошлом изучать биографии наших местных писателей второй половины двадцатого века, я обнаружил, что почти все наши писатели, окончание творческой жизни которых совпало со временем «лихих девяностых» — то есть страшной ломки системы, развала СССР и мучительного рождения новой страны, России, — заканчивали свою жизнь в ужасных условиях: с мизерными пенсиями, в нищете, в забвении и при полном отрицании их былых творческих заслуг, да, мало того — ещё и в облыжных обвинениях их всех со стороны вновь народившегося поколения молодых агрессивных литераторов в «приспособленчестве» по отношению к правящим партийным властям в той, прошлой, советской жизни; хотя я, исследуя творчество тех писателей, должен — да просто обязан! — засвидетельствовать, что да, некоторые из них — точно так же, как и в наше время, и во все без исключения времена, — и в самом деле вели себя приспособленцами и прилипалами к властям предержащим, однако большинство их всё-таки были вполне честными и искренними, в силу своих талантов и умения воспевая, обличая и анализируя своё время и жизнь своих земляков-современников в стихах, прозе и публицистке.

Но, пожалуй, в наиболее трудной, да к тому же ещё и довольно необычной ситуации оказался в это самое «время девяностых» один из них — детский писатель Николай Иванович Мякишев, а потому я больше всего заинтересовался им и его биографией и на ней остановил своё пристальное внимание.

Почему? — спросите вы. Да потому что именно на его старческой судьбе более всего отыгралась вся бессмыслица и уродливость того времени.

Но почему именно на нём? — опять же спросите вы… Да потому, видимо, что, во-первых, детская литература оказалась в той ситуации наиболее уязвимым духовным продуктом — и, стало быть, ситуация больнее всего ударила по детскому писателю; а во-вторых, по характеру своему был он (на мой взгляд, конечно же!) наиболее типичной творческой личностью — ярко выраженным интровертом, и при том человеком скромным, сдержанным, немногословным, даже, на первый взгляд, замкнутым, да при этом ещё и совершенно индифферентным к политическим играм своего времени, в пользу, разумеется, своего главного занятия, — да, пожалуй, ещё тем, что носил такую вкусную, хлебную крестьянскую фамилию, а, как известно с древнейших времён, имя (то есть, по русской традиции, полное имя, включающее в себя имя собственное, отчество и фамилию) — уже знамение. Вот он и оказался в той ситуации наиболее беззащитным из всех остальных писателей нашего города, типичного сибирского областного центра средней руки, где писателей и было-то раз, два — и обчёлся.

К тому же я, будучи по роду своей деятельности более-менее знаком с большинством из них, с ним был знаком менее всего — скорей, из-за большой разницы в возрасте: этакое, знаете, чисто шапочное знакомство по обязанности. Тем более что, как я уже сказал, был он ярко выраженным интровертом, не кидающимся сломя голову в новые знакомства. Причём, должен заметить, даже со своими коллегами он был довольно сдержан, так что мне пришлось устанавливать факты его бытовой и творческой жизни косвенными путями: вчитываясь в его тексты, не изуродованные редакторами, и в его черновые записи, уже ставшие достоянием архивов, а также благодаря опросам и свидетельствам его близких родственников, немногочисленных товарищей и людей, хорошо его знавших.

И когда я познакомился с фактами его биографии и творчества ближе, мне представилось, что они могут быть интересны не только мне как исследователю — но и кому-то из широкого круга читателей. Так вот зародились эти биографические записки, слепившись в конце концов в целую повесть.

1.

Но это через многие годы он стал Николаем Ивановичем, довольно известным у нас в городе человеком, — а надо бы начать рассказ о нём с его юности.

Собственно, тогда их было даже трое, трое друзей, и их судеб тоже придётся коснуться в той степени, в какой они, эти их судьбы, сплетались время от времени с судьбой самого Николая

Ивановича,—так что прямо-таки классический сюжет складывается, вроде небезызвестных «Трёх мушкетёров», «Троих в лодке, не считая собаки» или «Трёх товарищей»; да ведь вы, дорогие читатели, и сами можете назвать ряд книг, где и в названиях, и в текстах фигурирует цифра «три», ведь число это не просто символично, а прямо-таки сакрально: во всех сказках, пушкинских ли, или народных, причём не только русских,—всюду натыкаешься на исполнение трёх желаний, трёх испытаний или трёх попыток, из которых третья—непременно верная; и в архаической мифологии всех времён и народов боги, богини, герои и героини и все мифические существа трёхголовы, триедины или трёхличностны. Даже в русской народной пословице «Бог троицу любит».

Вот и в этой своей повести я не обойдусь без трёх главных персонажей, причём сошлись они вместе ещё, как говорится, *во время óно* в одной комнате студенческого общежития нашего пединститута.

Что значит «нашего»? Нашего, областного—ведь, как известно, в каждом уважающем себя областном центре необъятной нашей Родины обязательно есть свой пединститут; естественно, таковой имеется с незапамятных лет и в нашем городе (хотя почему с незапамятных-то?—я вам точно скажу с каких: с первых послереволюционных, то есть с начала двадцатых годов двадцатого века). Вот в нём они и учились, уже в послевоенное время. И причин тому, чтобы их звёзды сошлись в одной комнате общежития, было много…

В годы их учёбы, например, учительская профессия, если правду сказать, была у молодёжи не в чести: работа нервная, трудозатратная, зарплаты небольшие, да ещё после института выпускников обязывали *отрабатывать срок* в глухих углах,—так что в «пед» шли главным образом или школьные выпускники обоего пола, твёрдо решившие посвятить себя благородной профессии учителя, или уж девчонки, которым ничего больше не светило, а диплом иметь хотелось.

Но было ещё несколько факторов, отвлекавших наших выпускников от пединститута: так, лучшие из них—в первую очередь медалисты, конечно!—уезжали штурмовать самые престижные вузы столицы; выпускники второго, так сказать, эшелона предпочитали вузы технические, которых к тому времени и у нас в городе уже было несколько; а для выпускников мужского пола, не очень уверенных в своих знаниях, зато полных боевого задора, был ещё один соблазн—военные училища,—так что в педвузах, да ещё на гуманитарных факультетах, парни оказывались редкостью. Зато их там ценили и баловали вниманием…

Именно «гуманитариями» и были те ребята, что сошлись когда-то в одной комнате пединститутского общежития вместе с Колей Мякишевым, поступившим на биофак: Паша Стригалёв—истфаковец, а Слава Фомин—с филфака.

Причём, думаю, сошлись они втроём совсем не случайно.

Я уже где-то писал, что люди делятся меж собой главным образом не по национальностям, верованиям или социальному статусу, а в первую очередь по месту рождения—на «деревенских» и «городских», и эта разница между теми и другими, вроде бы невидимая, практически не стирается до конца жизни.

Так вот, их, этих троих моих персонажей—или литературных героев, если хотите,—объединяло именно то, что все трое родились и выросли в селе, среди широкого природного пространства (да ещё сибирского!), среди сельской тишины и малолюдья, и за пять лет, проведённых в тесной общежитской комнате, настолько сдружились, что это связало их на всю жизнь, хотя жизнь временами и разводила их потом, и отчуждала иногда на целые годы.

Они и внешне-то были в чём-то схожи, словно братья: все трое—блондины, сдержанные, немногословные, даже поначалу робкие в чуждой им городской среде, хотя эта самая среда со временем потихоньку обтёсывала их и шлифовала; и всё же внутренне они оставались по отношению к городу чуть-чуть отчуждены.

Но стандартные комнаты в общежитиях строились раньше в расчёте на четверых; поэтому постоянно с моими тремя персонажами жил кто-то четвёртый. Причём на первых двух курсах это был студент с матфака по имени Феликс. Феликс Аралбаев, симпатичный паренёк с явно густой примесью тюркских кровей.

Он появился в дверях комнаты в самый последний день августа, уже после вступительных экзаменов и зачисления в институт, и, мягко улыбаясь, сказал:

— Привет. Меня на свободное место к вам определили.

— Ну, проходи, раз определили. Вон твоя кровать,—довольно холодно показал ему на железную кровать с голой сеткой кто-то из тех троих—сами-то они успели *скорешиться* ещё на вступительных экзаменах и к четвёртому, естественно, отнеслись как к чужаку.—Только пойди получи у кастелянши постель…

Он ушёл, через некоторое время принёс матрац, подушку, постельное бельё, застелил постель и сел на неё, рассматривая своих будущих товарищей.

Бегло успели рассмотреть новичка и «старожилы», и ничто в его облике от них не ускользнуло: густая смуглость кожи, узкие ладони, тонкие пальцы, чёрная, аж с синеватым отливом, слегка кудрявая шевелюра, заметный белёсый, заросший уже, шрам на лбу, изломавший одну бровь, чёрные

глаза в чёрных же мохнатых ресницах и припухших веках… Невольно начались расспросы с их стороны: как зовут? откуда приехал?

Оказалось, приехал он издалека—из какого-то казахского областного центра. Из какого именно—забылось со временем, да это уже и неважно теперь; важней другое: он был явным горожанином, из тех нервно-общительных, явно битых и крученных жизнью городских «пацанов», выросших в тесном барачном «уюте», «под сталинским солнцем свободы» (так, кажется, пелось в старом гимне СССР?), в контакт вступал быстро и русским языком владел даже лучше своих новых товарищей, чистокровных русичей,—правда, нечаянно приправляя свой язык, с одной стороны, *блатной феней* и нечаянными матерками, а, с другой—чисто интеллигентными оборотами речи, да ещё с ироническим оттенком, типа «благодарю покорно» или «имею честь доложить вам».

— Как тебя к нам занесло-то, в такую даль?—спросили они его, немного *обнюхавшись*.

— Да-а, было дело… Пришлось уехать,—невнятно пробормотал он.

Но ребята и не наседали: что у него там было за «дело»?..

— А где бровь рассекли?

— Где-где!—уже насмешливо передразнил он любопытного.—В родном дворе. У нас там знаете какой весёлый интернационал: казахи, русские, немцы, чеченцы! Скучно не бывает. Даже убивают иногда.

— Поня-атно… А где твои вещи?

— Сейчас поеду, привезу. Я на квартире жил, пока экзамены сдавал…

И он, посидев немного, в самом деле ушёл, а через час вернулся и припёр с собой огромный чемоданище, какого ни у кого из остальных ребят не было—так, чемоданишки, а то и вовсе рюкзачки; а в чемоданище том было полно красивых, изящных вещичек: курточки, рубашечки, брючки, а среди брючек—ещё и заморские джинсы, каких остальные ребята не только не видывали, а и слыхом-то о них не слыхивали—во всяком случае, на первом курсе. И, в отличие же от остальных, бросавших свои вещички где попало: на стульях, на спинках кроватей, а то и просто на кроватях,—Феликс всё своё добро аккуратно развесил во встроенном шкафу, предварительно нанизав на плечики, имевшиеся в том самом чемодане. Такое внимание к своему тряпью, совершенно не в стиле его новых сожителей, было бы, наверное, немедленно ими осмеяно, если бы не одно «но»…

Вторым, что он принёс с собой, была связка книг. И в довершение ко всему он достал из чемодана и положил на самую замызганную, видавшую виды тумбочку, какая ему досталась, красивую: склеенную из разноцветных пород дерева, лакированную, явно штучной работы, большую шахматную доску с гремящими внутри шахматными фигурами, а в саму тумбочку сунул ещё и шахматные часы с двумя циферблатами, а также оклеенную серым дерматином коробочку карманных шахмат и уже упомянутую связку книг.

Собственно, именно с шахмат и завязался у них общий, уже заинтересованный разговор: Феликса спросили о чём-то по поводу шахмат, и он пояснил, что любит играть в них, с семи лет занимался ими в городском Дворце пионеров и участвовал в детских и юношеских соревнованиях. Наши ребята признались, что тоже не чурались их в школе и тоже участвовали в школьных соревнованиях, и Феликс тут же предложил сыграть с ними «на вылет» (когда каждый проигравший уступает место следующему).

Нашему главному герою, биофаковцу Коле Мякишеву, смело севшему играть с ним первым, он поставил детский мат в три хода; следующий, филфаковец Слава Фомин, проиграл, продержавшись семь ходов; последний, истфаковец Паша Стригалёв, самый вдумчивый и упрямый из троих, сопя и долго думая над каждым ходом, продержался аж целых двенадцать ходов—и всё равно проиграл. Причём сам-то Феликс, чувствовалось, играл вполсилы—свои ходы делал мгновенно, ни секунды не думая, да ещё при этом посмеиваясь и пошучивая.

Все проигравшие пришли в злой азарт от проигрышей: как это—сдаться какому-то заморышу из неведомой казахской дыры?—и играли с ним потом до ночи, изо всех сил стараясь отыграться хоть однажды; каждый из них сразился с Феликсом по три раза—и безуспешно… Потом играли против него все вместе, много думали и спорили над каждым ходом—и всё равно оба раза *продули*: Феликс остался непобедим, как скала.

И когда, наконец, все трое его партнёров выбились из сил, признали за ним беспрекословное первенство и бросили играть, однако всё ещё продолжая возбуждённо обсуждать свои проигрыши, спорить и недоумевать: в чём загадка их прямо-таки беспомощных проигрышей?—Феликс, добродушно посмеиваясь, сказал им, что, во-первых, у него первый спортивный разряд по шахматам и он входит в пятёрку лучших шахматистов своего города, причём четверо из них—мастера спорта и кандидаты в мастера, а во-вторых, посмеялся над тем, что ребята понятия не имеют о теории шахмат… Тут он достал из тумбочки свою связку книг, разложил их, показывая им: как оказалось, все до единой были о шахматах,—и, раскрывая их по очереди, стал рассказывать про шахматные азы: что такое дебют, гамбит, миттельшпиль, эндшпиль и что такое шахматные задачи; потом расставил на шахматной доске фигуры и стал показывать всевозможные приёмы «в натуре». Затем чуть не всю ночь снова играли трое против

одного, и после каждого их проигрыша Феликс подробно разбирал каждую партию, рассказывая им об их ошибках и возможных вариантах. А ребята дивились другому: как он, ничего не записывая, запомнил каждый ход в каждой из этих последних партий — и свои собственные, и их ответные?! — так что в первый же день знакомства они восхитились им и со всем своим пылом юношеского максимализма провозгласили его шахматным гением.

Всё это случилось вечером накануне учебного года. А уже на следующий день, первого сентября, все они, каждый со своей группой, как и все студенты первых четырёх курсов во всех вузах страны, в обязательном порядке на весь сентябрь разъехались на сельхозработы по колхозам. Однако через месяц, вернувшись в город, эта четвёрка с первых же дней занятий продолжила в свободное время заниматься шахматами — настолько сумел заразить их ими Феликс.

Скинувшись, они купили ещё один комплект шахмат, самый раздешёвый, с картонной «доской», и теперь, придя с лекций, забыв про учебники и чтение, резались сразу на двух досках. При этом, уже наученные Феликсом, стали записывать свои партии в тетрадках и разбирать сыгранные партии, пробовали разные возможные варианты их, заглядывали в Феликсовы шахматные книги, сверяя собственные шахматные ходы с книжными, а уже ночью, наигравшись до одури, забравшись в постели и потушив свет, продолжали спорить и обсуждать варианты…

Кстати, в знак полного доверия к нему они в своём узком кругу сменили ему имя, слишком чужое для них, из какого-то европейского куртуазного романа, на простецкое — Филя. Даже — Филька… Со временем это *погоняло* выпорхнуло из комнаты и пошло гулять сначала на курсе, а потом и во всём институте, так что довольно скоро Феликса все только Филей и звали и даже удивлялись, когда узнавали, что он — Феликс.

Весь октябрь в их комнате проходил под знаком шахмат… А с начала ноября, когда, наконец, институтская жизнь вошла в нормальный ритм, — оживилась и спортивная жизнь; в частности, на конец месяца на факультетах намечены были факультетские личные первенства по шахматам, на которые мог записаться любой желающий; Феликс, естественно, записался одним из первых на своём матфаке и взялся за тренировки.

В институте он теперь слушал лекции и участвовал на практических занятиях лишь по физике и математике; на всех же прочих лекциях, которые были ему неинтересны, он, садясь в аудитории на последний ряд, доставал карманные шахматы и, уткнувшись в них, без конца гонял фигурки и решал шахматные задачки, а кроме того, после лекций стал ездить в областную библиотеку и брать на абонементе свежие книги по шахматам или очередной журнал «Шахматы в СССР»; если же их ему не давали на дом, просматривал их в читальном зале, что-то выписывая из них в свою тетрадь, а вернувшись в общежитие, читал взятую в библиотеке литературу и опять что-то выписывал. Или разыгрывал шахматные партии сам с собой. А поздно вечером, закончив заниматься всем этим, «для отдыха» он ещё предлагал *сокамерникам* сыграть с ним по очереди, но — с каким-нибудь условием: или давая партнёрам фору, сам играя при этом без ладьи, слона или ферзя, или играя «вслепую»: когда его партнёр сидел за столом и двигал фигуры, а сам он диктовал свои ходы вслух, ложась на кровать и уткнув лицо в подушку.

На матфаковском личном первенстве он занял лишь третье место, уступив двум старшекурсникам: одному — кандидату в мастера спорта, а другому — тоже, как и он, перворазряднику, — и был этим недоволен — он оказался большим честолюбцем! Зато вошёл в факультетскую команду перед институтским командным первенством, которое намечено было на декабрь… И опять у него всё повторилось, только с ещё большим упорством: постоянная игра с самим собой в карманные шахматы на лекциях, изучение новых шахматных книг и журналов, игры с товарищами по комнате «вслепую» или с форой.

На институтском первенстве по давней традиции победу одержала команда матфака, самая сильная в институте. А при подсчёте личных победных баллов эта же самая троица факультетских победителей — в том числе и Феликс — вышла в финалисты и здесь тоже, причём Феликс по соотношению выигрышей, проигрышей и ничьих переиграл старшекурсника-перворазрядника и вышел на второе место по институту, уступив лишь кандидату в мастера. А в результате все трое вошли в институтскую команду, которой предстояло защищать честь института на областном командном первенстве всех учебных заведений под флагом спортивного общества «Буревестник»…

На этот раз Феликс был доволен собой: ему очень хотелось попасть в институтскую сборную, и он это сделал — он оказался настоящим спортсменом!..

Однако уже вскоре это его довольство собой было омрачено большой неприятностью, подкравшейся к нему весьма неожиданно: кое-как, с грехом пополам, сдав зачёты, к экзаменам на зимней сессии он вроде бы и был допущен, но тут вскрылась большая неприятность — согласно журналу посещения занятий, он вошёл в чемпионы курса по их пропуску! Дело запахло отчислением из института. Он отнёс в деканат в муках сочинённую им объяснительную записку о том, что

пропускал занятия только потому, что изо всех сил защищал сначала спортивную честь курса, потом — факультета. На старших курсах такие оправдания срабатывали, но на первом — деканат строжился, приучая первокурсников к дисциплине, как говорится, «на старте»… В конце концов он всё-таки вымолил прощение — его допустили к экзаменам, но его постигла новая неприятность: два экзамена провалил. Правда, к частичной компенсации такого провала, два других экзамена — высшую математику и физику — он сумел сдать на «отлично». Вот такие неровные успехи и неуспехи в учёбе неожиданно обнаружились у нашего шахматного гения…

Но съездить домой на зимние каникулы у него не получилось: надо было срочно исправлять «неуды».

Приезжала его мамочка, начавшая расплываться женщина средних лет и со славянской внешностью: сероглазая, с копной густых рыжих волос, одетая в строгий деловой костюм синего цвета. Она сразу покорила Феликсовых товарищей тем, что щедро одарила их, слегка поотощавших от студенческой столовки, целым мешком «райской вкуснятины»: копчёной колбасы, сгущёнки, пачек печенья, россыпи шоколадных конфет, — уплетать которую ребятам хватило потом на целых две недели.

Она тоже ходила в деканат и тоже, видно, покорила их там, потому что Феликсу разрешили исправлять свои «неуды» в течение всего второго семестра. А когда уехала, у ребят с ним случился небольшой, но примечательный разговор, поводом для которого стала именно она, его мама.

— Какая она у тебя серьёзная! Чем она, интересно, занимается?

— Да-а, какая-то начальница в торговле, — небрежно махнул он рукой.

— Филька, а чего ты казахом прикидываешься? Она ж у тебя — русская!

— Так а я в отца пошёл, а батя — чистокровный кыпчак, потомок Чингисхана, — улыбчиво щуря глаза в чёрных густых ресницах, отшучивался он.

— Да какой ты потомок Чингисхана? Ты по-русски лучше нас *ботаешь*!

— Хе-хе-хе, — снова лукаво посмеивался он. — Был бы русским — и был бы как вы, а так я малый народ, а вы — мои угнетатели! — похохатывал он.

— А откуда у тебя, потомок Чингисхана, такая странная любовь к математике, к шахматам?

— Почему — странная? — опять лукавил он. — Мои предки всю жизнь в степи жили, баранов считали. Всё привыкли считать, причём в уме: баранов, звёзды, ветры, врагов, предков своих. Считать и всё помнить. Вот так-то!..

В течение февраля он всё же изо всех сил постарался исправить свои «неуды» на «трояки» (на «международную», согласно студенческому жаргону) — иначе бы его просто не допустили до областного первенства. А между тем он, уже наученный горьким опытом, теперь, во втором семестре, исправно посещал занятия, на которых, между прочим, по-прежнему вдохновенно гонял фигурки карманных шахмат, после занятий непременно ездил в областную библиотеку, читал взятую там литературу, а вечерами опять играл с товарищами «вслепую» или с форой.

Однако товарищи его по комнате к тому времени понемногу охладевали к шахматам и уже играли с ним без охоты: их влекли другие, свои интересы, — и Феликсу пришлось искать новых партнёров.

При институте работала своя шахматная спортивная секция, но в ней, по его мнению, были одни *слабаки*; зато в одном из Домов культуры он разыскал городской шахматный клуб — там собиралась серьёзная публика, вполне достойная того, чтобы с ней *рубиться*: по преимуществу взрослые, солидные люди. По воскресеньям он стал ездить туда (имейте в виду: воскресенье в те годы было единственным выходным днём в неделе!).

Городские шахматисты, познакомившись с ним ближе и обнаружив в нём шахматный талант, весьма высоко его оценили, в то время как *сокамерники* хоть и уважали его за талант, однако относились к нему как к равному — к такому же, как сами: просто у них свои таланты, а у него — свой, только и всего…

А в марте состоялось областное командное первенство «Буревестника» по шахматам. Я уж не помню точно, какое именно — не то второе, не то третье — место заняли наши «педагоги»; первое там по традиции держала мощная команда «технарей» из политехинститута.

В те годы не было такого повального, как нынче, увлечения англицизмами, и слово «рейтинг» не было никому знакомо; я это — к тому, что на том престижном первенстве Феликс добился высоких личных результатов. Во-первых, ему дали красивую, с золотым тиснением, грамоту. У него уже было их несколько за этот учебный год, по нарастающей; он развешал их все над своей кроватью и, как ребёнок, искренне гордился ими (между прочим, на самом деле этих грамот у него, начиная с пионерского детства, как оказалось потом, была целая папка, и он её берёг в своём чемодане); во-вторых, результаты последних областных соревнований давали ему право на звание кандидата в мастера спорта, и это — в семнадцать лет! Перед ним открывалась блестящая перспектива… Он вошёл в шахматную элиту города: о нём дали статью в областной молодёжной газете как о самом юном в городе кандидате в мастера; ему выделили путёвку во всесоюзный летний спортивный лагерь где-то под Москвой,

где собирали на стажировку юных шахматных гениев со всей страны. И наконец, его включили в молодёжную команду на зональное первенство по шахматам—а нашей спортивной зоной была чуть ли не вся Сибирь! Было отчего закружиться Феликсовой головушке. Но, к его чести, он, помня про свой позорный провал на зимней сессии, на этот раз свою голову не терял—после областного первенства взялся за учёбу всерьёз: на лекциях честно писал конспекты, выполнял в срок курсовые работы, подтянул *хвосты*, и хоть и без блеска, но все весенние зачёты и экзамены сдал.

В отличие от товарищей, он частенько получал письма из дома—от родителей, родственников, товарищей; любил читать их, сидя на своей постели, свернув ноги калачиком, и после чтения их—прямо-таки по-детски—заметно веселел. Но однажды—это было уже весной—получил письмо, которое он, кажется, перечитал несколько раз, как-то слишком серьёзно и озадаченно задумался и начал говорить лишь после долгого молчания:
—Вот, получил письмо от дружка, Сеита,—вместе бегали в шахматную секцию во Дворец пионеров. Пишет, защитил звание мастера спорта.
—Здорово!.. Так там у вас, поди, блат для своих?—высказали предположение товарищи.—Жил бы у себя—и тоже бы, наверное, был мастером спорта.
—Не-е, не стал бы!—уверенно покачал головой Феликс.—У меня *жуз* не тот.
—Чего-чего? Какой такой «жуз»?
—Вам не понять. Жуз—это как бы племя или род, но и не племя, и не род. А я в своем городе не из того жуза, да ещё не чистый кыпчак, так что мне там первым—не быть. Могу быть вторым, третьим—а первым не быть никогда. Азия, средневековье!—невесело усмехнулся он.—Все—комсомольцы, коммунисты, говорят про социализм—а живут по феодальным законам.
—Ну и правильно, что к нам приехал,—успокоили его товарищи.—Съездишь на «зону» и тоже мастером станешь—какие твои годы?! Ты ж—почти готовый мастер спорта!..

2.

Летом ему исполнилось восемнадцать; тем же летом он благополучно съездил в подмосковный спортивный лагерь, о котором с восторгом поведал, когда собрались после летних каникул вместе. Даже похвастался: сподобился пожать руку чемпиону мира, который навестил их там и дал им всем сеанс одновременной игры, и Феликс будто бы хоть и не смог его переиграть, но умудрился свести партию к ничьей—причём таких, как он, счастливчиков в лагере набралось всего двое, и оба стали там героями дня; да ещё, как оказалось, об обоих написали в «Комсомольской правде»!..

От колхоза в сентябре он отвертелся: участвовал в каком-то шахматном семинаре. А в октябре получил наконец из Москвы долгожданные *корочки* с золотым тиснением: удостоверение кандидата в мастера. И заважничал.

Но почти одновременно с корочками получил и весьма болезненный щелчок по носу: его вычеркнули из молодёжной команды на «зону». Оказалось, что чем выше он взбирался по ступенькам спортивной карьеры, тем жёстче была конкуренция; начинали действовать какие-то подковёрные интриги, влиятельные знакомства, телефонное право, и вместо него включили в команду какого-то Андрюху, сынка важного спортивного *босса*. Феликса это, естественно, больно задело; он страстно переживал этот удар, жалуясь товарищам по комнате (больше было некому):
—Да я этого Андрюху делал как хотел—стандартно играет! Теорию дебюта не знает ни черта, не умеет партию красиво закончить!.. Зря я приехал сюда: думал, у вас тут и правда социализм, а у вас—всё та же феодальная Азия!—и в его чёрных прекрасных ресницах блестели горькие мальчишеские слёзы обиды.
—Да ты не расстраивайся!—успокаивали его товарищи.—Не в этом—так в следующем году поедешь! Какие твои годы?
—А где гарантия, что в следующем не будет нового Андрюхи?—хныча, тянул своё Феликс.—Начальников же—ложкой не перехлебать!
—Так ты заработай за год столько очков, чтобы никто тебя не смел выкинуть! Ты сможешь это сделать!
—Не-е, ребята, вы не понимаете! Чтобы что-то сделать в шахматах, нельзя стоять—только вперёд! Если в двадцать ты не мастер спорта—всё, труба, отстал!
—А может, и без «зоны» сумеешь стать мастером?
—Не-е, ребята, мастера получить можно минимум на зональном первенстве! А лучше—на республиканском!..

Он переживал этот удар несколько дней, ничего не делая и бродя как в воду опущенным. Но время, а также сочувствие, внимание и уговоры товарищей постепенно действовали на него, и уже через неделю он как будто бы вошёл в ритм студенческой жизни и успокоился. Однако внутренний огонёк в его душе слегка потускнел. Во всяком случае, он почти перестал весело улыбаться и шутить с беспечностью юного гения.

Как и на первом курсе, он продолжал принимать участие в традиционных факультетских, институтских, областных соревнованиях и, чтобы не потерять квалификацию, продолжал постоянно изучать шахматную литературу, решать шахматные задачки; попробовал даже сам сочинять их и печатать в областной *молодёжке*. И всё же заметно

было, что он относится ко всему этому уже без прошлогоднего горения и азарта—как ко всякому повторению уже однажды пройденного. И по-прежнему ездил в городской шахматный клуб, где, как он сам говорил, у него появились прекрасные друзья… Обычно он уезжал туда по воскресеньям, в середине дня, и часов в десять вечера возвращался.

Но однажды вернулся только под утро и—пьяным.

Войдя в тёмную комнату, громко хлопнув дверью и тут же с грохотом опрокинув в темноте стул, он, естественно, разбудил товарищей, при включённом свете представ перед ними в широко распахнутых пальтеце и пиджачке, всклокоченным и глупо улыбающимся. Подойдя к столу, первым делом поднял пузатый чайник, в котором заваривали чай на всех, и, присосавшись к носику, начал жадно из него пить, чего раньше никогда не делал. Напившись и поставив его на место, он принялся вытаскивать из разных карманов и швырять на стол мятые денежные купюры самого разного достоинства. Набралась небольшая кучка.

— Во, выиграл! Дарю на общий стол!—картинно показал он на неё пальцем.

Затем повесил в настенный шкаф пальто и пиджак, добрался до своей кровати, отбросил одеяло, быстро разделся, потушил свет и рухнул в постель.

— Ты чего—спать собрался? Уже скоро вставать!—подсказали ему товарищи.

— Не-е, ребята, я посплю! Опоздаю на лекции,—пробормотал он.

— Во что ж ты выиграл?—спросили его.

— В преф-фер-ранс,—успел он еле-еле выдавить из себя и тут же захрапел.

На лекции в тот день он так и не пошёл—отсыпался. А когда товарищи вернулись под вечер из института—застали его вполне бодрым.

Они взялись было журить его за вчерашнее: почему не предупредил? ведь они потеряли его, пытались дозвониться вечером до этого самого шахматного клуба по единственному на всё общежитие телефону, заявили о его пропаже в милицию!..—но разговор был быстро исчерпан тем, что Феликс торжественно пообещал отныне предупреждать их о своих *залётах*.

Правда, была ещё одна причина быстрей закончить неприятный разговор…

Дело в том, что любимейшим блюдом «общего стола» у нашей компании были свежие ливерные пирожки из студенческой столовой на первом этаже, дешёвые, ароматные, поджаренные до хруста, до густого золотисто-коричневого цвета и желательно ещё тёпленькие. Ребята при случае уплетали их десятками—под чаёк и общий разговор… Вот и в тот день к приходу товарищей Феликс накупил их на выигранные деньги целый портфель, высыпал на стол, подстелив газету и газетой же заботливо прикрыв, чтоб не остыли. И, конечно же, товарищи, несмотря на то, что только недавно пообедали в столовой, тут же заварили чайник свежайшего чая и без всяких церемоний начали *обжираловку*, продолжая не законченные ночью расспросы Феликса по поводу выигрыша.

И под этот чаёк с пирожками он рассказал, что, во-первых, всякий уважающий себя шахматист—азартный игрок в душе, готовый сражаться во всё, что есть под рукой: шашки, шахматы, карты—да домино, в конце концов; а во-вторых, мужики в городском шахматном клубе давно разобрались по компаниям, один из них зазвал свою компанию к себе домой на собственные именины и, из большого уважения к Феликсу, пригласил и его тоже, а после застолья компания эта решила «перекинуться» в преферанс…

— Может, думали, что раз я восточный человек—так у меня денег куры не клюют и я—лох? А я их всех *обул*—мужики крупно *лоханулись*! По маленькой играли—по копеечке за вист, но на хлебушек наскрё-ёб!—заразительно смеялся он: вчерашний выигрыш снова привёл его в отличное настроение.

Феликсовы товарищи по комнате, ещё недавно—«деревня», конечно же, игрывали в детстве в карты, однако то были простецкие игры, вроде «дурака» или «акулины»,—но уже начитаны и наслышаны были, что есть на свете серьёзные карточные игры с умопомрачительными названиями: вист, бридж, бостон, преферанс… И оказалось вдруг, что все эти игры Феликс прекрасно знает!—но сам предпочитает самую умную из них, преферанс… И тут же вся компания единогласно решила: а пускай-ка он научит играть в него и их тоже!..

Истрёпанная колода карт нашлась у «историка» Паши: в общежитии они в них не играли, но хозяин колоды брал её с собой в колхоз—резаться в них в ненастья,—и они тут же, отставив недоеденные пирожки, горячо взялись за учёбу.

Сначала Феликс прочёл им краткую лекцию о том, что существует целая теория игр, но—только там, на Западе: у нас до неё ещё *не допёрли*,—однако на всесоюзном семинаре их в эту теорию кратко посвятил один наш умник. Есть, сказал далее Феликс, в теории этой и стратегия, и тактика, и изучение поведения партнёров в каждой ситуации, но им сейчас до той теории—как пешком до неба, так что придётся постигать её азы на собственных ошибках и расплачиваться собственным карманом, потому как всякая умная карточная игра должна быть только «на интерес», иначе играть всерьёз никогда не научишься, а потому «без денег за карты не садись»… Далее, сказал он, карточных игр существует на свете не меньше пятисот, а сколько точно—не знает никто; сам он знает всего с дюжину их, но что преферанс—король всех игр, это он знает точно…

Наконец, закончив вступительное посвящение, он положил на стол чистый лист бумаги, расчертил его карандашом, объясняя значение каждой линии и каждого значка на ней, затем, благословив начало:

— Первая игра — бесплатно: учимся!.. Ну что, понеслась душа в рай? — взял в руки колоду карт, быстро, ловко перетасовал их и с присказками вроде: «Карту не ругай — отвернётся», «В незнакомую компанию не садись — обдерут до нитки», «Если через полчаса не понял, кто за столом лох, — значит, лох ты сам», — он сдал карты и начал, терпеливо объясняя каждый элемент игры, учить их преферансу.

Товарищи его оказались сообразительными учениками — учились быстро; однако, сидя до вечера, за первую игру лишь кое-как одолели все её правила. Под конец, «чтобы лучше усвоить учёбу», Феликс предложил «сгонять партейку на интерес по маленькой — по полкопеечки за вист»... Играли недолго, часа три. Проигранные всеми троими рубли он велел тут же выложить на стол и приказал: завтра на эти деньги купить пирожки на всю компанию.

Вернувшись в следующее воскресенье из шахматного клуба, он доложил своим товарищам по комнате, что, признав там за ним его карточное мастерство, его свели с компанией солидных преферансистов — с полковниками, «у которых, говорят, денег куры не клюют», — и что ему у-ух как хочется этот слух проверить!.. Так что в следующее воскресенье, часов в десять утра, заняв на всякий случай: вдруг да *продуется в дым*? — у всех троих товарищей по сотенке (по случаю стипендии как раз все были при деньгах) и набрав общую сумму в пятьсот рублей, он, весёлый и возбуждённый, отправился в поход, сказав ребятам напоследок:

— Ну что, благословите! Или пан — или пропал: пошёл чистить карманы полковникам! Посмотрим, что у них там водится!

— Ни пуха тебе ни пера!

— К чёрту!..

Он снова вернулся под утро, весёлый и довольный, и снова пьяненький: дыхание его на этот раз наполнило комнату благоуханием хорошего дорогого коньяка. А карманы его были полны денег.

— Сколько выиграл? — спросили его ребята.

— А чёрт его знает? Лень считать, — вяло махнул он рукой, раздал ребятам сотенные долги, дал сотню «на общий стол», а остальное оставил себе.

И, конечно, тут же завалился спать. Отсыпаться после напряжённой трудовой ночи...

Теперь он, забросив городской шахматный клуб, ходил каждое воскресенье «чистить карманы полковникам» и неизменно приходил в понедельник утром пьяненьким, пропахшим табаком (хотя сам не курил) и — с полными карманами денег. И каждый понедельник давал себе целодневный отдых от института — отсыпался.

Три его пропущенных понедельника прошли в институте без последствий, а после четвёртого — его вызвали в деканат для объяснений; он начал изворачиваться, пытаясь объяснить каждый пропуск: то писал объяснительную, в которой ссылался на некий шахматный семинар, то умудрился достать где-то (опять, поди, добрые друзья из шахматного клуба выручили?) сразу несколько медицинских справок о том, что лежал с огромной температурой, с ангиной, с тяжелейшим приступом ревмокардита... А между тем за это же самое время третьего семестра, пользуясь своим званием кандидата в мастера, в будни взялся ходить по вечерам на судейские курсы по шахматам и через два месяца, закончив их, получил судейское удостоверение.

Ох, эти два месяца!.. Сложными они для него оказались.

Во-первых, его партнёрам-полковникам, похоже, надоело проигрываться ему *в дым*, и в конце концов они его изгнали, так что одно из воскресений Феликс провёл без игры, и это его опечалило. Он, конечно, уже изрядно попривык к полным карманам денег, да, похоже, и к хорошему коньячку тоже — потому что от мучительного чувства печали посреди этого воскресенья он куда-то молча исчез, а вечером заявился слегка навеселе, с очень знакомым уже коньячным ароматом изо рта, наполнившим комнату, а на вопрос ребят: «Где был-то?» — ответил небрежно:

— Да-а, что-то настроения не стало — съездил в ресторан, поужинал...

Однако печаль его была недолгой: друзья из шахматного клуба из уважения к его талантам, в том числе и преферансному, — слава о его талантах, видно, уже катилась впереди него, — расстарались: нашли ему новую элитную компанию городских преферансистов, и через неделю после *облома* с полковниками он уже играл там... Собирался он туда с некоторой робостью: побаивался, что его *разденут*, — игра там, как ему сказали, шла по-крупному, а о карточном правиле: «Совесть и страх — картам не советчики», — он и сам, бывало, напоминал ребятам. Но нет, вернулся утром хоть и с небольшим — но выигрышем. И — трезвый! Поделился впечатлениями о знакомстве с компанией «элитных мужичков»:

— Ох и матё-ёрые зубры! Я, конечно, осторожничал — и ни разу не *залетел!* Хотя были моменты, когда они втроём *подсадить* меня старались. Так что можно и их потихоньку *надирать!* А там посмотрим... — и закатывался весёлым смехом.

— Ну Фи-илька! — по-своему восхищались им товарищи по комнате. — По преферансу ты у нас уже не кандидат в мастера — а целый гроссмейстер!..

Прошло ещё две недели. Теперь после каждого выходного он возвращался всё более довольным выигрышами, с ещё более полными карманами — и снова попахивая коньячком. Правда, не так обильно, как после встреч с полковниками. Можно даже сказать, запах этот был едва-едва уловим — зато куда как ароматен!
— А-а! Теперь я их всех раскусил, кто чего стоит! — вяло махал он рукой, укладываясь спать по возвращении из очередного похода, в то время как его товарищи собирались на занятия. — Теперь их только драть, и драть, и драть…

Но *драть* не получилось. Неумолимо надвигалась зимняя сессия, а он никак не мог получить сразу несколько зачётов, и его не допускали к экзаменам; кроме того, в деканате подвели итоги пропусков занятий, и он опять оказался «чемпионом курса» по пропускам; его справкам там уже не верили; кроме того, в них обнаружили *липу*, вспомнили прошлогоднюю *волынку* с пропусками — и в конце концов его «в показательном порядке»: «чтоб другим не повадно было!» — отчислили из института.

Конечно же, он опечалился, но — как-то не очень и даже немного бравировал этим: похоже, отчасти уже готовился к такой развязке.

А уже вечером в комнату к ним зашла комендантша, суровая женщина, покрикивавшая на студентов хриплым баском, и сказала ему, чтобы завтра же сдал постель и освободил койку: мест в общежитии студентам не хватало…
— Что ты теперь делать-то будешь? — спросили его товарищи по комнате.
— Да-а! — беспечно махнул он рукой. — Переведусь на заочное — я уже был в деканате, договорился. Только документы оформить… Так мне даже удобнее.
— А жить где?
— Комнату сниму. *Ноу проблем.*
— А деньги? В смысле — на что жить?
— Тоже *ноу проублем:* богатых карманов много — ещё чистить и чистить! Потом, у меня же судейские корочки — а за судейство тоже неплохо платят. Хорошо, что умные люди присоветовали: вовремя курсы закончил… Да тут ещё есть такой завод имени Коминтерна, а при нём новый Дворец культуры открывают; мужики из шахматного клуба подсказали, что там должны открыть детско-юношескую шахматную секцию — и меня вроде как рекомендуют туда тренером. Так что на мой век работы хватит! *Ноу проблем!..*

И действительно: уже на следующий день под вечер он пришёл и сказал, что комнату снял, причём — совсем недалеко отсюда, так что будет наведываться: привык к их компании, без них ему будет скучновато. Только вот комнатёнка там мала, даже шкафа нет, поэтому попросил оставить на время у них во встроенном шкафу свою одёжку, а на антресоли над шкафом — сам чемодан…

Ребята согласились. И он исчез, а через неделю заглянул к ним вечерком, когда все уже были в сборе, и, между прочими разговорами, сказал:
— Тут мои предки вдруг всполошились: я сдуру написал им, что перевёлся на заочное. Мамочка пишет, что батя там должностишку клёвую надыбал, зовут домой: всё, мол, будет теперь тип-топ. И батя меня по телефону ищет: может приехать. Если будут вам звонить — скажите, что не знаете, где я. Неохота что-то в свою Азию возвращаться — привык уже тут с вами обитать.
— Да ведь у нас — та же Азия! — со смехом возразили ему ребята.
— Та же, да не та, — рассудил Феликс
— А чего не хочешь с отцом встречаться?
— Давить будет, а я отвык. Вот уж он-то — точно Чингисхан у меня…

А ещё через несколько дней, прямо с утра, — день как раз воскресный был, и потому все в комнате ещё лежали в постелях, чесали языками и только намеревались встать, — их навестил Феликсов отец.

Они сразу его узнали: высокий худощавый мужчина средних лет, симпатичный, даже красивый: со смуглым узким лицом, с такой же, как у Феликса, иссиня-чёрной слегка кудрявящейся шевелюрой — только что виски сединой, как инеем, прихвачены; но, в отличие от сына, с уже чисто азиатским разрезом жгуче-чёрных глаз, и при этом — зычный чистый голос с едва сдерживаемыми властными нотками. Точно: вылитый Чингисхан! — а одет прямо-таки элегантно: серый костюм на нём с белой рубашкой и галстуком; поверх — распахнутое однобортное пальто из серой же добротной ткани, с узким воротником из серебристого каракуля, и — каракулевая же серая шапочка-пирожок в руке; и при всём при том — отменно вежлив. Войдя, поздоровался, представился, сказал, что приехал разобраться с сыном, и, видя, что ребята не возражают, прошёл, сел на стул и только тогда продолжил разговор с ними, продолжавшими лежать в постелях:
— Он мне позвонил и сказал, что перевёлся на заочное отделение. Я понял: опять у него какая-то путаная история, — а мне бы хотелось, чтобы он всё-таки получил нормальное образование. Но он темнит; я ничего не могу понять. Можете честно рассказать, что у него произошло? Парень неглупый, талантливый, но — с залётами. Обещаю: разговор — между нами. Для его же пользы. Согласны?

Ребята согласились и всё честно, со всеми подробностями ему рассказали.

Он поблагодарил их и ушёл.

На следующий день утром они видели обоих, Феликса и отца, в институте, на том этаже, где кабинет ректора. А вечером того же дня оба пришли к ребятам — забрать оставшиеся Феликсовы

вещички вместе с чемоданом. И отец, и сын были немногословны; чувствовалось, что они дружны между собой и хорошо понимают друг друга без слов, но в то же время заметно было, что отец ни на минуту не хочет отпускать сына от себя.

Феликс на прощание пожал ребятам руки и сказал, что уезжает домой, что всё, что прожито у него за полтора года в этой комнате, было просто здорово, что он всегда будет помнить об этом и будет им писать. При этом в его тоне чувствовалось сожаление об отъезде. А отец его, едва заметно улыбаясь, лишь молча кивал головой. С этой же улыбкой он тоже пожал ребятам руки, и они ушли…

Однако Феликс им так ни разу и не написал, и они потеряли его из виду.

А ведь за те полтора года, что он жил с ними, наша троица успела настолько с ним сдружиться, что он запал им в память на всю жизнь, хотя его место в комнате никогда не пустовало: как только оно освободилось, к ним тотчас же подселили парня-первокурсника; потом этот парень, найдя более подходящих для себя товарищей, перебрался к ним… С тех пор на этом месте перебывало ещё несколько разных ребят с младших курсов, так что их личности впечататься в память нашей троицы уже не успевали — не то что Феликс: он оказался самой яркой из них всех личностью, звездой, так что они вспоминали о нём потом частенько, особенно когда садились *сгонять партейку* в шахматы или *перекинуться* в преферанс, — теперь, когда они играли с кем-нибудь из товарищей по общежитию, будь то шахматы или тот же преферанс, — натренированные Феликсом, они легко всех *обували*.

Будучи на старших курсах, они интересовались у институтских чемпионов по шахматам: не слыхали ли, не читали ли они про шахматиста Феликса Аралбаева из Казахстана? — ведь он наверняка уже мастер спорта, если не гроссмейстер, и, может быть, участвует во всесоюзных или даже международных соревнованиях, и имя его, возможно, упоминается в газетах, в шахматных журналах… Шахматисты-старшекурсники, конечно же, его помнили, но имени его больше нигде никогда не встречали. А младшекурсники о нём уже и не слыхивали.

Его сотоварищи по комнате очень о нём сожалели: ведь он, с его упорством и умением безжалостно работать над собой, когда надо, запросто мог — с его-то талантом! — стать гроссмейстером, чемпионом своей республики, страны, мира, наконец! Мог навечно вписать своё имя в историю шахмат, стать новым Чигориным, Капабланкой, Ботвинником! Не стал. Пропал парень ни за понюх. Сгинул. Проиграл вчистую. И не в честном бою проиграл — а в патовой ситуации, самой позорной в шахматах: загнанным в угол, из которого нет никуда выхода. И ведь загнал себя туда сам… Или не сам? Была ли связь между его патом — и почти незаметным, вроде шрама на одной из его бровей, надломом души, выросшей в тесном, грубом человечьем муравейнике на городской помойке?..

Да, конечно же, эта связь была, и его товарищи по комнате, конечно же, постепенно её осмыслили: надлом Феликса начинался на их глазах — с того момента, когда его, законного кандидата, *кинули* с участием в зональном первенстве; он был так подавлен, так обижен этим *обломом*, что не смог справиться с обидой без последствий — всё дальнейшее стало похоже на мщение всем, кто попадался под руку. А оружие мщения выбирал он сам — то, каким сам владел без промаха…

Часто вспоминая о нём, былые его товарищи по комнате удивлялись потом ещё и тому, как легко были вовлечены им в его игры и как стремительно вовлекается во власть азарта душа; это был хороший урок всем троим на будущее.

Они были неглупые ребята, и все трое хорошо учились, хотя ещё не успели ни в чём себя проявить, ибо были сельскими, «с поздним зажиганием», — но с добротной душевной закваской и твёрдыми стержнями в характерах, воспитанными обязательным сельским трудом с малых лет, и, конечно же, все трое — добросовестные комсомольцы, верившие в непременную победу коммунизма, который они должны будут построить для себя сами, спокойно помалкивая об этом, отнюдь не выставляя своих убеждений напоказ.

Кроме того, с той поры, как их оставил Феликс, они намного осторожней теперь пускались во всяческие забавы, даже невинные, стараясь почаще вспоминать, зачем сгрудились в этой не очень-то уютной комнате на целых пять лет.

Такова вот краткая история четвёртого товарища нашей троицы… Где он теперь, этот Феликс Аралбаев? Что с ним стало?.. Почему его явная покровительница, эта капризная богиня счастливой судьбы Фелица, отвернулась от него, не сумела ухватить его покрепче за чёрные вихры и вытащить из вязкой болотины быта, человеческих слабостей и страстей? Почему не помогла ему подняться в горние выси света, разума, высокой мечты — да славы, в конце концов?.. Почему в наших душах этот свет разума так слаб и беззащитен: едва блеснул лучик его в Феликсовой душе — и погас!..

А нам что теперь делать? Посочувствуем ему, оплачем его незадачливую судьбу, но нам — идти дальше: исследовать, распутывать судьбы остальных троих его сожителей по комнате.

Вадим Наговицын

Неизлечимая болезнь

1.

Вечером вестибюль городской больницы, как обычно, был полон народу. Родственники, друзья, знакомые — много разного люду приходило в приёмные часы проведать пациентов.

За последние три месяца эти частые, почти ежедневные посещения стали для Романа вполне привычными, но не менее волнующими. Сегодня он принёс огромный букет ярко-красных роз — была особая дата.

Надев на туфли синие бахилы и накинув на плечи белый, недавно выстиранный мамой халат, Роман прошёл в дальний конец вестибюля, где за колоннами пряталась дверь, ведущая в больничные покои. Возле плотно закрытой металлической двери за кубообразным столом сидела бдительная вахтёрша — строгая худосочная тётка. Роман приветливо улыбнулся ей и ещё более приветливо протянул сторублёвку — пропускной документ. Вахтёрша, как всегда, виновато улыбнулась: дескать, не я же придумала эти правила, — взяла купюру и нажала кнопку. Щёлкнул электрический замок, Роман толкнул тяжёлую створку и вихрем взлетел по лестничным пролётам на третий этаж.

В слабоосвещённом холле онкологического отделения стояла зловещая тишина, что вполне соответствовало тягостной атмосфере надежд и ожиданий, умирающих вместе с пациентами этого самого страшного подразделения больницы.

Никого из медперсонала не было видно: стол дежурной пуст, стул отодвинут. Только одинокая уборщица в зелёном халате, не поднимая головы, методично тёрла шваброй кафельный пол в полутёмном левом коридоре. А правый коридор был ярко освещён голубоватым светом — там палаты с тяжелобольными, доходящими…

Роман повернул направо. Сделал два шага…

— Роман… э-э-э… Петрович… — неожиданно раздался негромкий, но повелительный окрик. — Минуточку!

Роман оглянулся.

Доктор Бялый, в голубом халате и сдвинутом на лоб колпачке, стоял в тёмном дверном проёме своего кабинета, заложив руки за спину. Роман подошёл ближе. Врач тоже шагнул навстречу. Марлевая маска спущена на грудь, бритое вытянутое лицо выглядело утомлённым, а тёмные глаза под густыми бровями поблёскивали зорко и сердито.

Роман достал из пиджака слегка примятую, сложенную пополам тысячерублёвую купюру и протянул доктору. Тот аккуратно взял двумя пальцами и ловким движением спрятал в боковой карман халата. Роман не спешил уходить, дожидаясь новостей, но доктор молчал, чего-то выжидая. Постояв друг против друга с полминуты, врач наконец произнёс:

— Хотите поинтересоваться?..

Роман кивнул. Спрашивать не было сил — просто боялся, в который уже раз, задавать один и тот же вопрос.

— Ничего точно сказать не могу… — доктор отвечал медленно, с паузами. — По всем показаниям — в любой момент, в любой час… Увы, но её срок вышел. Она и так уже, сверх ожидаемого, две недели цепляется за жизнь. Крепкий организм…

Доктор помолчал, поглядел с интересом на букет роз в руках Романа, затем добавил с искренним сожалением:

— Но никакой надежды нет. Никакой!

Роман покивал головой и поднял вопросительный, умоляющий взгляд.

Доктор твёрдо произнёс:

— Да-да. Всё как прежде. Болеутоляющие ставим по-прежнему. Облегчаем, как можем. Тем более что вы уже оплатили лекарства вперёд. Ещё на неделю хватит…

Замолчав, врач развернулся и пошёл прочь — в полутёмный коридор. Роман — в освещённый, к самой дальней палате.

Палата была четырёхместной. Три кровати заняты, а четвёртая, ещё вчера с пациентом, сегодня — уже со свёрнутым матрасом — пустовала.

Роман подошёл к высокой койке возле большого окна, за которым угасал вечер и шумели на ветру деревья, и тихо позвал лежавшую с закрытыми глазами женщину:

— Галя… Галя… Я пришёл…

Вид больной жены, исхудавшей, со впалыми щеками и тёмными, почти чёрными кругами вокруг глаз, приводил Романа в неописуемо горестное состояние. Он каждый раз, глядя на Галю,

внутренне содрогался от готовых вырваться наружу слёз, сердце его сжималось от жалости, и голова начинала кружиться от острого сопереживания. Роман так и не сумел свыкнуться с её неизлечимой болезнью и не смог смириться с приближающимся неизбежным концом.

Поначалу, когда ещё только поставили неутешительный диагноз, Галя лишь улыбалась, не веря, что это окончательный приговор. Она шутила, говорила, что с этим можно жить долго, и первые месяцы делала вид, что ей становится лучше. Но ей становилось всё хуже. И вот теперь уже несколько месяцев она лежит в этой больнице, в этой палате… Последние три недели она вообще не встаёт — силы совсем оставили её.

Роман вгляделся в лицо Галины — она изменилась до неузнаваемости. Порой он даже начинал сомневаться: а его ли это жена, некогда красивая и жизнерадостная, теперь лежит перед ним на этой больничной койке? Какая-то нелепая фантазия закрадывалась в его голову: может быть, Галину подменили? И теперь вместо неё лежит совершенно чужая женщина? А Галина, может быть, улетела в какую-нибудь сказочную страну и там в этот миг бегает босиком по цветущему лугу и зовёт его к себе?.. Роман отгонял это наваждение, с горечью понимая, что здесь, перед ним, лежит его смертельно больная жена.

— Галя… — ещё раз тихо позвал Роман.

Она не спала — чуть приоткрыла глаза и осторожно повернула к нему голову. Галина всегда находилась в полузабытьи от сильнодействующих дурманящих лекарств, а пробивающееся сквозь болеутоление постоянное жжение в животе сковывало все её движения. Встреча с Романом всякий раз придавала ей немного силы, как будто она накапливала её к его приходу и старалась использовать это улучшение для того, чтобы поговорить с мужем и не провалиться в тяжёлый обморок.

— Здравствуй… — прошептала Галина.

Она увидела в его руках букет красных роз и с трудом улыбнулась.

— Здравствуй, — ответил Роман. — Это тебе!

Он осторожно положил букет ей на грудь, покрытую простынёй. Руки её прикоснулись к пунцовым цветкам, и тонкие сухие пальцы принялись неторопливо ощупывать лепестки. Она чуть-чуть притянула цветы к себе и вдохнула их аромат. Лицо её просветлело.

— Спасибо! — произнесла Галина уже чуть громче и твёрже.

Роман выдвинул из-под высокой кровати больничный табурет на тонких никелированных ножках и аккуратно уселся на него. Нежно коснувшись руки Галины, ласково провёл ладонью от локтя до кисти — рука её была холодной и дряблой.

— Ромка… — прошептала Галина, почувствовав его прикосновение. — Я так… счастлива…

Её сильно провалившиеся глаза неожиданно засветились радостью.

— Ты же знаешь: сегодня наша дата, — сообщил Роман. — Семнадцать лет!

— Да, я знаю… Я пом… — ответила Галина и затихла на полуслове.

Глаза её вмиг потухли, и веки сомкнулись. Но дыхание не прервалось. Букет, лежащий на груди, едва заметно приподнимался и опускался вместе со слабыми вдохами и выдохами больной женщины.

Роман привык к внезапным потерям сознания у жены. В последнее время они становились всё чаще и чаще. Когда Галина приходила в себя, она могла разговаривать минут пять, иногда десять, затем снова проваливалась в полузабытьё или отключалась совсем — и тогда подолгу находилась без сознания.

Завтра выходной, на работу не надо, и Роман собрался посидеть эту ночь рядом с женой, возле её больничной койки. Точнее… у её смертного одра…

Роман набрался терпения.

2.

Ромке было семь лет, и он уже ходил в школу.

Мама, Татьяна Сергеевна, преподавала в индустриально-технологическом институте материаловедение, и ей иногда приходилось работать допоздна — вела занятия на вечернем отделении. А отец, Пётр Михайлович, работал главным инженером на большом механическом заводе, и он часто забирал сына после школы к себе на работу.

Ромке нравилось, что папа заезжал за ним на служебном автомобиле — чёрной «Волге»; что усаживал его впереди, рядом с вежливым шофёром Валерой; что разрешал ему играть в своём кабинете под присмотром секретарши — улыбчивой тёти Вали, пока сам отлучался по важным делам. Но чаще они вместе ходили по всему заводу.

Отец водил Ромку по огромным шумным цехам, показывая и объясняя, как называются станки, как они работают и что изготавливают. Водил и по тихим просторным отделам, рассказывая, зачем люди чертят карандашами на больших ватманских листах какие-то замысловатые рисунки и для чего в некоторых кабинетах находится столько разной бумаги: листов, листочков, папок, скоросшивателей, рулонов и свёртков.

А потом они вместе возвращались домой, и мама, встречая их на пороге квартиры, шутливо ворчала, что, дескать, незачем таскать ребёнка на завод. Но глава семьи никогда не оспаривал своего права на приобщение сына к производственной деятельности с младых ногтей — отец поступал так, как считал нужным.

А потом они вместе ужинали, и мама обоих ласково называла «работничками». Ромка в такие дни, после посещения завода, засыпал быстрее

обычного, чувствуя усталость и удовлетворение от своего важного соучастия в делах отца.

В один из таких «заводских» дней Ромка прохаживался вместе с отцом по токарному цеху. Тогда ещё только-только появлялись станки с числовым программным управлением, и в цехе, вместе с опытными пожилыми токарями, одетыми в синие комбинезоны, всё чаще встречались молодые, но уже бородатые научные сотрудники в белых халатах, которые мудрили возле приборов, похожих на большие кубообразные телевизоры.

Бородатые спецы что-то терпеливо объясняли отцу, тыкали пальцами в мигающие зелёными знаками экраны мониторов, трясли рулонами бумаги, выползающей из визжащих печатных устройств, а солидные токари вертели в руках выточенные на чудо-станках детали, прикладывали к ним штангенциркули и удивлённо кивали головами. Отец подолгу спорил и с теми, и с другими, иногда повышая голос, но всегда уходил довольным.

Однажды они вместе зашли в научно-технический отдел. Это был большой светлый кабинет, обставленный высоченными книжными шкафами и стеллажами с рулонами чертежей. Но ещё кабинет был заставлен огромным количеством домашних цветов, рассаженных по керамическим горшкам и стеклянным вазам, жестяным банкам и пластмассовым ведёркам, деревянным ящикам и эмалированным кастрюлям. От изобилия разнообразной зелени помещение скорее походило на ботанический сад. Ромка попал сюда впервые, и ему сразу же понравилась необычная цветочная обстановка этого отдела.

Пока отец разговаривал с пожилой миловидной женщиной, мальчик решил заглянуть за огромный древовидный фикус, росший из бочки, которая стояла прямо на полу. Подобно садовому кусту пышнолистный фикус скрывал в тени угол кабинета, и было очень любопытно узнать, что же находится там, за этим загадочным растением.

А там находилось маленькое чудо… Ромка заглянул за куст и увидел тихо сидящую на низеньком стульчике девочку лет четырёх или пяти, с пухлыми щёчками и толстыми тёмно-русыми косичками, торчащими в стороны. Девочка держала в руках маленького поролонового медвежонка и внимательно изучала его, переворачивая во все стороны.

Ромка от неожиданности замер, не зная, как поступить. Девочка подняла голову и с удивлением поглядела на него, и он увидел её большие синие васильковые глаза. Ромка совсем растерялся, но девочка неожиданно улыбнулась ему. Мальчик облегчённо вздохнул.

— Меня зовут Галочка. А тебя как? — совершенно спокойно произнесла девочка мягким голоском.

Ромка всегда чувствовал робость при общении с девчонками. В детском саду он даже отказывался танцевать с ними в паре — стеснялся. Да и в классе ему было неловко сидеть за одной партой с рослой не по годам Танечкой, которая всегда одёргивала его за мелкие шалости.

А тут Ромкина робость мгновенно улетучилась. Он почувствовал необъяснимую симпатию к этой синеокой девочке.

— А меня зовут Рома! — гордо произнёс он и сделал шаг поближе.

Девочка протянула ему медвежонка и глубокомысленно спросила:

— Вот, не могу найти у него сердце. Как ты думаешь, где оно находится у игрушечного медвежонка?

Вопрос Ромку озадачил. Он знал, что у человека сердце находится в груди с левой стороны. Так говорила бабушка, прикладывая руку к этому месту. Но где же, в самом деле, могло быть сердце у медвежонка из поролона? Ромка взял игрушку в руки, повертел и даже приложил к уху в надежде услышать сердцебиение. Но ничего не было слышно.

— Я думаю, — важно произнёс мальчик, — что сердце у медвежонка должно находиться там же, где и у человека, — слева. Вот здесь!

Ромка приложил правую руку к левой стороне своей груди и почувствовал, как сильно бьётся его собственное сердце. Он нечасто испытывал подобное волнительное состояние и особо не пугался этого.

Галочка внимательно поглядела на мальчика, и её глаза радостно засияли.

— Я тоже думала, что у медвежонка обязательно должно быть сердце! — заулыбалась она и, поднявшись со стульчика, подошла к Ромке вплотную.

— А у тебя сердце есть? — спросила она серьёзным тоном, глядя мальчику прямо в глаза.

Ромка от её вопроса сильно смутился. Он впервые так близко видел перед собой девочку, глядящую на него с таким необычным вниманием. Он почувствовал приятный запах её волос, её кожи, он увидел её глаза так близко-близко, что невольно сделал шаг назад.

— Да, конечно! — с напускной важностью произнёс Ромка. — У меня тоже есть сердце. Сердце есть у всех людей.

Галочка тихо рассмеялась.

— А я думала, что у мальчишек нету сердца! — произнесла она уже без улыбки.

— С чего ты взяла? — искренне удивился Ромка.

— Так говорит моя бабушка: у мужчин нет сердца. А мальчики — это маленькие мужчины. Значит, у них тоже не должно быть сердца. Но я в этом сильно сомневаюсь! — Галочка произнесла эти слова с таким глубокомысленным видом и таким проникновенным голосом, что Ромке на мгновение показалось, будто перед ним вовсе и не маленькая девочка, а совсем уже взрослая девушка.

Почему-то от этих слов сердце у Ромки затрепетало ещё больше.
— Какие глупости ты говоришь. Без сердца не может жить ни один человек. И сердце обязательно есть и у мужчин, и у мальчиков. У меня оно точно есть! — произнёс Ромка с большим волнением и совсем неожиданно добавил: — Вот, послушай, как оно бьётся! — и подставил свою грудь.

Галочка прижалась ухом к его груди и прислушалась. Казалось, что учащённый пульс мальчишечьего сердца звучит очень громко, а само оно готово вот-вот выскочить из груди и упорхнуть, как воробей из клетки.

В этот момент произошло что-то необъяснимо чудесное. Рома почувствовал, что в нём что-то очень-очень сильно-сильно изменилось.

Девочка отняла ухо от груди и закивала головой.
— Да-а-а! — промолвила она. — Так сильно стучит... Теперь я не сомневаюсь, что у мальчиков тоже есть сердце. Значит, когда мальчики станут мужчинами, они обязательно сохранят своё сердце?!
— Конечно! — подтвердил Ромка. — А ещё...

Но ему не дали договорить. За куст фикуса заглянул Ромкин отец.
— А-а-а! Вот ты где спрятался! — обрадованно протянул он. — Я уже обыскался. Думал, что ты убежал из кабинета... А это у нас кто? — заулыбался отец, заметив маленькую девочку, стоявшую рядом с его сыном.
— Это... — почему-то снова смутился Ромка. — Это Галочка.

Из-за отцова плеча выглянула та миловидная пожилая женщина, с которой тот только что разговаривал.
— Ой, Пётр Михайлович, это моя внучка, — защебетала женщина, то ли оправдываясь, то ли спеша объясниться. — Не с кем было сегодня оставить. Садик на карантине — пришлось взять с собой на работу. Она никому не мешает. Вот сидит тихо и играет.
— Да что вы, Марья Павловна, я понимаю. Куда же девать деток? Я вот тоже Ромку с собой беру, чтобы не болтался дома один, — отец потрепал сына по голове. — А ты уже подружился с Галочкой? — спросил он неожиданно.

Ромка не понял вопроса: что значит — подружился? Познакомился, обменялся несколькими словами, поговорил немного — разве это подружился? Подружиться — значит провести вместе много времени, найти общие интересы. Нет, подружиться — это серьёзное понятие, требующее особой ответственности.
— Нет, — произнёс Ромка сердито, — мы ещё не подружились.

Галочка почему-то поджала губы, глаза её, только что сияющие, погасли, и она отвернулась от Ромки, сделав вид, что внимательно разглядывает своего медвежонка.

Мальчик понял, что проявил бестактность, нечаянно произнёс какую-то глупость, и ему стало от этого очень неловко.

Он шагнул к отцу, дёрнул того за рукав пиджака и громко, нарочито грубо, чего никогда раньше не позволял себе, произнёс:
— Нам пора домой! Мне нужно делать много уроков... И мама давно заждалась!

Отец был деликатным человеком, он сразу понял Ромкин конфуз и погладил сына по голове:
— Ну конечно, сейчас поедем! — глянул на часы и воскликнул: — Ай-яй-яй! Уже почти семь вечера. Припозднились мы. Да и вы, Марья Павловна, поезжайте уже домой. Завтра и доделаете всё. Поезжайте!

Ромка с отцом направились к выходу. Мальчику было неловко и стыдно. Он хотел оглянуться и попрощаться с Галочкой, но почему-то не смог. Какая-то внутренняя, вдруг всплывшая ниоткуда вредность не позволила ему сделать этого. И стало Ромке ещё горше и неприятнее.

Уже возле дверей отец оглянулся и окликнул Марью Павловну:
— А вы приводите Галочку с собой, не смущайтесь. Вот, может, и Ромка в другой раз зайдёт поиграть с ней. Да, Рома, придёшь с Галочкой поиграть? — Пётр Михайлович положил руку на плечо сына и потормошил.

Но Ромка сердито дёрнул плечом, сбрасывая руку отца, и опрометью выбежал за дверь.

3.

Целую неделю отец не брал Ромку с собой на работу, а ему очень хотелось поехать. Особенно хотелось зайти в тот самый научно-технический отдел, где работала Марья Павловна, и там он надеялся снова повстречаться с Галочкой. Но отец почему-то не брал его на завод.

Так прошла ещё неделя. Затем другая.

Наконец Ромка не выдержал и сам подошёл к отцу.
— Папа, почему ты больше не берёшь меня с собой на завод?

Отец сидел за столом, обложившись толстыми книгами и шуршащими чертежами. Он немного опустил лист ватмана, который развёрнутым держал в руках, и поверх него внимательно посмотрел на сына:
— А ты хочешь поехать на завод?
— Конечно, хочу! — твёрдо ответил Ромка.

Отец немного помолчал, затем произнёс строгим голосом:
— А в последний раз мне показалось, что тебе надоело ездить со мной!
— Нет, — смущённо ответил Ромка, — это неправда. Я очень хочу поехать на завод. Вместе с тобой.

Пётр Михайлович изучающе поглядел на сына, но ничего не сказал. Лист чертежа поднялся,

закрыв лицо, и отец снова погрузился в работу. Ромка немного постоял и, почувствовав неловкость, ушёл в свою комнату. Больше он не просился взять его на завод.

Правда, через месяц, уже где-то под Новый год, отец неожиданно заехал за Ромкой в школу и, усадив, как всегда, на переднее сиденье в машине, спросил:

— На завод поедешь?

Мальчик едва не подпрыгнул от радости, но всё-таки сумел сдержать эмоции.

— Ага! Поеду,—произнёс он как бы нехотя.

На заводе Ромка ходил вместе с отцом по цехам, заглядывал в кабинеты и разные помещения и втайне надеялся, что они непременно зайдут в научно-технический отдел, где работает Марья Павловна, и там, может быть, он, наконец, увидит Галочку.

Когда Ромка уже совсем устал от долгих хождений и ему захотелось домой, они, наконец, зашли в тот самый отдел. Марья Павловна приветливо заговорила с отцом, улыбнулась Ромке и о чём-то спросила его, но он не расслышал, потому что его снова охватило сильное волнение и в груди учащённо забилось сердце… Галочки нигде не было видно, и надежда встретиться с ней рухнула.

Отец закончил разговор с Марьей Павловной и, легонько подтолкнув сына, направился к выходу. Ромка понуро пошёл следом. Уже возле двери Пётр Михайлович спросил сотрудницу:

— А что вы не взяли с собой Галочку? Садик уже сняли с карантина?

Марья Павловна грустно улыбнулась и совершенно обыденным голосом произнесла страшные для Ромки слова:

— А Галочка уехала вместе с родителями. Дочку с зятем направили в длительную командировку в Сибирь… На строительство нового металлургического комбината… На три года! Им там квартиру пообещали.

И Марья Павловна, моментально потускнев и прикрыв лицо ладонями, неожиданно всплакнула:

— Галочку я теперь не скоро увижу.

Пётр Михайлович ничего не сказал, только положил руку на плечо сына, слегка похлопал, будто утешая, и вместе они вышли из кабинета.

Домой ехали молча. Отец молчал, чувствуя грустное настроение сына, а Ромка был сильно удручён. В его жизни произошло первое сердечное сокрушение.

4.

Галина пришла в себя. Букет давил ей на грудь, было тяжело дышать, и она, ещё раз осторожно вдохнув сладковатый аромат роз, попыталась сдвинуть цветы в сторону. Но букет упал на пол.

Роман, прикрыв ладонью глаза, сидел в задумчивости рядом на стуле. Он глянул на очнувшуюся жену, улыбнулся и поднял букет с пола. Поискав глазами, куда бы поставить, встал и воткнул его за настенный светильник, висевший над головой Галины.

— Так тебе будет видно, и аромат будешь чувствовать,—тихо произнёс Роман.—Соку хочешь?

Галина кивнула, хотя ей совсем не хотелось. Ей вообще было больно пить, но, чтобы сделать Роману хоть что-то приятное, она согласилась на глоток сока.

Роман подошёл к холодильнику, стоявшему в углу палаты, и достал ещё не вскрытый пакет яблочного сока, который принёс только вчера. Галина вообще мало что пила и ела из гостинцев, многое портилось и выбрасывалось в мусор, но родственники снова и снова приносили соки, фрукты, домашнюю выпечку, чтобы хоть немного порадовать больную.

Роман налил золотистый сок в тонкий стеклянный стакан до половины и подал Галине. Её голова лежала на высокой подушке, и, осторожно взяв стакан обеими руками, она медленно поднесла его к губам. В руках совсем не было силы, но она сделала кое-как несколько маленьких глотков. Прохладная кисло-сладкая жидкость прошла по пищеводу и попала в больной желудок. Галина ожидала острой болезненной реакции, но на этот раз её не последовало—организм принял фруктовый напиток, давая возможность насладиться давно забытым вкусом.

Она допила мелкими глоточками сок и протянула пустой стакан. Роман взял его, на секунду прикоснувшись к её пальцам, и поставил на тумбочку.

— Спасибо,—с чувством произнесла Галина и улыбнулась.

Чуть-чуть прибавилось сил, и ей захотелось расспросить мужа о детях, о своей матери, о доме. Хотя виделась она с детьми совсем недавно, они регулярно навещали её каждую неделю, но, тем не менее, длительная разлука с близкими, особенно с детками, была для Галины невыносима.

— Как Саша?—поинтересовалась она.

Это был часто задаваемый вопрос, но Роман каждый раз отвечал на него неодинаково, с разными подробностями и старался не повторяться.

— Сашка вчера ушиб ногу на тренировке, готовится к соревнованиям. Если он попадёт в тройку призёров, то ему будет обеспечен первый юношеский разряд по борьбе. Ты же знаешь, как для него это важно. Его мечта поступить в военное училище нуждается в подкреплении. Разряд по стрельбе и плаванию он уже получил, а теперь добивается успехов в самбо.

Роман рассказывал легко и с задором, немного утаив, что пришлось лечить ушиб в травмпункте и там сыну туго забинтовали ногу. Но зачем лишние тревоги?!

— А Леночка? — Галина спрашивала автоматически, чувствуя, что снова отключается и теряет сознание.
— Готовится к экзаменам. Ходит на подготовительные курсы. У неё всё хорошо. Она же целеустремлённая девушка, — произнёс Роман и добавил: — Как ты. Такая же целеустремлённая, как и ты.

Но Галина уже не услышала последней фразы. Она проваливалась в пустоту, и голос Романа звучал где-то далеко, в пределах того пространства, которое она покидала во время обмороков.

5.

Однажды весной, когда Гале было десять лет, она пошла погулять вместе с подружками на берег Енисея. Небольшой промышленный городок, в который девочка приехала вместе с родителями пять лет назад, отстраивался бурными темпами. Девятиэтажные панельные дома в окружении вековых сосен восходили каскадами друг за другом вверх по пологому склону горы, образуя причудливый амфитеатр.

Некогда дикий и заваленный огромными гранитными камнями берег Енисея за эти годы превратился в широкую заасфальтированную набережную, отгороженную от реки фигурным бетонным парапетом с декоративными фонарными стойками из чугуна.

Ребятишки любили приходить сюда и подолгу играли: здесь просторно, немноголюдно и совсем не ездили автомобили. Можно было бегать и играть в пятнашки; можно было, расчертив мелом асфальт, играть в классики или просто прыгать через скакалку. Можно было перекидывать бадминтонными ракетками пластмассовый волан или звонко настукивать оранжевым баскетбольным мячом. А можно было кататься на самокате или с ветерком гонять на велосипеде. Да мало ли во что можно было играть на огромном ровном пространстве рядом с большой рекой, от которой всегда тянуло влажной прохладой?

А ещё можно было просто стоять возле парапета и долго-долго глядеть на стремительное течение прозрачной и студёной воды, местами закручивающейся в огромные буруны.

Девчонки разбились по трое и принялись неторопливо прохаживаться по набережной, обсуждая прочитанные накануне книжки. Галя всегда много читала, и ей было интересно размышлять о прочитанном в одиночестве, без посторонних суждений, но когда подружки начинали расспрашивать о какой-нибудь приключенческой книге, то она охотно и красочно пересказывала сюжет, всегда подчёркивая достоинства тех героев, которые ей понравились, и осуждая отрицательных персонажей. Галю всегда слушали очень внимательно, потому что она была интересной рассказчицей.

Девочки прогуливались и весело болтали. Кто-то предложил поиграть в классики, и все охотно согласились. Они выбрали место возле парапета, и одна из подружек принялась расчерчивать мелом квадраты на асфальте.

Галя первой заметила, как в их сторону быстро мчался на подростковом велосипеде мальчишка лет двенадцати. Он ехал, петляя, выпендриваясь и выделывая крутые виражи. Галя беспокойно поглядывала на этого велосипедиста: вдруг он надумает их попугать или сделать ещё какую-нибудь пакость? Мальчишки часто привлекали к себе внимание разными шалостями.

Велосипедист близко подъехал к девчонкам и резко затормозил, пытаясь изобразить лихой вираж. Но заднее колесо неожиданно занесло юзом, и мальчишка с сильным грохотом упал прямо на асфальт! Велосипед громко брякнулся и зазвенел железом. Девочки взвизгнули от неожиданности и испуга, а Галя инстинктивно бросилась к мальчишке на помощь.

Тот лежал ничком, уткнувшись лицом в ладони.
— Ты живой? — подбежав ближе, с тревогой спросила Галя. — Тебе больно?

Она присела на корточки и потрогала мальчика за плечо. Тот повёл плечом и приподнял голову. У него от удара об асфальт были содраны до крови лоб и руки. Видно было, что ему очень больно, но он вымученно улыбнулся и озорно подмигнул девочке:
— Живой.

Галя поднялась и хотела помочь мальчишке, но тот сердито буркнул:
— Не надо! Я сам!

Он приподнялся на руках, встал на колени, потом, сильно ойкнув, на обе ноги.

Галя заглянула ему в лицо. Мальчик растерянно улыбался и морщился, то ли от досады, то ли от боли, то ли от стыда, что так нечаянно опозорился перед незнакомыми девчонками.
— Тебе очень больно? — переспросила Галя. — Может, тебе надо в травмпункт?

Мальчишка помотал головой, но по напряжённому лицу было видно, что ему всё-таки очень больно, он наверняка сильно ушибся, и на его руках там, где была сильно содрана кожа, сочилась алая кровь.

Гале стало жалко незадачливого лихача, и она принялась поднимать с земли его велосипед.
— Не надо, я сам! — строго прикрикнул мальчик.

Но Галя всё-таки подняла велосипед и передала потерпевшему:
— Держи!

Мальчишка взял в руки руль и оглядел свой пострадавший транспорт: помялись крылья, сдвинулось набок седло, но велик был на ходу.

Галя порывалась хоть как-нибудь помочь пострадавшему.

— Может, тебя проводить до дома?

— Не надо,—смягчившись, ответил горе-велосипедист.—Мне недалеко. Я тут рядом живу,—он махнул рукой в сторону ближних домов.—Вот только велик помял. Брат будет ругаться.

Галя сочувственно смотрела на мальчишку, и ей вдруг показалось, что она видела его где-то раньше. Он был невысок, коренаст, с большой белобрысой головой и крупным прямым носом. Его светло серые глаза лучились озорным задором, и Галя уверилась, что она точно встречалась с этим мальчиком раньше.

— А меня зовут Галя!—звонко произнесла девочка и почему-то смутилась, хотя раньше никогда не испытывала стеснения и знакомилась с мальчишками легко и без всякой неловкости.

А тут, когда она увидела перед собой этого мальчика, который показался ей знакомым, Галя неожиданно испытала непонятное смущение.

Мальчишка молчал и тоже с интересом разглядывал смелую и добрую девочку. Помедлив, он улыбнулся и с достоинством произнёс:

— А меня зовут Владик.

Спохватившись, поправился:

— Владислав.

«Владик,—подумала Галя и поняла, что обозналась.—Значит, ты не Ромка!»

Но вслух ничего не сказала. Она повернулась и побежала назад, к ожидавшим её подружкам, молча наблюдавшим сцену спасения упавшего велосипедиста. Оглянувшись, Галя помахала рукой и выкрикнула:

— Ну, пока! Не падай больше!

И вместе с засмеявшимися подружками она принялась прыгать по расчерченным квадратам, играя в классики и так больше ни разу не взглянув на мальчика с велосипедом.

Владик тихо уехал.

6.

Роман потихоньку вышел из палаты. Пока Галина была без сознания, он решил немного размять затёкшие ноги и зашагал по ярко освещённому коридору мимо палат—несколько раз туда и обратно. На мягком линолеуме шагов почти не было слышно. Только казалось, что частый стук сердца оглашал этот пустой коридор.

Никто не знал, как Роману было тяжело. Тяжело не от этих, почти ежедневных, дежурств в больнице, иногда ночных, бессонных, возле кровати жены. Не от частых хлопот по дому и с детьми. Не от навалившихся вдруг проблем на работе. Нет, ему было тяжело от сознания неминуемой потери близкого человека, от этой безнадёжной и безысходной ситуации.

Роман не мог до конца смириться с неизбежной и скорой кончиной жены. Это казалось ему нелепым и несправедливым. Где-то в глубине души он понимал, что чуда уже не произойдёт и нужно только терпеливо дожидаться неотвратимого конца. Но с другой стороны, на поверхности души в нём всё закипало от возмущения, и он страстно желал избавления Галины от смертельного исхода. Роман иногда начинал слепо верить в какое-то неожиданное сверхъестественное чудо, в то, что оно должно непременно случиться с его женой. Ему казалось, что Галина обязательно должна исцелиться, встать на ноги и снова быть такой же, как прежде,—красивой и весёлой. Но потом эта слепая вера угасала так же неожиданно, как и возникала.

Сразу после того, как Галине объявили диагноз, Роман пытался повезти её в какой-нибудь медицинский центр или вызвать к ней какого-нибудь знаменитого врача. Но Галина сама не захотела ничего предпринимать! То ли она тайно надеялась, что диагноз ошибочен и она выздоровеет самостоятельно, то ли она решила смириться и всё принять так, как ей написано на роду. Галина отказалась от всех предложений поехать куда-нибудь на лечение или обратиться к кому-нибудь из целителей. По мере ухудшения здоровья и нарастания болей, уже окончательно осознав правильность рокового диагноза, она переносила болезнь мужественно и стойко, стараясь сильно не обременять близких. В какой-то момент стало очевидно, что болезнь уже окончательно одолела её и начала неуклонно прогрессировать, быстро разрушая организм.

Изредка Роман сердился на Галину и начинал упрекать за то, что она рано сдалась и что совсем не хочет бороться за жизнь. Но в ответ Галина только улыбалась и с каждым разом становилась всё тише и спокойнее, безмолвно принимая горькие упрёки мужа. Она понимала его отчаяние. Роман спохватывался и замолкал, потом стыдился своего срыва и старался как-нибудь загладить вину. Он приносил ей букеты цветов, ставил в вазу на тумбочке рядом с кроватью и подолгу сидел с женой, гладил её лицо и руки. Это радовало Галину, и её настроение заметно улучшалось… Но болезнь неотвратимо наступала! Галина становилась всё более замкнутой и безучастной, всё меньше проявляла эмоций и интереса к окружающему. От её былой жизнерадостности уже почти ничего не осталось…

Когда к ней в больницу приходили дети, дочь Елена и сын Александр, она немного оживала, светлела лицом, чуть-чуть расцветала и начинала улыбаться. Но после ухода детей она сразу же, словно отключённая лампа, стремительно гасла и остывала, снова превращаясь в тусклую, мрачную, неподвижную и безучастную ко всему тяжелобольную женщину.

И всё-таки Роман всеми силами души страстно желал остановить надвигающуюся смерть жены. Он готов был приходить к Галине в больницу

каждый день на протяжении многих месяцев и многих лет. Лишь бы видеть её живой!

Но иногда Роман впадал в страшное отчаяние. Он мысленно представлял себе тот трагический день, когда останется совсем один, без Галины. Сразу же его обволакивал какой-то душевный вакуум, а перед глазами возникала чёрная пустота. Ему становилось так страшно от этой мысли, что внезапная острая боль, кольнувшая в левой стороне груди, затем пронзала его насквозь. И только эта боль отрезвляла, приводила его в нормальное чувство, и он снова начинал ощущать реальность.

Галина мучилась физически, пожираемая беспощадной болезнью, а Роман терпел страшные душевные муки, сжигаемый неизлечимой жалостью и глубоким состраданием к своей несчастной жене. Так они и мучились рядом друг с другом: Галина — на смертном одре в онкологическом отделении городской больницы, а Роман — рядом с ней, все свободные от работы и от домашних дел часы.

Роман хотел всячески остановить время. И даже свои мучения он готов был продлевать до бесконечности. Но силы понемногу оставляли его.

7.

Когда Роман учился на третьем курсе индустриально-технологического института, приятели Борик и Тимофей выманили его однажды на предновогодний танцевальный вечер в клубе железнодорожников.

Роман долго не соглашался — он не любил ходить по танцулькам. Тем более по праздничным, когда в общественных местах появлялось много подвыпивших и нагловатых людей, ведущих себя вызывающе и по-хамски. У Романа было обострённое чувство справедливости, и он с трудом сдерживался, чтобы не начать усмирение какого-нибудь слишком распоясавшегося наглеца. Пару раз ему приходилось заступаться за девчонок, которых домогались излишне ретивые парни, и из-за этого он уже попадал в очень неприятные драки. Неприятные потому, что, имея первый разряд по самбо, он жёстко раскидывал задиристых придурков, а от защитников правопорядка все нарекания почему-то доставались только ему.

Однажды Роман едва не угодил в милицию за «избиение» троих парней, которые были намного старше и крепче его. Тогда всё обошлось, потому что милиционерам стало просто смешно от живописно разукрашенных лиц незадачливых хулиганов, схлопотавших на орехи от одного вежливого студента. С тех пор Ромка и не ходил на всякие танцы-шманцы и дискотеки, так как не хотел попадать в неловкие ситуации. А не попадать в них он не мог, потому что был принципиальным и неравнодушным парнем.

Но на этот раз он почему-то согласился. Да и мама стала уговаривать: дескать, сходи, развейся. Ромка и вправду в последнее время всё чаще сидел за книгами — усердно готовился к зимней сессии.

Отец мечтал, чтобы Роман обязательно пошёл по его стопам и стал выдающимся инженером-механиком. Сын никогда и не возражал. Частые поездки на завод, с первого и по десятый класс, привили вкус к индустриальной технике. Он, можно сказать, вырос на производстве, полюбил сложный организм огромного механического завода, на котором монтировались такие сложные агрегаты, что даже и невозможно было представить, будто их вообще способен изготавливать человек. Но эти сложные механизмы собирали именно на этом заводе тысячи грамотных и очень опытных людей, которые умели управлять умными станками и чертили хитрые чертежи, которые могли изобретать диковинные конструкции и воплощали их в металле.

Роман уже в старших классах, на радость своему отцу, всё-таки почувствовал в себе призвание стать инженером и решил посвятить жизнь механическому заводу, который хорошо знал с детства. Поэтому он без особых трудностей поступил в институт и стал прилежно учиться, не желая тратить время на пустяковые, как он считал, развлечения.

Но в тот день он всё-таки пошёл на танцы вместе с приятелями.

Клуб железнодорожников — ампирное трёхэтажное здание с дорическими колоннами под фронтоном — располагался рядом с вокзалом, почти в центре города, и потому считался очень популярным заведением у молодёжи.

Здесь по субботам проводились то танцевальные вечера, то входившие в моду дискотеки. Отличались они друг от друга только тем, что на танцевальных вечерах играл живой оркестр, точнее, вокально-инструментальный ансамбль из пятерых длинноволосых, хипповатого вида парней с электрогитарами, электроорганом и гремучими барабанами. А дискотеку проводили очень громко под магнитофонные записи двое модных и стильных парней — сотрудники местного научно-исследовательского института сплавов цветных металлов.

Дискотека ещё привлекала новинками — цветомузыкальными эффектами, лихорадочно мигающими стробоскопами и модными записями зарубежной популярной музыки. Парни, что называли себя диск-жокеями, возвышались на сцене посреди звукоусиливающей аппаратуры и магнитофонов с огромными катушками, трясли головами в наушниках и с хорошим английским произношением объявляли имена иностранных исполнителей и названия музыкальных композиций, испытывая явное удовольствие от высокой миссии культурного просвещения своих провинциальных земляков.

Но простые танцевальные вечера были всё же интереснее и живее. Хипповатые музыканты очень хорошо, почти виртуозно играли на инструментах и не только исполняли популярные произведения отечественной и зарубежной эстрады, но и часто пели песни своего собственного сочинения. Это были оригинальные композиции с красивыми и запоминающимися мелодиями, с живым ритмом и понятными текстами романтического содержания. Молодёжь любила эти песни и часто подпевала им. В таком живом общении с ансамблем электромузыкальных инструментов танцы проходили очень весело и необычайно интересно.

И вот Роман с приятелями оказался на танцевальном вечере. Борик и Тимофей сразу же повстречали знакомых девушек и вместе с ними куда-то улетучились.

В огромном зале громко играла ритмичная музыка, по стенам прыгали световые блики от праздничной иллюминации: переливались радужным спектром гирлянды, и перемигивались цветные фонарики. Повсюду висели новогодние украшения, а ёлка, подвешенная к потолку с правого края от сцены, сверкала электрическими огоньками. Публика танцевала: кто попарно, а кто — сбившись в небольшие кружки. Некоторые прохаживались возле колоннады, расположенной вдоль стены с высокими окнами.

Роман стоял в одиночестве возле колонны неподалёку от сцены и с интересом разглядывал зал. Народу было много, более двух сотен. Парни были одеты в отглаженные добротные костюмы, почти все в галстуках и с аккуратными стрижками. Девушки красовались в вечерних платьях, с модными объёмными причёсками. Публика выглядела очень весёлой: кто просто так, разгорячившись от танцев, а кто-то из парней уже и принял на грудь стопочку-другую винца.

Школьников-старшеклассников здесь было мало, в основном сюда приходили студенты из местных вузов и учащиеся окрестных профтехучилищ. Парни из «ремуги» (профтехучилища) выглядели взрослее и солиднее ровесников — у них уже сформировалась зрелая рабочая кость. Да они и неплохо зарабатывали на практиках, поэтому хорошо и со вкусом одевались в дорогие костюмы и выглядели вполне респектабельными мужиками.

А студенты выглядели как-то похудосочнее, похлипче, посубтильнее — многие в очках и пуловерах, связанных бабушками или мамашами. На фоне крепких, уверенных в себе рабочих парней и пэтэушников студентики смотрелись блёкло и инфантильно. Зато гонору в студентах было немерено. Из-за спесивости и заносчивости у студентов-вузовцев нередко возникали конфликты с рабочей молодёжью. Девчонки, по большей части институтки и студентки медучилища, старались выглядеть взрослее, старше своих лет и уже изощрённо пользовались маминой косметикой. Девушки отдавали явное предпочтение солидным парням из профтехучилищ и с заводских окраин. И это вызывало некоторую ревность у вузовских пижонов.

В самом клубе ссоры возникали редко — здесь постоянно дежурили дружинники-добровольцы из местного спортивного клуба «Буревестник», и поэтому тут всегда царили строгий порядок и дисциплина. А вот после окончания танцев наступало время разбирательства и выяснения отношений. Где-нибудь неподалёку от клуба конфликтующие стороны могли встретиться и разобраться друг с другом тихо и без свидетелей. Случались драки, но серьёзных эксцессов не совершалось, и до поножовщины дело никогда не доходило. Всё-таки молодые люди жили в одном городе, и чувство землячества всегда брало верх над личными обидами…

Роман немного скучал. Борик и Тимофей пару раз пробегали мимо с весело хохочущими девушками из медучилища и махали ему руками, то ли приглашая в свою компанию, то ли отмахиваясь от него.

А вечер был в самом разгаре. Музыканты отыграли уже половину репертуара: песни из «Весёлых ребят», из «Землян», из модного «Воскресения», исполнили песни Давида Тухманова, Вячеслава Добрынина, Юрия Антонова и перешли, наконец, на свои собственные произведения. Зазвучала красивая романтическая песня про розы.

Парни подходили к девушкам, слегка кланялись, приглашая на танец, и выводили, держа за руку, на середину зала. Площадка заполнялась танцующими парами. А кто не танцевал, те выходили в коридор — поболтать или наведаться в буфет.

Во время медленных танцев иллюминацию чуть-чуть гасили для придания большей интимности. В зале воцарялся волнующий полумрак, и только сцена с музыкантами ярко подсвечивалась боковыми прожекторами и рампой.

Пары медленно танцевали, потихоньку переминаясь...

Роман с любопытством разглядывал танцующих ребят, но самому танцевать не хотелось. С левой стороны подошла девушка и встала неподалёку, прислонившись к колонне. Роман невзначай бросил на неё взгляд, но в полумраке не смог хорошо разглядеть её. Что-то зацепило его внимание. Что-то заставило его через минуту снова бросить осторожный взгляд в её сторону.

К девушке подошёл какой-то парень и пригласил на танец, но она что-то ответила ему, улыбаясь и кивая головой. Парень рассмеялся и ушёл.

Роман попытался внимательнее рассмотреть незнакомку. Он полуобернулся, как бы осматривая зал, а сам исподволь стал разглядывать девушку.

Она была невысока и очень хорошо, женственно-пропорционально сложена. Облегающее тёмно-синее платье до колен подчёркивало крутые изгибы широких бёдер и тонкую талию. Прямые, чуть полные в икрах ноги в чёрных туфлях на невысоком каблуке стояли ровно и уверенно. Округлые и покатые плечи переходили в гибкие руки, прикрытые длинными рукавами с кружевными манжетами, а вокруг шеи обвивался изящно повязанный кружевной платок, прикрывающий круглый вырез платья на полной груди.

Незнакомка, то ли почувствовав взгляд, то ли просто поменяв положение головы, повернулась в сторону Романа, и он увидел её лицо — оно удивило простой русской красотой. Девушка была круглолица, с широким лбом, выразительными глазами, прямым носом и небольшими пухлыми губами над округлым подбородком. Её пышные тёмно-русые волосы были уложены в необычную причёску из толстой косы, навитой вокруг макушки в большую корону. Похожую укладку Роман видел в кино у некой аристократки, а наблюдать такое на голове у молодой девицы было совсем непривычно. Но эта причёска была ей к лицу: она придавала ей солидности, делала старше и выделяла среди других девушек с легкомысленными и вызывающе начёсанными вверх волосами, похожими на мохеровые шапки.

Роман отважился подойти поближе и сделал осторожный шаг в её сторону. Девушка заметила его движение и, поняв это как намерение ангажировать её на танец, слегка кивнула, как бы разрешая. Изобразить равнодушный вид или пройти мимо стало уже никак невозможно. Роман, в общем-то, не особо волнуясь (он давно уже преодолел свои детские стеснения), подошёл к девушке почти вплотную и сделал пригласительный поклон… Но всё-таки внезапно оробел… Сдавленным голосом с трудом произнёс:

— Ра… Разрешите пригласить… на танец.

Девушка, не заметив или сделав вид, что не заметила смущения Романа, снова кивнула, уже утвердительно, соглашаясь. Она подала руку, и Роман, осторожно взяв её ладонь, почувствовал, какая она тёплая и упругая. Они вышли к тесной группе танцующих и пристроились с краешка, почти у самой эстрады. Она повернулась к Роману и положила руки ему на плечи. Он левой ладонью обхватил её за талию, а правой осторожно прикоснулся к спине, чуть пониже левой лопатки. Девушка улыбнулась, она поняла, что партнёр демонстрирует ей свою опытность в бальном искусстве, и плавно задвигалась вместе с ним в медленном танце, слегка раскачиваясь под музыку вправо и влево.

Постепенно инициатива в танце перешла к ней. Она уверенно вела Романа, передвигаясь небольшими шагами то назад, то вперёд, то делая повороты вместе с партнёром. Иногда она начинала сильно крутиться вправо и влево, плавно двигая бёдрами, иногда, отнимая руку от его плеча и отводя её в сторону, а потом — возвращая назад, она тоже демонстрировала своё умение красиво танцевать.

Роман послушно следовал за ней, и танец увлёк его. Левой рукой он чувствовал, какая у неё гибкая и тонкая талия, как упруго её круглое, вынесенное дугой от талии мускулистое бедро, как уверенно двигаются её крепкие ноги. Правая рука чувствовала изгибы её спины и ощущала движение мышц под её кожей. Он почувствовал необычную женскую мощь её тела. У других девушек, с которыми ему доводилось танцевать раньше или с которыми приходилось просто соприкасаться, он не чувствовал подобной женской силы. А сейчас, танцуя с незнакомкой, Роман попал под телесное обаяние этой девушки.

Роман танцевал и глядел немного поверх головы своей партнёрши, ему очень хотелось поглядеть ей в лицо, заглянуть в глаза, просто полюбоваться. Но он стеснялся. Снова, как и в детские годы, он чувствовал сильную робость и растерянность от такой близости с девушкой. А она, опустив глаза, смотрела вниз, как бы под ноги, и только изредка поднимая взгляд на партнёра.

Роман, преодолев смущение, поглядел наконец девушке в глаза. Она как будто ожидала этого и тоже глянула на него. Их взгляды встретились! Это произошло так внезапно и так согласованно, что оба невольно заулыбались, едва не рассмеявшись. И сразу же у Романа улетучились и робость, и смущение. Теперь он совершенно спокойно глядел на девушку, а она на него. Они внимательно разглядывали друг друга, слегка улыбаясь, и нисколько не стеснялись этого.

В какой-то момент Роман почувствовал, что вся окружающая его обстановка — зал, люди, музыканты вместе с музыкой — всё вдруг отодвинулось на второй план, отдалилось на некоторое расстояние, а он и танцующая с ним девушка остались совсем одни посреди небольшого круглого пространства, которое медленно вращалось вокруг них и создавало вихрь из серебристых блёсток и рубиновых световых бликов.

Роман увидел её глаза так близко-близко. И он увидел, что они синего, василькового цвета. А она глядела на него, почти не мигая, и её длинные чёрные ресницы едва вздрагивали от вспыхивающих бликов.

Девушка улыбалась, и он видел её белые ровные зубы. Она улыбалась, и на её выпуклых щеках появлялись чудные ямочки. Она слегка запрокидывала голову назад, и он видел её аккуратный округлый подбородок и нежную шею.

А ещё в момент, когда они нечаянно соприкоснулись и мимолётно прижались друг к другу, Роман почувствовал упругую выпуклость её груди, и неожиданно по его телу пробежал волнующий жар…

Электрогитара издала последний аккордный перебор струн и затихла. Музыка закончилась. Закончилась и волнующая близость танца.

Роман проводил девушку к тому месту, откуда пригласил на танец, и, не ожидая от самого себя такой дерзости, спросил:

— А можно, я приглашу вас… на следующий танец?

И сердце его сжалось в ожидании ответа.

Другая девчонка наверняка начала бы кокетничать, изображая мнимые приличия, но эта, почти не раздумывая, без тени кокетства или напускной жеманности, просто взглянула на Романа с доверчивой теплотой и спокойно ответила:

— Пожалуйста… Пригласи.

Роман воодушевился. Он даже не стал отходить слишком далеко, а только огляделся по сторонам, пытаясь отыскать своих приятелей: Борика и Тимофея. Но никого из них не увидел. Вокруг — только танцующие незнакомые люди.

В этот момент Роман сообразил, что знакомство ещё не состоялось: он пока не знает имени девушки и сам не представился ей. Решив исправиться, тут же подошёл ближе к синеокой и, слегка поклонившись, уверенно произнёс:

— Извините, я забыл представиться. Меня зовут Романом. А как…

Роман на секунду запнулся, раздумывая, как же будет правильно обратиться — на «ты» или на «вы». Но решил, что сразу переходить на «ты» — слишком фамильярно, и поэтому спросил с подчёркнутой вежливостью:

— А как вас зовут?

Девушка с благодарностью приняла его вопрос, она почувствовала его искренность и поняла его такт и ответила мягким, очень певучим голосом:

— А меня зовут Галиной.

И Роман сразу же узнал её!

8.

В десять часов в больнице объявили ночной отбой, воцарилась тишина, и пациенты стали отходить ко сну. Роман вернулся в палату. Общий свет был погашен, и только тусклые ночные светильники на стенах едва освещали помещение.

Слева стояли две койки. На одной спала пожилая полная женщина. Днём она изредка вставала и выходила в коридор погулять, но никогда не разговаривала ни с Романом, ни с Галиной. Её поведение было немного странным, но в этом скорбном отделении многие люди вели себя либо странно, либо истерично. Эта больная вела себя странно, но тихо.

А рядом, на второй койке, лежала, никогда не вставая, седовласая старуха. Она появилась в палате две недели назад и угасала очень быстро. Старая женщина постоянно находилась в бессознательном состоянии и изредка приходила в себя только в те моменты, когда санитарка подавала ей утку.

Соседки по палате не доставляли особых хлопот. К тому же они часто менялись. Галина лежала в этой палате уже три месяца и до сих пор была ещё жива. А на соседних койках за это время сменилось уже по три-четыре человека.

Роман хорошо оплачивал услуги медперсонала. За Галиной ухаживали тщательно: постоянно давали лекарства, вводили болеутоляющие, регулярно брали анализы, протирали тело и намазывали кремом от пролежней, да и просто проявляли внимательность и необходимую заботу. Может быть, как думал Роман, это и помогало до сих пор поддерживать жизнь в Галине.

Лечащий врач (хотя какой он лечащий?), доктор Бялый, когда Галину ещё только поместили в эту палату, со скорбным видом сообщил Роману, что его жена долго не проживёт. «Обычно у нас больше месяца здесь не лежат. Это палата — по сути хоспис, и сюда помещают безнадёжно больных, умирающих, когда уже нет никакого смысла применять терапию. Здесь просто лежат и дожидаются летального исхода. И медицина совершенно бессильна. Мы можем только облегчать пациенту боли и страдания перед окончательным уходом», — с грустью поведал доктор Бялый. Но тут же деловым тоном он подробно объяснил Роману, во сколько будет обходиться пребывание Галины в этой палате и сколько будет стоить достойный уход за ней. Обходилось недёшево: за лекарства — отдельная плата, за услуги — отдельно, за анализы — отдельно, персоналу — отдельно. И нужно было платить еженедельно.

За дополнительную плату Роману разрешали оставаться в больнице на ночь два раза в неделю. Хотя это и запрещалось строгими правилами, но за деньги, в виде исключения и из-за особо тяжёлого случая, ему позволяли ночные дежурства возле умирающей жены. Роман особо и не возмущался меркантильными порядками в больнице. Что поделать?! Эпоха бандитского капитализма окончательно похоронила понятие о бесплатной медицине, безвозмездном милосердии и простом сострадании — всё продавалось, и всё покупалось. Особенно совесть медперсонала и врачебная этика.

Но Галина прожила не месяц. Она прожила больше отведённого ей срока. Когда пошёл уже второй месяц пребывания в больнице, доктор Бялый стал проявлять научно-медицинский интерес к больной женщине. У него затеплилась надежда обнаружить какой-нибудь редкий биологический феномен или, того паче, нащупать какие-нибудь новые методики лечения и продления жизни онкологических пациентов. Но к концу второго месяца

надежда у доктора Бялого снова пропала. Галина продолжала угасать, и ей становилось всё хуже и хуже. Просто у неё оказался очень крепкий организм, и болезнь убивала её не так быстро, как вначале предполагал врач. Он ошибся в прогнозе.

Но болезнь неуклонно прогрессировала, и патологические изменения в теле Галины носили уже необратимый характер.

Третий месяц был самым тяжёлым, и Роман думал, что потеряет Галину в любой момент. Она стала часто и подолгу терять сознание, у неё начиналось помутнение рассудка, и она с трудом узнавала Романа, детей и свою маму, навещавших её.

Роман регулярно приходил в больницу, почти ежедневно, только в воскресенье он позволял себе сделать передышку—ему нужно было отоспаться и набраться сил. Он находился в постоянном напряжении, и переносить душевные тяготы возле умирающей жены ему было всё тяжелее и тяжелее.

В какой-то момент состояние Галины стабилизировалось. Нет, она продолжала умирать и по-прежнему часто впадала в бессознательное состояние, но когда она приходила в себя, то у неё был совершенно ясный рассудок. В эти моменты Роман разговаривал с женой, рассказывал ей новости, а она живо интересовалась семьёй и задавала вопросы. Но всё-таки было видно, что день ото дня Галине становилось всё хуже и хуже…

Роман тихонько подошёл к кровати Галины и сел на свой табурет. Она лежала с закрытыми глазами и дышала ровно. Спала.

Роман научился безошибочно определять, когда Галина в беспамятстве, а когда просто спит. Иногда, после сильных доз снотворного и болеутоляющего, принятых на ночь, Галина спала спокойно и, проснувшись утром, чувствовала себя отдохнувшей; у неё иногда появлялось хорошее настроение. Но всё чаще и чаще вместо сна она впадала в продолжительную кому: замирала в оцепенении на несколько часов. Во время ночных дежурств, когда Роман видел у жены такое состояние, он уже начинал думать, что всё—это конец. Но стоявший на тумбочке контрольный прибор, тонким проводком соединённый с телом, показывал на экране индикатора редкий пульс и ещё более редкое дыхание—жива.

В те ночные часы, когда Галина спала спокойно, Роман иногда шёл в вестибюль, в тёмную нишу за высокими кудрявыми цветами в больших напольных горшках, и ложился там на жёсткую кушетку подремать до утра. Ему разрешали здесь спать—тоже за отдельную плату. Перед тем как заснуть, Роман обычно глядел на цветы и вспоминал самую первую встречу с Галочкой, которая произошла за огромным кустом фикуса в кабинете научно-технического отдела механического завода, на котором работал его отец.

Папа уже на пенсии, а Роман теперь работал на том же заводе и на той же должности, которую занимал когда-то его отец—главным инженером. И это не было случайностью или простым совпадением—это воплотилась мечта Петра Михайловича, Ромкиного отца.

Роман крепко засыпал и обычно не видел никаких снов.

Но сегодня ему спать совершенно не хотелось. И сидеть возле спящей жены тоже было невмоготу. Что-то внутри него тревожно вибрировало, а мысли улетали куда-то далеко-далеко отсюда. Роман боялся потерять сознание или неосторожным, шумным движением потревожить сон жены и других пациентов в палате.

Наручные часы показывали почти одиннадцать. Роман поднялся, подошёл к окну и, раздвинув шторы и опершись на широкий подоконник, принялся разглядывать ночную картину. Бледный фонарь слабо освещал больничный двор, весь заросший акациями и кустами шиповника. Огромные тополя, высившиеся возле самых стен больницы, давно уже никто не обрезал, и мощные ветви почти касались окон, громко стуча в них при сильном ветре. Во дворе никого не было. Днём обычно пробегали сотрудники, медсёстры, врачи, студенты-практиканты. Но в больнице постепенно закрывались отделение за отделением, персонал сокращался, увольнялся, и некогда огромная семиэтажная больница всё больше пустела и становилась всё менее и менее людной.

Роману были хорошо известны проблемы городской больницы, потому что он побыл совсем недолго депутатом городской думы. Его выдвинули как честного и принципиального человека, и за него проголосовало большинство жителей заводского района. Но, проработав два года и столкнувшись с грязной политической кухней городских властей, с откровенным расхищением бюджетных средств, с криминальными схемами проталкивания нужных решений, с полным беззаконием и беспринципностью правящих чиновников, Роман понял, что не сможет долго находиться в этой душной и мерзкой среде. Он почувствовал, что либо должен сам стать конченым негодяем, либо его просто уничтожат за постоянное противодействие преступным деяниям правящей в городе клики.

И Роман добровольно сложил с себя полномочия депутата. Он выступил по местному телеканалу перед своими избирателями, попросил у них прощения и сказал, что у него нет больше сил бороться за их права. Избиратели поняли Романа Петровича и простили, так как очень уважали его.

9.

«Меня зовут Галочка. А тебя как?»—звонкий голосок маленькой девочки иногда всплывал в памяти

Ромки. Он часто вспоминал ту далёкую, неожиданную встречу в кабинете за огромным кустом фикуса.

«Галочка»,—иногда повторял Ромка про себя. Ему казалось, что он чувствует вкус этого имени—шоколадный, ванильно-сладкий, с миндальной горчинкой.

«Галочка!»—Ромка непроизвольно произносил это имя, когда ему встречались девочки, чем-то похожие на ту маленькую приятельницу, с которой он познакомился так внезапно и так неожиданно расстался.

Если бы Галочка не уехала с родителями в далёкую Сибирь, то, как мечталось Ромке, он мог бы с ней встречаться часто-часто. Он бы провожал её после школы до дома, нёс её портфель, помогал бы делать уроки. Он ходил бы к ней на дни рождения, поздравлял с Восьмым марта и дарил красивые подарки. Они бы вместе играли, ходили в кино или гуляли в парке или ещё где-нибудь. Ему было бы очень приятно общаться с этой необычной девочкой, и он бы никогда с ней не расставался.

Ромка долго помнил её большие синие глаза, тёмно-русые косички и первые слова, сказанные ему: «Меня зовут Галочка!» И Ромке становилось тепло и приятно от этого воспоминания.

Но шли годы, менялся класс за классом. Ромка рос и взрослел. Понемногу он стал забывать, как выглядела Галочка, и помнил только её косички, синие глаза и голос: «Меня зовут Галочка».

Став юношей, Ромка уже дружил с некоторыми девчонками не только из своего класса, но и из других коллективов—из спортивного клуба, в котором занимался много лет; из танцевального кружка, куда его заставила ходить мама; из городской комсомольской организации «Юность», куда его делегировали от школы. Он общался с девушками ровно, по-товарищески, не выражая особых симпатий, но и не сильно заносясь. Иногда он приглашал какую-нибудь приятельницу в кино, иногда в театр или на концерт. Но ни к кому из ровесниц особого внимания не проявлял, и постоянной подружки у него не было. Да и некогда было Роману водить шуры-муры. Он учился, занимался спортом, ходил на танцы и вёл общественную работу в городском комсомольском активе. Время его было расписано по часам и минутам.

Но иногда в каком-нибудь фильме встречалась актриса, смутно похожая на тот образ девочки из детства, и это внезапно вызывало у Романа сильное волнение. Он начинал испытывать сердечный трепет и не находил себе места. Порой он подолгу гулял по улицам города в странной надежде случайно встретить ту, уже выросшую и ставшую взрослой, Галочку.

Затем Роман успокаивался. Он не мог себе ясно представить, как бы выглядела повзрослевшая Галочка. Мысленно он воображал её, пытался придумать—и не мог. То она представлялась ему похожей на актрису Жанну Прохоренко из фильма «Баллада о солдате», то почему-то виделась как птица Гамаюн с лицом певицы Валентины Толкуновой. Но все эти образы были надуманными и призрачными и тотчас рассыпались от соприкосновения с повседневной скоротечностью реального мира…

И вот случилась эта неожиданная встреча на танцевальном вечере в клубе железнодорожников! Это была она—та самая девочка за фикусом, которая искала сердце у поролонового медвежонка!

«Галочка!»—едва не вырвалось у Романа. И сильная горячая волна накатила на него, ударила в грудь, бешено заколотив сердце, поднялась вверх, затуманив взгляд и закружив голову. Роман резко изменился в лице, и Галина испугалась: «Что с ним?!»

— Тебе плохо?—взволнованно спросила девушка.

Роман помотал головой. Но Галя пристально глядела на него и готова была тотчас прийти на помощь, если бы с ним случился обморок.

— Ты выпил?—снова спросила Галина и тут же смутилась от своего бестактного вопроса.

Она же танцевала с ним, была рядом, она бы почувствовала запах спиртного. Но от Романа пахло только чистым мужским телом и одеколоном «Шипр».

«Что же с ним такое?—с тревогой думала Галина, всматриваясь в его лицо.—Он явно не в себе. Сейчас ещё потеряет сознание».

Но Роман не потерял сознание, не упал в обморок, устоял и быстро пришёл в себя. Он не ожидал от себя такой бурной реакции и такого внезапного волнения, когда узнал в новой знакомой, этой прекрасной девушке, ту свою детскую подружку Галочку, о которой так часто вспоминал и которая так долго волновала его воображение.

Заиграла музыка, и зал оживился, задвигался, затанцевал. Роману очень хотелось снова пригласить Галю на танец. Но от одной мысли, что он вновь встанет к ней так близко-близко и прикоснётся к её упругому, красивому и женственному телу, Роман почувствовал уже не горячую волну, а сильную дрожь, как будто включили вибромашину и тряска от неё охватила его с головы до пят. Теперь он уже долго не мог справиться с собой—стоял, волновался и всё не решался пригласить Галину на танец. И эта пауза мучительно затягивалась и начинала казаться Роману совершенно непреодолимой.

Но девушка снова пришла ему на помощь.

— Слушай,—совершенно спокойно и непринуждённо произнесла она,—мне пора домой. Проводи меня, пожалуйста!

Для Романа это был спасительный и очень деликатный выход из томительного конфуза, ему срочно нужно было на свежий воздух—немного

остыть и успокоить волнение. И представился такой совершенно счастливый случай проводить Галину до дома, познакомиться с ней поближе и разузнать о её жизни. Ромку наконец отпустило, и он почувствовал, что теперь почти счастлив.

Он с радостью принял её обращение на «ты» как неожиданное и дружеское расположение к себе. Галина сама предложила проводить её, и это было одновременно и деликатной просьбой, и приглашением к продолжению знакомства.

А может быть, ей просто хотелось выручить его из неловкого замешательства? Но зачем ей надо возиться с едва знакомым парнем?! А может, она предложила проводить её совсем не просто так и вовсе не случайному знакомому? Может, она тоже узнала его, но пока не подала вида?.. Мысли снова завихрились в голове у Романа.

Они вместе вышли из танцевального зала и зашагали по парадной лестнице вниз, на первый этаж. Одевшись в гардеробе, вышли на улицу. Было ещё не поздно—только половина девятого.

Стояла чудная зимняя погода: с пушистыми снежинками, тихая и не морозная. Такая только и случается в предновогодние дни—обещая неожиданное чудо и нечаянное счастье. Рома согнул руку в локте, приглашая даму, и Галя охотно взялась за неё.

Они шли не спеша по вечерней заснеженной улице, ярко освещённой высокими фонарями. Галочка была одета в белое пальто с пушистым песцовым воротником, на ней была вязаная белая шапочка и белые варежки, а на ногах—белые сапожки на невысоком каблуке.

— Ты похожа на Снегурочку—вся такая беленькая!—произнёс Рома, очарованный девушкой.

— А ты—на лётчика!—ответила она улыбнувшись.

Роман был одет в кожаную куртку на меху, а на голове круглая шапка-ушанка из кожи—это действительно придавало ему сходство с военным лётчиком.

— Это батя привёз мне куртку из Финляндии,— произнёс Ромка и тут же спохватился: повёл себя как мальчишка, хвастающийся своими обновками.

— А кто он у тебя?—спросила Галя.

— Он работает на механическом заводе...—ответил Роман и добавил:—Инженером.

Почему-то он решил скрыть, что его отец уже много лет бессменно работает главным инженером на этом знаменитом на всю страну заводе. Просто решил больше не хвастаться перед девушкой, чтобы не смущать её.

— А мама у тебя кто?—снова непринуждённо поинтересовалась Галя.

Она спрашивала так, что не ответить было нельзя.

— Мама сейчас работает технологом на «Химволокне». А раньше преподавала материаловедение в индустриально-технологическом институте,— ответил Роман и собрался рассказать о матери ещё, но передумал—для начала вполне достаточно и этого.

— А где ты учишься?—последовал новый вопрос.

— В индустриально-технологическом...—Роман хотел пояснить особенности своей будущей специальности, но снова сдержался, только добавил:—На инженера-механика.

— Как интересно!—с искренним восхищением произнесла Галочка.

Роман по-прежнему испытывал приятное волнение оттого, что шёл рядом с такой необыкновенной, воплощённой из детской мечты девушкой. Но одновременно он ощущал в себе и всё возрастающую уверенность. Он чувствовал её доверие и тайную благожелательность к нему, чувствовал это неосознанно и необъяснимо.

— А кто твои родители?—теперь Роман решил расспросить свою милую спутницу.

Он нетерпеливо ждал подтверждения, что она и есть именно та самая Галочка, которую бабушка в тот далёкий и счастливый день привела с собой в научно-технический отдел механического завода, где он и увидел её впервые в жизни.

Галя не торопилась с ответом. Она, не сбавляя шага, подняла лицо кверху, рассматривая покрытые инеем деревья, и иногда украдкой поглядывала на Ромку. А он, боковым зрением замечая её взгляды, смотрел только вперёд, чувствуя, как приятен её потаённый интерес к нему.

— Мои родители—строители!—после долгой паузы нараспев произнесла Галя и легко рассмеялась.— В рифму получилось: родители—строители!

Роман напрягся—пошла правильная информация. Ему не терпелось расспросить про бабушку, но он сдерживал своё пылкое любопытство.

— Мы много лет прожили в Сибири. Родители построили огромный металлургический комбинат. А потом ещё завод электроприборов, а потом ещё завод медпрепаратов. Да они вообще понастроили много разных заводов!—начала рассказывать Галя.

Она чувствовала необыкновенный интерес Романа к себе и неторопливо повела повествование о своей жизни:

— После окончания школы я вернулась сюда учиться, поступила в университет и теперь живу вместе с бабушкой... А родители с моим младшим братом остались там—в Сибири.

Ребята шагали по широкой улице вдоль нарядно сверкающих новогодними гирляндами зданий, и редкие прохожие попадались навстречу. Роман ещё не знал, где живёт Галя и в какую сторону им нужно направляться потом. Они подошли к перекрёстку, их улица пересекала центральный проспект города, и на нём, как всегда, было много прохожих и непрерывно сновал автотранспорт, выдыхая клубящиеся облака выхлопов. Слева, возле крупного универмага, находилась остановка, и Рома наконец спросил свою спутницу:

— Ты где живёшь?

Галина посмотрела на свои наручные часики и произнесла без раздумий:

— Вообще-то я живу неподалёку. Всего пара остановок. И если ты не против, то давай пройдёмся пешком. Ещё не поздно. И погода такая замечательная! А ты не замёрз?

— Нисколько! Давай пройдёмся,— охотно согласился Роман.

Ему хотелось подольше побыть с Галей. И он надеялся наконец услышать от неё подтверждение того, что она та самая Галочка... Из его прошлого.

Вроде бы Роман уже и не сомневался в этом, и был почти убеждён, что это именно она — та девочка с медвежонком. Но почему же до сих пор Галя не призналась в том, что тоже узнала его? А может быть, она и не помнила его вовсе? Никогда не помнила?!

Мимолётная встреча в детстве. Маленькая пятилетняя девочка с косичками и пухлыми щёчками — что она могла запомнить? Какого-то случайного мальчика? А после — почти полтора десятилетия разлуки. Теперь они уже взрослые и совсем другие люди. И что значит для них та встреча в далёком детстве?

Роман вдруг слегка огорчился. Ему так хотелось, чтобы она вспомнила его, признала, радостно бы воскликнула от удивления и такой неожиданной встречи через столько лет. Но Галя молчала. Или только делала вид, что не узнала его? Но тогда почему Роман чувствовал от неё такую тёплую волну доверия и симпатии к себе? Да-да, он чувствовал, что нравится девушке, чувствовал её интерес к себе, ловил её тайные взгляды и ощущал какой-то внутренний звук: то ли аккорды полифонической музыки, то ли мажорный женский вокал. И Роману от всего этого было восхитительно — в нём просыпалось сильное мужское начало, но не то, животно-инстинктивное, слепо влекомое к женскому телу, а мужское начало благородного защитника и великодушного покровителя. Он наполнялся внутренней силой и самоуверенностью и уже решил для себя, что никогда, никогда больше не расстанется с этой чудесной девушкой.

Галина. Галя. Галочка!

— Что?! — спросила девушка и поглядела на него долгим и внимательным взглядом.

Роман непроизвольно выкликнул её имя вслух. Именно то имя, которое он раньше повторял много раз: и в детстве, и в юношестве, и в пору возмужания.

Неужели она услыхала?!

Через два квартала они подошли к её дому — большому пятиэтажному зданию сталинской эпохи. Зашли в просторный двор — вот и её подъезд. И тут Роман снова сильно заволновался. Ему почему-то показалось, что он видит Галочку в последний раз. Неожиданно в голову влетела шальная и страшная мысль, что сейчас он попрощается с ней — и она уйдёт от него, как и в тот раз, надолго, быть может, навсегда. И он снова потеряет её!..

Кровь, яростно пульсируя, прилила к голове. Роман спросил твёрдым, почти звенящим голосом:

— Мы ещё увидимся с тобой? — и замер в ожидании ответа.

Он пристально и напряжённо смотрел ей в лицо, пытаясь заглянуть в глаза. Но её глаза были опущены, и длинные тёмные ресницы слегка подрагивали.

Она медленно подняла взгляд и очень странно посмотрела на него. Как будто хотела что-то сказать, но не могла — сдерживалась или стеснялась. И он увидал в этих больших пронзительно синих васильковых глазах все промелькнувшие перед ней воспоминания.

Да, это она! Галочка! И она тоже узнала его. Она помнила его! Она никогда не забывала про него! Но вслух она так ничего и не сказала...

Она с надеждой и тревогой смотрела ему в лицо, как будто ожидая от него чего-то большего, чем простого вопроса. На её глазах вдруг показались крупные слёзы, но она сморгнула, и они тут же скатились по щекам. Наконец она произнесла тихо, почти шёпотом, но очень-очень ясно:

— Конечно, Рома. Мы обязательно увидимся.

Роман возрадовался. Напряжение улетучилось, и страх снова потерять Галочку совершенно исчез. Он неотрывно смотрел ей в глаза и не мог отвести взгляда. А она, засмущавшись, опустила ресницы. Так они ещё некоторое время стояли друг против друга и, держась за руки, молчали.

Шли секунды, минуты, а Роман всё не решался отпустить её. Он не знал, что нужно сказать ей на прощание и как поступить. Можно ли поцеловать её в щёку? А если она обидится или рассердится?

— Когда? — тихо спросил Ромка.— Когда мы встретимся снова?

У него пересохло от волнения во рту, и снова запульсировал страх потери.

Галина долго молчала, не поднимая взгляда, и Роман чувствовал, что она молчит неспроста — в ней тоже кипят бурные переживания. Только он всё гадал: переживает ли она этот момент как случайную встречу старых друзей из детства — или как новую счастливую встречу совершенно незнакомых доныне, но понравившихся друг другу молодых людей?

Галя положила руку в белой варежке Ромке на грудь и, подержав, ласково произнесла:

— Приходи завтра на исторический факультет... университета... На Можайской улице. Знаешь?

Роман кивнул:

— Знаю.

— Приходи к двум. У меня закончатся занятия, и мы сможем немного погулять. Или, если хочешь,

сходим в кино,— наконец Галя снова подняла глаза и улыбнулась краешками губ.— Всё. Мне пора!

И, развернувшись, она торопливо зашагала к своему подъезду.

Она ступала белыми сапожками по скрипучему снегу, шаг за шагом приближаясь к массивным деревянным дверям. Роман стоял на месте и глядел ей вслед, любуясь её плавной походкой; её, во всём белом, женственной фигурой и чувствовал необычайное восхищение от движений её ног, бёдер, рук, покачивания головы. Он провожал её пристальным взглядом, необъяснимо волнуясь, и понимал, что должен обязательно сказать ей что-то очень важное перед расставанием.

Роман вспомнил, как в тот раз, когда он познакомился с маленькой Галочкой и когда они уходили вместе с отцом из отдела, он хотел оглянуться, поглядеть на неё, помахать ей рукой и крикнуть: «До свидания!» Но не сделал этого, потому что тогда он, маленький стеснительный мальчик, повёл себя нелепо и глупо. И Ромка потом долго переживал и корил себя за то, что так и не сумел перебороть в себе то ли робость, то ли вредность, то ли какой-то детский комплекс и так и не попрощался тогда с Галочкой.

И вот теперь она, Галочка, после новой, неожиданной и чудесной встречи, снова уходила прочь с какой-то недосказанностью, с не возвращённым в её адрес словом. Роман боролся с собой, со своей нерешительностью, своим стеснением и потаённым страхом.

— Галочка!— неожиданно выкрикнул Ромка, и это имя как будто вырвалось из его сердца.

Она моментально обернулась, как будто бы и ждала этого. Роман шагнул к ней. Она повернулась ему навстречу. Он сделал шаг, и она шагнула к нему. Он сделал ещё шаг, и она— шаг. Ромка кинулся к ней, и она побежала к нему. Они обнялись. И он поцеловал её в прохладную щёку, потом в горячие губы, ощутив вкус шоколада, ванильной сладости и горького миндаля.

10.

Галина почувствовала тошноту и открыла глаза. В палате стоял бледный полумрак.

Роман сидел рядом на табуретке, ссутулившись, опустив голову и скрестив руки на груди,— вроде бы дремал.

«Ему так неудобно!»— всякий раз думала Галина, глядя на мужа, дежурившего по ночам возле неё. И она ненавидела эту табуретку. Она уговаривала Романа поменять её, попросить у врача мягкий стул со спинкой, на котором было бы удобно сидеть вечерами и дежурить ночи напролёт. Но Роман отказывался, говорил, что табуретка удобнее, что именно на ней он не заснёт. А на стуле будет постоянно дремать и сонным падать с него на пол.

— Я ведь не отдыхать сюда прихожу!— всякий раз пояснял Роман.— А побыть рядом с тобой. Поглядеть на тебя. Табуретка как раз подходит для моих всенощных бдений.

И больше ни в какую не желал обсуждать эту тему. Он всегда сидел возле жены только на маленькой металлической табуретке, которую днём задвигали под кровать.

— Рома!— тихо позвала Галина.

Роман, видимо, приходя в себя от дрёмы, помедлив, поднял на неё взгляд, и она поняла по его постаревшему, серому и смятому лицу, как сильно он устал. И несказанная жалость охватила её.

Галина сильно переживала за мужа, её терзала совесть из-за того, что она невольно стала причиной его длительных мучений. Она чувствовала, что он не только душевно страдает из-за её болезни и неумолимо приближающегося конца, но она ещё остро ощущала его накопившуюся колоссальную усталость от этих почти ежедневных посещений больницы и ночных дежурств возле неё. Галине было стыдно за это и больно.

Она не раз просила, уговаривала, умоляла его не навещать её так часто. Она уверяла, что ей вполне достаточно одного раза в неделю встречаться с ним. Лучше бы он чаще отдыхал дома и больше уделял внимания детям и своей работе. Но Роман отпирался, отнекивался, спорил с ней и продолжал по-прежнему навещать её почти каждый день. Галина жалела мужа, переживала за него и, понимая, что он не отступится и будет с ней рядом до конца, торопилась поскорее уйти из жизни, чтобы не обременять близких, чтобы дать наконец ему отдых.

— Чего?— так же тихо, почти шёпотом, отозвался Роман.

Галина почувствовала ком в горле— жалость к мужу сжимала её сердце:

— Ромочка… Прости меня, пожалуйста…

— За что?— Роман пристально глядел на жену, совсем близко наклонившись к её лицу.

— Прости… что измучила тебя…— горячие слёзы потекли по щекам Галины.

Она почувствовала на щеке его ладонь, большую и тёплую, Роман нежно гладил её по лицу, вытирая слёзы.

— Я потерплю. Я готов сидеть рядом с тобой до конца своей жизни… Только не покидай меня!— теперь уже и в голосе Романа слышались пронзительные нотки жалости и сочувствия к жене.

— Если бы я могла…— Галина глубоко вздохнула и почувствовала, что силы быстро покидают её.

Она приготовилась к последним мгновениям своей жизни…

Галина уже давно не боялась смерти.

В первые месяцы болезни сама мысль о скором завершении её жизни приводила Галину в тихую

ярость. Она готова была кричать, биться в истерике, кататься по полу, грызть дерево, но не могла этого делать на людях, в присутствии родственников: матери, мужа, дочери и сына. Нечеловеческим усилием она сдерживалась, сжимая зубы и закусывая губы. Она пряталась у себя в комнате, или уходила в гости к каким-нибудь не особо близким знакомым, или просто подолгу гуляла по улицам города, заглядывая в каждый магазин, пытаясь отвлечься. Галина старалась держаться мужественно и ни разу не сорвалась в истерические крики на глазах у родственников и тем более при посторонних.

Поначалу у неё не было мучительных болей в животе. Одолевала только страшная и навязчивая мысль, которая ритмично колотилась в голове и гулким эхом звенела всего лишь одной фразой: «Скоро умрёшь! Скоро умрёшь! Скоро умрёшь!»

Принять такой приговор и окончательно смириться с тем, что твои дни сочтены,—это страшное испытание для каждого человека. Особенно страшно принять это молодой красивой женщине, матери двоих детей, любящей и любимой женщине, которой не исполнилось ещё и сорока лет!

«За что, Господи?!»—иногда вопрошала Галина, поднимая глаза к небу, и пыталась уловить ответ Того, Кто назначил ей это суровое испытание. Но и небеса, и Тот, на Кого она уповала, молчали, и Галина чувствовала страшное одиночество и опустошение.

Но рядом с ней был любимый муж Роман. Он был единственным, кто не покидал её ни в мыслях, ни в чувствах, ни в повседневном окружении. Галина никогда ещё не чувствовала Романа таким близким, такой неотъемлемой частью своей жизни, практически частью себя самой, частью своего тела и частицей своей души. Роман был всегда рядом с ней, в ней, вокруг неё. Он был частью её мира, её жизни, её личности. Галина просто не могла полностью выразить Роману все свои чувства, не могла передать ему, как он важен для неё, что́ он значит для неё в эти трагические дни, когда болезнь начала стремительно наступать.

В какой-то момент Галина вдруг перестала бояться смерти. Она приняла эту неотвратимую неизбежность и немного успокоилась. Ей только было очень жалко своих детей—они ещё не успели повзрослеть. Леночке, старшенькой, ещё только шестнадцать. А Сашеньке, сыночку, всего четырнадцать.

Галине так хотелось погулять на свадьбах и дочери, и сына, очень хотелось дождаться и понянчить внуков, хотелось дожить до старости, чтобы просто сидеть в уютном кресле и вязать на спицах шерстяные носки для подрастающих внучат. И Галине больше всего было больно из-за того, что она вынужденно оставляет детей в несовершеннолетии, из-за трагической невозможности стать бабушкой, из-за того, что её Ромка останется совсем один…

А потом начались постоянные боли—нестерпимое жжение в области живота. И размышления о надвигающейся смерти ушли на второй план. Теперь всё больше занимали мысли о терпении и преодолении боли. А когда терпеть боль стало невмоготу, Галина согласилась лечь в больницу.

В больнице ей постоянно делали уколы и давали обезболивающие препараты: терпеть боль стало легче, но начала угасать личность. Галина до поры вроде бы понимала, что с ней происходит: она чувствовала, как поражаются некоторые участки мозга, отравленные лекарствами, как ей становится всё труднее и труднее разговаривать и связывать мысли и слова воедино, и она старалась общаться несложными фразами, старалась формулировать краткие вопросы, чтобы получать на них и простые ответы.

А ещё Галина начала чувствовать присутствие другой реальности, другого мира. В те минуты, когда теряла сознание, она ощущала, что попадает в какое-то отдалённое место—за пределы больничной палаты, в потустороннее пространство, в иное измерение. Она воспринимала этот уход из реальности как мгновенное выключение света и погружение в кромешную тьму, а когда он снова включался, то она уже видела себя как бы со стороны, сидящей в какой-то совершенно пустой белой комнате в напряжённом ожидании чего-то неведомого. Иногда в этой белой комнате она слышала далёкие голоса мужа, детей, матери. Иногда её гулко окликал врач или кто-то ещё из медперсонала. Внезапно свет пропадал, и Галина как будто выныривала снова в больничной палате и с удивлением глядела то на Романа, обычно сидевшего рядом с ней, то на доктора Бялого, тревожно всматривающегося в её глаза, то на медсестру, возящуюся с капельницей или шприцом.

Галина воспринимала своё возвращение в реальный мир как очередной подарок Всевышнего, дозволявшего ей побыть ещё немного с дорогим человеком. Этот мир, наполненный непрекращающейся физической и душевной болью, пронизанный острым сопереживанием к близким людям,—этот мир для неё был освещён только присутствием одного человека—любимого мужа.

— Ромка!—произносила Галина горячим шёпотом.

И на её губах появлялся вкус мандарина и вишнёвого сока—вкус её любви к Роману…

11.

Галина пришла в себя и в первые минуты после возвращения в сознание не понимала, где она находится, сколько сейчас времени и вообще—какое сегодня число и год. Но она, глянув вверх, увидела торчащий из-за светильника букет ярко-красных роз и сразу же всё вспомнила.

Сегодня особая дата—семнадцать лет со дня их свадьбы. Роман всегда в этот день покупал ей букет алых роз. Иногда их было пять, а иногда семь—Роман не придавал этому особого значения. Но Галина всегда загадывала—сколько роз окажется в букете. Если пять—то просто любит. Если семь—любит очень крепко.

А сколько цветов принёс Ромка сегодня? Галина принялась считать. Она сбивалась, путалась, но всё же справилась—оказалось девять роз!

«Значит, любит до самой смерти!»—подумала Галя и, повернув голову, с нежностью поглядела на мужа.

А он сидел рядом, уставший, бледный, и наблюдал за ней, не отрывая глаз. Он глядел на неё с той же теплотой, как и в тот раз, когда впервые пошёл провожать её до дома и когда они, почувствовав внутри одновременный порыв, бросились друг другу в объятия и с тех пор больше никогда не разлучались…

Галина почувствовала теплоту, которая передавалась ей от сидящего рядом мужа, и ей стало спокойно. Она закрыла глаза и теперь уже явственно ощутила приближение смерти. Она была рядом и совсем не страшная. Галя облегчённо вздохнула.

«Давай поскорее!—взмолилась она, обращаясь к неторопливой смерти.—Я так измучилась, что жду тебя с нетерпением—как избавления!»

Но смерть молчала и не приближалась, как будто играя с ней или чего-то выжидая.

«Галочка!»—послышалось в голове бедной женщины. Она приоткрыла глаза и глянула на мужа, но Роман сидел, молча поникнув головой, и как будто задремал.

Галина снова закрыла глаза и стала погружаться в небытие. Она опять ощутила рядом с собой безмолвную смерть, которая не решалась приблизиться к ней.

«Галочка!»—снова донеслось до неё.

И она узнала: это был голос Романа. Только он звучал в её голове со всех сторон объёмным и звонким эхом, отражённым от невидимых сферических стен.

«Галочка!»—голос Романа немного искажался лёгкими радиопомехами и тихим эфирным пересвистом, как будто проходил через какое-то электронное переговорное устройство. И она поняла: это был внутренний, телепатический голос Романа, который она теперь могла слышать.

«Ромочка!—откликнулась Галина, и язык её даже не пошевелился. Она произнесла имя мужа так же беззвучно, внутренним голосом, как и он взывал к ней.—Ромочка, ты слышишь меня?»

«Да, слышу!—донёсся обрадованный голос Романа.—Я слышу тебя, дорогая».

Галина почувствовала радость и необычайную лёгкость. Она ни секунды не верила, что у неё началась предсмертная галлюцинация. Она опять приоткрыла глаза—теперь Роман уже внимательно и ласково глядел на неё и держал свою тёплую ладонь на её руке.

«Рома?!»—беззвучно позвала Галина. Её губы не шевелились.

«Я здесь!»—так же беззвучно, не размыкая губ, ответил Роман и улыбнулся.

Нет, это не была галлюцинация умирающего мозга. Смерть, прежде чем завладеть жизнью человека, открывала ему напоследок его сверхвозможности.

«Вот и хорошо!»—донеслись до Галины слова мужа.

«Ромочка, я умираю наконец»,—почти с радостью произнесла Галина.

«Галочка!—голос Романа завихрился в пространстве.—Мне без тебя будет очень плохо!»

«Но что я могу поделать? Так распорядился Господь. Я со смирением принимаю Его волю!»—Галя почувствовала приятный поток тепла, разлившийся по всему телу. Это наступила её готовность встретиться с Создателем.

«Только прошу тебя, не оставляй деток. Я так переживаю за них!»—Галя ощущала в голове вибрацию своих непроизнесённых слов.

«Пока я буду жив, я не оставлю наших детей!»

Немного постояла тишина, и снова, как из радиоприёмника, донеслись взвихренные слова Романа:

«Скажи мне, пожалуйста, тогда, в тот вечер, когда мы с тобой встретились на танцах и я впервые проводил тебя до дома, ты тогда узнала меня? Я ведь никогда тебя не спрашивал об этом. Наверное, стеснялся. Но мне казалось, что ты меня всё-таки узнала. И ты бросилась тогда ко мне в объятия, потому что пятнадцать лет ждала этого. Скажи, ты узнала меня в тот день?»

«Ну конечно же!—откликнулась Галина.—Узнала сразу, как только увидела тебя в танцевальном зале. Я специально встала рядом с тобой возле колонны, чтобы ты обратил на меня внимание. А ты стоял такой гордый и независимый. И я гадала, подойдёшь ты ко мне или нет. И ты подошёл. Ты не мог не подойти!»—голос Галины зазвучал пронзительно, как скрипичная струна.

«А если бы я не подошёл?—голос Романа дрожал и начал звучать подобно саксофону.—Я страшно стеснялся, волновался—и я мог бы не подойти к тебе… И мне даже страшно представить себе, что бы случилось со мной, с тобой, с нами, если бы мы не встретились снова».

«Мы не могли не встретиться!»

«Почему?! Любая случайность—и мы разминулись бы, прошли бы мимо. Мы могли никогда не встретиться!»—с сильной вибрацией прозвучал голос Романа.

«Ромка! Ты так и не понял, что наша встреча—это судьба. Мы изначально были предназначены

друг для друга, и мы должны были неминуемо встретиться и никогда не расставаться!» — Галина уже почти пела, и на фоне её голоса нарастало скрипичное стаккато.

«Значит, та встреча в кабинете у твоей бабушки была не случайной? Значит, ты ждала меня?» — голос Романа трепетал и переходил в духовой трёхзвучный мажорный аккорд.

«Да. Да! Я ждала тебя! Ты заглянул за цветок, в мой уголок, а я уже ждала тебя. Я увидела тебя и поняла, что мы с тобой всегда будем вместе».

«А когда ты почувствовала это? В какой момент?» — волнуясь, спросил Роман голосом, упавшим в рокочущие виолончельные басы.

«Я приложила ухо к твоей груди, услышала стук твоего сердца, и мне в ответ стукнуло в грудь: ты мой! Ты мой! Я, пятилетняя девочка, полюбила тебя сразу, но я тогда ещё не знала, что это и есть любовь. Я почувствовала в тот момент, когда прикасалась к твоей груди, что между нами возникли незримые, но очень прочные узы. А ты почувствовал это?»

«Да, конечно! Именно в тот момент я почувствовал, что в меня вошёл яркий луч и осветил изнутри — он очень сильно изменил меня. Я запомнил тот день навсегда. Я вспоминал тебя долгие годы, и воспоминание о тебе согревало и моё детство, и мою юность. Я надеялся когда-нибудь встретить тебя, но порой уже и не чаял этого… — голос Романа пел, переходя в органную полифонию. — Если это Всевышний соединил наши судьбы ещё в детские годы, там, за старым фикусом, где ты искала сердце у поролонового медвежонка, то я уверен, что и наша новая встреча там, на танцах в клубе, была предопределена свыше. Это наша судьба!»

«Я всегда любила тебя!.. Любила!..» — голос Галины улетал вверх, постепенно превращаясь в крик чайки.

«Я всегда любил тебя!..» — голос Романа тоже улетал вверх и превращался в пронзительные звоны тысячи серебряных колокольчиков.

«Ромочка-а-а…» — голос Галины растворился звонким эхом в гулком пространстве.

«Галочка…» — голос Романа внезапно затих, и только звук, похожий на шум морского прибоя и свист ветра, ещё некоторое время гулял по пространству больничной палаты, колыхая его эфирными волнами. Свет медленно угас, всё погрузилось в темноту, и все звуки окончательно стихли, оставив только вечную тишину.

12.

Галина проснулась и открыла глаза. Палата была залита утренним солнечным светом.

Галина повернула голову и осмотрелась. Роман по-прежнему неподвижно сидел на табуретке, ссутулившись, скрестив руки и склонив голову на грудь — как будто бы спал.

«Пусть поспит!» — с нежностью подумала Галина о муже и неожиданно для себя поднялась и села на кровати. Странное дело, но внутри, в животе, там, где раньше непрестанно жгло, — больше ничего не болело.

«Может быть, я уже умерла?» — подумала Галина с каким-то облегчением.

Она ощупала живот, грудь, голову — это была плоть её физического тела. Значит, жива?! Она опустила ноги с кровати и медленно встала. Галя не поднималась с постели больше месяца, потому что на это не было сил. А сейчас она встала легко и без посторонней помощи.

Соседки по палате спокойно лежали на своих койках и тоже вроде бы спали. Полная — тяжело дышала и едва слышно постанывала. А старуха — лежала недвижно, и только вздрагивающие руки свидетельствовали, что она ещё жива.

Осторожно, чтобы не задеть спавшего мужа, Галина босиком, в одной больничной рубашке до колен, прошла в угол к холодильнику — хотелось пить и есть.

Она открыла холодильник: на её персональной полке лежали бананы и стояли две вскрытые коробки с соком. Она достала пару бананов и взяла яблочный сок. Взяв чистый стакан со стола, тонкой струйкой налила доверху янтарный напиток. Почистила сразу оба банана и жадно съела, запивая соком. Приятное ощущение разлилось по телу.

Галина потянулась — никакой боли! Раньше при малейшем движении ей становилось нестерпимо больно, но сейчас она ничего не почувствовала. Вдруг появилось ощущение, что она наконец проснулась после тяжёлого и кошмарного сна, длившегося больше года, и теперь она снова стала прежней. Она снова почувствовала своё тело — сильное, упругое и здоровое.

«Да что же со мной происходит?!» — без особого волнения подумала Галина и подошла к зеркалу возле двери.

В зеркале неожиданно для себя она увидела не измождённую пациентку, высохшую, со страшным костистым и опавшим лицом. Нет, она увидела красивую, круглолицую и синеокую женщину с румяными щеками и пышными тёмно-русыми волосами. Как будто и не было целого года тяжёлой, пожирающей болезни и затянувшегося в мучительных приступах умирания. Это была она — прежняя Галина! От неизлечимой болезни не осталось и следа.

«Наверное, всё-таки я умерла! — снова подумала Галина и развеселилась от этой совсем не страшной мысли. — Или сошла с ума». Эта мысль развеселила её ещё больше.

Дверь неожиданно распахнулась, и в палату вошёл доктор Бялый вместе со старшей медицинской сестрой. Врач выглядел свежим и бодрым.

— Всю ночь они шумели в палате! — недовольно проворчала медсестра, и на её широкоскулом лице играло нервное любопытство.

Врач, увидав стоявшую перед ним Галину, внезапно вздрогнул, побледнел и, схватившись ладонями за лицо, едва не закричал. А медсестра, уставившись на пациентку расширившимися глазами, испуганно перекрестилась.

«Ну конечно, они увидели смерть! — глядя на оторопевших медиков, подумала Галина. — Или я стала привидением?!»

Галину уже ничто не волновало и не пугало.

— Что с вами произошло?! — придя в себя, вскричал врач. — Вы что, выпили живой воды?

— Нет… только яблочный сок… — растерянно пробормотала Галина, и в её голове промелькнуло: «Значит, я не умерла!»

Доктор Бялый подошёл к Галине и внимательно рассмотрел её.

— Сядьте! — приказал он, показывая рукой на стоявший возле двери стул.

Галина послушно села. Врач осторожно взял её руку и стал прощупывать пульс, затем приложил к её груди стетоскоп и долго прислушивался. Старшая медсестра быстро выбежала из палаты и через минуту вернулась с врачами из онкологического отделения. Все вместе они принялись осматривать и ощупывать растерянную женщину, не до конца понимавшую ситуацию.

— Удивительно! Нет никаких признаков болезни! Но это невозможно! — взволнованно произнёс доктор Бялый, и врачи с глупым видом закивали головами, соглашаясь с ним. — Нужна полная диагностика и все анализы. Троекратно!

Врачи снова закивали — все были в полной растерянности.

— А вы что, доктор, верите в чудеса? — спросил Бялого молодой врач-ординатор.

— А-а-а! Бросьте! — доктор махнул рукой. — Поработайте-ка с моё среди умирающих пациентов! Таких чудес насмотритесь! Обычный феномен автоисцеления.

— А как же… — ординатору не терпелось поподробнее расспросить опытного врача, но доктор Бялый, строго помотав головой, пресёк все разговоры.

— Срочно отправьте пациентку на анализы! — повторил он приказ.

Но врачи ещё продолжали с нескрываемым удивлением осматривать Галину.

Доктор Бялый подошёл к неподвижно сидевшему на табурете Роману и заглянул в его лицо. Затем он приложил руку к шее Романа.

Галина бросила украдкой взгляд на доктора и увидела, как тот снова резко изменился в лице, побледнев уже во второй раз.

— Сюда! — махнул он рукой, подзывая к себе врачей.

Медики быстро подошли и склонились над Романом, попеременно ощупывая его лицо и шею.

Галина поднялась со стула и сделала несколько робких шагов на подкашивающихся ногах…

Роман сидел в застывшей позе, скрестив на груди руки и чуть склонив голову. На его лице с полуоткрытыми глазами застыла счастливая улыбка, как в тот самый день, когда он впервые поцеловал Галочку.

— Уже остыл… — пробормотал доктор Бялый и растерянно поглядел на Галину.

— Ромочка! — вырвался пронзительный крик у Галины и зазвенел под потолком.

«Галочка!» — прошелестел в ответ ласковый голос Романа.

Михаил Попов

Воля тёплая Господня

* * *

Нет, есть там какое-то место,
Где кучею свалены мы,
И там до Суда, как известно,
И дурни лежат, и умы.

Там тесно, почти как в трамвае,
Но нету нужды там в еде,
Тепло, ну, примерно как в мае,
Томит всех потребность в труде.

Мужи и девицы все вместе,
В безгрешных телах мы летим,
К былой равнодушны невесте,
Забыли вообще про интим.

На землю глядим то и дело,
Но нам наплевать, как дела
У Трампа и Венесуэлы
И сколько растаяло льда.

Посыпались страшные бомбы,
Моря подступают огня,
Работают мощные помпы,
Людей к нам на небо гоня.

И что же теперь у нас будет?
Куда ты?! Послушай! Не лезь!
Архангелы Бога разбудят.
Но беженцы уже здесь.

Загадят небесную землю!
И вытопчут тихий наш сад!
Вообще, оживить их дешевле:
Валите-ка, братцы, назад!

* * *

Господи, мой Боже,
Мне неизвестен цвет глаз
Твоих; может, позже
Они поглядят на нас.
И, зная, что я увиден,
И лучше, чтобы насквозь,
Закричу: не спите!
Видите—началось!
Из телесной пещеры
Куда-то, возможно—ввысь,
Капельки нашей веры
Мелким дождём понеслись.

* * *

Да, Конюхов меня, конечно, поразил:
Сквозь шторм десятибалльный—на лодчонке.
И главное, никто ведь не просил,
Чтоб старый выворачивал печёнки.

Теперь он хочет выше стратосфер
Взлететь на шаре, повертеться малость,
Проверить путь, которым, например,
Душа Гагарина когда-то поднималась.

Потом на гору, скажем, Эверест,
А может, и вообще на Джомолунгму!
Что ж, снежный человек его не съест…
А нет бы просто погулять по лугу,

И с удочкой у речки посидеть
(Не будем о рискованной охоте),
И, замерев, тихонько обалдеть:
Ведь время здесь ещё быстрей уходит.

* * *

Уважаемый Спаситель,
Подскажи мне, добр будь:
Почему я только зритель
И великой жизни путь
Пролегает как-то мимо
Постаревшего меня?
Катит неостановимо,
И вот этого коня
Даже русская девица,
Даже потушив пожар,
Хоть на миг остановиться
Не заставит. Бренный дар—
Составленье слов в куплеты—
Не поможет ну ни в чём,
И на набережной Леты
Мы окажемся вечор.
Вьюга злилась, но отстала,
Ворог выглядит как друг.
У загробного портала
Ручку выпущу из рук.
Что-то ждёт нас в этой бездне,
То, чего не сыщешь тут.
Наши жалобные песни
Там уже не подойдут.

● ● ●

Всё ли я как нужно рассмотрел?
Всё ли я ощупал и изведал?
В сталинградском танке не горел
И с Антониони не обедал.

Сколько от моих неловких рук
Ускользнуло молодых красоток!
Мира я не обогнул вокруг,
Не попробовал и сотой части водок.

Но откуда пасмурный снобизм?
Всё известно мне, и всё мне пресно.
Не хочу я повторять на бис
Путь, где и в начале только бездна.

Идея

Сколько тысяч должно умереть,
Чтобы стала заметной идея,
Дальше нужно ей заматереть,
Обаятельного злодея
Во главе заиметь. Ведь слабак
Или интеллигент тонконогий
Не сорвут политический банк,
Не найдут через хаос дороги.
Дальше, массами овладев
И скрывая пока что пороки,
Всех мальчишек, а также и дев
Она шлёт на великие стройки.
Всех мужчин превращает в солдат,
Чтоб погибли во славу державы,
Наплодит она множество дат
И объектов немыслимой славы.
Лишь когда её сроки пройдут,
Старой власти провиснут вериги,
Её правнуки тихо прочтут
Про идею правдивые книги.

● ● ●

Что вы мне хотите поручить?
Чтобы я своим стихом корявым
Стал бы сирых истине учить,
Подвигать народы к лучшим нравам?

Только, братцы, надобно понять:
Я и сам в сомнениях жестоких.
Чтоб благие роли исполнять,
Вы других зовите—разных, многих,

Кто умеет, кто сподоблен знать,
В чём же польза и каков порядок.
Я же, это надобно признать,
На простое наслажденье падок

От романа или же стиха—
Это выше правды и морали.
К тем душа моя почти глуха,
Зря бумагу ради них марали.

● ● ●

Кажется, отпали все сомнения,
И последний враг роняет щит,
Сквозь все щели хлещет откровение,
Как забор прогнивший, мир трещит.

Всё, что есть, теперь живёт по-новому,
Смыслы все и помыслы чисты,
Смерть свелась к событью ерундовому,
И былого мощные пласты

Вывернуты, и на усмотрение
Все дела благого судии.
Он решает, не вступая в прения,
Точки ставя страшные над «и».

● ● ●

Для чего нам снегопад в апреле?
Серый мир теперь ещё серей,
Снег как будто мелют пустомели,
Ветер нервный—видимо, борей.

Всё готово: почки, в них листочки,
Птицы, ветки, кошки, алкаши,—
Чтоб весна в шифоновом платочке
Разгулялась завтра от души.

Почему-то никакого смысла
В этом снеге рыхлом и больном.
Время, отбродив, уже прокисло.
Всё и вся мечтают об одном:

Чтобы лес волшебно зачирикал,
Чтобы, внутрь себя вобрав метель,
Миллионами стеклянных игл
Засверкала за окошком ель.

● ● ●

Кто меня воззвал из праха,
Вырвал из небытия?
Вот она, моя рубаха,
В ней на свет явился я.
Для чего я год за годом
Существую наяву?
И не стал ведь мореходом,
Через штормы не плыву,
Не летаю на орбиту,
Не работаю врачом.
Всё, что делаю,—для виду,
И о важном ни о чём
Не имею представленья.
Всё, что как-то изучал,
Сожрано огромной ленью.
В чём начало всех начал?
Мне, конечно, интересно,
Только где такой знаток,
Кто исследовал ту бездну
И постиг, каков итог?

Что-то грустно мне сегодня,
В сердце полумрак и дождь.
Воля тёплая Господня,
Ведь не ты меня гнетёшь.

Это кто-то инородный
В дом мой внутренний проник
И, вселяя страх животный,
Сцапал тайный мой дневник.

Водит пальцем по страницам
И копается в словах.
Мне бы надо рассердиться,
Только чую: дело—швах.

Я разложен и разгадан,
Разнесён по полкам я,
И помечен каждый атом
Жалобного бытия.

И на что моя надежда?
Гость—тяжёлый идиот
И, конечно же, невежда—
Ничего не разберёт.

Пылает мой холодный разум.
Не может быть, чтоб просто так,
Благодаря каким-то фразам,
Возник наш мир.
«Да будет мрак!»—
Произнесёт в пылу Создатель,
И наш прекрасный мир прейдёт,
И даже—Боже!—Божья Матерь
И головой не поведёт.

Пусть лучше просто по Ламарку
Всё развивается у нас,
В одну секунду мир насмарку
Не канет от каких-то фраз.
Материя пусть вечной будет,
И жизнь—без Божьего хлыста.
Нас после смерти не осудят…
Но вот куда девать Христа?

ДиН симметрия

Александр Блок

Две надписи на сборнике

I.

Вы предназначены не мне.
Зачем я видел Вас во сне?
Бывает сон—всю ночь один:
Так видит Даму паладин,
Так раненому снится враг,
Изгнаннику—родной очаг,
И капитану—океан,
И деве—розовый туман…
Но сон мой был иным, иным,
Неизъяснім, неповторим,
И если он приснится вновь,
Не возвратится к сердцу кровь…
И сам не знаю, для чего
Сна не скрываю моего,
И слов, и строк, ненужных Вам,
Как мне,—забвенью не предам.

II.

Едва в глубоких снах мне снова
Начнёт былое воскресать,—
Рука уж вывести готова
Слова, которых не сказать…
Но я руке не позволяю
Писать про виденные сны,
И только книжку посылаю
Царице песен и весны…
В моей душе, как келья, душной
Все эти песни родились.
Я их любил. И равнодушно
Их отпустил. И понеслись…
Неситесь! Буря и тревога
Вам дали лёгкие крыла,
Но нежной прихоти немного
Иным из вас она дала…

1920

Андрей Шацков

Звезда декабриста

Тобольск

Как много в России загадочных мест,
Пронизанных смуты мучительной болью!..
Архангел, с утра опускаясь на крест
Церковного храма, глядит на Тоболье.

Играет Тобол, серебрится Иртыш.
И где-то, из волн поднимаясь угрюмо,
Ермак раздвигает руками камыш,
Чтоб в призрачной схватке осилить Кучума.

Здесь сказка сбылась, и, не чувствуя ног,
Не слушая сердца, стучащего рьяно,
Взбеги на холмы, где Конёк-Горбунок
Доверчиво носом толкает Ивана

И хочет к груди его гривой припасть…
Но грают над градом сибирским вороны.
И куколем чёрным покрыла напасть
Венец православной российской короны.

Но сгинут туманы тюменских болот,
И спрячется морок в глубокие норы…
А город стоит—как России оплот
На вечном пути из варягов в обдоры!

Двадцать первое декабря

(Полугодины)

Да лягут снега на обитель твою—
На новую, с бабушкой рядом!
С седой головою в молчанье стою
Под жёстким седым снегопадом.

И купол церквушки, и абрис креста—
Покрыла ворон плащаница.
За дальней оградой стучат поезда,
Погост огибает столица.

Ваганьково, снеги, да камень-гранит,
Да тень прапрадедова стяга.
Пусть небо твой путь одинокий хранит
В туманности млечной, бродяга.

Я помню в ладони ручонку твою
И кеды—спешащие рядом…
Немного осталось… Но я достою
Под нашим с тобой снегопадом!

Звезда декабриста

(Монолог поручика Анненкова)

Французская шляпка, вуаль.
Фигура, обвитая флёром…
Гори же, моя этуаль,
Гори над острожным забором.

За Нерчинском—только восток.
А мысли уносят на запад,
Где в прошлом—шампани глоток,
Где в прошлом—волос твоих запах.

Но Бог не услышит молитв.
Отплясана жизни мазурка.
Он крепок пока—монолит
Гранитных столпов Петербурга.

Штыков ощетиненных сталь.
Халат арестантский, куртина.
Гори же, моя этуаль,
Звезда декабриста—Полина!

До самой последней черты
Не будет лукавей кошмара:
Острог предвесенней Читы,
Венчание в церкови старой…

Кольцо из чугунной цепи.
Взахлёб поцелуй на морозе.
Конвойного оклик: «Не спи!»
И сани невесту увозят.

Я клятву свободе сдержал.
Имперская служба постыла.
Всеобщего счастья желал,
А счастья себе—не хватило.

Кандальная злая печаль.
Набухшая почками верба…
Гори же, моя этуаль.
Даруй вдохновенье—Эвтерпа!

Тропарь Вениаминову

Св. Иннокентию—митрополиту
Московскому, апостолу Аляски

Глас I

«Во вся страны полунощныя
изыде вещание твое…
…неведущия Христа светом
Евангелия просветил еси…
…Российская похвало, святителю
отче наш Иннокентие…»

Глас II

Холодá зубами волка ляскают.
Солнце выдирается из тьмы.
Но встают над мёрзлою Аляскою
Русских изб кудрявые дымы.

В бесконечность трактов вёрсты брошены
Под разливом неба синевы.
Но звучит едино *Слово Божие*
От суровой Лены до Невы.

Ни огнём, ни мукой не устроится
Эта Богом избранная ширь,
Где едины, как Святая Троица,—
Вологда, Аляска и Сибирь.

В каждом крае, тонущем в неверии,—
Несть числа пророкам и святым.
И простёрла над шальной империей
Дева-Богородица персты.

И когда приходит время тальника,
Птицы грают, и поёт капель
Имя алеутского печальника,
Патриарха северных земель.

Краток век, как жáры в пору летнюю,—
Но приуготовил Бог, веля
Скромному монаху Иннокентию
Путь окончить в ризнице Кремля.

И когда заря с зарёю сходится,
Затеплив лампаду в красный кут,
В Троицком соборе Богородице
На якутском молится якут.

И стоит святой на стёртой паперти.
И трёхперстье тянется к плечу.
И прекрасен древней Богоматери
Узких глаз таинственный прищур!

Абакан[1]

Ничего не поделаешь—флаттер…
В лихорадке трясёт самолёт.
Я надеюсь, что Божия Матерь,
Как и прежде, сегодня спасёт.

Чёрт бы эти побрал Абаканы…
Пересадка, посадка и взлёт.
Над Свердловском—сплошные туманы.
За Челябой—то жарит, то льёт.

Поднебесье машину кантует.
Мне сегодня намяло бока,
Чтобы истину понял простую:
Далеко от Москвы Абакан!

И лежит себе, как порубежье
Двух Сибирей,
        хакасская степь.
Где здесь кровь, покажите, медвежья?
Я ещё, между прочим, не слеп…

Но лежит себе степь, осиянна
Первозданной нерусской красой,
Упирается круто в Саяны
Горизонта сплошной полосой.

И места эти были б неплохи,
Только сердце рубцуют не зря
Окаянные метки эпохи:
Лагеря, лагеря, лагеря.

Мелкий дождик по мрамору сеет,
Но распадки предгорий светлы.
И над плавным пока Енисеем
Распластались в полнеба орлы.

Будет помниться реже и реже,
Приходить в полнолунии снов
Пара слов: Абакан—«кровь медвежья»…
Абакан—человечества кровь.

1. Абакан—медвежья кровь *(хакас.)*.

Голбцы у дороги

Под небом, плюющим то снегом, то ветром,
Тиранящим старой соломы охапку,
Оставив в столице чудачества мэтра,
В честь родины малой — сломи свою шапку.

Закружится в просини крест ястребиный,
Набухнет опарой тумана завеса.
И грохнет беззвучным салютом рябинным
Стоствольная чаща заречного леса.

И всё городское, что раньше вальяжно
С тобою авто колыхалось спесиво,
Отступит пред запахом осени влажным,
Нырнёт в камыши, за прибрежные ивы.

В ту пору, когда ни ромашки, ни клевер
Уже не ведут меж собой пересуды,
Уносит меня лихоманка на Север,
Где много грибов, комаров и простуды.

Версто́вых столбов межевые затёсы,
Разбитой дороги бездонную лужу
И эти бредущие цепью берёзы
Безменом кладу на весов своих душу.

И если бы знать, что потом сотворится!
А ныне легко: без любви и без злости…
Лишь будут ночами тревожными сниться
Голбцы на дороге, голбцы на погосте.

Сюжет о зимних маргаритках

Кривая судьбы… Синусоиды дно.
В рождественских окнах горящие ёлки…
Я пью свою горькую кровь, как вино,
И к храму бреду в одиночестве волка.

Лишь в горле катается тёплый комок,
Что нежностью был, с достопамятной встречи,
Когда я впервые судьбу превозмог
И шёл на свиданье — Буслаем на вече!

И первую стражу стояла зима,
Отринув бессмыслие слова «предзимье».
И ты торопилась на встречу сама —
Позёмки речной осиянная синью.

И руки свои укрывала в моих
Ладонях
        от хлада морозного пара.
И всё повторяла, как школьница стих:
«Мы вовсе не пара, мы вовсе не пара!»

А я и не помню, что было тогда,
Хоть память приходит больными ночами…
Мелькнули мгновенья, минули года,
Сомкнувшись, как воды, у нас за плечами.

Те зимние дни не вернутся назад,
Растаяв сугробом у са́мой калитки
Скрипучей,
        ведущей тебя в палисад,
Где вместо снегов — расцвели маргаритки.

«Цветы Богородицы» — лета привет,
Которое вовремя к нам не приспело…
Как жаль — не сложился о счастье сюжет,
Но это в России — обычное дело.

Двадцатый…

Снег скрипит! Скрипит январский снег.
Пёрышко скребётся по бумаге,
Словно вновь пришёл двадцатый век,
Очередь заняв в универмаге.

Фантики, хлопушки, пастила,
Синий шевиот официоза…
Ёлка настоящею была —
Со смолой, застывшей от мороза.

Дворник гордо нёс свою метлу —
Деревенский дворник дядя Федя.
Тёплый хлеб давали ко столу
И компоты — школьникам в буфете.

И трещали доски у бортов:
Шло с Канадой вечное сраженье.
И в хоккейной шапочке — Бобров
Поражал игрой воображенье…

Милый, неуклюжий и больной,
С коммунальной толчеёй в квартире,
Где ты, мой двадцатый — золотой,
С орденом «Победа» на мундире?!

Где вы, чёрно-белое кино,
«Огоньков» эфирная программа,
Голуби, соседи, домино
И такая ласковая мама,

Что теперь глядит издалека
В деревянной рамочке квадрате?..
Век двадцатый — это на века!
На другие — времени не хватит!

Чабрец

(Богородицкая трава)

В Богородичный день, утопающий в ласковой сини
Осенин, облачённых в сентябрьский кровавый багрец,
На бескрайних полях, на безмолвных полянах России
Богородской травой возрастает пахучий чабрец.

Что за дивные сны с чабрецом навевает подушка,
С тем, которым иконный оклад украшали в Престол!
И прекрасной царевною станет простая лягушка,
И не станет помехою кречетам ясный сокóл!

Сколько сложено сказок о сём на людскую потребу!
Как причудлива их златотканая мудрая вязь…
Рождество Богородицы—лествица в чистое небо.
Рождество Богородицы—осени топкая грязь.

А из грязи, хвостатый бунчук на скаку поднимая,
Смертным мороком явятся тысячи волчьих сердец.
И падут ковыли в полный рост под пятою Мамая,
Но пригнётся к земле, распрямившись, Непрядвы чабрец!

И навстречу врагу, под хоругвью «Ярого Ока»,
В Богородичный день, богородской любимой травой,
Вылетают засáдные вершники князя Боброка,
Созываемы в битву архангела звонкой трубой!

И усеется поле коростою ратного спора—
Куликово,
заветное,
в поросли из чабреца.
Расточится туман, и заря, словно плат омофора,
Ниспадёт на траву—
и не будет России конца!

Ирина Каренина

Песенки мёртвой стрекозы

● ● ●

Человек человеку — снег,
Человек человеку — мрак,
Что кочующий печенег,
Что домашний смешной дурак.

Не понять, да и не обнять:
Полоротым застыл зеро.
Я тебя или ты меня —
Белым пёрышком под ребро?

Чтобы горькая желчь любви
Губы смазала у креста,
Чтобы дольним стихом кровить,
Чтобы дольником клокотать.

● ● ●

Когда-нибудь споём и это,
Что сердце рвёт напополам:
Что чёрным бешенством согрета
Душа, измученная в хлам,

Что горше горе, чем бывало,
Когда слеталось вороньё,
Что я уж всех попредавала
Во имя нежное твоё.

И вот стою в лесу морозном —
Спокойна, искренна, одна.
И мне ничто ещё не поздно.
И будто кончилась война.

● ● ●

Да ладно, проехали, детка:
Какие там счёты, чего?!
Цветите, як папарацъ-кветка,
Живите с блажной головой.

Любовь не карает, и, право,
Вы мне ничего не должны —
Осколку ли гордой державы
Листать ваши лёгкие сны?

Солдату ли тяжкого века
В сиянье литых эполет,
Который вернулся калекой
В немирное время на свет?

● ● ●

Мне теперь всё равно, всё равно, всё равно,
Хоть люби меня, хоть ни за что.
В поездное пустое ночное окно
Смотрит тёмный усталый фантом.

А зачем там любить и за что презирать —
За какую фанеру, муру?
Не учи меня жить, не учи умирать —
Я сама проживу и умру.

Мой стеклянный двойник за зеркальным окном,
Тёмный промельк на станции Дно,
Мы с тобою пошли б в ресторан за вином,
Только кончилось наше вино.

Средизимье моё, перекрестье дорог,
Перелески, снегов немота…
Утомлённую душу сердитый волчок
Потихоньку снимает с креста —

И она не болит, не болит, говорю!
Ей и мне всё равно, всё равно…
Созревай же на радость, назло январю,
Ледяное, как память, вино.

● ● ●

В. М.

Ты — сардинка, уплывшая в море,
За качели, беседку и дом,
И теперь в этом лёгком просторе
Я тебя различаю с трудом.

Много нас, кто играют, смеются,
Ищут-ищут, куда ты ушёл,
Но один за другим подаются,
Заговорщицки шепчут: «Нашёл!»;

Замирают в крыжовенной меди,
В сладком запахе тёплых кустов —
Пересмешники, вечные дети
Неизбежных своих возрастов.

Ах, смородин глаза вороные,
Тихий лепет земного тепла!
Поиграем в «сардинку», родные, —
И не плачьте, не плачьте, не пла…

• • •

Я, конечно, ревную: свобода, что пуще неволи,—
Белена, чемерица, воро́нье блестящее око;
Вот проростки обиды, бессонницы горькая завязь,
Ядовитый гербарий утрат—их листва и соплодья,
Это всё шелестит, капля в капле хрустального яда,
Это всё намекает и шепчет, и нет избавленья.

Под зелёной железной водой—утонувшее завтра.
Я тебя и не так бы ещё полюбила—дай волю!
Только воля—неволя мутна словно «верю—не верю»,
И в зрачках белладонна, полночная тень расцветает.
Под зелёной водой полыхают железные звёзды,
Как русалочий хвост, холодны, как сплошная свобода.

Что ж ты снишься ночами—в тугой чешуе, словно рыба?
Серебро глубины—отраженье луны—многоточье.
Приготовить ли снасти, словами во сне захлебнуться?
Нет—глазами, прозрачной водой говорю тебе: здравствуй.
Не добыча моя, не верхом за тобой и не пешей,
Сквозь болотные травы, на привкус железа и крови.

• • •

Мы не взрывали мостов, не поджигали Рима,
При слишком больших запросах получали по бороде,
Но в жизни неповторимо то, что неповторимо,
Да и оно уходит, подобно слепой воде.

Мы не срывались в атаку на Карфаген и Трою,
Не становились к стенке, бледные, как стена.
Но первое—всё же смерть, и жизнь потому—второе,
Хотя и она проходит, как будто прошла война.

Может быть, мы слабее кентавра или спартанца,
Может быть, мы унылы, не рыцарственны ничуть,
Но только у каждой эпохи—свои роковые танцы,
Свои винтовки и копья, целящиеся в грудь.

Смотрим в себя—безглазы, будто античный мрамор,
Смотримся как герои на фоне гламурных дев.
Здесь главное—удержать душу и спину прямо,
А это легко даётся врастанием в барельеф.

• • •

Давай с другими—понтуйся, дави слезу,
А у меня слезы ни в одном глазу,
И побоку мне эти твои «ля-ля»,
Как побоку дождь ракете «земля—земля».

Куда бы ни шёл, а выводит—на мой порог.
Куда б ни сбежал—иных не найти дорог.
Давай с другими играй недотрогу, мне
Не привыкать обиду гасить в вине:

Любовь—папироса, секунда—и пш-ш-ш!—прошла.
Это в юности—страсти-мордасти, понты, крутые дела,
А мне уже хочется проще и налегке
Подымить в распахнутом пыльнике на ветерке.

Песенки мёртвой стрекозы

1.

Постарела, поглупела,
Подурнела, Боже мой,
Лето красное пропела
С невесёлой кутерьмой.

Налились печалью строки,
Растрепались на ветру…
Знать, ещё не вышли сроки
Петь и гибнуть на миру.

Как металась ты ночами—
С хрипотой да немотой,
На морской, седой, песчаный
Выйдя на берег крутой.

2.

Раны—такая штука:
Не уберечь друг друга,
И когда-то одна
Вычерпает до дна.

А потом—давай
Как-нибудь доживай,
Барахтайся, мельтеши,
Дыши без родной души.

Вот ведь—на рынок идёшь,
А тут закипает дождь,
Бьёт водяная плеть,
И некому рук согреть.

Некому взять суму,
Некому ждать в дому.
Так и тянешь с ножом в боку
Невечной жизни «ку-ку».

• • •

Голос зажму в кулак.
Скулы свело от слёз.
Жизнь, я тебе не враг.
Мир, я тебе не пёс.

День—не видать ни зги,
Ночь за хребет берёт.
Выкрикнуть не моги
То, что на части рвёт.

Вырваться из огня…
Что я могу, когда
И посильней меня
Сыпались, как слюда?

Что я—дышу, молчу.
В горле—занозой—стих.
Имя давать мечу—
Выбери из моих.

● ● ●

Ю. Б.

За годы до — я чуяла беду.
Я знала, что когда-нибудь померкнут
В моих глазах и звёзды, и трава,
Что, осыпаясь, покачнётся мир
И облетит с пустым, безумным звоном.
Мы знаем всё подспудно про судьбу.
И ждём, томясь: вот-вот оно случится —
То, что одним ударом рассечёт
Души моей тоскующую мякоть,
Пронзит меня и пригвоздит к земле.
За годы до — я разучилась плакать.

Предчувствуя потерю в каждом из
Тех, кто шёл со мной земной дорогой,
Брела я по запутанной тропе —
Босая и на общих основаньях,
Неся свой странный, неудобный груз
Горящих слов, бренчащей рифмы звонкой.
И вглядывалась в лица и глаза,
Ища печать, меняющую верно
Рисунок черт обыденных — на лик,
Отмеченный загробным дуновеньем.
Но — проглядела, сбилась, не нашла.

Но — проглядела, сбилась, не нашла.
Теперь-то что метаться и казниться,
Ночей не спать, под звон ключей дрожа?
Свершилось и пришло, взяло и смяло.
Вся бестолковость жизни, вся любовь
Отныне не поможет мне, и если
Я выкрикну однажды эту боль,
Взревут моря, Земля сойдёт с орбиты,
Кору вскрывая, вздыбятся разломы
До самого кипящего ядра…
Так дайте мне смолчать, я умоляю.

● ● ●

…Но мы живы ещё — и лукавы,
Роковому безверью должны,
Соискатели смерти и славы
На просторах усталой страны.

Друг-щегол мой, дурная порода,
Не умеющий быть подлецом,
Не хватило навек кислорода,
И хрипишь с посиневшим лицом,

И скребёшь по бумаге коряво —
Рваный вдох, непутёвый глоток,
Золотая густая отрава,
Обжигающий рот кипяток.

Защитникам Донбасса

…И ловят руки не мяч, но меч,
И держат руки не меч, но мир.
Врастаешь сердцем в родную речь
И горькой нежностью — в свой фронтир.
Укореняешься в мятеже
Во веки вечные — и аминь,
На горизонте, на рубеже,
Где корни неба вонзились в мир.
И жжёт ладони горячий снег,
И горе вплавлено в белый лёд,
И наш короткий и страшный век,
Как ночь последняя, настаёт.

● ● ●

Неужели я плыву
Да из Менска во Москву?
Неужели в самом деле
Я вас всех переживу?

Занимается заря,
И горят мои моря,
Поперёк и вдоль зигзагом
Мной исхоженные зря.

Есть ли в мире сторона,
Где я буду не одна,
Чтоб не мамка и не нянька,
Не жилетка, не жена?

Что бы выискать в судьбе,
Чтоб не плакать о тебе,
Мой двойник из амальгамы
С сигареткой на губе,

С кучерявой головой,
Ненаглядный, грозовой,
Мной схороненный до срока,
Только в памяти живой?

На помин твоей души
Все рюмашки хороши,
Все стакашки как близняшки,
Топнул, хлопнул — и дыши!

Ах ты, Коля-Николай,
Лежи молча, не гуляй,
Как покойникам пристало, —
Дурака-то не валяй.

Тем ли, этим вечерком
Я приду к тебе тишком,
До краёв стакан поставлю
И заплачу шепотком.

● ● ●

Исчезаю с радаров — Бермуды тебе, а не я.
Корабли разбивая о рифы молчащего скайпа,
Уходя — уходи: мы с тобой не враги, не друзья,
И по венам сквозит холодок отлетевшего кайфа.

Ни парле, ни франсэ — замолкаю отныне навек,
Ни беспутных словечек, какими тебя называю…
Уходи навсегда, драгоценный, смешной человек,
И по горло тебе твоей Сены вода гужевая.

Обрывая парфорс, не сорвусь в дешевеющий хрип.
С беспорядочных слов то и дело сбиваясь на числа,
Прорастает разлука сквозь тёмное сердце, как шип,
И теперь тебе только свобода — вовеки и присно.

Леденящий глоток октября так отчаянно свеж.
Ну да мы не в кино, потому повторяю без злости:
Если хочешь вражды, нам остался последний рубеж —
Под Смоленском, где пра твоего тлеют жёлтые кости.

Горячишь ли коня и храбришься ли, словно Мюрат,
Ни морзянкой, ничем мы с тобою не связаны ныне.
Эта осень, как армия, в бой идёт, mon camarade,
Жаль, не вспомню никак подходящей по смыслу латыни.

● ● ●

Дождь в яблоках, и яблоки в дожде,
И тонет сад в шалфее и душице,
В календуле и мяте, в лебеде,
В подсолнухах, что выклевали птицы,

В любви, дикорастущей, как трава:
Как гряды ни возделывай, но всё же
Нас обступают время и слова,
Вода в окне и холодок по коже.

И как легко застыть, и чуть дышать
(А воздух здесь такой, что гуще крови),
И собственному сердцу не мешать,
И собственной душе не прекословить.

● ● ●

Так ли, эдак, жива ли, едва ли,
Нелюбима, любима — один
Знает Бог, как стишков трали-вали
Домотали до ранних седин.

С неба облако сыпалось мелом
И тоской на затылок и лоб:
Голова моя мечена белым,
Горло полно обидой взахлёб.

Что тебе-то, дурак-пересмешник,
Сердца глупость, прощёное зло,
Мой седой, мой собачий лобешник,
Золотое, как время, чело?!

● ● ●

Как знаешь, говорю, как знаешь,
Моя нежданная свобода,
Когда листву в лицо швыряешь
И сквозь печаль не ищешь брода,
Когда рассказываешь байки
Про то, что «это — тоже опыт»,
Глядишь с улыбкою всезнайки —
И я перехожу на шёпот.
И я скрываюсь в подворотнях,
Ищу забвенья, как лекарства
От этих жалоб приворотных,
И за покой даю полцарства,
Сердечные глотаю к ночи…
Но если нет в тебе просвета —
Как знаешь, говорю, как хочешь.
Пройдёт и это.

● ● ●

С древа мира и многих печалей
Сладким яблоком падает смерть.
Ну, чего мы хотели вначале? —
Разобраться, добраться, посметь,

Побороться за синие воды,
Мёд поэзии полным глотком
Пить до дна — вместе с ядом свободы,
Лёгким-лёгким его кипятком.

Что хотели — кочевья, сраженья…
Что нам были дома и сады?!
Милый, это всё — до пораженья,
До разлуки, расплаты, беды.

Над Босфором качается парус,
И не страшно уже ничего.
Ну а если я не откликаюсь —
Что с того, дорогой, что с того?..

● ● ●

Это вы, это вы без меня одной,
Это вам хорошо без меня сейчас,
Ваши злые речи текут, как гной,
Это вы без меня, это я без вас.

Это я, это я безо всех одна,
Это я со стаканом мёртвой воды
У ночного негаснущего окна —
Это я одна у моей беды.

Это я перед злобой и пустотой,
Перед смехом вашим, дурной молвой,
За своим молчаньем, как за чертой,
Остаюсь живой.

Михаил Свищёв

По ту сторону порога

• • •

Ни цвета, ни линии — только штрихи:
Огузок лопаты, похожий на стремя
(В свободное время он пишет стихи,
Когда подступает свободное время

Под самое горло кирпичной водой,
Листки расписаний несёт наводненье
До чёрных решёток, трубящих отбой
Попавшим под ливень, как хлеб под варенье).

Невесты бледней соляного столпа,
Влюблённые вдовы желты от запора —
Ему разрешается только копать
От локтя к плечу, от беды до забора.

Молись, богохульствуй, реви, петушись,
Здесь кротких удел — торопить бестолковых
Наследовать землю как новую жизнь
На двух штыковых и четвёрке совковых.

Après nous

Там лампочки жёлтые едки,
в подреберье лестничной клетки
ступени блестят, как ножи
длиною со школьную жизнь,
и стыд прикрывают картинно
две двери куском дерматина,
в убранстве советском просты,
в две комнаты — в две пустоты.

Там зимние рамы запойно
темнеют на летних обоях,
под вербною веткой, как встарь,
цепляется там календарь
за дни — отрывные скрижали
с рецептами и чертежами,
зевает, как память назад,
с кухонной стены циферблат

(в зубчатых кругах готовален
на девять минут отставали
часы в девяностом году).
…Там время, заснув на ходу,
качается детской площадкой,
и, чуть обознавшись, украдкой
субботу целует в уста
седьмая неделя поста.

• • •

Садики под насыпями зыбки.
Все стихи на свете прочитав,
Знаешь, что в конце любой посылки
Либо сердце, либо главпочтамт.

Кустиков невнятные породы,
Жаворонка тощее гнездо —
Кладбища милее огородов
Кажутся с электропоездов.

Протрубит в лицо зелёный встречный
красноносым дачным Сирано,
только в мае помнишь: жизнь не вечна,
только в мае это всё равно.

Офелия

Эхо, словно лай
простывшей сирены.
Ветку обломай,
стряхни хоть сирени
спелой мне на грудь —
пока подневольна,
сделай что-нибудь
мне — сделай мне больно!

Ящеркой глухой
в коленки, где сухо,
спрячусь ли щекой, —
в послушное ухо
лей мне свой свинец,
пока не остыла,
сделай, наконец,
не больно, так стыдно!

Мох и перегной
в крахмале колета —
если за спиной
ни крыльев, ни клетки,
с белой пустоты
просохших простынок
сделай мне не сты-
дно, сделай мне сына!

Выпусти, виня,
жар-птицею в омут —
выведи меня
на чистую воду!

● ● ●

Приставив ночь к спине календарю
в библиотеке сказочной и пыльной,
я все картинки поблагодарю,
все эти книжки, небыли и были—

за «лепо ли», за «мыслью по стволу»,
за вечное, чуть худо,—«где же кружка?»,
за для себя последнюю стрелу,
за то, что не сжигается лягушка,

за пареную репу за рекой,
и что медведь доверчивый и бурый,
за вечный левитановский покой,
где каждый одуванчик ищет бури,

за парусник в лазури и за дно,
за Горького, за мерю и Емелю,
за яблоко. И просто за одно
всего стихотворение в неделю.

● ● ●

Тот самый первый дачный мой сезам:
сквозь шифер протекают небеса,
и, поминутно прижимая к уху
будильник из подставленных кастрюль,
седьмое время памяти—июль—
нам по-соседски заливает кухню.

На тумбочке—железные рубли,
и карточные смотрят короли,
как на веранде стёкла запотели
от сырости московских простыней,
под окнами обои всё темней,
и под глазами резче светотени.

А бабушка твердит одно и то ж:
«Кому он нужен, этот летний дощщь,
когда уже зима не за горами?»—
и капает водичка с потолка,
и свечка не теплее мотылька—
и разве что подольше догорает.

● ● ●

Далёкая, как дача под Москвой,
дырявая, как новенький скворечник,
жизнь складывалась шахматной доской
на парковой скамейке отсыревшей,

и чёрными, как бабушкин рояль,
слонами по её диагоналям,
два фланга оголяя по краям,
две женщины друг друга догоняли,

отбрасывали время на дуршлаг
и клетки продували сквозняками,
то жёлтый, то вишнёво-бурый лак
царапали—и не пересекались.

● ● ●

Затребуешь память,
а память приносит лубок:
два школьных звонка,
мандарины в метро в два прикуса,
где тесно смешались
дождинки, фотоны, любовь,
азот с кислородом,
созвучья, расцветки и вкусы,
повидло на хлебе
и приторный в горле люголь,
в больничном дворе
под Ротару танцующий шизик,
где, как голубей,
выпускает прилежная боль
из старых клеток
пернатые радости жизни.

● ● ●

Сочинять, так в полвторого,
Наблюдать, так с высоты:
Где кончаются коровы,
Начинаются хвосты.

Если водка—с кока-колой,
Если в землю, так в свою—
Где заканчивалась школа,
Дул стрекозами июнь,

В иван-чае у оврага
Что ни всадник, то трубач—
Там, где выдохнется брага,
Вспыхнет синеньким первач.

Если треснет, можно скотчем,
На шурупы и болты.
Там, где я сейчас закончусь,
Там начнёшься сразу ты.

● ● ●

Не смотрелось в телевизор,
Не сиделось на диване,
По ту сторону порога
Двери, хлопнувшей самой,—
Без ключей, зато с монеткой
Двухкопеечной в кармане
Покурить на клетку вышел
И звоню к себе домой:
«Дорогие папа-мама,
Не пеняйте на потери,
Сразу после разговора
Жизнь, как трубку, положу.
Я к вам ехал электричкой—
Не открылись обе двери,
Я к вам прыгал с парашютом—
Не раскрылся парашют».

Ольга Козэль

Оттепель

● ● ●

Моя сестра теперь в чужой стране.
Пытаюсь я смириться с горьким фактом.
Ведь кто-то погибает на войне
Иль просто умирает от инфаркта.

Подумаешь, погасшее окно.
Объеду за сто вёрст—и, может статься,
Тот холод мне дороже всё равно
Тепла всех на Земле электростанций.

Пусть лучше я погибну на войне,
Лишь бы не видеть тёмных окон мне!

● ● ●

На Мосфильмовской авария.
Встала улица уже.
Я смотрю на дом-аквариум
Где-то в тридцать этажей.

Там, наверно, лифты бегают,
Рыбки мельтешат везде.
И, конечно же, не ведают,
Что живут они в воде.

Там, в стеклянной канцелярии,
Угорьки как угольки,
Ладит красный шар скалярия,
Бойко топают мальки.

Воздух влажен, словно в Питере,
Свет от несвободы ал.
И русалка в тёплом свитере
Грустно смотрит сериал.

У соседей выше ярусом
От оладий в кухне чад,
А сомиха с мшистым кактусом
Тоже смотрит—на внучат.

Кости ноют, ноют, лапушка,
Словно поднимала лом.
Не расстраивайся, бабушка!
Скоро ты покинешь дом!

● ● ●

Снежноягодник, чем ты хорош,
Если снега накликать не в силах?
Для чего ты на свете живёшь
Посреди посторонних, немилых?

То костром мельтешишь на пути,
То зачем-то в стекло барабанишь.
Может, лучше с ума мне сойти?
Сумасшедшего как ты обманешь?

Снежноягодник, белый флажок,
Мои скулы от горечи сводит.
Погоди, вот уж ляжет снежок—
И наладится дело в природе.

Всё ты врёшь. Не схожу я с ума.
Не флажок—белый флаг на фасаде.
Наступай поскорее, зима!
Много ль толку в бессрочной осаде?

Оттепель

Белой мошью, чёрной пташью
Бьётся оттепель в холмы.
Ручейкам, понятно, страшно
Просыпаться средь зимы.

И всем прочим страшно вроде.
В кровь рассечены все дни.
Нет согласия в природе,
Лишь согласные одни.

Но зато на взморье диком,
Средь тепла могильных плит,
Сладко спишь ты, Эвридика,
Среди Хлой и Маргарит.

Спишь столетья носом в стенку,
В зелень, в оттепель, в жнивьё.
Рассади скорей коленку,
Чтоб подуть мне на неё.

Приснился мне голодный год,
Татарский нож, степной поход.
Скакали мы тринадцать дней
И пили кровь своих коней.
Был ранен, умер хан Ахмат—
Его несли мы на закат.
И по пути к долине рек
Убили триста человек.
«Служите хану в том краю!»
Себя за то я не корю.
Смешно корить себя за сон
Тому, кто по уши влюблён.
Проснувшись, я беру планшет,
Чужую смерть свожу на нет:
Рисую кровь, степной ночлег,
Кровь и себя—в долине рек.

Н. Горловой

Дай-ка я с фонарём потолкую.
Объясню ему вещь я простую.
Посреди темноты слишком многим
Хорошо освещают дороги.
Лучше знать посреди темноты,
Что на свете единственный ты.
Что, дружище, стоишь ты, как шкаф?
Надевай-ка пальто, яркий шарф!
На планете от якоря щель,
Не настроена виолончель.
Я экспресс поведу по Остоженке,
Я куплю нам с тобой по мороженке.
Если будет мне больно гореть,
Приходи на меня посмотреть!

Д*и*Н симметрия

Сергей Обрадович

Завод

1.

Зловещим скованный покоем,
Покинутый в тревожный год,
Грозя потухшею трубою,
Сталелитейный стих завод.

В тумане дней осенних брошен,
Застыл, подслушивая, как
Ноябрь, промокший и продрогший,
Бродяжничал на площадях;

Как настороженной походкой
Подкрадывался враг во мгле…
Манометр цепенел над топкой
На холодеющем нуле.

Лишь тишь машин, заводской глушью
Прохаживаясь не спеша,
Будили стуком колотушек
Полуночные сторожа.

Зимою вьюга, снежным комом
В забитые ходы стуча,
Рвала приказы военкома
С морщинистого кирпича.

Стоял суровый, многодумный,
Судьбе покорный, нем и глух…
Всё чаще над станком бесшумным
Стальные сети вил паук…

2.

И вот однажды, в день весенний,
Запоры сбросила рука,
И вновь в стремительном движенье
Могучий вал маховика.

Войною, голодом и мором
Был обессилен, мёртв завод,—
По всем цехам гудят моторы,
Дым из трубы под небосвод.

Завыла вьюга в пылкой пасти;
На полный ход прокатный стан;
Над ним ликует старый мастер—
Красногвардеец–партизан.

Железные дрожат стропила,
Был с каждым взмахом крепче взмах:
Неугасимой властной силы
Пылал огонь у нас в сердцах.

Смерть презирая, в стужу, в голод
Мы отстояли край родной
В боях под знаменем, где молот
И серп—наш символ трудовой.

Раскованный рукою жаркой,
Завод, сжигая немощь лет,
Встал, торжествующий и яркий,
Весенним солнцем на земле…

1920

Тамара Сальникова

Крещена полынью и крапивой…

● ● ●

И стою перед небом, куда бы под ним ни пошёл
И какую бы му́ку себе ни сыскали бы руки.
Там, в саду, предо мной заплетает гудение пчёл
В шёпот ласковых трав и в свечение глаз близоруких
Тот, кто эти глаза всяким утром целует в рассвет,
А незрячим птенцам отсыпает не сытного хлеба,
А несытного слова, в котором ни времени нет,
Ни смертей, окромя той одной, что просторна, как небо.

● ● ●

Весной из окна можно выйти в сиреневый цвет,
Уткнуться в него, но не плотью, излюбленной тленом,
А тем невесомым, которому имени нет,
Что губы целует, но сходит с них неизреченным.
И тем—обнажённым, не знающим кожи и слёз,
Взыскующим света, как страждущий хлеба над хлебом,—
Почти не дышать над цветеньем сиреневых кос,
Из них выплетая хлопчатое белое небо.

● ● ●

Мне черёмуха цветом сегодня так громко бела,
Что с бесценной монеткой рука замирает над кружкой,
И я миг отпускаю, как будто бы час подала
Ничего не просящей, не милостивой побирушке.
Да и что ей просить? Всё, что смертно,—её в перечёт,
И мой миг для неё—суета в суете, безделушка.
Как же звонко черёмуха нынче меж нами цветёт!
Как же быстро сегодня монетками полнится кружка.

● ● ●

В придорожном кафе на салфетке
Карандашный набросок зимы:
Снег оттенка берёзовой ветки,
Гомонья воробьёв-горемык.
Не идёт, не летит, не ложится
Заключённый в графитовом сне,
С ним уже ничего не случится
Ни сейчас, ни потом по весне.
Как же страшно, как, Господи, страшно—
Белый листик на весь окоём
И, как в зеркале, в снеге бумажном
Отражение видеть своё.

● ● ●

В горло поцелована бедой
Самая любимая из дочек.
Беспрестанно ноги кровоточат
В башмаках, подаренных Тобой.
В голове и жар, и полынья,
Крещена полынью и крапивой.
Где, скажи, такой набраться силы,
Чтоб легка была любовь Твоя?
Кружит колесо привычных дней,
Где в одно ребро впились все спицы,
Пью и не могу никак напиться
Из ладоней милости Твоей.
Обожжённым горлом говорю,
И ответом, что меня Ты слышишь,
Утром солнце алым красит крыши
И приводит новую зарю.

● ● ●

Над водой ходит та же вода,
Небо—та же река наизнанку,
И зимуют в ней звёзды-подранки,
Приручённые голосом льда.
Страшен он, обращённый в себя,
Словно невозвращённое эхо.
И река покрывается снегом,
И стоит заметённой изба
С одиноким, как Бог, человеком.

● ● ●

Ночь, и будто ниже ростом
Небо, гулко пахнет тьмой.
Ходит ангел по погосту,
По надгробиям рукой
Водит. Старый ворон эхом
Оглашает за версту:
«Человек! Идёт по снегу!
Человек идёт по снегу!»
Человек идёт по снегу
И уходит в высоту.

• • •

Коротких снов непойманное имя
Больной окликнет, и его мольба
Тотчас достигнет той, что с ним незримо
Уже лежит. Но и её волшба
Не излечима миром, где слепые,
Мы трогаем себя, как вещество,
А умершие, будто бы живые,
Колядовать приходят в Рождество.
И говорят: вот мы. Мы тоже были,
Мы то, что с вами было и прошло,
Мы то, что с вами будет. И бессильно
Не дышат на замёрзшее стекло.

• • •

Там, где была деревня,—суховей
Проходит сквозь заброшенные срубы,
Сочатся краской треснувшие губы
С иконы у распахнутых дверей.
И птицы плачут: «Чьё все это? Чьё?»
Замшелые колокола на башне
Молчат и смотрят в лес над бывшей пашней.
А губы шепчут им в ответ: «Моё».
Но как же страшно шепчут.
Как же страшно.

• • •

Я видел смуглые черты. В бреду.
Клянусь, его я счёл бы адом,
Когда бы верил, что в аду
Так дивно может веять садом
С его вечерней тишиной,
С белёсым яблоневым цветом.
Нет. То был рай. Но предо мной
Горячим порожденьем бреда
Не белым ладилось крыло,
А кто-то смуглый, мне мерещась,
Стоял. И ветер тяжело
Вздыхал, взирая, как трепещет
Листок, им сорванный, за миг
Лишившийся привычной тверди
Упругой ветви. Прятал крик
Я в своём горле. Старше смерти
Был гость мой. Или я ему
Был гость в его тысячелетьях.
И воспалённому уму,
Зажатому земною клетью,
То грезил рай, то мнился ад,
То снился лист, лишённый ветви
И сада, где горит закат,
Где сладко спят слепые дети.
И у детей Его черты.

О ветер, те сады пусты.

• • •

Иной косе на две не расплетаться.
Льняное небо, ссученное в нить,
Веретено да прялка—всё богатство,
И что той жизни—только прясть и шить
Из луговой пылающей кудели,
Иссохшей от невыплаканных слёз,
Из перьев птиц, которые не пели
Обещанного. А оно сбылось,
И дом стоит по четвергу обмытый,
Белеют в окнах голоса свечи
На убывание, и рушники пошиты
Для тех, кто в дом приходит и молчит—
И жадно смотрит в сердце нараспашку,
Где скачет, вертится веретено—
Бессмертно, чтоб хватило на рубашку,
В которой к смерти выйти не грешно.

• • •

С годами обмельчала тишина.
И ты, всё глубже погружаясь в слово,
Осознаёшь, что речь всего одна
И у неё нет образа иного,
Чем Бог.
Так у воды нет дна—
Есть дно реки, есть у слезы щека,
И в них вода бессмертна и бездонна.
Ты думал, что на разных языках
С ней говоришь, но вот язык исконно
Один.
Так света луч впотьмах—
Есть темь колодца, есть ночная тьма,
И это свет, и не отречь от света
Глагола, коим тьма изречена.
Ты слышать стал, как говорит об этом
Она сама.
С годами истончилась тишина.

• • •

По жжёному хлебу земли,
По каждой мочёной корке
Мы зиму сжигать вели
На мартовские задворки
И с радостью неуёмной
Прощались с постылой стужей,
Как будто была никчёмной,
Как будто была ненужной.
Снег таял на скатах крыши,
На вётлах грачи кричали.
На зиму смерть стала ближе,
Но это весне прощали.

• • •

Мы с ней сидели в парке у пруда,
Глядя, как осень тает листопадом.
Кружился лист и на колени падал,
Вдали отца мелькала борода
За старенькой кладбищенской оградой.
Молчали, на двоих делили хлеб—
Мы с ней всегда всё пополам делили.
На кладбище сегодня хоронили,
Покойник шёл со всеми наравне
К своей недавно вырытой могиле
И увязал, как все, в сырой земле,
Понять, что уже мёртв, ещё не в силе.

• • •

Не досталось руке топора,
Вот и просишься на постой
К тем, кто встретится. До утра
Под разверзнутой пустотой
Слушать ветер с того холма,
Где по имени помнят всех.
А в небесном ковше зима
Да луны истончённый серп.
Но повинную им не ссечь,
Даже если есть в том нужда.
И куда-то душе прилечь,
Окромя разве в никуда.

*Ди*Н симметрия

Евгений Замятин

Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма

Отрывок из романа «Мы» (1920)

Я просто списываю—слово в слово—то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьётся в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит ещё более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах,—быть может, ещё в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несём им математически-безошибочное счастье,—наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия—мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесёт ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это—и чувствую: у меня горят щёки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить её по касательной—асимптоте—по прямой. Потому что линия Единого Государства—это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая—мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель ИНТЕГРАЛА,—я только один из математиков Единого Государства. Моё, привычное к цифрам, перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю—точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет—верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щёки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового—ещё крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно—не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом—с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства. Но я готов, так же, как и каждый,—или почти каждый из нас. Я готов.

Гурам Сванидзе

Zoo

Никора

Как-то я присутствовал на одном заседании в правительстве. Шла дискуссия. Столкнулись интересы австрийской и местной фирм, изготовлявших мясные изделия. Австрияк был облачён в национальный костюм, с виду простой крестьянин. Грузинскую компанию возглавляли строгого вида мужчины в дорогих костюмах, при галстуках. Они рекламировали свою продукцию и вели патриотические разговоры. Конкурент, являвшийся европейским брэндом, кроме качества, гарантировал ещё низкие цены.

Я долго взвешивал все за и против. В результате запутался. Тут на меня нашло. Вспомнил одно обстоятельство. Его нельзя было принимать всерьёз. Но оно было. Грузинская фирма называлась — «Никора». Так вот я «запал» на этом наименовании. Во время кафе-брейка рассказал коллеге историю. Он слегка повёл плечами и сказал:

— Интересная история, но аргументом быть не может.

В провинциальном городке, где я рос, можно было видеть древний-предревний вид гужевого транспорта — уреми, запряжённую двумя волами арбу. Осенью караваны уреми, гружённые виноградом, тянулись к воротам винного заводика. Тогда тишину главной улицы нарушали только поскрипывание повозок и редкие голоса переговаривающих между собой крестьян. Волы не издавали ни звука. Они тупо жевали свою нескончаемую жвачку, пуская при этом слюну, — угрюмые могучие трудяги.

Однажды меня посадили на уреми, крестьянин угостил меня сладким виноградом. На меня нагнал дрёму медленный ход, то, как мерным маятником из стороны в сторону качались зады волов. Иногда они лениво отмахивались хвостами от насекомых, роившихся над их грязными крупами. Животные по ходу испражнялись. Я не доел виноград, расхотел кататься.

Как-то ребятня стояла на улице и наблюдала караван. Наш товарищ по двору Васо рассказал о мухе, которая водилась в хлеву. Только она могла расшевелить этих крупнорогатых. Она жалила их, а те сипло мычали, поводили рогами, яростно хлестали свои крупы хвостами. Вдруг рассказчик показал пальцем на одного из слушавших его мальчиков и шёпотом произнёс:

— Да вот она у тебя на шее сидит!

Несчастный впал в панику, начал бегать, ошалело размахивать руками, пытаясь отогнать воображаемую муху.

В этот момент мимо проезжала арба, на которой восседал дядя другого парнишки из нашей компании, Бего. Пока повозка проезжала мимо, родственники успели поговорить на разные темы. После того как арба отдалилась, Бего кивнул на впряжённого в неё чёрного вола и заметил:

— Каким бугаём был! А теперь…

Здесь он попытался изобразить, как медленно, вразвалку передвигается вол. Не забыл при этоим руки к вискам приложить — показал рога.

Бего продолжил:

— В деревне у дяди я видел, как четыре мужика еле удерживали этого чёрного, когда тот норовил корову накрыть, которая почему-то ему не причиталась. Пятый мужчина в это время привязывал бычину к стойке дома. Самец рвал и метал, бил копытом в землю. Елда у него была огромная. Потом он так рванул, что сломал стойку, из-за чего обвалился угол дома. Дом-то каменный был, крепкий. Вот шуму было! Мужики не знали, то ли быка снимать с коровы, то ли к обрушившемуся углу бежать. Потом этому хулигану «того-того» сделали, выхолостили, — заключил Бего, делая красноречивый жест. Затем поспешно добавил: — Да, быка Никорой зовут!

В конце концов на заседании был найден компромисс… Сегодня, как обычно, в магазинах фирмы «Никора» я покупаю любимую бастурму (вяленую говяжью вырезку), а приглянувшуюся австрийскую колбасу с чесноком — в обычных гастрономах.

«Ачу, Кукури!»

На юношеском шахматном турнире во Львове я сделал подсказку младшему товарищу по команде. Ход конём был выигрышным. Я произнёс:

— Ачу! — и был понят.

Таким образом грузинский извозчик погоняет… конечно, коня. Молодой шахматист пошёл

соответствующей фигурой, но не в ту сторону. Тут у меня вырвалось:
— Тпру-у!

Что это значило, кажется, знали все. Участники турнира обернулись на меня. Я покраснел как рак.

Я и мой брат представляли поколение, которое ещё застало в городке лошадей. Их использовали как такси и гужевой транспорт. Мы носились по широкому двору с верёвкой-вожжами через плечи. Возница лихо помахивал хлыстом (матрахом) и покрикивал или «Ачу-ачу!», или «Тпру-у!», а рысак моментами издавал ржание — я и брат подражали кучерам-таксистам. Их кони отличались резвостью. Если ты слышал быстрый энергичный цокот копыт об асфальт главной улицы — гадать не проходилось: это местное такси. Владельцы экипажей украшали их кистями и чудовищно безвкусными рисунками.

Гужевые лошади были весьма унылыми, неприбранными. Как казалось, беспородными. Они тягали одноосные телеги. Двуосная была только у отца парня по прозвищу Папаци (не переводится и не поддаётся объяснению). Говорят, что его батюшка пригнал телегу с Кубани через Абхазию, Менгрелию в Имеретию и привёз на ней оттуда жену, уже беременную на Папаци. В городке керосин развозил понурый коняга, таскал за собой повозку с бочкой, окрашенной в красный цвет. Был мерин, который возил мусор. Его хозяин, контуженый фронтовик, влип в историю.

Произошло это во время первомайского парада. Я и мой брат стояли рядом с трибуной. Парад шёл своим чередом, труженики района с флагами и транспарантами дефилировали по главной улице. После того как местный босс, стоящий на трибуне, через громкоговоритель бросал в массы очередный лозунг, народ отвечал ему: «Ура-а!» — или на грузинский манер: «Ваша-а!» Получался разнобой. Я заметил, что начальство было недовольно: мол, недоработали, народ кричит и шагает нестройно. Мало того, к одной из колонн демонстрантов пристроился мусоровоз. Возница помянутого мерина в тот момент, кажется, не понимал, куда попал. На него налетели менты, злые и озабоченные: неужели политическая провокация?! Но обошлось без последствий, мусорщика в тот же день отпустили. Не стали наказывать бедолагу-фронтовика.

В городке не разнообразили с кличками для лошадей. Из пяти трёх звали Кукури. Характерно, что здесь созвучное имя носило немало людей обоих полов. Нашу соседку звали Кукури. Это была крупная полная женщина. Мне запомнилось, как она поскользнулась на паркете в нашей квартире. Даже ударилась головой. Наша семья одна из первых в городке стала натирать пол мастикой. Я и мой брат так надраили его, что он стал блестящим и скользким. Нашего родственника звали Кукури. Его сына во дворе звали по отчеству, для пущего эффекта слегка коверкая. «Кук-к-курыч!» — так оно звучало.

Со временем всё реже мальчикам и девочкам давали это имя. Меньше стало в городке лошадей. Совпадение?! В свои права входили автомобили. К примеру, одно обстоятельство. У мамы был чуткий сон. Она жаловалась на соседа Пармена, который спозаранку будил её. Этот тип скрежетал своим совком, соскребая с асфальта лошадиные фекалии. Он смешивал их с птичьим помётом и удобрял грядки огорода, где разводил овощи, которые продавал на базаре. Со временем Пармен меньше скрежетал совком по утрам, перестал будить маму. Свой огород он удобрял уже только птичьим помётом…

Жеребец Кукури являлся одним из последних представителей лошадиного племени в городке. Его круп был серой масти, ноги, грива и хвост — чёрной. Чаще встречались лошади пегой, тёмнопегой, переходящей в коричневую, масти. Ещё жеребёнком со стройными и тонкими ногами он сопровождал свою мать — тянувшую телегу грузную кобылицу. Пострел блуждал, то забегая вперёд, то отставая, иногда ходил кругами вокруг неё. Делал это хаотично. Осмысленными казались его передвижения, когда малец, вроде опомнившись, пристраивался к кобыле.

Как-то мы, мальчики, возвращались со стадиона после футбольного матча, где накричались вдоволь, поэтому голоса были сиплыми. Шли вместе с мужчинами-болельщиками.
— Глядите, конь! — воскликнул один из нас.

Жеребчик пасся у железнодорожной насыпи, где бурно росла трава. Он спокойно щипал её, помахивая чёрным хвостом. Я подошёл к нему. Рядом стоял бравый усатый молодой человек. От него узнал, что коня зовут Кукури. Парень снисходительно позволил мне погладить коня. Так вроде познакомились. Тут меня окликнули. Оказалось, что я задерживался и сильно отстал от товарищей.

Несколько позже я увидел, как по главной улице во весь опор нёсся Кукури, погоняемый ражим усатым хозяином. В бричке находилась развесёлая компания. Прохожие оглядывались на это зрелище, некоторые останавливались, чтоб получше рассмотреть. Кто-то отметил прыть коня. Я сказал, что знаю его кличку. Впрочем, она прозвучала совершенно обыденно.

Я рос впечатлительным ребёнком. Меня иногда беспокоили страхи, о которых я помалкивал. К случаю, мною овладевало жуткое чувство, когда

я проходил мимо одного мрачного строения, прилегающий двор которого был огорожен высоким забором. Местная бойня. Другие мальчики из любопытства взбирались на забор и потом рассказывали всякие ужастики о том, что видели на той стороне. Я внутренне холодел, но чувства свои скрывал. Как-то наше семейство возвращалось с какого-то праздничного мероприятия в парке городка. У меня и брата в руках были надутые разноцветные шарики. Папа решил нас угостить прогулкой на конном экипаже. На остановке такси стоял один из них. В него был запряжён Кукури. Кучер узнал меня и подмигнул. Он не стал торговаться с моим отцом. После его «Ачу!» и удара матрахом Кукури рванул с места в карьер. Мы держали шарики над головой, вот-вот они вырвутся из рук от скорости, какую набрала наша бричка. В какой-то момент мы проезжали мимо бойни. Я отвёл глаза и вдруг почувствовал, как сам по себе прибавил бег Кукури.

— Что это он?—спросил отец.

— Он всегда так поступает в этом месте,—ответил кучер.

Кукури сбавил ход, когда бойня осталась позади. «Неужели у коня тот же тик?»—подумал я.

На следующий день я припас яблоко для Кукури. Тот фыркнул и энергичным движением верхней губы сгрёб яблоко с моей руки. Днём позже я сделал то же самое, на этот раз при стечении публики—мальчиков со двора. Дескать, смотрите, вожу дружбу с конём. Ещё на следующий день я застал двоих-троих пацанов, кормящих Кукури яблоками.

Держал ли меня за старого знакомого конь? Я бы не сказал, чтобы он как-то реагировал на меня. Никаких тебе признаков узнавания. Его глаза мне было не рассмотреть, мешали торчащие по бокам шоры. Приветливость выказывал только кучер. Я иногда заговаривал с конём. Задавал вопросы типа: «Как дела? Как настроение?» Они были, конечно, риторическими. На них иногда отвечал хозяин.

Но вот случилась авария—сломалась бричка. Кукури остался не у дел. Наша школа находилась у подножья бугра. Его пологий склон, исполосованный жёлтого цвета тропинками, был покрыт зелёной травой. Так вот, Кукури, отпущенный на свободу, пасся в этих местах. Его постоянно можно было видеть из окон школы, обращённых в сторону бугра. В перемену ученики бегали к Кукури, кормили его фруктами. Во время уроков детишки засматривались на него, отвлекались от занятий. Но потом к виду мирно пасущейся лошади привыкли.

Однажды конь всё-таки опять привлёк к себе внимание… Прошёл дождь, и Кукури поскользнулся на склоне. Бедняга затруднялся встать. Чем больше усилий он прилагал, тем больше скатывался вниз. Общий смех детворы прервал учебный процесс. Он длился столько, сколько мучилось животное. В этот момент в нашем классе шёл урок истории. Молоденькая учительница в очках никак не могла унять оболтусов. Только она и я не разделяли это веселье. Мне было жаль некогда лихого рысака.

В перемену ученики снова побежали к Кукури. Весь его бок был вывалян в грязи. Мы стояли на некотором удалении. Я выдвинулся вперёд и протянул руку. Потом не знаю, что произошло: я повернулся и бросился бежать. На меня в это время вдогонку надвигался угрожающий топот. Ребятня в страхе разбежалась.

Об этом инциденте узнали в дирекции школы. Конь пропал. Его хозяину запретили пасти его агрессивное животное вблизи школы.

Потом я узнал, что Кукури стали водить на прокорм на территорию винного завода. Держали на привязи. Вероятно, запахи вина плохо подействовали на коня. Он запутался в верёвке и упал. Сработал инстинкт самоубийства—жеребец бился виском о камень. Его нашли мёртвым в луже крови.

Бричка Кукури ещё долго стояла без колёс у забора хозяина и после того, как на улицах городка уже было не встретить лошадь.

Пунктик

Гурико был полным ребёнком. Прозвища преследовали его постоянно. С возрастом они становились менее обидными, обзывали его меньше. Как-то к нам в убан заглянули и спросили Гурами (Гурико—ласкательно-уменьшительное). Спрашивавшего спросили, какой из них надобен—«толстый» или «тот, что в очках» (это я). Гурико всё это слышал и улыбнулся про себя. На этот раз обошлось без прозвища. Со временем к нему, мяснику из гастронома, обращались не иначе как к Гураму Аполлоновичу. Пользоваться его расположением имело смыл. Он поднаторел в своей профессии и мог удружить, нарубив тебе отменные куски мяса. В противном случае мясник умел незаметно всучить одни кости, что обнаруживалось покупателем уже дома. Гурико чувствовал себя хозяином в мясницкой. Его небритая физиономия лоснилась и всегда была значительной. Он ходил в замызганном халате, а за поясом носил огромный нож в инкрустированных ножнах. Мой приятель был чем-то похож на Шрека в грузинском варианте—с порослью чёрных волос на руках, чёрными усами, сросшимися бровями, низким, исполосованным глубокими морщинами лбом.

Иногда он бывал по-своему мягким, склонным к сантиментам. Однажды я наблюдал сцену на

стадионе. Мы коллективно ходили на футбол. Гурам, обычно неразговорчивый, начинал проявлять активность. Переживал за нашу команду, громко материл судью. Как-то рядом с нами сидели русские—отец и сын. Вроде приезжие. Они болели за местную команду. Мясник был в благодушном настроении. Наши выигрывали. После очередного гола в ворота гостей он сгрёб незнакомца и впился в него поцелуем. Когда же отпустил несчастного, губы у того были синие, а глаза вытаращенные. Заметно было, как он восстанавливает сбившееся дыхание.

Другой раз мы выехали на природу, на пикник. Выйдя из машины и окунувшись в пастораль, мясник неожиданно сделал движение, отдалённо напоминавшее порхание мотылька.

— Вот и бабочка прилетела!—сострил кто-то.

О том, что Гурико вполне ранимый мужик, свидетельствует один факт. Как-то в компании мы фантазировали на тему, кому какой хвост подойдёт. Одна особа по имени Ирина (также известная в народе как Перчик) заметила Гурико, что хвост бегемота—это для него. Можно предположить, что назови его бегемотом—она не так сильно обидела бы парня. Никто не знал, какой хвост у гиппо. Эта обстоятельство делало сравнение ещё более обидным. Игра закончилось перепалкой между Ирочкой и Гурико.

Я уехал в Тбилиси, поступил в вуз, а Гурико остался в городке. Работал в той же мясницкой. В один из наездов я заглянул к нему. Поговорили о том о сём. Я случайно вспомнил, как писал для газеты материал об аттракционе одного известного дрессировщика, который работал с бегемотом. Я чуть ли не всю свою заметку пересказал слово в слово. А под конец услышал вопрос:

— А какой у бегемота хвост?

Я не смог ответить, так как на хвост гиппоса внимания не обратил, его в своей заметке не описывал. Я подумал про себя: «Точно на бегемотах запал!» Тут мой приятель окликнул сотрудника, дородного малого, назвал его Гиппо. Произнёс как прозвище, с иронией.

Потом мы долго не виделись. Как-то узнал от Ирочки-Перчика, моей коллеги, что он тоже перебрался в Тбилиси, открыл свою хинкальную.

Встреча всё-таки состоялась, и при весьма неординарных обстоятельствах.

Ночью мне позвонили, сообщили, что в городе произошёл природный катаклизм, что мне пришлют редакционную машину. Была недолгая, но сильная гроза. Вероятно, из-за неё проблемы.

Наводнение заполнило площадь. Некоторое время вода кружилась омутами в разных местах. Из неё вздымались горб эстакады и высоченная скульптурная композиция, напоминающая фаллос, был затоплен первый этаж небоскрёба. Сквозь наносы грязи из лопнувшей трубы извергался двадцатиметровый столб мутной воды. Скоро стихия утихомирилась, шумел только этот столб.

Сель накрыл зоопарк. На поверхности барахталась разная дичь. На площади появились люди в полувоенной форме, вооружённые винтовками. Они отстреливали оставшихся в живых зверей. Вот от наносов отделилась фигура гиены. Она сильно качалась, обессиленная. Её тут же застрелили. У кондиционера с внешней стороны полузатопленного здания на территории парка метался медведь. С косолапым поступили так же, как гиеной, несмотря на протесты собравшейся толпы.

— Инструкция на этот счёт имеется,—заявлял начальник людей с винтовками.

Мы развернулись и поехали в сторону набережной. И что я вижу... Самый обыкновенный бегемот разгуливал по дороге. Его принесли сюда потоки грязи? Он хранил полное равнодушие к движению транспорта, испражнялся, при этом пропеллером крутил своим хвостом, рассеивая фекалии, да так энергично, что часть из них угодила в крону дерева. Тут я и увидел Гурико. Он протирал свою машину тряпкой.

— Этот свин мою машину своим говном забрызгал!—возмутился Гурико.

Как я узнал из разговора с ним, он ехал по набережной на работу, а тут такая незадача.

Эти кадры обошли весь мир. По Би-би-си его показали без комментариев. Бегемота весёлой толпою толкают молодые люди. Обращают на себя внимание свисающие кисточки. Но это не карнавальное украшение. В бесприютно гуляющее животное стреляли шприцами с транквилизаторами. Бегемот вроде как пьяненький, улыбается и мурлычет фривольный мотив. Среди толкающих гиппо выделялся крупный мужчина, похожий на Шрека. Это был Гурико.

При расставании мой приятель пригласил меня в свою хинкальную.

Я позвонил Ирочке-Перчику. Она вела репортаж с другого места, где от наводнения сильно пострадало население. Ира сказала, что улица, где она проводит съёмку, названа в честь человека с моей фамилией. Затем назвала имя. Среди моих родственников такого не нашлось. Я сказал ей о Гурико и бегемоте и о том, как животное обошлось с его авто. На том конце связи посмеялись, а потом послышалась фраза:

— Теперь он точно знает, какой хвост у гиппопотама.

Катя

На одной литературной тусовке я познакомился с Наташей, женщиной разбитной, без комплексов.

Можно сказать, богемной. Она громко, напористо читала свои готические стихи, кишевшими «стозевными, стоглавыми» кентаврическими образами. Некоторым особенно ранимым зрителям становилось плохо. Одна общая знакомая заметила мне, что ей страшно глядеть в глаза Наташи. Большие и чёрные. Во время декламирования зрачки застывали. Как у ведьмы! Девица боялась этого взора, стушёвывалась, делала вид, будто что-то ищет в сумке. В первые моменты знакомства я попытался поиграть с поэтессой в гляделки. Беспардонно уставился на неё. Она мне в ответ улыбнулась и мягко заметила, что у меня глаза честные.

Позже я встречался с ней в парке недалеко от моей работы. Она выгуливала собаку. Пёс был егозой, Наташа много волновалась, непрестанно окликала его:

— Лилит! Лилит!!

Стояли жаркие летние дни. Она, высокая, худощавая (кудряшки на голове), женщина не первой молодости, выглядела несколько странной в лёгких молодёжных одеждах. Моя собеседница говорила во весь голос и на разные темы. От неё слегка пахло алкоголем. Я охотно разделял её разговоры. Как-то к нам подстроился мальчик лет тринадцати-четырнадцати. Он нерешительно мялся в сторонке, а потом попросил сфотографировать собаку. Его занимало наше экстравагантное общество. Она это сразу уловила.

— Какой необычный мальчик! — сказала она.

Мы говорили о её дочке. Иногда мать называла её «хорошей типшей». Девушка работала в зоопарке, в отделе хищников. Я проявил живой интерес к Кате (так её звали). Работать с хищниками — круто. В ответ на мой вопрос, как с ней можно познакомиться, меня окинул взор чёрных глаз и последовало:

— Вы хотите породниться с нами?

Наташа говорила на полном серьёзе. Я промолчал и отвёл глаза.

Через некоторое время я наведался в зоопарк. Специально готовился. Лет десять там не бывал. Отдел хищников обветфшал. Было жарко, животные находились во внутренних помещениях. Я зашёл во внутренний зал. Меня напором обдал запах животных. Но скоро свыкся. По главному проходу прохаживалась особа в белом халате. Указательным и безымянным пальцами правой руки она держала карандаш. Как сигарету. С её лица не сходила брезгливая мина. Видимо, она так и не привыкла к тамошним запахам и животных не полюбила. И боялась. Она стояла у клетки с двумя маленькими тигрятами из Индии. Новое приобретение зоопарка. Одного из них она исподтишка ткнула карандашом в лапу и быстро отпрянула от клетки. Рядом двое рабочих возились со львом. Один из них ласково теребил льву гриву, другой же почёсывал за ухом. Хищники благоволили им — двум карликам с набором разных генетических изъянов. Обычно сонные обитатели вольера оживлялись, увидев этих двоих, толкающих перед собой тачку с кормом. В тот же день наведался молодой мужчина в очках. Курд по происхождению. Он подарил львёнка зоопарку. Вернее, его заставили это сделать. Хищник жил в его доме и однажды во время прогулки проявил весёлость, от которой разбежались находящиеся поблизости люди, сколько ни кричал хозяин: «Это он так играет!» Стоя у клетки, парень ласкал своего питомца, а я думал, где и как в Тбилиси можно купить льва.

Я удивился, увидев старого уссурийского тигра. Он пребывал в той же позе, в какой я его видел в последний раз десять лет назад, — сидел в дальнем углу клетки, неподвижный. Я ещё раз порыскал вокруг глазами. Кати нигде не было видно.

Я гадал, какой она могла быть. В джинсах, с короткой стрижкой, с шапкой-бейсболкой на голове. Она курит, с характером, стихов не пишет, слегка матерится, одёргивает свою поэтичную матушку…

Днями позже я сидел в парке Пушкина. Литературное общество организовало чтение стихов у бюста поэта. Ученики русской школы читали надрывно. Одна девочка даже закашлялась, а мальчик осип. Им было трудно перекричать шум находящегося поблизости фонтана. Участников мероприятия отвлекало ещё то, что рядом какой-то малец, вооружённый детским пистолетом, стоял на карауле у могилы. Она принадлежала Камо, главному рэкетиру революции, братану Ленина. Знал ли мальчик, чью могилу охранял? Многие тбилисцы её не замечали. Женщина, проходившая мимо, приостановилась у аккуратного гранитного прямоугольника. Она медленно читала. В свои права вступил маленький милиционер. Он картинно передразнил даму, дал понять, чтоб та не задерживалась. Озадаченная женщина не стала прекословить необычному стражу порядка. Но послышалось:

— Шако, опять людям проходу не даёшь! Вот отниму у тебя пистолет. Хорошо, что свисток догадался у тебя отнять!

Это говорил толстый полицейский, сидящий вразвалку на скамейке. Шако перестал бдеть у могилы. Его взгляд упал на группу людей у бюста Пушкина. На этот раз он решил, что люди пытаются нарушить покой поэта, и направился в ту сторону…

Добровольного стража порядка уняли сразу. Вовремя поспел толстый милиционер. Знаками и подмигиванием он дал понять любителям классики, что ребёнок не в себе, и повлёк того в неизвестном направлении.

Я переместился к фонтану. Это была громоздкая конструкция из металла с человекоподобными

фигурами. Казалось, что вода под давлением пробивалась наружу из самых неожиданных мест. В одном фрагменте «возлюбленный» протягивает деве букет из металлических роз, и одновременно из его рта в её сторону била струя. Но мало кто замечал такие подробности. В самый зной люди отдыхали в прохладе фонтана.

Неожиданно в фонтан спустилась девушка. Она долго не решалась и вдруг, грациозно преодолев парапет, оказалась в журчащей воде. Нимфа славянской внешности, короткая стрижка обозначала прелестную форму черепа. Она чуточку приподнимала полу своего похожего на тунику платьица, невзначай обнажая стройные ноги. Взгляд был задумчив, и не исключено, что она ещё не осознавала, что делала. Мужчины смотрели на неё с жадностью, но без похоти. С громкими всплесками и весёлыми криками одна за другой в воды фонтана прыгали весёлые нимфетки... Неожиданно, как бы возвращаясь к действительности, дева встревожилась, шея вытянулась.
— Лилит, Лилит!! — позвала девушка, ища напряжёнными глазами кого-то.

Неужели Катенька?!

Я не стал форсировать событий. В резерве у меня был визит в зоопарк.

Утром я проснулся с приятным предвкушением. Вышел к своим к завтраку. За столом бурно обсуждались события ночи. Сель затопил зоопарк. Я побледнел. По тв говорили о погибших. Утонули двое рабочих и сотрудница зоопарка, дежурившие в ту ночь. «Какая из них?!» — чуть ли ни возопил я.

Марс

Я всегда помнил забор моего двора обшарпанным. Его ставил ещё дед. Привычка видеть ограду такой укрепила во мне мысль, что ставить новую — большая проблема и что надо решиться, чтобы её обновить. Я женился. Моя супруга оказалась более решительной. Она тут же распорядилась построить новый забор. Я солидаризировался с ней и рассказал ей насчёт своих наваждений по поводу забора. Она мне ответила:
— Не морочь голову психоделией. На самом деле ты — просто лентяй, — сказала она.

Я нанял двух мегрельских парубков. Они приехали из деревни, первое время косили под беженцев из Абхазии. Жили по соседству, снимали угол. Они хвастались, что в деревне у них хозяйство, сотни кустов фундука. Они сдают орешки государству, которое платит за них больше, чем за виноград. Никакого особого ухода эта культура не требует. Не то что капризная лоза.

Увы, мои ожидания стали подтверждаться. Процесс затянулся. Получилось, что я сам был в этом виноват (вольно или невольно). Один из нанятых (по имени Гия) выпросил у меня деньги и убежал к себе в деревню. Его товарищ (Джвебе) говорил мне с укоризной, что я нарушил важное правило в общении с мастеровыми: ни в коем случае не платить заранее. Таким образом у рабочего пропадает мотивация. Этого слова он не знал, но имел в виду. Потом этот тип сам стал пропадать. Поводы были разные. Главный — он работает в одной из служб городского хозяйства. А тут поспело наводнение, так что ему было не до моего забора.

Вечерами мужчины сидели на завалинке и вели беседы. Джвебе рассказывал о последствиях селя. Фонтан мутной воды ослаб. Его потом заткнули. Грязевая масса вперемежку с буреломом и камнями начала застывать. Из её недр поднимались и медленно лопались пузыри. Буль — и лопнул пузырь. Буль — уже в другом месте. Пока поверхность не покрылась коркой из-за солнца.
— Нам студенты помогают. Сами вызвались. Среди них немало девчушек. Не знаешь, то ли в вонючем шламе возиться, то ли на этих фифочек смотреть.

Здесь Джвебе хихикнул.

Другой наш собеседник вспомнил, что его бабушка в тех местах грибы собирала, что ей дорогу волк перебежал. Кто-то рассказал о том, как речку в трубу загнали, когда площадь строили. Речку обидели! Теперь плоды пожинают!

Власти призывали население быть осторожнее. По истечении нескольких дней не были обнаружены тела нескольких животных. В конце концов не досчитались одного тигра.
— Того гляди где-нибудь близко от парка бродит, — заметил кто-то.

Среди соседей был следователь из полиции. Он рассказал нам историю.
— Подозреваю, что я наслышан об этом тигре. Дело одно вёл. Он уссурийской породы, крупный, довольно старый. Марс его кличка. Всегда спал. Один из посетителей, пьяный мужичонка, решил расшевелить его. Он перелез через заграждение и горящей папиросой подпалил кошке ус. Хулиган вроде сразу отпрянул. Но тигр среагировал мгновенно. Неведомо как сквозь решётки протянул лапу и ударил ею человека, да так, что отбил у него руку. Она тут же упала и скрючилась, почернела. Этого балбеса увезли на скорой, а руку работники зоопарка закопали в тот же день. На другой день явились родственники пострадавшего. Дескать, верните руку. В общем, разборка была.

Джвебе пообещал, что прикинется мёртвым, если наткнётся на зверя. В связи с этим возник спор. Кто говорил, что этак медведя можно провести, кто доказывал, что падаль разве что шакалы и гиены едят.

Случилось нечто…

Тигра вроде как обнаружили, вроде как мёртвым. Грязное тело валялось у бункеров для мусора. Его нашли рабочие. Они толком не сообщили начальству о находке. Когда же хватились, то тела уже не застали. И опять имело место разгильдяйство. Никто не поднял тревогу. На следующий день один из рабочих перелез через ограду парка шелкоткацкой фабрики. Парк находился выше по склону, и паводок его не затронул. Рабочего атаковал тигр. Прибежали люди с винтовками, но было поздно—человека не спасли, а зверя убили.

Джвебе был знаком с несчастным парнем. Он рассказал мне о нём, когда возился с моим забором:
—Этот парень по-настоящему был беженцем. Ни кола ни двора!

Буллинг пубертатов

В шестидесятые годы на Западе происходила сексуальная революция. До нашего университета она дошла только к семидесятым и в весьма изменённом виде. Студенты постоянно говорили о Фрейде. Были и такие, кто знал мудрёные слова: «рассублимирование инстинктов», «разоблачить репрессивную суть культуры», «дать волю либидо».

Однако стали возникать вопросы. Почему гоняли гомиков или нимфоманок? Делалось это с остервенением, как в тридцать седьмом году вычисляли троцкистов. Они вроде как самые последовательные «рассублиматоры инстинктов». Ан нет! За перипетиями было не уследить. Человек мог одновременно быть гонимым одной частью общества и гонителем другой. О фактах заботились мало. Прямо как в достопамятном году.

Тут поспело словечко «буллинг». На первых порах термин почитали «буржуазным», и описывал он «их нравы», чуждые нашим. Я работал в московском нии социологии, где занимался проблемами молодёжи. Меня вызвал секретарь парторганизации и сказал, что принято решение использовать термин применительно к советской реальности. Этот термин я привёз в Тбилиси. Через некоторое время я сделал вывод, что никакой сексуальной революции в нашем уни не было. Имел место тривиальный буллинг пубертатов. Фрейдизм был только горячительной приправой, приводящей к путанице в головах в большинстве своём девственников и девственниц.

Вчера на улице меня остановил джип водопроводной компании. Я долго не мог понять, что происходит. Из кабины высунулась небритая физиономия. Мужчина звал меня: мол, подвезу. В нём я не сразу узнал знакомого по университету Мишу Г. Он учился на физфаке. Тогда, во время учёбы, мой собеседник ростом не отличался, был субтильным. С тех пор он не стал выше, но заматерел, голос изменился, крепкие волосатые руки уверенно крутили баранку авто. По дороге он шутливо рассказывал, как из физика-ядерщика переквалифицировался в водопроводчики. В Грузии ядерщики не особенно востребованы, в отличие от сантехников (так он себя величал). Себя я представил как ювентолога—специалиста по молодёжным проблемам.
—Название благозвучное! А польза какая от вас?!—отреагировал собеседник.

Я заговорил о своих выкладках касательно «революции». Миша оказался весьма понятливым собеседником. Он сразу подхватил тему. Более того, поменял тональность разговора. Вдруг сразу посерьёзнел.
—Ты помнишь Лиду? Симпатичная такая была. Вот—жертва буллинга!—ввернул он, потом быстро добавил:—Других ещё можно посчитать.

Речь шла о психически неуравновешенной девушке. Она реагировала на двусмысленности, густо краснея и принимая всё на свой счёт. Кто-то что-то скажет сексуально-революционное и на неё смотрит. Вроде шутили, а она страдала.

Миша включился в разговор:
—Противными бывают не те, кто травит слабых. В основном это народ с юмором. Если гоняли кого, то потехи ради. Если что, они тут же отнекиваются: мол, шутки шутят, а их не понимают.

Миша притормозил на переходе. Потом с ним связались по служебной рации.
—Сообщили, что гроза ожидается. Пиши пропало—завтра работы на целые сутки будет. Без затопления не обходится, коллекторы в городе менять надо…—здесь он вернулся к теме:—На журналистике одна баба училась. Её Перчиком звали за язык паршивый. Таким особам кажется, что они всё знают, но теоретически. И это при полном отсутствии практики. Шутки тех заводил она принимала за чистую монету и потом распространяла как сплетни. Вот когда твой буллинг начинается.

Здесь Миша закурил сигарету. Манера у него была смешная—сигарету в самом углу губы держал, а глаза при закуривании в другую сторону смотрели.
—У той несчастной срыв произошёл не в нашей альма-матер, а по месту жительства, где она себя в безопасности чувствовала. Но сплетня—вещь вездесущая. Идёт однажды она по родной улице, проходит мимо группы соседей, от неё мальчонка трёх-четырёх лет отделяется, показывает пальцем на девицу и обзывает её. На несмышлёныша взрослые шикать начали. Но ежу понятно, откуда у осла уши растут. Получается, что обложили её. Она бегом домой…

Я хмыкнул про себя—такие его суждения и ещё вольность, с какой он обращался с прибаутками! Слышу, у него голос чуточку сломался…

Мы обменялись телефонными номерами.

— Того гляди мои услуги понадобятся! — заметил он напоследок с хитринкой.

Направляясь к подъезду, я почувствовал духоту. Гроза назревала. Нависла глубокая тишь, пока её не прорезала молния.

Утром домашние узнали, что на площадь и зоопарк спустился сель. Особенно всполошило нас, что где-то на окраине города река, вернее, водогрязевой поток обрушился на улицы. В тех местах наши родственники жили, двоюродные братья. На звонки они не отвечали. Я и мой брат на его машине срочно выехали в тот район.

К счастью, улица, где жили родственники, не очень сильно пострадала. После неистовой грозы на улицах появилась вода. Мощь потока увеличивалась, он всё больше превращался в густую клокочущую массу. Люди сильно были напуганы и провели ночь на крышах своих частных домов. Они не видели озверевший поток, который с грохотом нёсся в темноте. Они не слышали даже собственных голосов. Под утро шум стал убывать. Отошла вода, оставив на улицах нанесённый мусор — камни, бурелом… Мы принялись за уборку. Во дворе накопилось много грязи. Она проникла в подвальные помещения и на первый этаж. Трудились, пока не стало припекать солнце. Уставшие, мы притихли, кто соснул, кто просто расположился на лежанках. Тут в наступившем покое послышалось пение. Оно доносилось из-за гнилого забора. Из соседнего двора. Пела женщина, её голос был нежным, по интонации звучания это была колыбельная. Я подошёл к забору, встал на цыпочки. Она восседала на полуразрушенном крыльце. Спутанные грязные волосы, местами с сединой. Грязное платье. Из-за всего этого она выглядела старше своих лет. Лицо её было умиротворённым, женщина баюкала кошку. Меня она не заметила.

— Кто это? — спросил я двоюродного брата.

— Лида, — ответил он мне вполголоса. — Она сумасшедшая. На улице не бывает. От людей прячется. Говорят, что в университете училась, от учёбы головой повредилась.

На обратной дороге я заметил редакционную машину. Около неё стояла Ирочка-Перчик, в одной руке микрофон, в другой помада. Она подводила губы и одновременно давала указания оператору. Проехав метров сто, я увидел Мишу, в иностранной спецовке, обляпанной грязью. Вместе с рабочими он энергично орудовал у коллектора, откуда бил фонтан грязной воды.

«В одном пространстве и времени нас собрал катаклизм — теоретика буллинга, свидетеля, хищника и его жертву», — невзначай подумал я.

Мэрия срочно приняла меры по устранению последствий. Была задействована разнообразная импортная техника. Её расцветка и формы впечатляли. Население, особенно мальчики, глазели на неё. Подключились волонтёры — студенты университета. Сначала они работали под звуки рэпа. Делали селфи. Затем кто-то догадался принести записи народных трудовых мелодий. Молодёжь работала и подпевала. Парни и девушки гопом брались за одно дело — разгребали кучу. Не хватало организованности. Тут выступил один бородатый парень в очках. Предложил разделиться на бригады. Распределились равномерно в соответствии с физическими возможностями. Определили время для смены. Работа пошла, и уже никто не отвлекался на селфи. Рационализатора тут же сфотографировали журналисты. На его уже испачканной и взмокшей от пота майке были выведены какие-то надписи на английском. Что-то о пикнике. Девушек освободили от труда. Они приносили воду, закуску для работающих. На них игриво поглядывали рабочие из мэрии. Я расслышал, как один из них назвал девчушек «козочками»…

По ТВ регулярно передавали списки погибших и пропавших людей на той улице, где сель особенно буйствовал. Кроме погибшего рабочего, которого задрал тигр, и ночного дежурного зоопарка (её звали Саломе В.), в районе площади на улице погибло ещё три человека. Пропал без вести один мужчина. Говорят, что его в реку Куру унёс водоворот. Некоторое время искали пару молодых людей. Потом те объявились. В тот момент они находились в гостях в другом месте.

Подсчитали и материальный ущерб, к нему причислили погибших животных. Одного из обитателей — пингвина — выловили в водах Куры на территории Азербайджана. Большой популярностью пользовался отличившийся бегемот. По ТВ многократно показывали место, где тигр разорвал человека. То там, то сям валялись также трупы растерзанных тигром собак. Он не пожалел и щенка, чёрного, мохнатого, с ошейником на шее. На экране промелькнула физиономия психически больной женщины. Она держала в руках кошку и смотрела в камеру с любопытством. Будто кого-то узнала. Какой-то журналист-шалун попытался взять интервью у девиц, собирающихся недалеко от цирка, но те пугливо разбегались. В одной из передач привели статистику погибших в тот вечер и ночь от инфарктов и инсультов людей. Мол, наблюдался всплеск этих показателей. Оппозиционные каналы во всех бедах обвиняли правительство, а его представители говорили о потеплении климата.

Все последующие дни в городе была прекрасная погода, река успокоилась, жизнь пошла своим чередом. Площадь снова заполонил трафик. Зоопарк привели в порядок.

Зорица Кубурович

Ласточки

Сказка из книги «Лекарство из персиковых листьев»

Перевод с сербского Михаила Сердюка

Девочка всегда, насколько ей самой позволяло чувство голода, помогала животным и птицам, подкармливая их крошками рогаликов от завтрака и кусочками копчёной колбасы. Последствием этой её благотворительности было постоянное сборище птиц у неё во дворе. Девочка любила создаваемый ими беспорядок, хотя порой, особенно по утрам, ей хотелось, чтобы её садик находился подальше от окна. Птицы, нахальные и невоспитанные от природы, будили её на заре, словно по праву требуя крошек. Они нервировали девочку всю весну и всё лето, но зато осенью и зимой, когда перелётные птицы её покидали, она скучала по их гомону и гвалту и даже чувствовала себя немного одинокой и никому не нужной. Втайне она надеялась однажды всё-таки убедить какого-нибудь соловья или ласточку составить ей компанию и остаться на зиму. Мечтала, что научит их греться у печки, кормиться в доме вместе со всеми и, что самое важное, её не бояться. Даже уговорила отца задолго до весны соорудить скворечник. И, чуть только ушли морозы, каждое утро просыпалась с ожиданием увидеть в нём новых жильцов.

С появлением первых фиалок прилетели и ласточки, одна-единственная пара. Они о чём-то перешёптывались под стрехой, а потом улетали и возвращались, принося в клювах соломинки, верёвочки, травинки, комочки мха и земли. Девочке казались такими красивыми их хвосты и нежные маленькие головки, что она, любуясь ими, всё утро не сдвинулась с порога. Где-то около полудня она поняла, что её скворечник ласточки не заметили и строят возле кухонного окна маленькое простое гнездо, серое и невзрачное, в котором едва хватало места для них обеих.

— Обращаю ваше внимание, что немного левее, на спиленном столбе, для вас уже есть домик! — сказала девочка очень учтиво.

Ласточки, отлетев на три шага, сели на куст сирени.

— Ты имеешь в виду — гнездо? — спросила одна.

— Домик, — похвалилась девочка. — Он выкрашен в красный цвет. И он очень удобный.

— Вот этот, красный? — спросила вторая ласточка удивлённо. — Выглядит как маленькая собачья конура, а отверстие в нём похоже на совиное дупло.

Девочка не отставала, хоть и немного обиделась:

— Неприлично искать недостатки в доме для гостей!

— Ты права, — согласилась та же ласточка. — Поэтому лучше построить дом на свой вкус.

— Если бы я тут снесла яйца, они бы разбились, потому что пол слишком твёрдый. Да и малыши бы замёрзли — я не смогла бы их согреть, потому что и домик, и отверстие в нём слишком велики. Спасибо тебе, но в нём мы жить не будем, не сердись, — закончила вторая ласточка, словно извиняясь.

— Да мне-то что за дело? — буркнула девочка сердито. — Будто у меня других забот нет, как только о вас волноваться! — и ушла в дом.

В следующие дни девочка, негодуя, смотрела, как все в доме радуются, находя птиц милыми, а гнездо совершенным. Она сердито уходила в дом и закрывалась в шкафу, чтобы избежать этого общего восхищения.

«Тоже мне! — сердито думала девочка, вдыхая запах нафталина и платьев. — Да мне подумать страшно, какой гвалт тут поднимется, когда вылупятся птенцы, — хоть из дому беги. А потом и эти новые понастроят гнёзд в каждом углу и выведут птенцов, к ним подселятся другие птицы и тоже построят гнёзда всюду, куда ни глянь. Да мы же за их перьями и неба не увидим! Они отнимут весь наш хлеб. Может быть, даже чердак рухнет под их тяжестью. Персиковому дереву они поломают ветки, а сирень ощиплют до самого корня. Мы вообще без дома останемся — всё здесь станет одним огромным птичником. А все радуются, беды не сознавая!»

Чувствуя, что катастрофа уже близка, девочка каждый день, когда обе ласточки где-то летали, взбиралась на окно и заглядывала в гнездо. Оно, выстланное изнутри пухом, действительно было мягким и тёплым. Девочка постоянно ожидала увидеть в нём яйца, но, когда впервые их увидела — пегие, с нежной скорлупой, намного меньше куриных, — то почувствовала, как ей что-то подступило к горлу, словно вот-вот заплачет. Подумала ещё,

что вот сейчас удачный момент, когда можно защитить свой дом от грядущего птичьего нашествия: ведь если побросать яйца на землю, из них никогда не появятся птенцы. Яиц было четыре. Девочка взяла одно, положила себе на ладонь, но бросить на землю не смогла.

— Ладно, лежи. Но завтра тебе от меня не уйти! — пригрозила она, осторожно вернув яйцо на место. — Ты ещё увидишь, кому собираешься разрушить дом!

Всю ночь девочке снилось, как плачущие ласточки навсегда улетают на юг одни, без малышей, как летит над домом скорбящая стая, а в красный скворечник заселилась сова и довольно ухает. Проснувшись, девочка подумала, что четыре яйца, пожалуй, не такая уж и опасность для дома, и решила, что сперва посмотрит, как птицы будут себя вести. Ну а прогнать их, если будут невыносимыми, она всегда успеет. А скворечник на всякий случай отнесла в сарай.

В последующие дни одна ласточка всегда лежала на яйцах в гнезде. Вторая непрестанно летала, добывая еду, — но, как она ни старалась, та, в гнезде, становилась всё слабее. Девочка, наблюдавшая за происходящим через окно, начала волноваться.

Однажды она, взобравшись на стул, поднялась к гнезду, чтобы предложить ласточке крошек и молока. Не поняв её добрых намерений, слабая ласточка в ужасе поднялась над гнездом, громко пища и хлопая крыльями. Девочка увидела в гнезде три яйца и ещё что-то волосатое, пытавшееся пищать широко открытым клювом. Потрясённая и встревоженная, она оставила крошки возле гнезда и быстро ушла.

— Я видела птенца, — присев на пороге, сказала она вслух. — Только он ни на что не похож. Он весь как один огромный клюв.

— Он просто голодный, — сказала ласточка, которая сразу же вернулась в гнездо и вновь легла на яйца.

— И волосатый! Где это видано — волосатая птица?! Это совершенно неестественно.

— Да это самая красивая птица из всех, кто вылупился в этом году! — возразила ласточка рассерженно. — Сейчас она ещё маленькая и слабая и покрыта пухом, но когда у неё вырастут крылья и настоящие перья, ты в этом убедишься. Это будет великолепный большой самец, вожак стаи.

— Ты думаешь? — спросила девочка, ощущая прилив гордости оттого, что такой значительный птенец вылупился возле её окна.

— Убеждена. Посмотри, какая у него правильная голова. И какой замечательный клюв, совершенно особенной формы! Он вырастет в исключительную птицу, говорю тебе.

В следующие несколько дней и из остальных яиц вылупились птенцы, настолько безличные и похожие на первого, что девочка их и не различала, но в полной мере участвовала в ласточкином восторге. Ласточка строила своим птенцам планы на будущее. Первому она уже определила роль вождя, второй, по её мнению, должен был стать великим дипломатом, третий, отличавшийся острым слухом, — разведчиком, а последний, самый маленький, — мудрецом.

Птенцы росли. Были они милые, жадные, неуклюжие и ничуть не старались соответствовать ожиданиям родителей. Первый вырос хоть и сильным, но очень близоруким и обычно весь день проводил в задумчивости. Тот, что должен был стать дипломатом, был таким задирой, что разве только сов по ночам не гонял. Птенец с острым слухом целыми днями пел, но летать учился неохотно. А самый маленький так любил воровать блестящие предметы, что родители всерьёз опасались за сохранность звёзд на небе.

Прошла тёплая часть сентября, и уже чувствовалась осень, когда молодые ласточки перестали возвращаться в гнездо. Девочка несколько дней прождала их на пороге, стараясь не показывать своей встревоженности. Старые ласточки перешёптывались друг с другом, сидя на уже уставшем распускать листья кусте сирени.

— Их нету! — наконец вымолвила девочка, слегка изумлённая тем, что ласточки-родители ничуть не отчаиваются.

— Они есть, — ответила одна ласточка. — Просто они в другом месте.

— Я за них беспокоюсь. Они так малы и немощны.

— Ерунда, — сказала другая ласточка. — Они вполне способны жить сами.

— А хищники? А звери? Ведь с вашими детьми сейчас может произойти всё что угодно.

— Может, — ответила ласточка. — Как и с нами, как и с кем угодно ещё.

Ветер, мягко лаская листву в кронах деревьев, пытался растрепать совершенную укладку перьев на ласточкиных грудках.

— Вам не жаль, что они вас оставили?

— Жаль, — сказала одна ласточка, — но это не важно. Сейчас хорошее время для того, чтобы уйти.

— Какое время? Если бы я так ушла, мои родители просто умерли бы от тоски и беспокойства. Да и я, думаю, умерла бы без них, — сказала девочка с плохо скрываемым укором.

— Это потому, что твои крылья ещё совсем немощны, — улыбнулись ласточки. — Родители, любящие своих детей, тихо прощаются с ними с первого же дня. Расставание — это и способ взросления, и последнее доказательство родительской любви. Как иначе из птенца выйдет птица?

— Всё равно, — сказала девочка строго. — Вы же не вывели их на правильный путь!

Ласточки изумлённо переглянулись.

— Какой ещё правильный путь? Они — прекрасные молодые птицы. О чём ты говоришь?

— Вы не воспитали их как полагается.
— Это неправда! — загалдели ласточки. — Мы научили их всему: летать, добывать пищу, укрываться от непогоды, ускользать от хищников. Они готовы к осеннему перелёту, а это самое важное.
— Как будто чьё-то будущее зависит лишь от навыков полёта и добытых крошек! — процедила девочка презрительно. — Я говорю о более значительных вещах.
— Что же может быть значительнее полёта и пищи? Значительнее самой жизни?
— Быть порядочным, например! — крикнула девочка, которую последнее время сильно задевало за живое поведение самого младшего птенца.

Ласточки переглянулись.
— О чём ты говоришь?
— О вашем младшеньком. Он постоянно крадёт оловянные пуговицы, отрывая их от моего плюшевого медведя. А ведь эти пуговицы медведю заменяют глаза!

Ласточки вздохнули с очевидным облегчением.
— Чего же ты волнуешься? — спросила одна. — Птенчик просто любит блестящие вещи. Надеюсь, ты не веришь, что плюшевые медведи действительно видят своими глазами-пуговицами?
— Не верю, — сказала девочка мрачно, — хотя ещё помню время, когда верила. И сейчас иногда верю, перед сном. Не в этом дело. Просто это его пуговицы, медведевы! И точка! И ваш птенец не имеет права брать чужого.

Ласточки лишь посмотрели на неё с изумлением.
— Что значит чужое? — спросила одна, стеснительно переминаясь с ноги на ногу. — Не понимаю я тебя. Как вещь может быть чьей-то? Вещами можно только пользоваться.

Девочка задумалась.
— Хорошо, — сказала она наконец. — Вот у вас есть гнездо. Оно ваше.
— Только до тех пор, пока мы в нём, — сказала одна ласточка.
— Мы им пользуемся, — поддержала её вторая. — А когда мы уйдём, оно станет чьим угодно.
— Но допустим, что вы ещё живёте в нём, и вдруг появляется большая птица, отнимает ваше гнездо и уносит его далеко. Что бы вы тогда сказали? Сказали бы, что она у вас украла ваше собственное гнездо, вот что!
— А зачем большим птицам маленькое гнездо? — спросили ласточки удивлённо. — Им же в нём ни сесть, ни встать. И разве его можно просто унести и потом прилепить где попало?
— Ничего вы не понимаете! — воскликнула девочка в отчаянии. — А если у вас отнимут, например, вашего собственного червяка?
— Мы вообще-то не едим червяков, — ответила одна ласточка брезгливо.
— Кроме того, это не одно и то же, — заявила вторая с достоинством. — Червяк — самостоятельное существо, а не вещь, которой кто-то пользуется. Он свой, свой собственный. Будь я, скажем, голубем, я бы на него охотилась, потому что он был бы для меня пищей. Только и всего. А будь червяк больше, чем я, дела бы обстояли иначе. Может быть, тогда бы он на меня охотился, как это делают змеи. Так что если бы у меня отобрали червяка, как ты говоришь, то я бы или боролась за свою пищу, или поймала другого червяка. Но не называла бы обычную борьбу за жизнь порядочностью или непорядочностью.
— Это потому, что ты не человек, — сказала девочка, важничая. — У людей всегда точно известно, что есть чьё: я отнюдь не должна носить сразу все свои пять летних и четыре зимних платья, чтобы знать, что они мои.
— Вот это-то и смешно. Зачем тебе столько платьев? Ведь требуется-то тебе всегда только то платье, которое ты носишь.
— Ничего вы не поняли, — сказала девочка неуверенно. — Всё-таки это гнусно, когда птица, которая должна была стать мудрецом, становится воришкой.
— Ах, чепуха! — говорит одна ласточка. — На это никто не может повлиять. «Каждый носит в себе все начала и возможности. Стать мудрецом, или воришкой, или ещё кем угодно — это просто осуществлённые существом возможности в границах его развития, определяемого детерминантой вида». Понимаешь ли?
— Нет.
— И я нет, — засмеялась ласточка весело. — Этому меня научили наши мудрецы. Если призадуматься, то, может быть, это тоже откуда-нибудь украдено.
— Может быть, — сказала девочка задумчиво.
— И украдено, может быть, из всё той же любви к блестящему.
— Вероятно, — согласилась девочка и спросила озабоченно: — Как тогда человеку различить, что его, а что не его?
— За человека сказать тяжело, — загалдели ласточки. — Но, по крайней мере, попробуй во всём разглядеть только то, что покажется тебе блестящим и ценным. Приблизься к нему. Если оно тебе действительно требуется, оно станет твоим. Но никогда не забывай, что и чьим угодно.
— Вы совершенно аморальны, — вздохнула девочка.
— Ага, — довольно заворковали ласточки. — А что значит аморально?

Понимая, что вопрос был чисто академический, девочка принесла ласточкам крошек и рассыпала у окна. Ласточки припорхнули, ничуть её не боясь, но осторожничая скорее по привычке.
— Может быть, они всё-таки вернутся, — вздохнула девочка, глядя на плывущие облака, подталкиваемые холодным ветром.

Ласточки переглянулись.
— Это у тебя были первые птенцы в доме?

— Да,— кивнула девочка, едва не заплакав.— Только бы с ними ничего не случилось!

Ласточки подлетели к ней совсем близко.

— С ними случится всё. Их будет хлестать ветер, им придётся голодать, замерзать и болеть, они будут бороться за хлеб насущный с теми, кто сильнее их. Они полюбят других, построят себе дом, вырастят своих птенцов. И останутся без тех, кого любили. И так много раз. А затем, когда придёт время, они исчезнут. Сгинут, как и все. Ты плачешь?

— Нет,— сказала девочка, утерев слёзы.— Просто подумала, что было бы неплохо, если б я могла их защитить.

— От боли?— спросили ласточки мягко.— Не сможешь. И это хорошо. Иначе что бы они знали о счастье?

— А вдруг они не дождутся своего счастья? Вдруг с ними произойдут страшные события, пока они ещё немощны и не в силах им сопротивляться?

— Имей доверие к жизни,— сказали ласточки и вспорхнули к гнезду.— Никто не немощен. «Каждое мгновение жизни есть счастье, потому что оно оторвано от ничтожества вещей».

— И этому вы научились от своих мудрецов?— улыбнулась девочка сквозь слёзы.

— Ага!— хором сказали ласточки, поудобнее устраиваясь в гнезде.— Кто знает, может, под этим блеском действительно что-то есть?

Несколько следующих дней, предчувствуя расставание, девочка придумывала, что скажет ласточкам накануне перелёта. Но когда однажды, проснувшись, не услышала привычного воркования, она поняла, что они улетели, не попрощавшись. Девочка забралась на окно и заглянула в пустое гнездо— в нём лежало лишь одинокое чёрное пёрышко. Никакой записки, никакого прощального письма! Грустная, она прошла в садик, словно надеясь, что ласточки всё-таки улетели не слишком далеко. В садике царила роскошь увядания. Девочка подошла к персику и прислонилась лбом к его коре— персик тихонько позванивал над её головой маленькими бубнами золотых, зелёных и красных листьев.

«Я знаю,— подумала девочка,— что буду скучать. Зато спать буду спокойно— до следующей весны, когда опять налетят какие-то ощипанные птицы и начнут меня убеждать, что они и есть наши прежние птенцы из этого года, что они пришли строить гнёзда и выводить малышей, потому что жизнь едва не перебила им крылья и они чуть было не умерли от полёта и радости. Это и есть так называемое взросление!»

Затем, поймав на лету красный лист, осторожно надгрызла жилку посредине. Стаи птиц стремительно переплывали серое бездонное небо. Первыми летели взрослые птицы— спокойные и уверенные, они рассекали воздух, словно стрелы. Девочка с минуту зачарованно наблюдала их гордый полёт.

Шурша опавшей листвой, к ней подошла старшая сестра.

— Как пасмурно!— сказала она.— Вот и ласточки улетели. Надеюсь, что малыши выдержат перелёт.

— Выдержат,— спокойно ответила девочка.

— Откуда ты знаешь? Разве тебе не жаль, что они улетели? Что им сейчас трудно?

— Мне жаль,— ответила девочка.— Но так они становятся птицами.

Встречайтесь у фонтана

Рассказы Наримана Ибрагимова, записанные Андреем Тарасовым

Рассказы Наримана

Друг мой Нариман Ибрагимов умер почти сорок лет назад, в конце 1970-х, молодым ещё сорокалетним журналистом.

По причине, так и оставшейся непонятной семье и друзьям. Какой-то диагноз, конечно, написали, но кому от этого легче? Факт тот, что приехал из Ашхабада в Москву на обследование, уже собирался домой, набрал покупок, соскучился по двум дочкам и только что родившемуся Сальманчику,—и во время переливания крови вдруг потерял сознание и умер.

Для тех, кто его знал, это до сих пор рана. И живой, нестираемый образ. Нариман есть Нариман. Умный и весёлый, лукавый и грустный, он успел увидеть и понять в человеке что-то такое, над чем мы все бьёмся и бьёмся—и понять не можем. Тут нельзя не назвать и очень южный город его детства, летом раскалённый, как сковородка, Кизыл-Арват. Из того, что он рассказал и вчерне набросал, можно составить десятки таких рассказов. Что это блистательная проза, он не брал в голову и смеялся, когда слышал: «Вот это и пиши!» Сколько нас таких там в пыли бултыхалось—разве это для книг? Так что мне успелось изложить на бумаге с его слов и после его смерти немного. Остальное—в памяти, в обрывках разговоров, в его доброй и чуткой улыбке: «Ай, Андрюша, всё равно жизнь мудрее нас»,—или: «Если конь старается, зачем его хлестать?»

И хоть жизнь, к сожалению, не блещет мудростью, покидая нас и отнимая друзей, и хоть загнанных лошадей пристреливают, есть в рассказах Наримана тот лучик надежды, пусть даже безмерно грустный, с которым мы можем продолжать это наше сосуществование друг с другом, так порой похожее на общение и взаимодействие инопланетян.

Автора этих рассказов нет, но они звучат его голосом. И с его улыбкой, сочетающей вековую мудрость с детским простодушием удивлённости, от которых мы лучше узнаём самих себя. И помянем Наримана.

Андрей Тарасов
Ашхабад—Москва,
1978–2018

Мяч

На нашей улице команду набирал всегда хозяин мяча.

А мяч был у каждого. Но смотря какой.

Поэтому перед игрой шла процедура отбора.

Все придирались друг к другу, суетились, склочничали, становились мелочными и просто противными. Каждый до смерти хотел стать фасоней. Фасоня—это и есть обладатель счастливого мяча. Мячи бесконечно проверялись на круглость, на лёгкость, на прочность и даже на прыгучесть. Что вообще заранее невозможно по очень простой причине: все мячи были тряпочными.

Теперь понятно, как недосягаем был идеал?

Туго скручивая рванины тряпья, ушивая их в мешковине, мы ещё наловчились добиваться кое-какой округлости. Но вот лёгкость…

Конечно, если повезёт найти целый женский чулок да к нему—комок ваты! Ух! Мечта футболиста. Но женщины так хитро их от нас прятали, что хоть весь дом переверни—ни левого, ни правого не найдёшь. На просушке возле них так и стояли, держась за верёвку. Или сушили на руках возле печки. Или на подоконнике при крепко запертых окнах. Просто дразнили близкой недосягаемостью—настоящее издевательство.

А с ватой разве легче? Единственное место добычи—подушка. Надо ночью, когда все в доме уснут, бесшумно вспороть наволочку и не только успеть надёргать, но и запихать вместо ваты тряпки, опилки или просто траву.

Всё это, конечно, до первой стирки. Вот тогда лучше не попадайся, а попался—не обижайся.

Зато если в результате всех ухищрений у тебя появлялся мячик из чулка, набитый ватой… Можешь заранее считать себя фасоней.

Фасоня набирал команду, стоя на каком-нибудь командном бугорке. Остальные тянулись перед ним, вобрав животы и выпятив тощие груди, некоторые даже силились играть мускулами, но уж это было возможно только мысленно. Хоть война уже год как кончилась, и про голод начали забывать.

Слабонервные в отчаянии вскрикивали:

— Ты, я тебя брал, да, в команду?

Но им другие претенденты жестоко затыкали рот:

— То в прошлый раз, а теперь в этот стой и молчи, пока не получил, да?

Наконец команда выстраивалась, и сразу начиналась драка. Дрались за место в другой команде — играть против фасонь.

Побитые с ворчанием усаживались вдоль забора ждать своего часа. Все знали, что игра начнётся — и он тут же пробьёт.

Играть против команды, которая только что вышла из драки, всегда было немыслимо. Это была отчаянная команда. Если кому-нибудь из них попадал мяч, то он гнал его «от ворот до ворот» с яростью льва, но упаси бог пробить мимо. Его тут же выгоняли в шею товарищи по своей же команде, и место занимал тот, кто сидел у забора. Конечно же, после небольшой драки.

Отчаянная команда сражалась так яростно, что перевес в пять-десять мячей считался обычным делом.

Тогда все фасони применяли один и тот же подлый приём. Они выхватывали из пыли свой потерявший форму мяч и делали вид, что уходят. Отчаянные, зная, что от них требуется, истошно вопили:

— Давай сначала!

И всё начиналось с нулей и с середины поля.

Но тут, в разгар пятого тайма, из-за угла выскакивала женщина и при этом кричала:

— Вот он, товарищ милиционер! Вот мой чулок!

Все как одна женщины почему-то при этом добавляли:

— Я эти чулки только вчера на базаре выменяла на охапку дров! (Или на десяток яиц, или на три лепёшки.)

Участкового дядю Сашу мы все хорошо знали. Он нас — тоже. Поэтому никто не убегал, а все молча ждали решения.

Он не спеша подходил, нагибался, долго рассматривал мячик как след преступления и двумя пальцами поднимал его из пыли. И становилось ясно, что чулка больше нет. В дырки клочьями лезла серая вата. Женщина начинала плакать и бросать в нас проклятиями, между ними и всхлипами мы различали сумбурные воспоминания о дровах и чулках.

Дядя Саша кивал: пошли. И даже те, кто сидел у забора, шли покорно и молча. В своей большой, пустой, зимой холодной участковой комнате в конце улицы дядя Саша садился за большой пустой стол. Мы — вдоль стенок на лавки. Начинались смотрины.

— Чей мяч?

На лице каждого появлялось такое выражение, что он сразу должен был понять: мяч ничей.

— Кто залезал в форточку?

Враз расправлялись все плечи, и опытный сыщик был должен понять и другое: такие здоровые парни никак не могут влезть ни в какую домашнюю форточку.

— Вату где своровали?

— Пусть не врёт, вата не её, — оскорблённо бормотал кто-то, и становилось ясно, чей мяч, кто лазил в форточку, в чьей подушке обнаружится вместо ваты трава.

Но дядя Саша почему-то не понимал.

— Значит, пишем, что виновник неизвестен.

Поддёрнув за ремнём пустой рукав штопаной гимнастёрки, он начинал неловко писать уцелевшей рукой. Мы, поняв этот сигнал, начинали робко выстраиваться посреди комнаты: длинные сзади, карапузики спереди. И одновременно с последней точкой запевали «Раскинулось море широко». Любимую дяди-Сашину. В первые приводы получалось нескладно, зато теперь — хоть на школьную сцену. Но хулиганов туда не пускали.

После песни на цыпочках, чтоб не спугнуть задумчивость начальника, покидали опасную комнату. И через секунду пыльным клубком неслись по улице продолжать матч.

У нас с братом редко случался пригодный для игры мячик.

А фасони нас в команду не брали из-за хилых коленок. Приходилось много драться за право играть, но и долго сидеть под забором.

И вдруг всё перевернулось.

Что-то случилось с нашим городком. Возле него приземлился целый авиаполк!

Вообще всё вышло из оцепенения, мимо громыхали эшелоны с фронтовиками. Возвращались и наши — кто уцелел. В одних дворах пели, в других — плакали. Одни семьи собирались и уезжали в неизвестные края, другие — прибывали к нам и начинали знакомиться. Движения было много. Но полк — это совсем особенно. Город сразу вырос в наших глазах: оказывается, твёрдый такыр вокруг нас — высохшее морское дно — лучшая в мире площадка для аэродрома. Нигде такой нет. Мы даже загордились.

Солдаты сразу взялись строить военный городок. Офицеров с семьями и поодиночке расселили по дворам. Один капитан остановился у нас.

Легко представить, как мы вдрызг расшибались, когда лётчики по пути с аэродрома останавливались посмотреть нашу игру. Как барахтались в пыли, борясь за мяч, как прорывались к воротам, как смело шли на таран и ложились костьми под удар нападающего. Кровь из носу — гвардейское отличие. И всё для того, чтобы наши кумиры подумали: этих парней можно брать в лётчики. Болели они за тех ребят, в чьих дворах жили, нам это добавляло отчаянности. Но тут возникал дядя Саша с очередной жертвой чулка, и мы понуро отправлялись на спевку.

Однажды утром, сидя на корточках возле дворовой печи — тандыра, мы с братом услышали сзади себя странный, ни на что не похожий, звонкий и упругий звук. Мы повернулись к нему.

И остолбенели.

Наш лётчик стоял в дверях своей времянки. Был он хорош в белой, ослепительной чистоты майке, сам коричневый от загара, а плечи — как гири; но главное было в руке, на ладони. Белый-белый. Круглый-круглый, звенящий и гладкий.

Мяч.

Настоящий.

Лётчик, слегка улыбаясь, стукнул мячиком в землю. А тот, вместо того чтобы плюхнуться и расстелиться блином, мгновенно и упруго подскочил обратно в ладонь.

Какой умный мяч!

Мы думали, такой бывает только в кино.

— Держи!

Мяч брошен прямо брату. Брат испугался — и мне. Я — лётчику, лётчик — в середину двора.

Одна молодка со смехом катнула бабушке. Та — соседке. Белый круглый мяч прыгал по двору. Все забыли о своих делах, о завтраке, о соседских спорах. Потом он снова послушно прыгнул на ладонь лётчику.

— Вот… — лётчик вдруг стал серьёзным. — Казённое имущество, но жёсткое для волейбола. Отбивает ладони.

Мы подумали, что никаких ладоней не жалко.

— Надо хорошенько постукать, чтобы размягчился, — подмигнул лётчик. — Ногами поработайте как следует, пофутбольте. Вы же мастера спорта. Ну-ка…

И бросил мяч мне. Эх!

Мы с братом шли на поле как можно медленнее. Мы нарочно опоздали к набору команд. Дали всем вдоволь подраться. Дали сегодняшнему счастливчику-фасоне, чванясь и важничая, подойти к центру поля, чтобы возложить туда свою тряпочную лепёшку.

Но к фасоне никто не пошёл. Все от него отвернулись. И свои, и противники. Потому что разинули рты в нашу сторону. И фасоня крикнул из своего одиночества:

— Это неправдашний мяч! Склеили из бумаги!

Сейчас, спустя годы, мне его даже жалко. А тогда было нет. Я дождался, когда он подошёл ближе, и так дал в лоб мячом, что он сразу сел. И понял, что мяч не бумажный.

В этот день мы в футбол не играли.

Мы играли в мяч. Перепасовывали головой. Подбивали коленкой. Принимали «на пузо», на грудь. Но ни разу не ударили босой ногой. Мяч изнемогал от наших ласк. Но тут подошёл лётчик.

— Да вы что, огольцы! — крикнул он. — Кто так стукает?

Мы съёжились. Конечно, виноваты. В одном месте с мяча чуть облезла кожа, в другом протянулась царапина. Проклятые камни сплошь усеяли нашу многострадальную площадку. Прощай, белый круглый настоящий мяч! В фасони ты нас так и не выкатил.

— Я же сказал: колотить со всей силы! Что вы с ним нянчитесь?! Вот так надо!

И дал священному мячу такого пинка офицерским кованым сапогом, что мы думали, мяч тут же лопнет. Но он весело взмыл в небо свечкой, туда, где гудели красавцы-самолёты.

Сегодня мы играть всё равно не могли. Надо было всё обсудить. Договорились на завтра. А пока уселись в кружок и посередине на большой камень водрузили свой мяч. Каждый хотел дотронуться до него. Один — сосчитать, из скольких кусков кожи он сшит, другой — рассмотреть нитки на швах, третий — заслюнявить царапину, но с них тут же стягивали трусы и заставляли усесться.

Вдруг истошный крик, будто кого-то режут:

— Пацаны! Где шнуровка?!

Мы не на шутку встревожились. Шнуровки-то не было! Испуганно вертели мяч в руках. И только после большой паники догадались, что мяч надувается, видимо, через маленькое, едва заметное отверстие и не надо никакой камеры. Мы слышали, что есть такие мячи, но многие из нас в это не верили, а остальные не верили, что когда-нибудь подержат такой в руках.

Провожали мяч всей ватагой. Когда мы с братом вернулись во двор, остальные долго и сиротливо стояли у нашей калитки.

Оказывается, и летняя южная ночь может быть изнурительно длинной, бессонной. Мы ворочались на топчане под виноградником, а между нашими подушками покоился мяч. Мы поочерёдно щёлкали его и, приложив ухо, слушали таинственные звуки внутри гладкого упругого тела. Мяч звенел изнутри. А под светом луны отливал серебром.

Рассвет мы проспали. Оказывается, петуха, который всегда нас будил, ночью вместе с курами украли. Как же они ухитрились, если мы, не смыкая глаз, щёлкали по мячу?

Зато на поле все уже были в полном сборе, и даже с излишком. Сегодня всякая драка была бесполезна — никого не заставить сидеть под забором. Поэтому играли все. По двадцать футболистов в команде, не хватало только свистка и судьи. Но нашлись и они. Участковый дядя Саша, привлечённый яростным гвалтом, решил, что в городе наконец совершилось преступление, и ускоренным шагом шёл к нам. Увидев мяч, он тоже как бы застыл в изумлении, хотя видел в жизни много чего больше нас. А затем, схватившись за свисток, издал заливистую милицейскую трель и побежал к центру.

Мы ринулись в игру. Она не останавливалась, хоть свисток и верещал непрерывно, фиксируя подножки и толчки, игру рукой, дёрганье за трусы и за волосы и множество других футбольных преступлений. Все кричали хором:

— Штрафной, штрафной, пеналь, офсайд, аут! — но клубок исцарапанных тел с мячиком посередине без остановки катился от ворот до ворот.

Четыре раза он успел перекатиться туда-обратно, когда последовал первый несильный удар по воротам, но для нас это был удар похоронного грома.

В воротах в то время стояли самые непригодные. Не знаю, как в Москве на «Динамо», а у нас только хромые и толстые, кому нечего делать в поле. Ставили их в ворота насильно, и это было равносильно позору. Часто и этот вопрос решался дракой.

У нас стоял в тот день толстый Сусран. С лица его не сходила плаксивая гримаса, но спину он добросовестно выгнул, а ноги растопырил, подражая тем вратарям, которых видел в кино. Ему-то и достался исторический первый удар.

Сейчас толстый Сусран работает диктором на радио. Я, как услышу его бархатный голос, начинающий репортаж с футбольного матча на стадионе «Копетдаг», моментально выключаю приёмник. Это кажется мне кощунством. Всё моментально оживает перед глазами.

Бил же, наоборот, Кекос. Он сильно размахнулся, но надо знать Кекоса. Большой палец босой ноги ковырнул ногтем землю, наш везун взвыл от боли и покатился в одну сторону, а мяч тихо-тихо в другую. В ворота Сусрана.

Толстый Сусран мог остановить его взглядом. Мог медленно и лениво выставить толстую ногу, мячик сам бы уткнулся в неё. Но он подражал вратарям из кино и поэтому поступил иначе. Он дождался мяча, прицелился и тяжко плюхнулся животом в землю. На то место, где мяч уже прокатился.

Все закричали:

— Гол! Гол! Гол!

И какой гол!

Из-за угла выскочила полуторка. Единственный грузовик в нашем городе. Наша четырёхколёсная радость. Сколько раз, бросив даже футбол, мы гонялись за ней, вскарабкиваясь на ходу в щербатый кузов, сколько раз мыли, помогали ремонтировать, качать шины! Вот эти истёртые лысые шины, под которые безмятежно катился пропущенный толстым Сусраном мяч.

Хлопок.

Нет, взрыв. Такой взрыв, что полуторку снесло в сторону. Шофёр Митя, гордость всего городка, вспомнил «путь-дорожку фронтовую» и выскочил, чтобы залечь в кювет. Потом два раза обежал вокруг машины, постукал по скатам, ничего не понял, погрозил нам кулаком и укатил. Всё стряслось в один миг. Мы стояли в ужасе, даже не пытаясь забросать машину камнями, хотя её следовало разнести на куски.

Но куски остались только от мяча, жалкие пыльные клочья на глинистой мостовой. Его камера, оказывается, внутри была красной. Мы повернулись к Сусрану, чьей крови сейчас жаждали. Сорок пар глаз. Но его уже не было. Его не было ни в воротах, нигде.

Оплакивали мяч в курятнике, где никто не мешал. Петуха с курами ещё не успели найти и водворить на место, чем заканчивалось каждое местное воровство. Тишина нам сочувствовала.

Как сказать лётчику?

Как смотреть ему в глаза? Как смотреть в глаза всем лётчикам, которым теперь нечем играть в волейбол? Которые доверили нам… А если бы это было боевое задание в самолёте? Кто после этого нас к нему пустит?

Мы не могли смотреть друг на друга. Таких надо только расстреливать, и никакой пощады. Этот мяч прилетел в самолёте из самого Китая. Больше таких нигде нет. Нигде, никогда. Даже старый фасоня не радовался, хотя комкал в руках свой чулок. Кто же полетит в Китай за новым?

Вдруг возле курятника, снаружи, раздался тот знакомый, всем уже снившийся стук-стук-стук. Тот же звонкий и вызывающий. Мы оцепенели, не веря ушам. И осторожно, как разведчики, высунулись.

Мяч воскрес!

Только не белый, а жёлтый. Он так же стукался о землю и так же ловко впрыгивал на ладонь нашего с братом лётчика. Круглый-круглый, жёлтый-жёлтый.

— Эй! — окликнул лётчик. — Что вы там сачкуете? Бензин кончился? Ну-ка, нате, повкалывайте, не жалейте шассей. Наши не любят, когда отбивает ладони.

И бросил нам мяч, и засмеялся прекрасным сильным смехом лучшего в мире лётчика — победителя всех врагов. И повернулся уйти.

Тогда мы увидели чудо у него за спиной.

Чудом была сетка, а в ней — целая куча мячей, наверное, семь или десять. Круглых, цветных, настоящих. Какого хочешь цвета.

Дальше почему-то вспоминается не игра. А нечто совсем другое. Например, что тогда у нас в городе не было ни одного светофора. Про них только рассказывали — те, кто выбирался с родителями в Баку или Ашхабад, чьи рассказы звучали неправдоподобно. Ну как это: все останавливаются или все едут, когда горит разный цвет? Хоть бы глазком увидеть. Другой мир.

И вот светофор появился, ощущение светофора от сетки новых цветных мячей. Открывающей нам путь в новое будущее…

Горбушка

Обычно всё решалось на большой перемене, когда и раздавали хлеб. Но сегодня почему-то принесли раньше, и нарезанные кусочки — наши пайки — ждали на учительском столе, мешая читать и считать. Все силы организмов шли на сглатывание

слюны. Запах хлеба был такой, что хватай и беги. Мы бы это и сделали, если бы не новая учительница. Она приехала откуда-то издалека и была очень красивая, и мы её стеснялись и поэтому сидели все тихо. Делали вид, что решаем задачу.

На самом деле задачу мы решали совсем другую. Особенно Кекос. Только учительница поворачивалась к доске, он делал стремительную перебежку к передним партам и что-то там кому-то внушал на ухо, добиваясь согласия. А если согласия не было, то он подтверждал сказанное грязным кулаком, сунутым в нос. Помня силу Кекосова щелобана, от которого гудела любая башка, несогласный скисал и кивал. Всё это Кекос успевал проделывать до того, как учительница отрывала мел от доски. Обернувшись, она заставала его уже сидящим на месте с преданным лицом и выпученными от усердия глазами.

Так он прокладывал путь горбушек к нам на «камчатку», в зависимости от того, с какого ряда начнётся раздача. Нужно было учесть множество нюансов. А то как ни начнут — не видать нам горбушек. Расхватывают по пути. А жизнь без горбушек — не жизнь. Во-первых, поджаренная корочка вкуснее. Это, как нам объяснили, аксиома. Во-вторых, горбушка легче мякоти. Проверено не раз на химических лабораторных весах. А это значит, при развеске получается кусок больше. В-третьих, твёрдую корочку не так быстро сжуёшь, можно долго сосать.

Эту арифметику мы за четыре года войны во как выучили. Было за что повоевать.

Наконец звонок. Класс напрягся. Кекос привстал, чтобы видеть, куда надо ринуться. Учительница ещё только подумала бы, с какого ряда зайти, а он уже оказался бы там, на месте его послушно соскользнувшего хозяина. Новая учительница ещё не запомнила, кто где сидит.

Но случилось невероятное. Она взяла поднос и направилась к нам.

Клянусь!

К нам, на задний ряд.

Бедняжка, она же не знает, что нас, сидящих там по второму и третьему году, не исключили из школы только потому, что махнули рукой. Отцы наши, может, сгинули там, куда ушли все мужчины. Без геройских наград, без писем и извещений. У матерей сил не хватает кормить семью, никому мы не нужны, живём как можем.

Но учительница точно шла к нам. И первому Кекосу подставила поднос с хлебом:

— Бери.

Кекос сполз с парты, как сползает боксёр после тяжёлого удара. Стесняясь смотреть на учительницу, он тихо ответил:

— Сами дайте.

Впервые за все годы войны мы остались в классе после раздачи хлеба — так решил Кекос. Но вскоре он об этом пожалел. Потому что первым, кого вызвали к доске, был его друг Топор. А Топора, все знали, вызывай не вызывай — всё равно двойка. Но сейчас Топор делал вид, что получает её из-за Кекоса. Ведь он решил остаться в школе, где после хлеба нам нечего делать. Топор от доски смотрел так, будто Кекос слопал его кусок. Кекос, который учил его играть на гитаре и отбивать чечётку с выходом, который обещал, что они вместе — Кекос на мандолине, а Топор на гитаре — скоро будут играть в ресторане джаз-банд. Имелась в виду наша городская столовая. Топор слуха совершенно не имел, пальцы у него от струн облезли и болели, но, предвидя сытые вечера, он старался, а Кекос, как учитель, радовался.

И вот он не выдержал укоризненного взгляда, взывавшего к его потерянной из-за горбушки совести. Ещё и толстый Сусран чихнул, что всегда предвещало двойку.

Кекос зажёг киноленту.

В густом дыму сквозь девчоночий визг слышался голос наглеца Топора, который застрял с Сусраном в окне и заверял учительницу, что сейчас вернётся к доске.

Так вся задняя скамья и перекочевала на веранду к Сусрану. Теперь мы лежали на её тёплых досках и слушали, как Сусран донимал свою бабку. Целью его была где-то спрятанная банка муки. Он сидел на корточках и, вытянув палец, канючил:

— Одну! Одну только…

Мы втайне надеялись, что одной лепёшкой дело не ограничится. Вдруг повезёт на две маленькие? Но сами же и понимали бесплодность этих мечтаний.

Бабку Сусрана звали на нашей улице Офицер немецкой разведки. Она была высохшая, как клюка, и одноглазая, а в углу рта всегда сжимала папиросу. И по тому, как она спокойно сейчас пыхтела, было яснее ясного: орать Сусрану ещё долго.

Эту банку муки она когда-то выменяла на кольцо и держала на случай, если бы, скажем, Сусран умер. Но он же не умер.

А наоборот, орёт что есть силы, что хочет есть. Лепёшка должна была поднять авторитет Сусрана в наших глазах, и он очень старался. Нам особенно нравилось, как, задрав подбородок, он закатывал глаза и завывал по-собачьи:

— Есть хочу-у!

Бабка в ответ делала «пых» такой порцией дыма, что у всех нас слезились глаза.

Когда он не выдерживал и, хлопнув калиткой, уходил на улицу отдыхать, Кекос тоном клубного конферансье объявлял:

— Первая часть концерта окончена! В перерыве — танцы! — и удобнее растягивался на старенькой кошме.

Во второй части Сусран должен был вернуться, держась за живот. И, не отвечая на бабкины

вопросы, с тихим стоном лечь на кровать—такие номера иногда проходили.

Но в этот раз он явно переиграл. Он ворвался во двор с таким криком, будто его укусила оса. Даже мы поверили в его заворот кишок. Он выкрикивал какое-то слово, тыча пальцем в калитку, будто там привидение. Когда же мы расслышали, то сами подскочили, как на пружинах. Это слово в то время могло поднять мёртвого из могилы.

— Мука! Там мука!

Мы прильнули к забору. И точно. Чуть поодаль на улице, у соседнего дома, стоял «студебеккер» с крытым кузовом. Задний борт был обильно припудрен белой пылью, и сомнений не оставалось: в машине мука! Кто же оставил её без присмотра? Что делать?

Кекос первый принял решение. И страстно зашептал свой план. В плане был только один изъян: ждать сумерек. А до сумерек животы совсем скрутятся. Или машина уйдёт. Или сторож придёт. Невыносимо. Топор предложил встречный—«на хапок».

Это значило, что каждый черпает из машины по миске муки и убегает. Но тут же получил щелобан от Кекоса. Пока каждый залезет и слезет, пока зачерпнёт и рассыплет…

— Мука тебе не дыня, хапушник!

Скажет же Кекос: дыня!

Дыни нас в войну от смерти спасли. Правда, летом. Что спасло зимой—не поймём сами. Летом идёшь на базар. Там большие и маленькие горки: дыни, арбузы, виноград, помидоры.

Хватай и беги.

Догоняют—быстрее пихай в рот. Поймают… Ну что ж, разок-другой по шее—за съеденное и пострадать не страшно.

Ещё можно стать пачахчи—кожурятником.

За ведро кожурок для домашнего скота хозяева давали кусок хлеба величиной с ладонь. Взрослую. А иногда в придачу шоколадную конфету. Но конфету просто так никто не съедал. Есть шоколадную конфету при всех нельзя—всегда найдётся силач и отнимет. В одиночку—кто же поверит потом? А хотелось, чтоб знали: этот съел шоколадную конфету! Поэтому конфетой густо обмазывали рот и пузо, что для всех окружающих значило: я объелся шоколадных конфет.

Но, чтобы быстрее набрать ведро корочек, надо прежде всего иметь вид. Вид—это ножи веером и белоснежная салфетка, перекинутая через локоть. Ну и стремительный подлёт к клиенту, лихой и бывалый, вежливый и сноровистый. Только ножи наши были из тех, что давно выброшены хозяйками за ненадобностью. А «белоснежную» салфетку из-за мух и липкой грязи совсем было не разглядеть. Но что поделаешь—чем богаты, тем и рады.

Итак, стремительный и радостный подлёт к потенциальному клиенту—вёдра бьют по ногам, одно уже полное кожурой, второе наполовину. Кожурки рассыпаются, слева и справа рысью мчатся соперники-конкуренты, друзья-пачахчи, кругом сутолока и пинки сердитой базарной толпы.

Подлетишь с ветерком—и промахнёшься. Клиент оказался такой, что не только сладкую дынную мякоть—кожуру проедает до дыр. Такому потом нашего ножа не видать. А нравились нам офицеры с солдатами. Особенно лётчики. Лейтенант с девушкой—это просто богатство. Его великодушие и щедрость безграничны—если он ей берёт одну дыню и один арбуз—ведро, считай, полное. Столько мякоти на корках нам никто больше не оставлял.

Ещё везёт, если солдат попросит выбрать ему дыню. Усадишь солдата на камушек в тень и выполняешь боевое задание. И продавцы тебя уважают—тогда ещё в этой торговле знать не знали, что такое весы. Если бы кто, продавая, начал взвешивать дыню или арбуз, его бы не только прогнали с базара, а эти продукты разбили бы о собственную голову. Примеривались на глазок, торговались, кричали, что дорого, а в это время под шумок ещё откатываешь назад из-под себя ближайшую дыню… В цирке за этот фокус исполнителю хлопают, а на базаре шею бьют. Если поймают. Но попробуй поймай. Дыня с бугорка хорошо катится. Там пацаны наготове, знают, как поступать дальше.

Хорошо летом на базаре. Но до лета ещё далеко. А мука—вот она, уже созрела. Только взять надо. Сусран, после того как успокоился от крика, предложил дымовую завесу. Кекос в наказание поставил его дальше от машины, на углу двух наших узких кривых улиц, «на атасе». Наказание состояло в том, что Сусран боялся остаться без муки, пока он там топчется вдали от главных событий.

Пока совещались, наступили и сумерки, можно было выполнять план. План был простейший. Сам Кекос смело ныряет под брезент и насыпает прямо из мешка полное ведро, которое держит под бортом преданный учителю Топор. Я в это время приникаю глазом к щели калитки, за которой кейфует у родственников шофёр грузовика. Если кто-то оттуда появится, мне приказано орать что есть силы: «Дайте щепотку чая!»

К счастью, никто не появился, и ведро было наполнено с молниеносной быстротой. Когда мы ввалились с ведром муки, единственный глаз бабки расширился, а тот, стеклянный, чуть не выпал. Стало интересно: его можно подержать на ладони?

Бабка поднесла к ведру фитиль лампады и потёрла муку длинными тощими пальцами. После чего изрекла:

— Разве бывает мука выше высшего сорта?

— Конечно, бывает!—пробормотал Сусран, торжествуя за свои унижения перед бабкой и показывая,

кто хозяин этой прекрасной муки, но в то же время помня, что если не бабка, то некому и лепёшку испечь. Он уже по-хозяйски запихивал в печь саксаулину.

И бабка сдалась. Опасаясь, что её обделят, она не без угодливости заметила, что будет вкуснее, если эту очень белую муку смешать с её ржаной. Никто не возразил. Вкуснее так вкуснее.

Май в наших краях уже жаркий, почти лето. А когда Сусран докрасна раскалил печурку, в комнатушке и дышать стало нечем. Открыть же окно или дверь он ни за что не соглашался, твердя, что кормить всю улицу не собирается, на это и целой машины не хватит. Мы, забившись в угол, потели от жары и от предвкушения.

А бабка всё тащила и тащила из сундука свои свёртки, тряпки, чашки, пиалы, ложки, плошки, докапываясь до заветной банки с мукой. Сусран на всякий случай запоминал бабушкин тайничок.

Наконец бабка расстелила на полу скатерть, а на ней клеёнку. От этих приготовлений голод в нас разгорелся с силой пожара. Вот она смешала в тазике почти полведра белой и банку чёрной муки и сказала:

— Лей!

Свершилось. Сусран всю жизнь этого ждал. Вода с бульканьем просочилась меж бабкиных пальцев.

— Отменные будут лепёшки,—заколдовала бабка с замесом, и мы явственно почуяли их запах.

Но что это? Она не может оторвать пальцы от тазика! Поднимает руки—и вместе с ними таз! Сусран в него вцепился и тянет назад:

— Отдай, старая!

Она с ужасом смотрит, думая, что он отомстил ей за жадность, и оттого, как в полумраке зловеще засветился её стеклянный глаз, нам стало страшно.

Тесто в тазу окаменело, и бабкины руки оказались замурованы в этот камень. Кекос схватил лампаду, добавил фитиля и кинулся к ней, как огромная птица, пощупал, посветил и сказал единственное роковое слово.

— Гипс…

Вот что было в бумажных мешках в «студебеккере». Вот почему его никто не охранял. Мы на него за войну насмотрелись на руках и ногах раненых в госпитале. А про порошок даже забыли.

Значит, бабка высыпала в гипс свою последнюю муку, и надеяться не на что. Ещё одну ночь будем бороться с голодом, стараясь уснуть поскорее. А в глазах только одно: большая перемена и раздача кусочков хлеба. Кому перепадёт горбушка?

Казалось, не было той силы, которая бы не пустила нас в школу к этой горбушке. Но утром мы в школу не пошли, потому что нашлись дела поважнее. И никакая горбушка не могла нас туда затащить. Утром объявили День Победы.

Сцены у базара и фонтана

Первого сентября Кекоса выгнали с первого же урока.

Говорил я ему:

— Не дерись на танцах с мужем учительницы!

Но он удержаться не мог, потому что любил её. Это было общеизвестно, и никто над ним в школе не смеялся—все там были сильно младше его, в шестом классе он начал бриться. К этому времени у нас уже у всех полезли усы. А на одних партах с нами сидели совсем дети, мы ждали их три года войны, когда занятий почти не было, потом три года после, когда всё начинали сначала, и вот уже скоро в армию, а проклятая алгебра никак не давалась.

Мы свои усишки выставляли напоказ, хоть по три волосинки, а Кекос почему-то стеснялся и впервые пересел на переднюю парту. Это новая учительница его пересадила. Она думала, он лучше будет понимать. Но Кекос больше понимал совсем в другом. Он всё время что-то ронял: то ручку, то тетрадку, то карандаш, то резинку, то линейку, то транспортир. И каждый раз долго доставал, пыхтя и возясь под своей первой партой; он проводил там по пол-урока, и причиной тому были ноги учительницы. Таких белых ног мы не только не видели никогда, но даже и не думали, что они могут быть. Это было что-то волшебное, как будто ненастоящее. Возникал даже спор, свои они у неё или приделанные, из какого-то особого материала. Вместо того чтобы делать уроки. Учительница ничего не могла понять и только повторяла:

— Ты когда-нибудь вылезешь из-под парты?

Кекос пыхтел оттуда:

— Сейчас.

И через три минуты что-нибудь снова ронял.

Кончилось тем, чем должно было кончиться. Однажды на уроке учительница дёрнулась, как от тока, и громко вскрикнула. Сначала мы думали, её там укусила крыса, но потом оказалось, это Кекос, а не крыса. Он дотянулся из-под парты под учительский стол и потрогал её ногу. Удивительное было не в том, что он наконец это сделал, а в том, сколько он до этого терпел. Эти белые ноги лишили его сна и покоя, а мы знали, что если Кекос потеряет из-за чего-то покой, он этого обязательно добьётся.

Например, пальто. Пальто в нашем климате никто никогда не носил. Как ненужную роскошь. Зимой хватало и свитера под пиджаком, а то и просто толстого шарфа. Ватная фуфайка считалась шубой, и те несколько морозных дней с редким снежком, которые выпадали за зиму, в крайнем случае можно было перебиться под крышей. Так бы и не узнали о необходимости этой принадлежности мужского гардероба, но, на беду нашу, в клубе косяком пошли трофейные фильмы. Настоящие мужчины в них представали одетыми в элегантные

длинные пальто и плащи с сурово поднятыми воротниками и в надвинутые на лоб шляпы. Мы захлёбывались, пересказывая друг другу много раз всеми виденные «Сети шпионажа»:
— Да, ты, он ему в спину должен выстрелить, а он его друг, и он так идёт сзади, и руку в карман, достаёт в темноте, и щёлк—там зажигалка. Он сигарету прикуривает, ещё так затягивается, и вдруг—бах, с другой руки, с левой, незаметно достал пистолет из другого кармана и выстрелил в спину, да, ты?

Из всего этого было ясно одно: настоящий мужчина должен ходить в длинном перепоясанном пальто или плаще с поднятым воротником, а не в куцем бумазейном пиджачишке с грязным шарфом.

Кекосу пора было стать настоящим мужчиной, особенно в глазах новой учительницы. И он знал, как этого добиться. Потому что знал, где отец с матерью прячут накопленные деньги. Конечно, под своим матрасом, где же ещё? Как и в каждой городской семье. Как настоящий разведчик, он выждал, пока из трёпаных трёшек и двадцатипятёрок не набралась нужная сумма, намеченная им в городском магазине. Там и висело длинное пальто песочного толстого драпа с заветным пояском, таким широким и внушительным, что Кекос просто млел. Мы все знали, что ему грозит за изъятые из-под матраса сбережения. Но знали и непреклонность Кекоса. Он назначил нам день, когда пройдёт по городу в новом пальто, как герой трофейного фильма. Только собственные родители были единственными, кто не подозревал о его замысле. Деньги набрались почти к лету, и неудивительно, что пальто долежалось—теперь его сезон надолго прошёл. Но Кекос не мог ждать до осени. Как только под матрас легла последняя трёшка, он в сопровождении нас всех направился в магазин промтоваров. Это было людное шествие, потому что каждому по пути объявлялось: Кекос идёт брать пальто! Многим хотелось увидеть собственными глазами, как это перед летом, когда надо покупать тапки и майки, человек покупает пальто. Он примерял его так и эдак, скрывался в кабине со старым треснувшим зеркалом, высовывал голову между шторок, звал по одному ближайших дружков дать совет и оценку. Оценки были самые высокие, а советы осторожные. Слишком хорошо мы знали отца Кекоса, человека непредсказуемого нрава из-за ранения в голову. Он вернулся с войны не сразу—долго лечился по госпиталям и вместо наград принёс справку, что ему всё можно и он за себя не отвечает. Так её переводил с медицинского языка сам Кекос, и мы всё время ждали от его отца, заросшего могучей чёрной бородой, но лысого, как бильярдный шар, с красноватым шрамом поперёк этой лысины, какого-нибудь необыкновенного подвига. И вот, кажется, час этого подвига наступил.

Кекос шёл по улицам во главе многолюдной процессии. Солнце палило вовсю, остальные прохлаждались в рубашках и майках. Кекос же обливался по́том в плотно застёгнутом жёлтом пальто, туго подпоясанный широким ремнём с пряжкой, утопив подбородок в поднятый, простроченный с изнанки, воротник. Он удлинил свой мучительный путь, сделав крюк возле школы, где надеялся быть увиденным новой учительницей. Это был путь героя перед тем, как лучший друг выстрелит ему в спину. И одновременно путь агента, которому поручили убить лучшего друга. Общий вид немного подпорчивали сатиновые шаровары и сандалии на босу ногу, чего мы сроду не видали на агентах, щеголявших лакированными штиблетами и складками на выутюженных брюках. Но Кекоса это не смущало, брюки и штиблеты он считал делом второстепенным.

Возле школы он постоял минут десять и выкурил две папиросы. В открытых окнах скучилась малышня, из учительской остолбенело пялились завуч с директором. Такой наглости они не ожидали даже от закоренелого многогодника с усами. Только когда за их спинами мелькнуло лицо сероглазой учительницы в обрамлении светло-соломенных волос, он шикарным щелчком стрельнул окурком в радостную свиту и повернул к дому.

Там его ждал отец, предупреждённый о событиях несколькими сменами гонцов. Сначала о том, что сын Кекос очистил подматрасную заначку и несёт её в магазин, в чём он сразу же и убедился, отвернув угол матраса. Затем о том, что похищенная сумма достигла промтоварного магазина и приблизилась к отделу верхней одежды. Затем—что сумма превратилась в светло-жёлтое пальто и теперь движется назад к дому. Шрам поперёк лысины стал раскалённым, а в руках у него появились огромные портновские ножницы, которыми он защёлкал и залязгал в ожидании блудного сына, приплясывая перед своей калиткой. Рано или поздно, как ни крути по другим улицам, которым Кекос хотел показать себя, ему пришлось пойти и по своей.

Он шёл с выражением лица из кинофильма «Судьба солдата в Америке», а те, кто бегал доносить отцу, и те, кто доказал свою верность, шли теперь в единой процессии сзади, как на похоронах или на первомайской демонстрации. Все знали, что его отец копил деньги на швейную машинку, и ожидали развязки.

Увидев на расстоянии двух маленьких переулков такого красивого сына, отец ещё яростнее защёлкал ножницами и закричал:
— Иди, иди, ближе иди! Ты думаешь, ты пальто купил? Ты смерть свою купил!

Многие думали, что после этих слов Кекос образумится и бросится назад, подальше от отцовских объятий.

Но он решил доказать кому надо, и только капельки пота выступили вокруг тёмных усиков. Он шёл вперёд, не сворачивая, прямо на лязг огромных ножниц, только побледнев и устремив взгляд выше заборов и крыш, к горизонту, показывая свою непреклонность.

Мы думали, ножницы перережут Кекосу горло или хотя бы отхватят нос. Но отец с красным шрамом выбрал самое оригинальное и неожиданное для нас всех решение. Он схватил мужественного сына за поднятый воротник, и через секунду этот воротник отделился от пальто и остался в руках у отца. Со свирепой улыбкой папаша схватил сына за рукав и за три могучих щелчка сдёрнул рукав с руки, отбросив и его в сторону; то же самое произвёл и со вторым. Кекос стоял, как в примерочной, с голыми руками и шеей, но не пошевелился, проявляя высокое мужество. Отец дико захохотал, ножницы, ликуя, заходили по бортам, отворотам, полам, спине, клочья красивейшего жёлто-песочного драпа летели направо и налево. Пальто превращалось в ничто.

Кекос стоял, не шевелясь, подняв подбородок и не издавая ни звука. Теперь он был партизаном под пыткой в гестапо. Отец не переставал хохотать, приплясывать, метать из шрама молнии, и мы теперь воочию видели, что такое волшебная справка. Действительно, человек без такой справки просто бы снял с Кекоса пальто и отнёс обратно в магазин, получив свои деньги назад. В крайнем случае продал бы на базаре или на вокзале проезжающим пассажирам. Справка же позволяла отцу как бы лично своими руками изрезать громадными ножницами собственные сбережения на швейную машинку и не бояться, что жена, мать Кекоса, проломит ему за это голову утюгом, как раз по красному шраму, пересекавшему череп.

Нам бы всем по такой справочке. Сколько полезных дел можно было бы совершить на базаре, вокзале, в кино, в школе, в промтоварном и продовольственном магазинах! Чуть что, достал, показал учителю или милиционеру—и беги себе дальше.

Кекос, показавшись в пальто учительнице, счёл его назначение выполненным и поэтому, наверное, не оказал должного сопротивления, хотя перерос отца уже на голову.

Через несколько дней после этого он созрел и до касания учительской ноги. Наверное, подумал, что человеку в пальто можно всё.

На педсовете, к сожалению, по указанным причинам он стоял не в пальто, а в нормальных своих синих шароварах и застиранной рубашке. Но с видом вполне пальтовым, молча и отсутствующе, как угрозы в гестапо, слушая, кто он такой. Конечно, и бандит, и хулиган, и психопат, и кретин, и дебил, и недоразвитый, и умственно отсталый. Всё это он вынес молча и героически, упёршись подбородком в грудь. Как всегда у нас, сначала обругали всяческими словами, а потом спросили, почему он так сделал. Что он должен был им сказать? Что думал до сих пор, будто чёрный цвет пыльных пяток, дочерна загорелые икры всех городских девочек, женщин и девушек и есть их самый естественный вид? И что эта приезжая белизна женских ног вызывала самые необыкновенные чувства, которые так трудно выразить известными ему словами? Крики «говори!», «отвечай!», «чего молчишь?» стучали в ушах, подгоняли, требовали, перебивали мысль, наводили тоску. Он был готов терпеть любые пытки в гестапо, но учительская была недостойна его героизма, и он сказал:
— Я думал, они протезные.

Из всего педсовета только один человек проголосовал за то, чтобы Кекоса не исключили из школы сейчас же, а объявили последнее предупреждение. Это была сама новая учительница. Она сказала какие-то странные слова, будто бы из знакомого кинофильма, но из какого—забыл, то ли из «Секретной миссии», то ли из «Индийской гробницы».
— Я не хочу, чтобы из-за меня была разбита эта судьба,—услышал он.

Этого хватило, чтобы Кекоса оставили с последним предупреждением, но только до первого сентября. Потому что первого сентября на педсовете обсуждали уже его драку на танцах с мужем учительницы, который захотел вступиться за честь своей жены и потребовал, чтобы Кекос не смел до неё дотрагиваться своими грязными лапами. Как будто Кекос намерен был продолжать это делать на каждом уроке. Его вообще уже снова пересадили на заднюю парту, так что это при всём желании сделалось невозможно. Но Кекос на танцах повёл себя так, будто был намерен именно каждый день на каждом уроке продолжать начатое и хочет отстоять это священное право. Муж учительницы—капитан танкового полка, и силы на танцах были явно неравны. Кекос пострадал дважды—сначала там, потом в школе. Но и это—не главные удары. Первого сентября в школе не оказалось и самой учительницы. Она с мужем переехала на новое место службы. Наверное, на повышение. Остался один педсовет, который довершил начатое.

Да Кекосу уже и не нужна была школа. Свободно вдохнув полной грудью пыльный наш, прогорклый и прожаренный воздух, он полностью отдался игре в лянгу и альчики за школьной уборной, где был клуб всех сбежавших с уроков. Там с цирковой ловкостью мелькали босые чумазые пятки, взлетали мохнатые блямбы, хлюпали сопли, вспыхивали моментальные ссоры и драки из-за перескока со «сто одиннадцать» на «сто пятнадцать», причём здесь все оказывались успевающими по арифметике, слышалось визгливое «атас!» при появлении дежурного учителя. Только Кекос мог при этом не рвать с толпой голопузых прогульщиков

за глиняную ограду, а спокойно, вставив в зубы окурок «Прибоя», встречаться как равный с равным и даже здороваться за руку.

Только наступившая зима оттеснила его с улицы в дом. В крайнем случае—в автобус с зафанеренными окнами. Этот единственный в городе автобус трясся по единственному маршруту—от базара до вокзала и обратно—с долгими остановками, на которых водитель Фарад то обстоятельно беседовал со знакомыми парнями, то подливал воду в мотор, зачерпнув её брезентовым ведром из арыка. И самым постоянным и преданным его пассажиром стал Кекос, начавший даже выполнять мелкие шофёрские поручения.

Весной он уже по-настоящему вышел на работу. Работу Кекосу искали всем городом из уважения к отцовскому шраму. Она должна была быть такой, чтобы туда не страшно было опоздать. Но в то же время—чтобы там ничего не могло взорваться или загореться, ударить током или ошпарить кипятком; чтобы какой-нибудь керосин не мог залить мешки с сахаром, а отснятая фотокассета вместо красного света не вылезла прямо на белый. По этим многочисленным причинам одна работа за другой отпадали, пока, наконец, стараниями самых дальних родственников не нашлась та, что надо.

Сладостным весенним утром, не слишком рано и не слишком поздно, Кекос выходил за порог и брёл между дувалами, как бы никуда не спеша. В одной руке у него был пакет с каким-то порошком, в другой—мандолина. Тем и другим он время от времени замахивался на баранов, привязанных на молодой траве возле каждого дворика, или сбивал цветы с веток распушившейся алычи, и они осыпали его плечи и чёрную голову мягким снегом белых лепестков. Успев раз-другой погнаться за непочтительными, на его взгляд, пацанами, раз-другой дёрнуть так же от взрослых, которым сам он показался непочтительным, забравшись на несколько крыш и деревьев, заглянув в несколько сараев и прокатившись на двух-трёх ржавых и скрипучих чужих велосипедах, он, наконец, приходил к месту своего трудового подвига.

Это были покрытые весенней травой и алыми полянами тюльпанов загородные холмы, необозримый простор, ещё не испепелённый летним яростным солнцем. Что должен был делать Кекос, ступив на эту землю в момент её краткой неописуемой красоты, дарованной природой будто по недосмотру, чтобы сейчас же вернуться и отобрать? Ведь это про наш город, не про какой-нибудь другой, во всех частях Туркестанского военного округа говорили: «Зачем Богу ад, если есть Кизыл-Арват?» И мы этим очень гордились. Но тут была короткая минута истинного рая. И в этот-то рай Кекос должен был высыпать ядовитый порошок из своего пакета. В круглые аккуратные дырочки сусличьих норок, в жилища плодовитых зверьков, чем-то мешающих городской санэпидстанции. Да, наш Кекос ходил на холмы травить сусликов, и это была его ответственная работа.

Как он её делал? Очень просто. Чтобы не тащить обратно порцию отравы, за которую расписался в конторе, высыпал весь пакет порошка в одну какую-нибудь ямку—на его взгляд, нежилую, присыпал сверху землёй, притаптывал, чтоб никуда не распылилось, усаживался на пригретом солнышком склоне, на свежем ветерке и начинал играть на мандолине в основном грустные вальсы, из которых самым любимым был «На сопках Маньчжурии». Кекос играл и играл, а вокруг вылезали из норок и становились на задние лапки спасённые им от отравления суслики. Пока он играл, они стояли как заворожённые, слушали и шевелили губами. Может, подпевали, может, дожёвывали какую-нибудь вчерашнюю еду. Может, говорили Кекосу спасибо за то, что не принёс вреда их земляному племени, не оставил их детей сиротами. Так и проходил рабочий день, а иногда выходные.

Но не здесь я оставлю Кекоса, на его первой и, может быть, лучшей в жизни работе. Не на «зелёных холмах Африки», как их кто-то назвал, когда до нас добрался Хемингуэй. И не на другой работе, куда наш Кекос попал в более зрелые годы, когда мандолина в его руках сменилась на банджо. Да, после фестиваля, когда начали нас развращать, на весь Советский Союз было, наверное, пять банджо, и одно из них оказалось в ресторане в Кизыл-Арвате, в руках Кекоса. Но он недолго на нём играл. Он это банджо о голову разбил. Не пьяного офицера, лезущего под фартук официантки Джульетты. Не своего лучшего друга Топора, который фальшивил на гитаре. А о свою личную, когда делал цыганочку с выходом. На следующий день опять сусликам на холмах на мандолине играл. Такой грустный. Из ресторана его выгнали.

А оставлю я Кекоса на ваше усмотрение в громадном городе Москве, на Красной площади, вернее, около неё, в огромном замечательном ГУМе, в который он попал, возвращаясь из армии и ожидая поезда на Ташкент. В Ташкенте ему предстояло пересесть на самый грязный и самый медленный в СССР поезд Ташкент—Красноводск и уже с его подножки, небрежно позёвывая, как подобает истинному дембелю—с бляхой ниже пупа, ступить на родимый перрон. Ехал же он откуда-то из-за Урала, где всю службу строил в какой-то тайге какую-то железную дорогу. Строил, строил, строил и так и не понял, откуда и куда она ведёт. Ещё искусанный таёжным гнусом, с противным запахом болота, не отбитым свежим гуталином на сапогах и крепким тройным одеколоном, Кекос приехал на метро с вокзала в ГУМ, о котором так много слышал и где решил купить скромные подарки сестре и матери.

Но подарки Кекос не купил. Странно, скажете вы, если узнаете, что он провёл в ГУМе три дня. Три дня от открытия до закрытия, возвращаясь на вокзал переночевать и побриться в кафельном подвальном туалете, где всё время журчит вода. Но это именно так. Ибо первое, что услышал этот покупатель, войдя под высокий свод, было: «Граждане, потерявшие друг друга, встречайтесь у фонтана в центральной секции». И ещё много раз: «Ждите друг друга у фонтана».

И он пошёл к фонтану и встал там. У фонтана в ГУМе. Потому что другого такого места на земле, где бы ждали друг друга люди, которые потерялись, он ещё не встречал. У нас в Кизыл-Арвате это был базар. Крохотный, пыльный, с кособокими хромыми столиками-прилавками, а в основном с товарами, горками помидоров или гранатов, чуреками и лепёшками сыра, разложенными прямо на земле на платках. Но кто мог потеряться в Кизыл-Арвате? Смешно даже подумать. Через пять минут он сам собой, куда бы и зачем ни шёл, от кого бы ни хотел скрыться и кого бы ни хотел сам догнать, оказывался на базаре. У всех на виду—делай с ним что хочешь.

Но где искать человека, который потерялся за пределами Кизыл-Арвата, а именно там и потерялась учительница, Кекос до сих пор не знал. И вот узнал. И сразу же подумал об учительнице. Его как озарило. И вот как был в чёрных погонах со шпалами, так он и встал. Мимо из разных отделов весь день шли люди. Они несли покупки, которые и Кекос хотел бы сделать для мамы и сестры. Шёлковые или нейлоновые платочки, чулки, духи, поясочки с блестящими пряжками, заколки и брошки, дразнящие медной позолотой, губную помаду, пластмассовые чёрные очки, стеклянные бусы, зеркальца и тьму других соблазнов. Скудных солдатских денег у Кекоса хватало на что-нибудь одно для сестры и что-нибудь одно для мамы. Но для этого надо было долго ходить, выбирать по всем трём этажам трёх громадных пролётов, в тысяче заманчивых отделов. А Кекос боялся отойти от фонтана даже на шаг: вдруг в этот момент она как раз и подойдёт? А его там нет. Он стоял целый день, купив только раз мороженое, и последним уходил, когда всё закрывали… Вернее, его выгоняли уборщицы. Несколько раз у него проверяли документы и выправку, но они были в полном порядке. Тем более с билетом на поезд. И, пока до поезда оставался хоть день или час, он имел право стоять и не терять надежды. И он не терял. Он стоял и стоял, слушая и слушая, заворожённый обещанием: «Ждите друг друга у фонтана»…

ДиН ПАРОДИЯ

Евгений Минин

Взирая мутным оком…

Осинагогичное

Трудно и хлопотно яблоне старой
(Я про себя назвала её Саррой).
Марина Кудимова

Чувствую всею душой древесину!
Я назову Симой эту осину,
Этот дубок назову Моисеем,
Вырастет—полюбоваться успеем.
Клён буду звать звучным именем—Лёва,
Нынче так звать и модерно, и клёво.
Липу пусть кличут классически—Лизой,
Тополь, от пыли осевшей, весь сизый,
Я бы назвала шлимазелом Шлёмой—
Раньше такой у меня был знакомый.
Мучает мысль одна лишь, ей-богу:
Может, построить для них синагогу?

Предрассветное

Сквозь таявшую тьму небес
рассвет тихонько входит в окна,
неприхотливо, как балбес,
на нас взирая мутным оком.
Игорь Кохановский

Открыл глаза я. Всем привет.
Хоть и заснул я не под мухой:
балбесом выглядит рассвет,
и солнце выползает шлюхой.
День приползёт змеёй опять
и будет мне подобьем ада!
Нет, до заката буду спать—
надеюсь: он мужик что надо…

Владимир Селянинов

Симона Сермяжная

Герои и место действия вымышлены. Совпадения случайны.
Автор

Случилось, что и должно было случиться, когда у не в меру разыгравшихся актёров, поклонников европейской культуры, родилась дочь. Папе, Нилу Парамоновичу, имевшему неприглядную фамилию Сермяжный, было близко к сорока. Не любил Парамонович своего имени-отчества, немало он натерпелся в школе, в театральном училище прозвищ-насмешек. Затерянную в лесах свою деревеньку вспоминал усмехаясь. Шибко не нравились ему слова «надоть» и «эвон». Но из тех мест, где говорили «эвон», «тамася», ему и достался врождённый инстинкт самосохранения, какой весьма пригодился ему в жизни с её непредсказуемыми переменами.

Парамон, его отец, был человеком уважаемым в деревеньке Овсюгово. Пятистенный их дом, двор, крытый драничкой, выделялись среди других строений в деревне. А в стайках у Сермяжных не менее трёх коров, к зиме забивали на мясо бычка. Не менее трёх коней у них, землицы — немерено. К нему, к Парамону, приходили мужики, если что надо спросить, посоветоваться по хозяйству.

Но грянули семнадцатый, революция, раскулачивание справного мужика. Наперекосяк всё пошло. Те, кто помоложе, стали уезжать. Нил, закончив — неплохо закончив — сельскую школу, поступил учиться в Зеленоярское театральное училище.

Некоторое время студент ходил в куртке из домотканой ткани-сермяги. Но, как известно, всё проходит, и, закончив факультет, он стал создавать на сцене образы эпохи социализма. Но, приобретя пару приличных костюмов, две-три пары обуви, он стал выказывать явные признаки неудовлетворённости, свойственной творческой личности. Ему сделали прибавку к почасовой оплате, дали квартиру, он же избрал себе в качестве творческого псевдонима Крестовоздвиженский. В наступившую эпоху развитого социализма среди его вольнодумствующих друзей поступок был оценён. Шепоток за спиной: «Диссидент»,— бодрил Нила Крестовоздвиженского.

И ещё штрих к портрету честолюбца.

Как-то у служебного входа встретил его друг давний, с раннего детства дружили. Встретил, обнять норовит, а вид-то не очень у друга детства. Нил Парамонович сразу и ответил:
— Ты прости, друг. Через пять минут мне на сцену выходить,— ладошками его за плечи держит, улыбается.

А тот, с кем когда-то, очень давно, пескарей да ершей ловил, неулыбчивым стал, куда-то всё в сторону смотрит.
— Буду в Овсюгово — зайду. Не-пре-мен-но зайду,— плечи покрепче сжимает, потряхивает их. У друга, с кем когда-то радовался удачному клёву и появлению первых росточков медвежьего лука сразу за огородом их, Сермяжных.

Теперь о мамочке новорождённой, супруге Нила Парамоновича.

Она была единственной дочерью следователя по особо важным делам Сергея Вербицкого, известного правоохранителя в Зеленоярске, беспощадного к нарушающим закон. Даже букву закона! О чём неоднократно свидетельствовали местные газеты, ставя его в пример нерадивым защитникам норм социалистического общежития.

Его единственная дочь Светлана была актрисой, игравшей роли второго плана. Хорошо она входила в роль первой любовницы короля и западного толстосума. Любила она и роль взбалмошной девчушки (но такой же — нашей, советской!), дочери крепкого хозяйственника советской формации.

Было ей только за двадцать, и это при хорошенькой фигурке, обещающей ей право, образно говоря, сыграть по жизни роль самой королевы. И когда из интеллигентствующих кто спросит о девической фамилии Вербицкая, не приходится ли она родственницей известной романистке Анастасии Вербицкой, Светочка хорошо конфузилась, как это бывает, когда она вынуждена выказать своё родство с теми, кто сделал большущую борозду на литературном поле России.
— Теперь трудно об этом говорить,— только и скажет она в ответ.

Брак диссидентствующего Нила Парамоновича с потомком литературного гения был зарегистрирован в установленном порядке, и спустя пять месяцев на свет появилась чудная малышка, названная Симоной.

Хорошо им втроём в уютной трёхкомнатной квартирке в центре города, гараж во дворе, а в нём «Волга», что по тем временам было престижно для творческого человека. По запланированному ранее визиту посещающие их могли насладиться беседой о прекрасном. Полюбоваться масками, изготовленными мастерами в недрах Французской Экваториальной Африки. А если повезёт гостям, то и почувствовать утончённость недопонимания ими, избранными, тех, кто рулит искусством. Там, наверху! И поэтому Нил Парамонович, имея на это моральное право, мог (разумеется, к месту) задуматься глубоко, скорбя о несовершенстве тех, кто «недопонимает». Встать с кресла, руки за спину—и, тихо ступая, пройтись по ковру хорошего качества, из спецраспределителя. К присутствующим остановиться в пол-оборота и, тихо покачивая головой, прикрыть усталые глаза. На это его хорошенькая супруга тоже покачивала головкой, а глаза… глаза грустные-грустные, потому что она тоже понимала текущий момент.

Но, кажется, хватит о родителях Симоны. Поговорим о главном герое нашего повествования: как она-то, появившаяся на белый свет?

Даже при простом недомогании Симочки её папа бодрствовал, переживая за её здоровье. Строго по рекомендации врача ставил градусник, следил за своевременным приёмом таблеточек, строжайше выполняя рекомендации известного врача. Ещё маленькой она слышала, что её мамочка на работе окружена завистниками и похотливцами. Вот почему она не может зайти в продуктовый магазин, сказку ей рассказать от возникающей головной боли. И Симочка воспринимала присутствие папочки у её кроватки естественным. Звала папочку, если ей нужно на горшочек.

Сима Сермяжная—ну и наградил же её отец фамилией!—росла девочкой умненькой. Не капризничала. Да чего ей капризничать, если отец, выражаясь высоким штилем, предвосхищал её желания? И когда встал вопрос о детском садике, Нил Парамонович, собрав необходимую информацию, выбрал с уклоном на французский.

В школьные годы Симочке нравилось бывать в театре на репетициях, где мама объясняла ей о вхождении актёра в образ, указывая на свои успехи через мимику, жесты, походку и вкрадчивость голоса. И девочке нравилось перевоплощение мамы в первую леди, в которую влюбился сам король.

Студенткой обычного строительного института Симочка выделялась походкой, какая бывает у красавиц балета. Конечно же, эта деревенщина из студенческого общежития не упускала случая в своём кругу позволить себе какую-нибудь колкость относительно её сапожек с болтающимися пампушками. А какой славный золотой кулончик с изумрудиком от дедушки Сергея! Кажется, что он своим блеском сводил с ума некоторых из малообеспеченных семей.

Незадолго до преддипломной практики был случай один. Прямо скажем, дикий случай, если верить общежитским.

Симе, уже заметно беременной, что-то понадобилось в общежитии, что на горе, в комнате на шесть человек с влажным воздухом от стиранного белья, где мало света от толстой корки льда на оконных стёклах. Неуютно показалось Симоне в общежитии в этот морозный вечер. Плечами она передёрнула от вида неприбранных кроватей вперемежку с книгами сметных норм при монтаже железобетонных конструкций в условиях Сибири и Крайнего Севера. Унижала сметные нормы и оставленная тарелка с гороховым гарниром, поставленная прямо на цены используемых машин и механизмов. Ещё показалось Симоне: чем-то нехорошим припахивает в комнате на шесть студентов. А может, это оттого, что скоро ей стать мамой? У них бывает такое.

Та, к которой пришла Сима, вышла к телефону на вахте. Две оставшиеся студентки говорили о преддипломной практике, вспоминая о каком-то студенте, который «ничего», и преподавателе, который «достал». А студентка, что в спортивной куртке, спала вопреки сырости и отсутствию уюта в сумерках комнаты. Большая хозяйственная сумка на проходе стала Симу раздражать.

«Спит,—зло думала она о спящей.—Довольная… Да и как ей быть недовольной, если ей каждый месяц из деревни такие сумки привозят с салом, капустой квашеной?.. А эти две о какой-то манёвренности строительного комплекса рассуждают. О мальчике, который как бы „ничего“. Тоже, наверное, титан мысли их уровня с тремя рублями в кармане»,—вокруг смотрит Симона. Уныния на лице прибавилось к тому, что уже было.

Девушка, что казалась уснувшей, и увидела, как заскучавшая Симона, озираясь, открыла верхний ящик у прикроватной тумбочки и что-то там взяла—как потом оказалось, деньги,—и спрятала их за резинку чулка. Поправив на себе модное—какое ещё поискать надо!—платье и сделав лицо усталым от неучтивости к ней, стала ожидать ушедшую к телефону.

А вот и она, как говорили тогда, заявилась—не запылилась. Весёлая, не остывшая от разговора по телефону. Она ещё под впечатлением, но, что-то вспомнив, открыла верхний ящик тумбочки. Рука замерла над ящиком, блуждающая улыбка куда-то подевалась у студенточки. Рукой поглубже в ящике начинает искать, на лице удивление всё более с примесью страха. Искорки в глазах исчезли, морщинки на юном лице обозначились. Руками неспокойными какие-то дамские штучки перебирает. Вокруг тумбочки шарит, на свободную

койку Симону просит пересесть. Под своей кроватью пакеты ощупывает, на проход, где светлее, их тянет.
— Де-воч-ки,— дрожащим голоском зовёт тех, кто в дипломных работах будет утверждать о важности манёвренности строительного комплекса.— Деньги… вчера только получила,— всхлипывает.— По-те-ряла. Из дома прислали,— губки у неё стали какие-то беленькие. Под тумбочку заглядывает, рукой шарит. Вздыхает неровно.— Две недели ещё до стипендии,— что-то бормочет, упоминая гарниры из макарон, картошки.— Горох уже видеть не могу,— себе под нос, чуть слышно.

Те двое советуют искать лучше, припомнить: не положила ли куда? Выказывают сочувствие всхлипывающей, ладошками щёки от слёз вытирающей. Понимают: несладко ей будет на горохе-то.

Как это бывает в драме, в самом апогее её, тут и откинула от себя какую-то тряпку та, что как бы спала. Щупленькая такая, сразу видно — из дотационного района она: ни росточка в ней, ни формы, а сколько же зла в глазёнках её!
— Она взяла! Сама видела, как она шарила в тумбочке,— лицом побледнела от злобы на Симону, губы трясутся. Неэтично это совсем, пальцем на Симону показывает.— Деньги, видела, за резинку чулка спрятала,— и опять пальцем в лицо Симочки.

Негодование во всех жестах её, сказавшей как-то среди своих: «Как дорого, по-заграничному, одевается эта Симошка… Можно подумать!!!»

После непродолжительного, но эмоционального негодования и попыток выйти из комнаты пришлось Сермяжной, вынимая деньги, сказать:
— С вами уж и пошутить нельзя!

Со свойственным ей достоинством она вышла из комнаты с влажным воздухом и непонятным ей запахом населяющих её жильцов. «Так и не вышедших из пещеры библейского пастуха Авеля»,— вспомнила она сказанное как-то её одним из знакомых — интеллигентным, начитанным, закончившим два факультета.

О случившемся уже через час-полтора в общежитии знали все. Охотно вспоминали золотые запонки у Симоны и беременность, преувеличивая размер лысины у её поклонника. Припомнили ей: она и раза не ездила со всеми копать в колхозе картошку.

В те дни на лицах её друзей, напротив, было понимание случившегося как проявление зависти, серости к тем, кто их превосходит. Грустно на это вздыхала Сима, руками разводила, выражая мысль: что с них взять?

Я учился в смежной группе с Сермяжной, и мне не хотелось верить в случившееся.

Прошло несколько трудных лет. Немного посидел, побывал в неволе среди тех, кто не пожелал играть в «массовке». А потому приписанных изощрённой пропагандой к негодяям-отщепенцам, изменникам Родины. Но нет худа без добра. Это о тех, кто перетерпел, не прогнулся под бременем клеветы.

После освобождения работал я на линейном строительстве. Монтировал котельные, системы водоснабжения, канализации, теплофикации и прочее, что в плане. Дороги разбитые, перебои с поставками материалов, оборудования. Попробуй догони Америку!

Но вернёмся к Симоне.

В тот год, о котором пойдёт речь, случилось мне отдохнуть на море. А возвращаться через столицу — захотелось пройти по её улицам, посмотреть, как там люди живут, при развитом-то социализме.

К вечеру, когда я прогуливался и вспоминал мои строительные неуспехи, чертыхаясь на бездорожье в Сибири, около меня резко остановилась машина. Из неё вышла и навстречу пошла знакомой походкой она — Симона. Как и не было прошедших лет: носочки чуть в сторону, глазки щурятся. С зеленцой такие глазки, стреляющие.
— Кого я вижу?! — на лице радость, щёчку для поцелуя подставляет, о чём я сразу и не понял.
— Как это вы смогли узнать меня из проезжающей машины? Да ещё и в зеркале заднего вида,— удивился я, рассматривая знакомые повзрослевшие черты лица с выражением радости и сдерживающего чувства превосходства. Что показалось мне естественным для Симоны, ставшей дамой незнакомого мне столичного общества.

Иначе и быть не могло, когда я увидел её двухкомнатную квартиру на Кутузовском.

«Однако»,— подумал, осматривая признаки достатка в апартаментах. Не видел я таких высоких холодильников, морозильной камеры. И чтоб в каждой комнате — по телевизору. А ручная кофемолка? Это же прежде произведение искусства, а не кофемолка.
— Располагайся,— сделала Сима широкий жест в сторону роскошного дивана.— И как же славно, что я встретила тебя,— улыбку сделала,— Именно сегодня я свободна,— устраиваясь в кресле напротив.— Ты прости, напомни своё имя,— в гостиной чувствовался незнакомый мне запах фруктов.— Я душ приму первой.

Встаёт, ко мне наклоняется. Со знакомым прищуром смотрит, указательным пальчиком по моей щеке, губам поводила, выказывая недоступную некоторым из Сибири столичную раскованность.
— Твоё полотенце,— выходя из ванной, указала на открытую в неё дверь.

Наклонилась, придерживая одной рукой махровое полотенце с сиреневыми цветами по жёлтому полю, другой доставая из холодильника бутылку с незнакомой мне этикеткой. А я, зайдя в ванную, вспомнил слово «будуар».

Разговор в постели был прерывист, между глотками вина, из того, что Сима вспомнит или увидит.

— Василий Кандинский,— назвала почти незнакомое мне имя автора мазни из геометрических фигур и обглоданных скелетов рыбок.— Из неучтённых вещдоков,— бокалом на картину в тяжёлой рамке указывает.— Ты даже не представляешь, что вытворяли они во время группового секса с молоденькими девочками. На суде я проходила свидетелем, такие они все мальчики-паиньки, а не фарцовщики-валютчики,— и я вспомнил недавнюю статью из центральной газеты о валютчиках — изменниках Родины, расстрелянных по решению суда вопреки обращению так называемого мирового сообщества.— А Кандинский — он всегда Кандинский,— ещё бокалом на картину указывает.— Надеялись, ихний президент спасёт от высшей меры. Вены вскрывали… А тот, что композитором себя возомнил, как дитё малое начал на суде скулить,— казалось, засыпает Симона.— Ты спрашиваешь, где сын мой,— вспомнила она мой вопрос,— что ещё студенткой родила? Больным амаврозом он оказался. Родился слепым, немым. Полгода грудью покормила, четыре года жил у моей дальней родственницы в деревне. Петушки деревня называется. Забавное название, не правда ли? — на меня посмотрела.

На что я кивнул согласно.

— Потом в детский дом его сдала. Инвалидов детства. Надо было и мне как-то устраиваться в этом мире. Года четыре уже будет, как навестила его с одним… ныне важным товарищем…

Повыше легла, кивнула на бутылку, глазами указала на мой и свой стаканы.

— Спрашиваешь, как мои предки? — глоток из стакана сделала. Задумалась.— Отец умер. Перед смертью долго и тяжело болел, в церковь стал ходить. Меня просил пройти обряд крещения, причаститься. Что он всё знает и что по-христиански меня любит. Видно, совсем у него «крыша» поехала, о каком-то Успении писал,— на меня вопросительно посмотрела Симона.

Я промолчал, рассудив: не место и не время теперь об этом.

— И что наши овсюговские мужики, бабы во сто крат умнее, чем он думал. А нас с Сергеем, дедушкой по матери,— улыбнулась криво,— хамствующими называет. Где-то в столе это письмо про Успение. Перед смертью, видно, совсем «крыша» поехала,— накопилось у Симоны достаточно, выговориться ей хочется.

Передо мной-то это ей совсем безопасно. С минуту помолчала — и:

— А мать за три года раза четыре уже побывала в гражданском браке. Письма мне пишет, напоминает: я её дочь,— криво усмехнулась, как это бывает у сильных.

Села, ноги с кровати опустила. Хмурится, вспоминая что-то неприятное.

— Отец её, дед Сергей, прошлой весной копыта откинул,— бокал с вином ставит на столик, снова берёт, чтобы отпить.

— Что ты о нём… так?

— В своё время он мне и помог в Москву перебраться. С нужными людьми познакомил,— роскошную спальню обводит взглядом.— Любил он о своих успехах рассказывать. О том, что уже более двадцати смертных приговоров вынесено уголовникам по его расследованиям. Кулак сжимал, выражая свою решимость борьбы с уголовниками. Всего и старше моего отца на год, а со мною, пятнадцатилетней школьницей, спать начал. Сладострастник,— в освещённой спальне хорошо видны её глаза, лицо каменное.

С этим лицом она и укладывается, на себя тихо одеяло тянет до самых глаз.

«Ну и дают эти менты,— подумал я в защиту Симы.— Вот поганец, а?»

— А в конце своей жизни дедусик Сергей оказался совсем на букву «Г»,— из-под одеяла говорит, едва разобрать можно.— У него же в сейфе было сто тысяч долларов. Долларов! — погромче.— Но в связи с убийством его каким-то из бывших подследственных следователь приобщил их к вещдокам, а суд постановил изъять их в пользу государства… Гадёныши,— со вздохом.— Бабка Нюра теперь в каком-то третьеразрядном доме престарелых обитает. Если ещё жива… Говорили, при упоминании моего имени у неё пятна на лице появляются… Крестится, проклиная. Меня во всём винит.

Симона молчала долго; глаза закрыла.

— Нет, ты посмотри, какие эти фарцовщики подонки,— одеяло потянула со рта.— При арестах у каждого из них не менее десяти тысяч долларов изъяли. Картины, монеты из золота у них,— негодует, вино со стакана на грудь капает.

Икает, оказавшаяся фригидной в тридцать лет.

Утром поздно встали. К окну Симона подошла, на проспект Кутузова смотрела невесело. Постучала баночками в «будуаре», приводя себя в порядок. За завтраком я узнал: была замужем.

— Да, была замужем,— ответила мне с лицом человека, скучающего от глупости вокруг.— Весь такой в науке он был, а головка набок, какую-то он формулу всё изобретал. Родители оба философы, тоже головкой страдали. В Питере живут, четыре комнаты, высокие потолки, обстановка — дай Бог всякому. И сын — один! К ним мы из Москвы и ездили. По праздникам. Милочкой его мать меня всё называла… Стерва. Бердяев, Бердяев,— передразнивает бывшую свекровь.— Примат свободы над бытием,— кончик язычка показала, как это бывает в детстве.— Дети-погодки у них живут, не совсем здоровые, по санаториям их возят. Деньги

есть — пусть возят, — плечами пожала. На постаревшем вдруг лице — тоска всё сильнее. — Одного человека мне жалко в этой жизни. Васю Трофимова.

И сегодня я помню этот случай. Врезался он мне в память.

Студент четвёртого курса Трофимов, вопреки правилам соблюдения техники безопасности, решил пройти по несущей балке на высоте шести метров.

«Ну-ну, покажи себя, Васенька», — задорно смотрела снизу на него Симона.

«Васька, не дури!» — кричали студентки, в глазах их неподдельный страх.

И до сих пор я помню трясущиеся руки его отца, когда мы выносили тело из морга. И как укор мне эти воспоминания — трясущиеся руки отца.

На этой печальной ноте мы и простились.

Я думал — навсегда.

Это будет скучно рассказывать, как я-то жил. Ничего яркого, а в заботах обычных, как у всех, и потому годы пролетели быстро.

Дома… Как у всех дома: дети, пока маленькие, болеют. Подрастая, тоже не оставляют без проблем. Хотелось, чтобы я получал побольше — это о супруге.

На стройплощадке автоматическая система управления строительством, скопированная с западных схем, среди понимающих это строительство у нас воспринималась как насмешка над здравым смыслом. Шутили наши: супротив нашего строителя с ломом в каждой руке не устоять западному экскаватору. Несмотря на авралы, угрозы свыше, работа велась, объекты сдавались, в День строителя в немалом количестве выдавались почётные грамоты.

Совсем перед перестройкой купил я у инвалида войны несколько соток садового участка. Инвалид был без одной руки и без ноги, но всё ещё тяжёл для своей старухи, когда ей приходилось его пересаживать из «Запорожца» — в коляску. Перевозить в покосившуюся от времени избушку. Весной и осенью к ним наезжали дети, внуки. Поработать, пошутить. На это ветеран нет-нет да прикрикнет на нерадивого, чтоб напомнить, кто в доме хозяин. И казалось мне: все довольны были вместе. Несмотря ни на что.

Как-то ветеран позвал меня подойти поближе к отделяющему нас низкому заборчику. И после: «Как жив, как здоров?» — скорбно сообщил, что его хозяйка совсем обезножела.

— Колени покраснели, распухли, болят — силов нет. Сегодня ночью плакала. Ноженьки свои не знает как положить, — головой скорбно качает инвалид войны.

Наблюдая его неподдельное сострадание, я припомнил, что нынешней весной его, заметно постаревшего лицом, привозил кто-нибудь из его детей.

С этим в памяти я и на пенсию вышел, в окно всё чаще посматривать стал. Воспоминания у меня разные. Сравнения, оценки. Как жизнь прожил и как понимать из того, что было в этой скоротечной жизни.

Прочитал я в областной газете, что нынешний перестроечный хозяин зверофермы по разведению шиншилл обанкротился. Называлась и его фамилия, приехавшего из Москвы и купившего ферму фактически за копейки. А имя обанкротившегося — Симона.

«Где нынче те, с кем я когда-то начинал жить? — загрустил, наблюдая за жизнью во дворе. — Как сложилась судьба у тех девочек-мальчиков, что пели щемящие теперь мелодии нашей юности?» К другому окну перейду, но и там, как говорил мудрец, томление духа. Вдруг вспомнится из того, что было давно. Как в другой жизни это было…

Года через три после окончания строительного института на перекрёстке больших улиц увидел я знакомого по студенческим годам. И был он, как говорят нынче, из тусующихся, где была и Симона. Увидев меня, он поспешил ко мне через улицу.

— Привет-привет, — улыбку сделал. — Тысяча извинений, но я забыл, как тебя звать. Жизнь как? Кем трудишься? — мою руку у локтя жмёт.

— Зовут Владимиром, — всматриваюсь в сероватое лицо. — Прорабом работаю на линии, по районам мотаюсь, — стал думать, что бы ещё сказать.

— Ты понимаешь, Вольдемар, тут вот какое дело: срочно нужно три рубля. И как назло, ну никого из тех, с кем знаком, учился. Тоже где-то прорабствуют. Пораньше, — в глаза смотрит внимательно — не много ли это для меня. — Отдам, непременно отдам при первой же встрече, — успокаивает, с большой надеждой смотрит. — Обязательно отдам, — говорит, сжимая в руке деньги и толкая их в карман пузырящихся, просвечивающих на коленях галифе. А на ногах — грязная обувь, возможно, оставшаяся со времён освободительных походов прежнего хозяина.

Бывая в городе, я видел его ещё раз, стоящего на большой улице и всматривающегося в лица прохожих.

И мне припомнилось другое: одна сцена в аудитории, где должна быть скоро лекция для всего курса.

Студенты заходили, рассаживались…

— Не чурайся нас, сирых, — рядом со мной оказался тот, что спустя годы начал всматриваться в лица прохожих. — Говорят, ты знаешь десять языков. Вот и скажи нам, как на вашем латышском будет… — далее последовал мат с упоминанием двенадцати апостолов.

— У нашего народа нет такого, — ответил расположившийся ниже студент из сосланных, потом

реабилитированных.—Языков я знаю пять,—говорит с акцентом рано полысевший, в возрасте к тридцати.—Но думаю изучить ещё несколько,—оборачивается, смотрит.
— Ты скажи тогда, скажи, как…— наклоняется к рано полысевшему, что-то на ухо шепчет.

На это его товарищи смеются. Рядом с Симоной—девица с заметно короткими верхними конечностями. Из деликатности она прикрывает рот маленькой ладошкой с пальчиком, на котором перстенёк. Красивый такой перстенёк, с камушком красненьким. А глаза—с лёгким прищуром. Красивые такие глазки, весёлые.

С латышом этим сидел какой-то студент из общежитских, неприметных. Прислушивался, а на лице его всё больше улыбка, какая бывает у взрослого, наблюдающего за игрой малышни, похваляющейся своими игрушками. Да, была у него улыбка взрослого, понимающего трудности роста у ещё несмышлёнышей.
— Ты что лыбишься?—не понравилось одному из «золотой молодёжи» лицо у обутого в валенки.

Молнию на куртке резко расстегнул, грудь вперёд сделал.

А надо сказать, который невидный такой—ничего особенного из одежды у него, ни лица запоминающегося. Нос картошечкой, какой бывает у русских; пальцы покрупнее чуть растопырены, согнуты. Явно приспособленные, как сподручнее топорище удерживать при заготовке дров. Или, скажем, картошку копать по осени. А он со своей улыбочкой позволяет себе, сидя на ряд ниже, ещё и смотреть.
— Что с меня взять, с нищего духом?—говорит.

По тем, кто выше, взглядом прошёлся. И ведь смотрит в глаза прямо!

Далее случилось неожиданное. У которого руки ухватистые, что-то быстро стал говорить латышу. Так же по-немецки тот ответил:
— Natürlich (естественно).

Я был недалеко и мог видеть Симону.

Неожиданно для меня её лицо стало каменным, смотрит недоброжелательно. Желваки на скулах обозначились. У той, что ещё минуту назад смотрела весёлыми глазками, колючими они стали.

В это время профессор лекцию начал читать по автоматической системе управления строительством, отмечая успехи её и водя указкой по таблице со многими цифрами. Себе он улыбался, довольный.

Но разговор этот, весьма запомнившийся мне, имел своё продолжение через два десятка лет.

В тот год в один из славных летних дней, какие бывают в Сибири ближе к осени, пришлось мне пообщаться с латышом Альгисом, ещё в студенческие годы овладевшим пятью языками, поговорить с ним на юбилейной встрече выпускников факультета.

Альгис, заметно уже постаревший, заметно пополневший, живёт теперь в Польше. Работает переводчиком, получает зарплату по европейским стандартам. Дети, внуки—всё хорошо. Только пожаловался на дороговизну снимаемой квартиры в сто тридцать квадратных метров. Перезваниваются они с этническим немцем, назвавшимся когда-то «нищим духом». (Теперь вот его имя не могу никак вспомнить. От старости это у меня.) Живёт он в Гамбурге, работает в большой проектной строительной фирме. В России не бывает, ссылаясь на дороговизну поездки. А в Австралии в отпуске—почти каждый год.

Думаю я, дело не в дороговизне, а в его нежелании, и верящего в слова «униженный да возвышен будет», побывать в местах своего унижения.

Но продолжим о главном нашем герое—Симоне, имевшей некогда походку, достойную своего имени.

Потянуло на воспоминания меня после прочтения заметки в газете о банкротстве нынешнего хозяина зверофермы. И что вместо шиншилл в клетках ночуют бездомные, совершенно опустившиеся личности. Конечно, в это я не мог поверить. Подумал о времени, что прошло, о возможных жизненных неудачах, которые могут быть у любого.

В один из таких дней я решил навестить её, имевшую неповторимую походку—носочки чуть врозь. Казалось мне когда-то: надень она ватник, а на ноги пимы сибирские—и в этом она будет прекрасна. Я хотел видеть Симу нынче. Несмотря ни на какие обстоятельства её жизни, я сел в междугородний автобус с надеждой увидеть кусочек моей давней молодости.

Часа через два я уже шёл по рабочему посёлку, оставшемуся от развитого социализма. Тропинка вильнула в сторону речки, текущей вопреки хламу в ней из автомобильных шин, холодильника, тряпок, консервных банок, битого стекла. На одной из образовавшихся запруд—нечто похожее на инсталляцию с ободранной кошкой на ободранном кресле. Пустые глазницы трупика животного в сторону ещё жилых домов направлены. Автор, причастный к прекрасному, в лапках смердящего прикрепил флажок из уже послужившего предмета дамского туалета. Он, причастный к прекрасному, без всяких там намёков этим приветствовал нынешнюю раскрепощённость нравов. Я оглянулся на пройденный путь, стекло под ногой хрустнуло. Рядом крыса голову подняла над объедками. На меня умное животное посмотрело: не опасен ли я ей? А на берегу умирающей, дурно пахнувшей речки, метрах в ста, сидела компания выпивших. Среди них два юных создания школьного возраста. Увидев подъезжающую машину, они неровной походкой прошли к мосту и, сделав позу, начали расчёсывать длинные волосы. А на лицах их—улыбки, говорившие о согласии доставить

маленькие земные радости проезжающему господину, для чего одной пришлось стать яркой блондинкой, другой—жгучей брюнеткой. Как говорят некоторые из оптимистов, там шумит уже другая жизнь.

«Да не совсем другая,—подумал я, ступая по тропе.—А куда она, каинова зависть, делась, со своей близняшкой-гордыней, чем обильно вскармливался народ наш безальтернативными руководителями, поощрявшими низменные инстинкты к „врагам народа“ и „изменникам родины“? А нынче их потомки, вскормленные вседозволенностью, живущие далеко от наших вонючих речек, не могут не испытывать ненависти к облагодетельствовавшей бывшей родине»,—всматривался я в видимые перемены вокруг.

«Рассентимент—зависть общества, всего народа становится социальной проблемой, гибельной своими последствиями для этого народа»,—вспомнил я одного сидельца на Лубянке.

«Да, близняшки они—зависть и гордыня, родившиеся одномоментно,—мог бы ныне я дополнить того сидельца из нашей общей камеры номер восемьдесят пять.—Так что всё в порядке, стабильность у нас». Осколок оконного стекла хрустнул, напомнив о трудности хождения по тропе в пересечённой местности. Я оглянулся ещё: «снял» обеих. Обеспеченным оказался господин; видно, по карману ему нынешняя жизнь.

«Всеми трудами, ратными успехами такого народа в конечном счёте дружно воспользуются другие народы». Галилеем тюремные называли того еврея, вспомнил я «кликуху» сокамерника. И величайшее уныние почувствовал от этого воспоминания.

Я стал подниматься по тропинке выше, обходя банки из-под овощей, мясной тушёнки, фруктовых соков, завезённых со всего света.

А вот и ворота: массивные, почерневшие от времени, сработанные руками ещё довоенных русских мужиков. Полотно, сделанное на века, теперь покосившееся, повисло на одном кованом шарнире. Я наклонился, чтобы пройти, и оказался на территории, представлявшей иллюстрацию к словам «мерзость запустения». Ступил на тропинку среди лебеды прошлых лет, а в ней во множестве просматривались брошенные ржавые клетки для зверьков. Тропинка обогнула кучку гравийно-песчаной смеси, напомнив, что кто-то очень давно имел похвальное желание строить. Виднелся массивный наклонившийся туалет с явными признаками отхожего места вокруг. На прислонённом к нему мотороллере без фары и двигателя сидела воробьиная стайка. Птички были веселы, радуясь осеннему солнцу, а я ступил на доску крыльца с признаками на ней давней краски.

В неосвещённой прихожей стала заметна фигура сутулой, немного на бочок, женщины, в которой я с трудом узнал ту, ради улыбки которой и я мог бы пройти на высоте шести метров, а теперь тянущей на себя шаль, какие носили старухи в послевоенной русской деревне. Она щурилась, стараясь сделать улыбку и бросая одобрительные взгляды на пакет в моей руке. В ней, с синюшными ногами в глубоких калошах, трудно было признать ту, что когда-то была дамой из общества, красиво державшей хрустальный бокал и мило рассказывающей о столичной жизни или радующейся дизайну квартиры, что практически в центре Москвы.

Я посмотрел вокруг и неожиданно вспомнил её отчество—Ниловна! Оно показалось мне естественным, самым подходящим для этой тощей, кривобокой старушенции со старческой кожей на кистях рук.

Ниловна сделала несколько шажков в сторону открытой двери в комнату, приглашая войти. В комнате посветлее её греческий нос мне показался неуместным. Более подходили её халат со следами обедов, корка хлеба на столе и мухи, радостно пошевеливающие крылышками на ней. Со старческими слезами на глазах она, помятая жизнью, молчала. А на шорох у меня за спиной сказала просто:

— Мои наследники,—почти незнакомым мне голосом с хрипотцой.

Я оглянулся на дверь, где стояли два субъекта. Один, судя по редкой просвечиваемой бородёнке, должен быть мужского пола. Другой—женщиной в платье почти до пола, под которым уже заметна зарождающаяся жизнь.

«Инцест. Брата с сестрой»,—всматриваюсь я в лица. Ни капли свежей крови в их жилах—повернулся в сторону Симоны. Но вместо приготовленных мною слов о радости встречи и поцелуя её ручки спросил:

— Как живёшь, Сима?

— Живу, хлеб жую,—после паузы.—На пенсии. По уходу за детьми ещё платят,—в сторону двери кивнула. Правую руку на столе расположила.—Почти по европейским стандартам им добилась содержания,—на меня строго посмотрела она—как в ожидании о возможных возражениях.

Ощерилась—совсем неожиданно это для меня. А я—как быть, что сказать на это—не знаю. С ноги на ногу переступаю. Оглядываюсь и вижу радость будущих родителей, наблюдающим пакет в моей руке. От вида вынимаемой из пакета бутылки глаза потеплели у хозяйки.

«Почему ты не уходишь?!—посмотрела на меня та, которой когда-то завидовала «серость».—Увидел—и уходи. Уходи!»—прочёл я мысль на её вдруг посуровевшем лице. Рядом неопределённого возраста её дети, выросшие в культурной семье. В доме огороженном, с охраной. В нетерпении они—не терпится им открыть коробку конфет известной фирмы. Под их бормотание Симона

Ниловна, справившись с пробкой, наливает вино в захватанный стакан. Постукивая им об оставшиеся ещё зубы, выпивает, встаёт как страдающая от радикулита. И устремляет на меня взгляд: «Ну почему ты не уходишь?» На дверь глазами показала.

Я вышел, осторожно ступая в сумраке коридора. На выходе, где посветлее, лежала кошка с глазами… Да, глазами «человека разумного». Похожая на ту, что смотрела на меня тридцать лет назад при аресте кагэбистами. Спустившись с крыльца, ещё оглянулся, чтобы увидеть взгляд животного, чувствующего горе других. А мне он напомнил о разработке мёрзлых грунтов ломом — один кубометр в смену. Тут и плечо заныло, напоминая о тяжести лома и лопаты, называемой «химиками» «стахановкой».

Уже возвращаясь, к моему немалому удивлению, в зарослях лебеды я увидел большую клетку, накрытую брезентом, а поверх ещё и плёнкой. В клетке — мужичок совершенно неопределённого возраста. Откинув полог, он грелся на осеннем солнышке. Кажется, он был нетрезв, судя по его бессмысленному взгляду и бормотанию вслед мне. (А я не к месту подумал о своей боли, оставшейся после французских гуманистов, не дававших мне, молодому, бездомному, спать ночью. В кустарнике, на таком тёплом побережье Атлантического океана…)

В стороне, на что я раньше не обратил внимания, стояло низкое полуразвалившееся помещение из круглого леса. И там была жизнь: через открытую дверь виднелись вспышки экрана телевизора, слышался гомерический смех, хорошо срежиссированный. Освещённая солнышком, стояла низкорослая фигура. Судя по свисающим с груди лепёшкам, это была женщина. Наклонившись вперёд, она опоражнивала желудок. Мотая головой, размахивая энергично маленькими ручками в стороны, она опоражнивала, видимо, не только вчерашнее, но и съеденное прежде. Из покосившейся от ветра стальной трубы над крышей тихо выходил дымок. Было совсем тихо, и дымок уходил в небо прямо. Совсем тощая собачонка принюхивается к опорожнениям из желудка, хвостиком пошевеливает.

«Кажется мне, не забывают Симу и её старые друзья, — знакомыми мне показались у дамы маленькие руки. — А что Сима может сделать против? Могут и поджечь. Где же они зимой-то обитают?» Представить этого себе не могу и не желаю придумывать, где они, некогда возомнившие себя выше многих, прячутся от наступившего похолодания. С этим я и вышел со двора, всё более удаляясь от покосившегося полотна ворот на одном шарнире. Вышел, уверенный совершенно в непоколебимости законов жизни на земле. Как и сакральных знаков, сопровождающих эти законы.

Нехорошо мне бывает ночью: тоска нет-нет да сожмёт мне грудь от воспоминаний.

«А что с ним, твоим первенцем?» — спросил я Симу в ту единственную ночь с ней. Врезался же мне в памяти её тогдашний рассказ… Забыть не могу.

Вот эта история её.

«Диму я кормила грудью полгода, но, поняв, что он безнадёжно болен, без малейшей надежды на выздоровление, решила сдать в детский дом инвалидов».

Помолчала, вспоминая. Руки за голову, лепнину на потолке долго рассматривает.

«Не видел, не говорил, но узнавал по голосу.

Уговорил меня однажды тогдашний друг, хорошо известный в наших кругах, уговорил съездить в этот приют. Близко он воспринял судьбу Мити. Уговаривал: всего сто километров с небольшим, да по хорошей дороге… К вечеру и вернёмся, говорил. А дорогой всё что-то посматривал на меня».

Помолчала и…

«Что им надо от меня? — зло. — Я что, больными их специально рожаю?!» — гневалась, что капли вина с фужера на грудь падали.

«Через час с небольшим мы увидели в сосняке бревенчатый дом, какие строили мужики перед войной. А воздух скошенной травой пахнет!.. Как на покосе».

Лицо грустное, на нём мысль. На бок поворачивается, руку к столику тянет, стакан с вином на него ставит.

«Сколько лет прошло».

Откидывается на спину, ещё смотрит на лепнину. Пальцы рук неспокойны.

«Директриса нас встретила, в комнату для гостей пригласила. Чай предложила, вазочку с конфетами достала. „Бывает, и наших детей усыновляют. Тем более если родственники“, — с надеждой смотрит, с одного на другого переводит взгляд. Чашки с чаем пододвигает. Мы на это молчим, а увидев няню, входящую с Митей, и взглянув на нас с надеждой, ушла. Совсем у двери обернулась, в глазах надежда.

У нянечки улыбка на лице, одета опрятно. Диму к нам подвела, сама на диванчике в уголке устроилась. Нас рассматривает. Дима головой вертит, своими незрячими глазами как увидеть хочет. Сопровождающий меня мужчина — теперь уже давно в Москве он — в подростка всматривается, пальцы подрагивают на коробке конфет.

А Митя-то оказался весь лицом в дедушку Сергея. Но он уже не мог стать его отцом… Я-то знаю… В какой-то газете писали, что-то передаётся от прежнего партнёра», — вздыхает.

«Вот и стоит он, сын мой, перед нами — худой, штанишонки на нём короткие. Стоит, руки перед собой держит, пальчиками тихо шевелит, как ощупывает вокруг себя. А я возьми да позови:

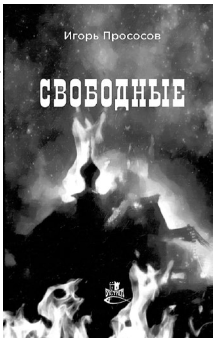
„Митенька“. Как он резко повернулся на голос… Побледнел, что, кажется, и кончик носа цветом поменялся, губы трясутся. Рот открыл, а из него—хрип со стоном. Вспомнил, узнал, ещё стонет. Шаг влево, шаг вправо делает—меня ищет. Няня, никогда не слышавшая звука из гортани мальчика, трясущейся рукой крестится. А мой тогдашний друг коробку конфет со стола берёт, на стол обратно кладёт. Ему что делать, не знает. Митя в пустоте ищет то, что когда-то очень давно было,—мать! С подбородка слёзы капают, а из груди его, из самой глубины её—стон, какой невозможно издать, не пережив величайшего предательства матери!

Вот няня старая привстала с дивана и… упала на колени, о Деснице Божьей говорит, пальцем в небо указывает. Лицо как у одной из безумствующих. А когда мы стали уходить, она просила побыть ещё, ну хотя бы немножечко. На коленях просила, руку к нам тянула. Говорила, что Митю обижают и дети смеются над ним,—вслед нам, уходящим, говорила. На оставленную нами коробку конфет „Закат над Москвой“ указывала».

И когда я вспоминаю встречу с Симоной Сермяжной, оторвавшейся от берега, но так и не приставшей к другому, я чувствую близость её судьбы в ответе на её давний московский вопрос: что есть Успение? Нет тайны и в том, откуда взялись на небе миллиарды звёзд и почему оно, наступит час, свернётся как свиток, а родившийся слепым—родился для славы Божьей.

Но всё равно, всё равно сжимает в груди при воспоминании о страдающей, не по возрасту состарившейся, безнадёжно больной женщине.

ДиН ревю



Игорь Прососов

Свободные

Москва: «Снежный ком», 2020

«Трижды он видел, как полыхали русские православные церкви,—и всякий раз их поджигали русские православные люди.

Итак, это был третий раз, И он очень хотел ошибиться—в конце концов, первые два случая остались там, на далёком фронте… Кто-то—неужто за левым плечом?—беззвучно рассмеялся. Так уж и на фронте?

…Неважно!

А важно жадное пламя, что вгрызалось в дерево стен, упавшие стропила, оранжевые отблески огня на закопчённых окладах в глубине развалин.

Вот застонала и рухнула колокольня. Столб искр взметнулся в ночное небо—огненный двойник упавшей воздвигся в ночи.

Развеялся.

Тихо шипел дождь на углях. Молчала не по-хорошему толпа, собравшаяся на деревенской площади.

С церковью было кончено.

…Тремя часами ранее он брёл от полустанка, кляня на чём свет стоит дождь, темень, слякоть, раскисшую дорогу, наконец превратившуюся в чистую *дрыгву*—так называли то полесское болото, где он убивал и умирал последние годы.

А всё шальной Поезд, чтоб ему пусто было,—вместо того, чтобы свернуть на стрелке на Беловодск, покатил по основной ветке дальше, на восток, к Уральским горам.

Впрочем, оно и к лучшему. Время было неспокойное, и компания в пути подобралась та ещё. В дурно сколоченных теплушках мирно соседствовали драпавшие с фронта дезертиры, замучившие гармошку, подозрительные личности полубандитского вида—комиссары Временного, следующие с продразвёрсткой на места, и уж вовсе бандиты форменные, настоящие, никоим образом никого не стеснявшиеся. Ещё была кучка запуганного вида интеллигентов и крестьян, на которых никто не обращал внимания.

В целом поезд напоминал Россию в миниатюре—и Антохин никак не мог взять в толк, почему вагон ещё не в огне.

Спи вполглаза, держись за кобуру с маузером и молись тихонько, чтоб пронесло,—таков был для него последний отрезок затянувшегося пути домой.

…В общем, хорошо, что состав прошёл мимо родных мест. Подобных людей видеть рядом с домом не хотелось. Плохо, что пришлось выскакивать в ночь на полустанке, на холод и морось…

Плохо, но ничего страшного…»

Виталий Пырх

Сюрчиха

Недавно пересматривал старые фотографии; есть у меня такая привычка — время от времени покопаться в своём домашнем архиве. И попался на глаза снимок, где мы с отцом, оба с лопатами в руках, стоим в саду возле огромной горки сваленных в кучу яблок.

Снимок снят во второй половине шестидесятых годов прошлого века, когда я, отслужив своё в армии, вернулся домой, в Запорожье, и сразу же впрягся без лишних слов помогать родителям «по хозяйству».

Жили мы в своём доме на окраине города, на шести сотках жирной украинской земли, доставшейся моему отцу на заводе «Запорожсталь» в первые годы после войны. Прежнее жильё, где квартировали мои родители, поженившись перед самой войной, было разбито немцами, и хочешь не хочешь, а надо было обустраиваться на новом месте.

Вот мой отец и выбрал по совету цехового профкома городскую окраину, где можно было не только построить дом, но и обзавестись собственным огородом с садом. Жили в те времена трудно, и на счету была каждая копейка.

Фотография эта запомнилась мне ещё и потому, что, будучи уже на третьем курсе факультета журналистики Уральского государственного университета в тогдашнем Свердловске, я показал её в ряду прочих своим однокурсникам, с которыми жил в общежитии. И те принялись с интересом её рассматривать.

— Вот это картошка! — воскликнул удивлённо Борис Кортин, ближайший мой университетский приятель. — А ты же говорил, что она у вас, на Украине, плохо растёт.

— А ну-ка дай-ка мне, — потянулся к снимку Виктор Хлыстун, второй мой сосед по общежитской койке. — О-го-го… В два кулака клубни!

В ответ я только рассмеялся. В те дни мы как раз вернулись в Свердловск с колхозных полей после студенческой картошки в сентябре и потихоньку начинали готовиться к предстоящим в университете занятиям.

— Какая там картошка, — пожал я плечами. — Это не картошка…

— А что?

— Яблоки. Которые слегка подпорчены червями и которые падают на землю. Мы их так падалкой и называем. А сейчас с отцом мы всё это будем закапывать в землю. Восстанавливать, так сказать, плодородие чернозёма…

— Закапывать яблоки в землю? Ну вы даёте…

Мои удивлённые друзья долго ещё вертели этот любительский снимок в руках, не веря своим глазам, и недоверчиво при этом цокали языками, в то время как я увлечённо стал рассказывать им о главном дереве нашего семейного сада в Запорожье — об огромной, как баобаб, яблоне.

Помню, как ещё в 1949 году, когда только мы начинали обживаться на новом месте, отец привёз с большого городского базара тонкий и хрупкий яблоневый прутик и торжественно вручил его матери. Тогда же я услышал от него и новое для себя слово: «Безгуда». Так назывался сорт.

Прутик этот посадили в самом центре садового участка, он прижился и со временем превратился в мощное и раскидистое дерево, к которому впору было потом экскурсии водить. Его гладкий, как у ореха, ствол с трудом удерживал густые, по пять-семь метров в длину, ветки, подпираемые с земли мощными подпорками. Иначе они не выдержали бы тяжести созревающих плодов и сломались бы в первый же урожайный год.

А плодоносила яблоня через год, год она «отдыхала». Но даже и в это время, находясь «на отдыхе», она не забывала порадовать своих заботливых хозяев пятью-шестью ящиками отборных ароматных плодов, вкус которых снится мне до сих пор.

Зато когда наступал урожайный год…

Уже начиная с самой весны, все домочадцы были заняты только одним: поиском деревянных ящиков для предстоящего урожая. Пацанами мы их просто «тырили» возле магазинов, подбирали на «летучих» рынках, выпрашивали у сердобольных продавщиц…

И всё равно ящиков никогда не хватало!

Потому что в урожайный год «Безгуда» приносила около сотни вёдер огромных и очень красивых яблок, аккуратные штабеля ящиков с которыми по праву занимали почти половину вместительного отцовского входного погреба.

Я и сейчас вижу эту картину: спускаешься в погреб по слегка отсыревшим от конденсата бетонным ступенькам и чувствуешь приближающуюся прохладную свежесть… А когда открываешь

настежь входную дверь, то тебе в лицо ударяет такой яблочный аромат, что просто захватывает дух!

Какая с этим парфюмерия сравнится? Кальвадос, да и только…

И надо сказать, что «Безгуда» производила яблоки очень высокого качества. Лежали они в отцовском погребе, не портясь, до следующего урожая, и это была для меня сущая му́ка. Уже можно было нарвать и попробовать в саду яблоки нового урожая, тот же «Белый налив», например, а мать заставляла доедать ещё и прошлогоднюю «Безгуду».

Ну не выкидывать же её на помойку?!

Поэтому я, откровенно говоря, этот сорт яблок не очень любил. Слишком увесистыми и сытными были «безгудовы» плоды, много не съешь.

Другое дело—тот же «Белый налив», о котором я упомянул. Удивительный сорт: те яблоки, что под таким названием завозятся в Красноярск из Китая или из Центральной Азии с Кавказом, и рядом с ними не лежали. У нашего «Белого налива» плоды были кисло-сладкие, очень нежные и красивые. Надкусишь—как будто бутылку холодного шампанского откупорил…

Помню, как тогда впервые по телевидению начали показывать ставший впоследствии культовым сериал про Штирлица и как мы все с нетерпением ожидали наступления вечера и начала очередной серии. А какое кино без фруктов на столе?

Вот я и готовился к просмотру фильма особенно тщательно, так как именно на мне лежала обязанность: каждому приготовить то, что он больше всего любил.

Для матери, например, надо было нарвать и помыть пару груш—больше всего она любила «Немку». Действительно, вкусные и очень сочные груши.

Отца ждал всегда с десяток «Мушкаток»—это тоже сорт груш, но они, в отличие от «Немки», небольшие по размеру. Зато возьмёшь в рот—вяжут, как айва.

А для себя я готовил всегда, если был сезон, целое ведро только что сорванного «Белого налива». С такими яблоками можно было не только телевизионные сериалы смотреть, но и всю свою жизнь прожить, если надо, не сходя с дивана.

— И куды воно в тэбэ влазэ?—с удивлением говорила моя мать, когда я доедал последнее яблоко из такого ведра уже на титрах заканчивающегося фильма.

Я только усмехался в ответ: а вот влазит…

Однако нашу «Безгуду» я запомнил ещё и потому, что это самое большое дерево в нашем саду стало для меня жильём. На всём протяжении тёплого сезона в Запорожье—а он на юге Украины длится почти полгода, с мая по октябрь.

И связано это было с тем, что бо́льшую часть своего времени я проводил на улице и загнать меня вечером домой было для моих родителей настоящей му́кой.

Вот мать и решила: а зачем лишний раз тормошить спящих домочадцев, чтобы мне открывали дверь, она у нас закрывалась изнутри, если можно поставить под ту же «Безгуду» просторную кровать, и «нехай вин спыть там»?

Ночи на юге тёплые, дожди у нас летом случаются не часто…

Идея мне эта понравилась, и вскоре я возвращался уже с улицы домой когда захочу. Никого при этом не тревожа и никому не мешая спать.

Но как быть с увесистыми, по семьсот-восемьсот граммов каждое, яблоками, которые нет-нет да и срывались вниз с высокого дерева на землю? Не слишком ли это опасно—подставлять под них свою голову ночью?

Решить эту проблему, как это ни странно, «помогли» комары. Они в днепровских плавнях всегда водятся в неимоверном количестве, а так как неподалёку от нашего дома пролегала балка с протекавшей по ней неширокой речкой, густо поросшей камышами, то чего-чего, а комаров ночью хватало и у нас.

Днём, в жару, они, конечно, летать опасались. А вот как только солнце скрывалось за горизонтом и какая-никакая свежесть, а всё же появлялась в воздухе, то вслед за этим, надрывно и непрерывно зудя, как выискивающие свои цели истребители, появлялись в воздухе и комары. Спасу от них не было никакого!

Не производила тогда советская промышленность каких-либо защитных средств от кровососов, видимо, было не до этого, а если и производила, то нам они были неведомы.

Вот я и попросил у матери, чтобы укрываться под яблоней, зимнее ватное одеяло—ни одному комару оно было не по зубам!

Так я потом и спал, укутавшись плотно, с головой, в ватное одеяло, надёжно защищённый как от жаждущих моего тела кровососов, так и от падающих на голову с дерева яблок.

Оставлю в одеяле небольшую щель для вдыхания свежего воздуха—и сплю себе спокойненько, умаявшись за длинный, как мне тогда казалось, день. Сплю до двенадцати, а то и до двух часов дня, приводя этим в искреннее изумление окружающую публику.

— Хай поспыть,—добродушно отмахивалась мать, видя недоумение на лицах соседей.—Щэ успие набигаться…

Как в воду глядела моя добрая и мудрая мама…

А между тем яблоки с нашей «Безгуды» падали на мою надёжно защищённую одеялом кровать всё чаще и чаще. Когда отец был моложе, то у него хватало сил не только на то, чтобы отработать

смену на заводе, но ещё и возиться по дому — что-то там подремонтировать, полить в огороде, покопаться в саду.

А когда он вышел на пенсию и стал постепенно стареть, сил поубавилось, и обрабатывать, как в прежние времена, садовые деревья ядохимикатами, защищая их от плодожорки и других природных вредителей, стало труднее. И сад с годами стал терять свой образцовый вид.

Дети к тому времени уже разъехались. Я в поисках счастья подался на Крайний Север, брат с сестрой перебрались в городские квартиры, и остались мои старики на хозяйстве одни.

А много ли одному надо? Тех же яблок, например?

И хотя моя мать по привычке по-прежнему каждое лето ещё закатывала огромное количество консервированных помидоров и огурцов, готовила баклажанной икры на зиму, варила варенья, компоты («А якщо диты прийдуть в гости?»), но мало-помалу родительский энтузиазм проходил, и сад ветшал, а следовательно, и природных вредителей в нём становилось больше.

Помню, как, приехав в очередной раз «на побывку» домой из Воркуты, я впервые отметил эти следы начинающегося запустения. Сидим мы с отцом под накрытьем — это что-то вроде летучего бунгало, устроенного во дворе из брезента и виноградной лозы, разговариваем, а прямо у нас на глазах спускаются на паутинках с растущей рядом яблони извивающиеся на солнце гусеницы.

Плодожорка!

— Что ж это такое, отец? — вскочил я удивлённо с дивана.

Но тот в ответ только равнодушно махнул рукой. И философски добавил:

— И нам хватэ, и червам. Хай едят...

Что-то они временами ещё пытались спасти, заготавливая сухофрукты, но когда увесистые мешки с ними заполнили весь домовой чердак, бросили и это.

Сизифов труд!

И вот тут подошёл я, наконец, к главной героине своего рассказа, а всё, что было написано до этого выше, это не более чем исторический фон, без воссоздания которого многое было бы непонятно читателю.

Уж и не знаю, как в других местах, а там, где жил я, соседей называли не по имени, а по фамилии. Причём перевирая её в украинской интерпретации.

Скажем, стряпает, например, моя мама пирожки, а была она в этом деле непревзойдённой мастерицей. И по ходу этого занимательного процесса сразу же упакует их с десяток в эмалированную мисочку, аккуратно обёрнутую марлей, и протянет её мне:

— Виднеси цэ для Павлючыхы, хай покуштуе...

Я беру из её рук миску и несу горячие пирожки Павлюкам, которые жили от нас по соседству через один дом. Потому что так на нашей улице тогда было принято.

И не только пирожками делились друг с другом соседи. Многие в те времена держали и коз, и свиней, и кур, и даже коровы у некоторых были. А где хранить мясо, молоко, масло? Разорённая недавней войной страна холодильников ещё не производила...

Вот люди и выкручивались, как могли.

Заколол, скажем, свинью живущий от нас за три дома по улице Кнырык, и через какое-то время «от Кнырычхы» шёл к нам гонец, неся в руках хороший шмат свежака — свежеприготовленной свинины. Из которого моя мать могла в считанные минуты приготовить такой деликатес, как домашняя украинская колбаса. Или же пустить соседское мясо на борщ. Чтобы потом, через какое-то время, отправить по обратному адресу примерно такой же кусок свежеполученной свинины, но уже из своего хозяйства.

А вот для Сюрчихи, как мне помнится, я ничего не носил, потому что жила она от нас через улицу и, видимо, относилась уже к другому околотку.

Я даже не знаю, где и кем работал её чоловик, то бишь, по-русски, муж. Их угловой дом стоял на пути к рейсовому автобусу, соединявшему наш посёлок с центром города, так что пройти, минуя его, было невозможно. А конечная остановка автобуса была метрах в ста пятидесяти от нашего дома.

Идёшь на автобус или с него по дороге домой и видишь, что в саду или в огороде у Сюрчихи кто-то копается в земле. Чаще всего это была она сама, хотя временами там я замечал и хозяина. Довольно высокого, сухопарого мужчину, редко когда вступавшего с кем в разговор.

Был он, как говорится, при этом большим любителем Бахуса, что никогда в наших краях особо не поощрялось, хотя и не осуждалось категорически.

При том адском физическом труде, как я понимаю, который повсеместно практиковался в разорённой войной стране, по-другому было, видимо, нельзя. Не выдерживал иначе чрезмерных физических нагрузок человек.

И я прекрасно помню те времена, когда возле всех проходных завода «Запорожсталь», а было их по периметру предприятия не менее двух десятков, в круглосуточном режиме исправно функционировали небольшие деревянные хибарки с привычным названием «Киоск», в которых идущий после смены рабочий люд легко мог отовариться таким согревающим предметом, как «Московская водка» или «Украинская горилка», выпить полулитровую кружку холодного пива или же просто слегка перекусить — съесть на закуску пару-тройку свежеприготовленных пирожков.

Причём цены на всё это были вполне божеские. Скажем, тот же пирожок, причём очень хорошего качества, стоил сущие копейки — в зависимости от начинки. Самый дешёвый, с картофелем, — четыре копейки, с капустой — шёл по пять, и только пирожки с ливером или с мясом стоили дороже — от семи до десяти копеек.

Причём в них были настоящее мясо и настоящий ливер, а не растительный белок или соя, как это практикуется сейчас.

Потом, правда, уже в хрущёвские времена, эти питейные заведения у заводских проходных начали одно за другим закрываться, пока не исчезли совсем. И теперь на их месте густо колосится степной бурьян…

Был у Сюрчихи, помимо её мужа, ещё и сын, Сашко, единственный, как мне помнится, в семье. Тоже такой же неразговорчивый, как его отец, и был он лет на пять старше меня.

Отличался он от своих сверстников, пожалуй, только своим почти двухметровым ростом, и одно время даже ходили разговоры, что его пригласили играть в городе за какой-то баскетбольный клуб. Но вот что было дальше, я не знаю.

Виделись мы с ним нечасто, просто здоровались при встрече, и всё. Впрочем, как и со всеми остальными Сюрками. Хоть и не близкие, но всё же соседи.

Один только раз у меня возник к этой семье неподдельный интерес — когда отец, вернувшись с работы, буквально огорошил нас с матерью известием:

— А Сюрко-то зависысля!..

Сразу же появились вопросы: как? почему? отчего?

Но этого никто не знал. Отец, правда, не преминул, конечно, съязвить при этом матери, назидательно глядя на неё, что Сюрчиха, наверное, крепко пилила его день и ночь за то, что тот иногда выпивает. Вот человек и не выдержал, повесился с горя…

Моя мать этот намёк пропустила мимо ушей, а только вздохнула горестно. Всё ж таки жалко человека, да и как теперь Сюрчиха будет управляться одна?..

А я, проходя теперь частенько мимо Сюрчихиного дома, волей-неволей поворачивал в его сторону голову и облегчённо вздыхал, видя, как тётя Нюра, так её на самом деле звали, уже только одна копошится на своём огороде или в саду.

Но с годами и она начала сдавать, становилась всё суше и суше, как-то даже незаметнее, пока, наконец, настолько сгорбилась и согнулась, что без сучковатой деревянной клюки не могла уже и шагу ступить.

Такой она мне и запомнилась — с деревянной клюкой в чёрных и костлявых руках, сгорбленная и седая… А потом я уехал из Запорожья и домой теперь наведывался только наездами летом.

Помню, как радостно встретили мои родители первые горбачёвские перемены, и особенно начавшиеся послабления в предпринимательской деятельности.

Нет-нет да и на их улице стали появляться прыткие «покупци», отношение к которым у старых людей было поначалу доброжелательным. Они приезжали на окраины города на видавших виды легковушках, знакомились со стариками, осматривали в их садах плодовые деревья и тут же, на корню, скупали урожай. Чтобы потом, на другой день, перепродать его с выгодой для себя на городских базарах.

Для людей, у которых фрукты, как правило, наполовину пропадали, это было сродни чуду, подарком свыше. Такие покупатели сами лазали на деревья, сами срывали плоды и аккуратно упаковывали их в деревянные или в картонные ящики.

И тут же расплачиваясь за них с хозяевами.

Причём цены они устанавливали вполне божеские. Например, десятилитровое ведро калиброванных абрикосов, а такие абрикосы не уступают по величине персикам, однако на порядок их вкуснее и нежнее, они брали у стариков за три советских рубля. В то время как на большом городском базаре в Запорожье, где я сам покупал их для варенья, те стоили всего на рубль или два дороже.

И жизнь городских окраин, где и созревало девяносто процентов того, что продавалось потом на городских рынках крупного промышленного центра, заметно оживилась. Люди почувствовали реальную выгоду от своих садовых насаждений и стали ухаживать за деревьями.

В том числе и мой отец. Обрабатывать весь сад, как в прежние годы, ядохимикатами он уже, конечно, не мог, но зато я часто его видел с секачом в руках, обрезающего засохшие ветки, формирующего крону деревьев.

Словом, рынок, пока ещё тот рынок, советский, пришёл и на наши городские окраины…

Потом, правда, сказалась наша славянская терпимость или толерантность, называйте это как хотите, но мало-помалу местных покупателей на наших улицах стали вытеснять кавказцы. Мы их по национальностям ещё не различали, но торговаться они умели. Не продашь как нам надо — ночью сами бесплатно оборвём.

И старики сдавались. А цены на фрукты (правда, только закупочные!) резко пошли вниз…

Но и это было всё же намного выгоднее, чем закапывать урожай в землю. К тому же машины у новых хозяев жизни были поновее, попрестижнее, держались они все гуртом, кучкой, да и по деревьям сами не лазали, а привозили с собой всякий бездомный люд, с которым расплачивались, как я это не раз видел, не наличными деньгами, а какой-то мутноватой, коричневого цвета, жидкостью.

По-видимому, чачей, как я теперь понимаю… И родителям моим это очень не нравилось.

Однако же, вкусив «жыву копийку», как говаривала моя мать, люди не отказывались от хорошей добавки к неплохим тогда пенсиям, заработанным на заводах, особенно пройдя недавно по очередной в нашей стране волне борьбы с нетрудовыми доходами. Ты попробуй всё это вырастить, довести до ума, а уж потом объявляй их нетрудовыми — так считали на нашей улице.

И в один из таких летних августовских дней матери захотелось свежих арбузов и дынь с рынка, а в государственной торговле на них ещё был не сезон. Арбузы, правда, в магазинах уже были, но только херсонские, а матери хотелось «Огонька», да и продавались они для юга ещё дороговато.

Словом, была передо мной поставлена задача: нарвать пару вёдер лучших наших груш, «Немки», доставить на рынок, там продать, а на вырученные деньги купить бахчевых.

Подходить же отцу к дереву, я это знал, было строжайше запрещено. Во-первых, в таком возрасте по деревьям уже не лазают, и у него вестибулярный аппарат был давно на нуле. А во-вторых, постарев, отец перестал различать цвета, и его всегда почему-то стало тянуть на зелёные плоды, в то время как рвать для продажи, да и для еды тоже, надо было только спелые.

В общем, получив задание, я вскарабкался на «Немку» и в течение получаса наполнил два десятилитровых эмалированных ведра отборными душистыми плодами.

А так как груши были действительно на загляденье, то я, не слезая с дерева, попросил у матери ещё два пустых ведра: уж если кутить — так кутить…

Их я, не слезая с дерева, заполнил их с такой же скоростью, как и два первые. А спрыгнув затем на землю, с удивлением обнаружил, что плодов на «Немке» почти не убавилось. Так, еле заметно, чуть-чуть…

Но теперь встала другая проблема: как всё это дотащить утром до автобусной остановки? На помощь отца я не рассчитывал — ему после двух перенесённых уже инсультов делать это было опасно.

А нести по два полных ведра в одной руке никак не получалось. Хотя мать аккуратно связала их по два полотенцами, но четыре ведра сразу оказались неподъёмными и для меня.

Донести я, быть может, и донесу, но что потом скажет мой остеохондроз?

И тогда я предложил метод переноски всевозможных тяжестей, не раз мной опробованный на практике во время моих частых переездов по стране: перенести всё это до автобуса «жабьими шажками».

— А это как же? — оживился отец.

— Да очень просто. Вы стоите и ждёте меня. А я с двумя вёдрами иду от вас по дороге метров тридцать-сорок. И, поставив их так, чтобы их было видно, возвращаюсь за теми, что у вас. В то время как вы в это же время идёте на моё место. С вашими вёдрами я прохожу уже метров шестьдесят-восемьдесят, и потом всё снова повторяется.

На том мы и порешили. И, довольная тем, что нашлось решение этой, казалось бы, неразрешимой проблемы, мать бережно завернула сверху груши марлей (чтоб не пылились!), и я их отнёс на ночь в погреб.

А утром, встав спозаранку и наскоро перекусив, я вынес эти вёдра из погреба, и мы «жабьими шажками» направились в сторону автобусной остановки — первый автобус отправлялся в центр города по расписанию без пятнадцати минут шесть.

Один «шажок», второй, и постепенно мы проделали с отцом почти половину пути. Как вдруг он остановился и стал пристально вглядываться через забор на Сюрчихино подворье — мы в это время как раз поравнялись с её домом.

— Нюра, це ты? Шо ты там робышь?

Ночи в конце августа стремительно прибывали, но всё-таки было уже полшестого утра, и на востоке начинало розоветь.

Вглядевшись в расползающуюся темноту, я увидел лежащую на огороде человеческую фигуру, в руках у которой была с коротким черенком лопата.

Это была Сюрчиха!

Услышав моего отца, она на мгновение затихла, потом повернулась в нашу сторону и немножко приподнялась, опершись на локоть.

— Це ты, Петя? (Так звали моего отца.) На базар едете? А я копаю картошку, хочу зварить на завтрак!

— А почему лёжа? — не унимался отец.

Сюрчиха с ответом помедлила.

— Так я уже давно не хожу. Радикулит проклятый. А исты-то треба!

Отец постоял ещё немного, гмыкнул негромко, потом повернулся ко мне:

— Ты бачишь, яка людина?.. Ходить не може, а картошку в огороди копае…

Однако надо было спешить, и мы снова всё теми же «жабьими шагами» устремились вперёд, к автобусной остановке. И когда рейсовый автобус наконец подошёл и мы погрузились в него (кстати, ещё один небольшой штришок для нынешнего чиновничьего люду: весь автобус был набит вёдрами с дарами здешних садов, но никакой платы за их провоз в общественном транспорте при советской власти не требовалось. Как никогда не платил я за это и в тогдашних поездах, хотя ежегодно увозил из Запорожья в заполярную Воркуту по полтора-два центнера различного груза — огурцов, помидор, варенья, консервов… Объявление такое, правда, висело в вагонах, что бесплатно разрешается провозить в поездах только

тридцать пять килограммов ручной клади, но ни разу проводники не воспользовались своим правом оценить мой багаж. Наверное, понимали, куда люди едут…), то мой словоохотливый обычно отец, у которого в знакомых было пол-Украины, неожиданно смолк и всё повторял тихонько про себя: «Яка людина…»

Но вот, наконец, мы у цели: в нескольких десятках метров от нас—центральный рынок Соцгородка, или, как мы его называли в обиходе, Шестого посёлка. Отсюда инженерная элита ещё первых сталинских пятилеток уходила и на возведение Днепрогэса—он менее чем в сотне метров от посёлка, и на объекты могучего промышленного комплекса—Днепростроя, дым от работающих там сейчас заводов застилал половину лазоревого запорожского неба.

Пройдёшь от рынка к Днепру пару коротких переулков—и сразу выходишь на громадную фигуру самого высокого на Украине памятника Ленину, установленного на съезде к днепровской плотине «вид вдячного украинского народу». Что не помешает, однако, тому же народу несколько десятилетий спустя распилить многотонную бронзовую фигуру вождя на куски. А также сбить громадные ордена с барельефа плотины, установленного на круче.

Но всё это произойдёт потом, спустя много лет, а пока соросовские учебники, по которым будут учиться потомки, ещё пылятся на книжных складах, и нет никакой возможности у наших «партнёров» доставить их на территорию тогдашней могучей советской империи.

Тем же способом, «жабьими шажками», мы добираемся с отцом до торговых рядов рынка, и я с любопытством осматриваю знакомые деревянные сооружения. Когда-то, работая в Запорожье редактором заводской газеты, я делал её здесь, прямо на рынке. Да вот же она, эта типография, так и стоит! И пока корректор читала газетные тексты и вносила в них необходимые правки, у меня в запасе было два-три часа свободного времени, которые я либо проводил здесь, питаясь чебуреками, либо же шёл прогуляться к Днепру.

Так что этот рынок, рынок Соцгородка, я изучил как свои пять пальцев.

Чего только на нём не было! Ну, на фруктах и овощах останавливаться не стоит, это и так понятно—всё-таки Украина. Но в его миниатюрных магазинчиках можно было найти любой товар, разве что кроме волшебной лампы Аладдина. И одежда, и обувь, и предметы искусства и быта, и даже такие вещи, как парфюмерия и косметика. Причём всё это—только отечественного производства, без всякого китайского и турецкого ширпотреба.

Помнится, как-то отец попросил меня купить ему навесной замок—для чего-то понадобился по хозяйству, и я отправился за ним в первый же свой рабочий день в магазин «Скобяные товары».

Боже ж ты мой, какой меня ждал выбор! Несколько сот замков было аккуратно выложено на длинном деревянном прилавке, и каждый со своим фокусом. И тоже все—только советского производства.

Правда, при покупке они в лучшем случае упаковывались в невзрачную картонную коробочку с неразборчивыми шрифтами на лицевой стороне, а то и просто в жёлтую (руду, как говорят на Украине) бумагу, но что касается их качества…

Это были настоящие т-34, а не замки. Работали, не ломаясь, по сто лет.

Рассказываю я о второй половине семидесятых годов прошлого века, когда правящая в стране партия выдвинула лозунг: «Товары—для народа!»—и эти товары действительно хлынули на отечественный рынок мощным потоком. Кто же знал тогда, что всех нас ждёт впереди?..

Быстро сориентировавшись в ситуации, отец легко нашёл на деревянных рядах «своё» место: несмотря на раннее утро, людей на рынке было уже много,—и уже оживлённо о чем-то говорил со своими соседями.

А я, поставив возле него четыре наших ведра, отправился на другой конец рынка, в весовую, куда всегда была небольшая, в несколько человек, очередь.

Дождавшись своей очереди, я протянул весовщице десять копеек и получил от неё что-то похожее на автобусный билет. Этим я оплатил так называемое местовое, то есть место на рынке, дающее мне право торговать чем угодно на нём до самого закрытия. То есть—до восьми часов вечера.

Но мне нужны были для торговли ещё и весы, поэтому я добавил весовщице ещё двадцать пять копеек и получил от неё желаемый измерительный прибор—вместе с коробочкой, в которой находились гири.

И на этом всё. Никакого залога, ни денежного, ни иного, оставлять тогда не полагалось. Как и платить каких-либо дополнительных налогов—тоже. Всё это входило в те тридцать пять копеек, которые я оставил властной, но доброжелательной на вид женщине, занимающейся на рынке организацией торговли.

Нелишне было бы напомнить сегодняшним властям и о том, что пенсия у моего отца была максимальной для рабочего человека в те времена—сто двадцать рублей в месяц. Поэтому я и запомнил от него, окончиъвшего в своей жизни всего три класса церковно-приходской школы, что главный рыночный постулат звучит так: «Рынок—это когда всем выгодно: и государству, и продавцу, и покупателю. Иначе это не рынок, а махлёж…»

Мой отец постоянно придумывал новые слова, и в этом ему не было равных. Поэтому это слово «махлёж» я впервые услышал от него, ещё не умея

читать. По-видимому, он образовал его от украинского слова «махлюваты», то бишь обманывать.

Но понимали его все без перевода.

А пока он занялся установкой полученных от меня базарных весов, тщательно подгоняя их под стрелку, чтобы не было «махлежа», а мне дал задание пройтись по торговым рядам и выяснить, кто чем торгует и почём.

Я без труда справился с этим заданием, так как в те времена, о которых я рассказываю, на наших рынках продавали свой товар только люди, как сказали бы сейчас, славянской национальности. Никаких представителей с Кавказа или со Средней Азии тогда ещё не было.

Нет, правда, вру: была на рынке Соцгородка в Запорожье пара грузин, один из которых продавал аппетитного вида гранаты, которые тогда редко кто покупал (один рубль двадцать копеек за килограмм), а второй торговал специями. Душистый перец, хмели-сунели, лавровый лист (пакетик с последним стоил тридцать копеек).

Выяснив, что и как, я уже через десять минут стоял перед отцом с докладом.

— Ну шо?—повернулся он ко мне.—Чим там люды торгують?

— Груш на прилавках достаточно,—по-военному чётко доложил ему я.—Но таких, как у нас, нет. Продаются «Дули», хорошие груши, как у нашего дедушки были на хуторе. По рублю за килограмм. Есть ещё «Дюшес», за эти просят семьдесят копеек. А вот «Мушкатка», причём хуже, чем у нас дома, идёт сегодня по четыре целковых. «Немки» же ни у кого нет…

Отец в ответ только хмыкнул, довольный. У нас с собой была как раз «Немка», все четыре ведра.

— Тогда вот что,—сказал отец.—Раскрывай первое ведро и объявляй, что мы продаём по сорок копеек за килограмм.

— По сорок копеек?—удивился я.—А не слишком ли это дёшево?

— Дёшево?—в свою очередь удивился отец.—А ты хочешь, чтобы мы тут до вечера с тобой стояли? Я матери обещал через два часа быть дома.

Ну а потом он, разумеется, как всегда, добавил мне ещё и про рынок, на котором должно всем быть выгодно. В том числе и покупателю.

Но покупатель сориентировался уже сам. Увидев, какой перед ним товар, он давно выстроился в очередь, а когда узнал ещё и его продажную цену, то очередь стала расти на глазах.

Не прошло и получаса, как отец старательно упаковывал одно в одно моментально опустевшие вёдра, и я снова понёс наши весы—сдавать обратно весовщице.

Наверное, она меня запомнила, потому что, увидев, спросила:

— Что, уже всё продали?

— Дурное дело нехитрое,—ответил я ей.

И через минуту мы ходили с отцом по торговым рядам, и он выбирал для матери, да и для себя тоже, арбузы и дыни. В этом деле он был непревзойдённым мастером. А затем поспешили на автобусную остановку, чтобы уехать домой.

— А у тебе хоть гроши на дорогу осталысь?—спросил на ходу отец.

— Да что ж у меня, гривенника не найдётся в кошельке на двоих?—удивился я.—Доедем!

И через полчаса мы уже сидели дома перед матерью и выкладывали ей свои покупки. Пока я приводил с дороги себя в порядок, отец рассказывал матери о виденном утром—о том, как Сюрчиха лёжа копала себе на завтрак картошку.

— А ты шо, не знав?—удивилась мать.—Так вона давно вжэ не ходе. Ей и хлиб с магазина Корнийчыха прыносэ…

— Яка людина… Яка людина…

Мать опять нас покормила, а я снёс в погреб привезённые с базара арбузы и дыни—чтобы те остыли к обеду. А поднявшись наверх, застал на столе большую эмалированную миску, доверху наполненную свежими, пахнущими мятной эссенцией пряниками.

— Цэ, пока вы ездили на базар, я напекла,—гордо сказала мать, заранее предвкушая восторг, с которым мы воспримем с отцом это известие.

Эти материны пряники, помимо всех своих прочих качеств, обладали ещё и уникальной способностью долго не черстветь, а месяцами сохранять удивительную свежесть, как будто их только за пять минут перед этим вынули из печки.

Как это всё у матери получалось, так и осталось для меня загадкой.

Попив с пряниками чай, я было потянулся за вчерашними газетами, отложенными мною для такого случая, но почитать не пришлось. Меня ждало новое задание.

Мать, убрав со стола посуду, достала из посудного шкафа небольшую эмалированную миску и доверху наполнила её пахнущими на весь двор пряниками.

— Возьмы, виднесы Сюрчыхи… Тилькы мыску там не оставляй.

И вот я опять иду той же дорогой, по которой мы шли с отцом утром на автобус, только в руках у меня не наполненные грушами вёдра, а завёрнутая куском марли миска с пряниками. Осторожно открываю калитку Сюрчихиного дома и сразу же попадаю под истошный лай беснующейся на цепи собаки.

Можно было бы отдать ей для успокоения один пряник из миски, и собака бы угомонилась, но мне стало его жалко, и я, прижимаясь спиной к стене давно не белённого дома, с трудом протиснулся на крыльцо.

Сюрчиха лежала на веранде на тахте точно в таком же положении, в каком мы её видели с отцом утром на грядке. Опираясь на локоть левой руки.

На неубранном столе стояла тарелка с недоеденной отварной картошкой и что-то там ещё, на что я старался не смотреть.

Увидев меня, она широко раскрыла от удивления свои глубоко сидящие на изрезанном морщинами лице глаза, но я назвал себя, и чёрное от старости лицо просветлело. А когда я сказал ей и о цели своего прихода, несчастная старуха даже попыталась улыбнуться.

Но мне с ней чаи гонять было некогда, и, быстро высыпав принесённые пряники прямо на стол, рядом с недоеденной картошкой, я попрощался и так же, как и заходил, вышел. На этот раз почти не обращая внимания на рвущуюся на цепи собаку…

Позже я не раз вспоминал этот эпизод, настолько крепко он врезался в память. И каждый раз не переставал дивиться мужеству этой старой и разбитой жизнью женщины. Уж кто-кто, а она, опираясь на свою деревянную клюку, легко могла бы сесть на углу своего садового участка и положить перед собой какую-нибудь старую посудину.

И люди, я уверен, кидали бы ей туда свою мелочь, чтобы облегчить Сюрчихино существование.

А вот не села. Решила до конца своего бороться за жизнь, бороться и не сдаваться.

Многие ли из нас могли бы похвастаться такой же волей?

Не знаю, как кто, а лично я перед такими людьми снимал бы свою шляпу. А то…

Иду на днях мимо Покровского храма в Красноярске, а навстречу мне детина, сильно пахнущий дешёвой сивухой.

— Подай, отец, на пропитание калеке…

— Тебе? Калеке? Да у тебя морда поросят бить просит, а ты на церковной паперти клянчишь! Сколько в Сибири земли свободной, сколько простора, возьми лопату, вскопай делянку в тайге и живи в своё удовольствие. Чего вы все боитесь? Начальства? А Бога, значит, не боитесь?

Или собрался недавно на утренний променад от своего дома до Октябрьского моста по острову Татышеву — и, не доходя немного до Стрелки, натыкаюсь на новое «приключение». Выбегает из полуподвального кафе здоровый верзила, от которого, несмотря на ранний утренний час уже разит шампанским.

И тоже не просто так, а с просьбой:

—Отец! Дай, пожалуйста, денег — нечем расплатиться в кафе…

Тут я в ответ прямо-таки взорвался:

— С какого такого бодуна ты это решил, что я специально вышел в такое раннее время в город, чтобы раздавать свою пенсию прохожим? А заработать себе денег не пробовал? (Тут внизу, откуда он только что выскочил, раздался заливистый женский смех). И потом, милый человек, запомни одну вещь, раз ты назвал меня своим отцом: никогда не бери в свой рот спиртного, покуда пушка на Караульной горе не выстрелит. Иначе пролетит твоя жизнь — ты и не заметишь…

Ей-богу, думаю, что услышь эти мои слова Сюрчиха, она была бы довольна…

А завершить свой рассказ мне хочется ещё одним штришком из прошлой жизни — из своей последней поездки в Запорожье, случившейся как раз в канун последующего потом на мой родной город бандеровского нашествия.

По давно заведённому правилу, когда бы я ни приезжал в родные края и где бы я при этом ни останавливался, но, отдохнув от дороги, назавтра всегда с раннего утра непременно отправлялся на деревенское кладбище к своим родителям. Они завещали нас похоронить их там, «у ставков», и мы это желание выполнили. И ещё один раз я бывал на этом сельском погосте, где были их могилы, — за день до своего отъезда из Запорожья.

Так было и на этот раз, когда ранним августовским утром я вышел из рейсового автобуса на родной городской окраине, где прошли мои детство и юность, и полной грудью вдохнул воздух, к которому привык с малолетства.

Располагается деревенский погост в красивейшем, на мой взгляд, месте, километрах в четырёх от нашего дома.

Идти к нему надо через поля, через лесозащитные полосы, появившиеся здесь ещё в сталинские времена, но потом без хозяйского ухода превратившиеся в непроходимые чащи.

Чуть выше кладбища тянется железная дорога, соединяющая Днепровский промышленный район с Донбассом и с Кривым Рогом.

По ней почти беспрерывно идут или шли раньше грузовые поезда — с углём и рудой, с лесом и лесоматериалами, с различными строительными грузами.

Чуть реже ходили по ней пассажирские поезда, по которым мы узнавали, оторвавшись от дома, точное время.

Прошёл, скажем, на Запорожье с восточной стороны рабочий поезд — значит, ровно два часа дня. А если он идёт от нас в Ясиноватую или в Пятихатки — то это половина четвёртого.

Рядом с кладбищем напряжённо гудит от многочисленных машин, спешащих к южному морю, важнейшая для когда-то великой страны автомобильная магистраль Москва — Симферополь. Которая после распада Советского Союза почему-то вдруг превратилась в одночасье в автомобильную дорогу Харьков — Симферополь. А уж как она называется теперь, в наши дни, я и не ведаю…

Но строилась эта дорога на моих глазах, сразу же после войны, и строилась немецкими военнопленными, которым мы, с разрешения своих матерей, таскали хлеб и другую снедь, меняя всё это на хозяйственное мыло.

А подпирает сельское кладбище снизу большой и полноводный ставóк, представляющий из себя

запруженную речку, густо поросшую камышом. Здесь проходило моё детство, здесь я постигал свои первые азы.

На противоположном берегу ставка́ располагается небольшое сельцо, которое именовали в те времена «Запорожской Сечью» — по названию одноимённого колхоза. Хотя на самом деле, это я выяснил уже потом, по карте, оно носило совсем другое название — Чапаевка. А как его кличут сегодня, известно разве что Богу…

Сойдя с автобуса, я захожу в стоящий рядом с остановкой магазин, покупаю для себя четвертушку водки, что-то из закуски, бутылку минеральной воды и иду в нужную сторону. Причём минуя своих родственников, не заходя по дороге даже в родительский дом, в котором я жил и вырос.

В такие минуты я хочу побыть один и не хочу общаться ни с кем.

По дороге на сельское кладбище меня встречают кусты садовой ежевики, которые упорно отвоёвывают себе место под солнцем у дикорастущей здесь малины. И я, не останавливаясь, прихватываю ладонью отливающие синевой ягоды, с удовольствием ощущая во рту полузабытый вкус детства.

Изредка встречается абрикос, но его время прошло, хотя если очень постараться, можно ещё отыскать на деревьях чудом уцелевшие переспевшие плоды — бо́льшая их часть давно уже осыпалась на землю и гниёт, перемешавшись с листьями.

Также перегнивают и жёлуди от превратившихся в густую дубовую рощу саженцев, за которыми мы ухаживали на уроках ботаники в школе.

Дорога ведёт меня к ставка́м, конца которым я не знаю. Когда-то специально попытался даже было найти самый первый из них в этом непрерывном ожерелье ставков, да так и не сумел. Проехал несколько часов вверх по течению реки на велосипеде, а они всё идут и идут один за другим. Наверное, так до самого Донецка.

Солнце в августе жарит почти как в июле, поэтому вся растительность в поле давно выгорела. Но возле ставков, в ложбинках, замечаю кровавые степные маки, жёлтые стебли дрока, голубые, как небо над головой, колокольчики…

Когда-то в детстве я знал названия всех без исключения трав в округе и очень этим гордился. Как и знанием звёздного неба, например, географии…

Но знания без применения забываются, и я просто срываю встречающиеся мне цветки, формируя букет.

Его я всегда оставляю на могиле своих родителей, потому что, кроме нас, своих детей, моя мать больше всего в жизни любила цветы.

А что может быть красивее цветов полевых?

Так что когда я приблизился к церковной ограде, то в руках у меня уже был увесистый букет.

Но на этот раз, войдя на погост через кладбищенскую калитку, я не пошёл, как обычно, сразу к своим, а завернул чуть наискосок, чтобы подойти к ним с другой стороны.

Что-то меня так заставило пойти, а что — не пойму…

Но сделал пару шагов в сторону — и остолбенел: прямо передо мной стоял врытый в землю покосившийся крест, изготовленный из уже изрядно поржавевших металлических труб. Давно заброшенная могила, поросшая жёлтой, выгоревшей на солнце травой.

Но я стою перед ней и не могу оторвать своих глаз. Потому что читаю на металлической табличке, приваренной к кресту, имя усопшей: А. Н. Сюрко.

А под фамилией — стёртые временем и зимними дождями (не разобрать!), неряшливо написанные даты её жизни и смерти.

Так вот где ты, оказывается, Сюрчиха…

Всё правильно, могила одинокая, самого Сюрка здесь нет, самоубийц по православным канонам на кладбищах не хоронят, так что удивляться нечему.

А что касается травы, то в этом тоже нет ничего необычного. Кто сюда, на деревенский погост, будет ездить из города? К своей живой матери её сын Сашко ходил, как мне помнится, редко, а зачем она ему теперь, мёртвая?

Впрочем, обрываю я себя, чужая душа — потёмки…

А потом ещё и добавляю шёпотом укоризненно, что не судите сами — не судимы будете…

Какое-то время стою возле этой одинокой и заброшенной могилы, а потом, для верности факта, обхожу её несколько раз по кругу.

Всё верно, это она.

Ну и на что мне эта женщина, скажите, пожалуйста? Ведь я о ней ничего не знаю. Ни-че-го! Ни того, с кем она была раньше, где работала, как жила, ни даже того, как пережила войну…

Чужой абсолютно человек…

Я даже не знаю того, когда она умерла.

А вот поди ж ты, не даёт почему-то покоя, хоть умри. Даже в Сибири о ней вспоминаю иногда. Будто она для меня самый близкий родственник. Ещё немного — и сниться начнёт, если доживу до этого, конечно.

Вспомню, как мы идём мимо её дома с отцом, а она лежит в своём саду на боку и копает сапёрной лопаткой себе картошку на завтрак…

Какая жажда жизни! Какой неуёмный человеческий дух!

«Яка людына», говоря отцовскими словами…

Я отщипываю от своего роскошного полевого букета добрую треть собранных по дороге на ладбище цветов и осторожно возлагаю их у подножия давно не крашенного металлического креста.

Спасибо тебе за науку жизни, тётя Нюра! И пусть тебе будет пухом наша жирная украинская земля!

Геннадий Соловьёв

Пьянству бой!

Если смотреть, долго не отрываясь, на небо, то кажется, что это не ветер гонит облака, а ты сам куда-то несёшься в неведомую даль, со страшной скоростью уносишься от родных мест, и ничто не в силах остановить этот сумасшедший полёт, от которого замирает сердце.

На обрывистом глиняном берегу Енисея, поросшем невысокой травой, стояла одинокая фигура человека с непокрытой головой, хотя осенняя верховка была жгуче-холодная, и сильные порывы гнали частую волну с белыми гребешками. Он, туго запахнув старый солдатский бушлат, стоял без единого движения, не отрываясь, смотрел на беспорядочно бегущие облака или опускал взгляд на набравшую уже осенней свинцовой тяжести енисейскую воду. Спроси в деревне про Иннокентия Константиновича Коротких—сперва будут уточняющие вопросы, потом ответят» а спроси, как найти Кешку-остяка—и никаких вопросов, все сразу понимают, о ком речь. Много лет назад, когда Иннокентий ходил в школу-интернат, в его классе было два ученика с одинаковым именем, и, чтобы не путать, они стали называться с приставками: русский белобрысый мальчик—Кешка-белый, а нашего героя окрестили—Кешка-остяк. Сейчас и его можно смело назвать Кешка-белый: в его нестриженой густой шевелюре не было видно ни одного чёрного волоса. Из-за небольшого роста и сухости телосложения голова казалась несоразмерно большая, делая его похожим на гигантский одуванчик. Казалось, что налетит сейчас порыв ветра посильнее—и осыплется это серебро. Налетал порыв, который чуть шевелил живую шапку из волос Иннокентия. Было непонятно, любуется этот человек осенней природой или кого-то ждёт, а может, и вообще стоит бездумно, не зная, чем себя занять.

Со стороны деревни к реке шёл плотный мужик небольшого роста. Хоть он был без бороды, но по мятому лицу определить, сколько ему лет, было трудно, а давно не стиранная энцефалитка делала его похожим на запившего экспедишника. Заметив Иннокентия, он отправился в его сторону. Подойдя, молча закурил. Потом, глядя на пари́вших против ветра чаек, спросил: «Болит?» Кешка чуть кивнул головой. «Всё пропили?» Опять еле заметный кивок согласия. «Да-а-а…—протянул осуждающе человек.—Говорил ведь я тебе: давай сразу отоваримся на промысел,—а ты: потом мол, деньги на товарку отложил отдельно. А я чувствовал, что так всё и закончится». Он зло метнул окурок под берег. Кешка стоял молча. Его смуглое лицо оставалось безучастным. Подошедший опять стал закуривать.

Это был Анатолий, Кешкин напарник по охоте и рыбалке. Человек этот помотался на Севере по экспедициям. На словах имел кучу профессий, на деле не знал ни одной в совершенстве. Так—всё поверхностно. В посёлке одно время стояла геологическая экспедиция, в которой работал Анатолий. Потом она уехала, а ему понравился этот тихий таёжный посёлок, и он остался. Анатолий тоже любил выпить, особенно на халяву, но головы никогда не терял. Жизнь научила его быть расчётливым, и какая бы пьянка ни завязалась, он никогда не пропивал все деньги. Тайга вокруг посёлка, особенно по берегам Енисея, давно была распределена между местными жителями, и приезжему человеку почти невозможно найти участок тайги, чтобы начать охотиться. Устроившись кочегаром в школьную котельную, он потихоньку прощупывал почву среди охотников, чтобы его взяли напарником, но везде получал отказ. На близлежащие угодья хватало своих желающих. Матёрые охотники, которые уходили в дальние угодья на месяцы, сразу говорили: «Нет, мы привыкли одни, нам хватает общества собак». Неизвестно, остался бы Анатолий и дальше жить в деревне, если бы весной пьяный Кешкин напарник не вывалился из ветки и, запутавшись в собственной рыболовной сети, не захлебнулся. Подружившись с бесхитростным Иннокентием и выручая его на похмелье, он достиг своей цели. Кешка дал согласие взять его напарником на свои родовые угодья, расположенные по обоим берегам Енисея ниже деревни километров тридцать.

Прошло несколько лет. Они привыкли друг к другу. Анатолий не борзел, не старался ухватить побольше долю от рыбалки и охоты и частенько выручал пропившегося Кешку деньгами. Оба они были несемейные и добывали почти одинаково, но у Кешки как не было мотора и лодки, так и не стало. Анатолий же потихоньку прибрёл старые моторы и лодку. В технике он разбирался, и это старьё стало служить ему исправно. Получилось

так, что безлошадный Иннокентий стал зависим от своего напарника. Заброска, бензин и отоварка продуктами легла на плечи Анатолия. Продавая рыбу на проплывавшие самоходки, он завязал знакомства с работающими на них людьми и стал готовить рыбу уже под заказ. Не ждал, как Кешка, случайных покупателей, которые иногда появлялись в деревне. В конце концов их рыбный бизнес перешёл под управление Анатолия. Это устраивало обоих. Кешка, как коренной житель из малочисленных народов Севера, имел льготы на рыбалку и охоту, и Анатолий, как напарник, тоже к ним пристроился. Бесхитростный кето торговать не умел, и у него уходило всё за бесценок. Совсем по-другому пошла торговля, когда за неё взялся прошедший огонь и воду, повидавший жизнь Анатолий. Но получаемые Кешкой от своих трудов деньги ему впрок не шли—всё пропивалось, и не столько он выпивал сам, сколько лилась она, родимая, в чужие ненасытные глотки. Анатолию давно это надоело, и относился он к Иннокентию как к чемодану без ручки—нести неудобно и бросить нельзя; без Кешки он был—пришлый, никто.

Отоварившись на Анатольевы деньги, они выехали на участок. Анатолий подрядился наловить рыбы на самоходку, которая заберёт её последним рейсом. Гружёный «Прогресс-4» потихоньку шёл вниз по течению недалёко от берега. Птица уже вылетала на галечник, и они надеялись что-нибудь добыть. Гружёная лодка чутко реагировала на перемещение груза. Собакам было на это наплевать. Они нервно ловили утренние запахи и возбуждённо перебегали с борта на борт, этим раскачивая лодку. Осень, пробуя свои краски, только чуть-чуть мазнула по осинникам и березнякам слабым цветом, а заморозки уже тут. И намёрзший иней на пожухлой траве, и над водой разбросанный клочками туман, который создавал обманное впечатление, что это пар от тёплой воды, но брызги, попадавшие на лицо, обжигали холодом.

Ровно работает мотор на средних оборотах, толкает гружёную лодку, которая создаёт сильную волну, и та с белыми гребнями с одной стороны лодки уходит на просторы реки и там постепенно затихает на широкой груди Енисея, а с другой стороны, встречая на своём пути берег, недовольно бьётся в него и брызжет пеной от негодования, что он остановил её бег. За утро видели пару глухарей, но собаки своей суетой и лаем их спугнули, так что к избушке подъехали без добычи. Сбавив обороты мотора, Анатолий осторожно подводил тяжёлую лодку к берегу. Нетерпеливые собаки, насидевшись в деревне на цепи, не дождавшись, попрыгали в воду и тащились за бортом, хлебая воду, на привязках, веселя Анатолия, который, смеясь, приговаривал: «Что, совсем нюх потеряли? Вспоминайте таёжную науку».

Изба стояла к Енисею боком, смотря на его просторы большим окном с переплётами, застеклённое стеклом, а не обитое мутным целлофаном, как во многих таёжных зимовьях. Отпустив собак с привязки и оттащив на галечную косу лодку, сразу пошли осмотреть зимовье. Среди высокой травы и густого тальника выделялась набитая тропа, показывая, что гости здесь были нередки. Возле избы чернело большое кострище, заваленное обгоревшими жестяными банками. Двери были распахнуты настежь, и на пороге белел вырванной ватой полосатый матрац. В зимовье был бардак. Вся посуда и оставленная одежда валялись на полу, загаженные мышами. «Странно, что окно целое,—сказал Кешка, показывая на белые полосы от медвежьих когтей на стене.—У них это просто болезнь—ломать окна». Собаки, шарясь по кустам, выкапывали протухшие стерляжьи головы. Было ясно, что здесь долго жили рыбаки-браконьеры и что после их отъезда на запах от отходов пришёл медведь. «Его и винить-то нечего,—проговорил Иннокентий.—Странно бы было, если бы он не пришёл. Спасибо, что окно не тронул». Анатолий более бурно реагировал на всё это, подкрепляя своё негодование крепкими матами и не очень хорошими пожеланиями бывшим гостям.

Весь остаток дня ушёл на уборку мусора в избушке и вокруг неё и на перетаскивание продуктов на лабаз из лодки. Вечером, когда ужинали, Анатолий достал двухлитровую банку со спиртом, немного отлил—отметить заезд на промысел—и, глядя в заблестевшие Кешкины глаза, сказал: «Не раскатывай губы. Это нам до декабря».—«Да-да, до декабря»,—эхом повторил Иннокентий, кивая своей белой головой в знак согласия.

Под утро заполошно залаяли собаки. Когда Анатолий вышел на улицу, они дружно добежали до ближайших кустов, и на этом их смелый бросок закончился. Только старый Кешкин кобель Варнак убежал в тайгу, и было слышно, как его хриплый лай перемещается вслед за зверем. «Наверное, хозяин приходил,—сказал вошедшему Анатолию Кешка.—Не все, видать, выкопал захоронки рыбаков. Теперь не придёт—напугали».—«Ну и хрен с ним!—ответил Анатолий.—Кстати, ты свой новый карабин пристрелял?» Иннокентий, как коренной северный житель, получил новый десятизарядный карабин СКС. «Нет, потом пристреляю»,—ответил тот. «У тебя всё на потом,—отчего-то раздражаясь, ответил Анатолий.—А потом может и не быть. Всё надо делать вовремя»,—закончил он.

Сон был перебит, и они стали потихоньку собираться. Сегодня у них по плану была постановка сетей и заготовка дров из плавника, который Енисей-батюшка щедро распихал по берегам. Утро было пасмурное, обещая дождь—не тот, летний, короткий и шумный, после которого снова заиграет и польёт своё живительное

тепло солнышко и весь растительный мир оживёт, распространяя запах свежести, где каждая ветка или цветок вносит тонкую струйку своего запаха, создавая неповторимый букет, и воздух становится прозрачней, голубое небо кажется вымытым, а у далёких таёжных хребтов яснее и резче очерчиваются контуры,—но долгий, моросящий, весь день напитывающий всё, что можно, прелой сыростью и красящий в унылый серый цвет таёжный пейзаж. Погода стояла спокойная, и енисейская ширь казалась большим выпуклым озером, которое упиралось с двух сторон в поросшие тёмным лесом хребты.

Семь сетей поставили быстро, и когда ехали обратно, под большой каргой увидели утонувшие наплава́ своей поставленной сетки. Попались язь со щукой, а в конце сети, которая хватала течение, попала крупная, килограмм на пять, стерлядка. Рыбаки обрадовались: есть и собакам, и им добрый приварок. Оставшиеся собаки радостно прыгали по берегу, встречая хозяев. Только Варнак, познавший жизнь, сидел в стороне спокойно. Он давно понял, что собачьи восторги хозяева частенько не разделяют, а встречают пинком, чтобы не крутились под ногами. Анатолий взялся готовить обед. Иннокентий же пошёл с топором по берегу поискать подходящие брёвна для дров и расчистить к ним подходы. Собаки побежали с ним. Мудрый Варнак, видя, что хозяин без ружья, покорно поплёлся за ним просто за компанию. Молодые от избытка сил и воли гонялись за всем, что движется.

Пройдя метров двести самой кромкой у воды, где берег был галечный и очищен от всего хлама весенней водой, у подножия леса он увидел торчащие торцы плавника, заваленного весенним наносным хламом. Продравшись к ним через невысокие, но густые заросли тальника, переплетённые полёгшей травой, он постукал обухом топора по брёвнам. Звук был звонким—значит, не гнильё и просохли. Не спеша стал очищать место для распиловки дров. Весной сюда принесло сушину с корнями, она зацепилась за кусты и встала, как на якоре. К ней набило много хлама и несколько приличных брёвен. В самом конце, подрубив кусты, он оттащил в сторону целые пласты из переплетённых веток и травы. Вернувшись на это место, он рассмотрел засыпанную мелким хламом двухсотлитровую синюю бочку. Постукал—она была полная. Осмотрел пробку—она была герметично закручена. Тут закричал Анатолий, что обед готов и что пора возвращаться.

На очищенной от мусора площадке зимовья было уютно. Жаркими углями чуть поддымливал костёр, на котором булькала в ведре собачья еда. На столике, сделанном неизвестными рыбаками из строганых досок, стояло всё готовое. Разлитая по чашкам янтарная уха из стерлядки соблазняла своим видом и запахом. На земле рядом с костром стоял, посвистывая, большой закопчённый чайник. Кешка сел за стол и выжидающе уставился на Анатолия. Тот невозмутимо начал хлебать уху. Кешка не ел, а постукивал ложкой по краю миски. «Ладно, хрен с тобой,—наконец-то сказал Анатолий.—Под такую уху грех не выпить»,—и достал из-под стола уже разведённый, заранее приготовленный спирт. Вышло по полстакана. Самое то для аппетита.

Когда отдыхали, Иннокентий рассказал Анатолию про найденную бочку. «Да-а-а, бензин был бы не лишний»,—дымя папиросой и щуря от сытости и удовольствия глаза, ответил тот. Немного вздремнув после обеда, пошли смотреть Кешкину находку, взяв с собой гаечный ключ, чтобы отвернуть пробку в бочке. Выкатив её из кустов на чистое место, поставили на попа. «Ну, Кешка, молись своим богам, чтобы это был бензин, а не соляра»,—сказал Анатолий, откручивая пробку. С хлопком слетела с последнего витка резьбы пробка. Анатолий с вытянувшимся лицом усиленно нюхал воздух. Потом, как-то странно посмотрев на Иннокентия, спросил: «Ты что просил у своего идола?»—«У какого идола?»—переспросил Кешка. «Ну, у своего бога».—«Ничего я не просил,—ответил, насторожившись, Иннокентий.—А что такое?»—«Ну, если меня не подводит мой нос, то это что-то спиртное»,—ответил Анатолий. Кешка быстро подошёл к бочке и, сунув свой плоский небольшой нос чуть не в самую дырку, сильно втянул воздух. «Спирт! Ё-моё, точно—это спирт»,—заикаясь, возбуждённо проговорил он. «Погоди радоваться,—пробурчал Анатолий, отодвигая напарника.—Может, дрянь какая на спирту. Надо проверить»,—и, закрутив пробку, пошёл к избушке за ведром.

Да, это был чистый спирт. Нацедив полведра, они сидели за столом уже хорошо поддатые, ошалевшие от такого подарка, который им подкинул кормилец Енисей. Обсуждали, как с ним поступить. Рассуждал в основном Анатолий. «Литров по двадцать оставим себе. Твоя доля будет храниться у меня, а то через неделю ты уже моим спиртом похмеляться будешь. А когда под весну кончится завезённая водка в магазинах, мы откроем свою торговлю спиртным по нашим ценам». Иннокентий только поддакивал и кивал головой.

Утро. Скрипнув, отворилась дверь у зимовья. На пороге появился с опухшим лицом Анатолий. Осмотрев мутным взглядом стол, растасканные собаками неубранные чашки и котелок с оставшейся ухой, тихонько ругнулся. Подойдя к чайнику, долго пил прямо из загнутого носика. «Ведь не хотел напиваться,—думал он,—но как-то всё получилось, что не заметил, как усидели почти литр спирта. Нет, так дело не пойдёт,—решил он,—это дело надо контролировать». Кое-как растолкал Иннокентия. Попив чаю и похмелившись, они поехали проверять сети.

Рыбы попалось полтора мешка, но в основном это была чёрная рыба (щука, язь, окунь). Приехав, начали разделывать рыбу, но перед этим ещё раз похмелились. Настроение улучшилось, Анатолий стал даже напевать какую-то блатную песенку. Прибрав рыбу и поджарив на постном масле щуку, сели за стол. Кешка насторожился: «Послушай, идёт моторка снизу». Теперь и Анатолий услышал звук мотора. Слышно было, что лодка пристала к их лодке. Убежавшие на берег собаки подняли лай, послышались голоса. К ним поднимались два человека. Зоркий Кешка разглядел кокарду на фуражке, сказал Анатолию: «Кажется, инспекция».

Подошли два мужика: молодой с карабином, у пожилого с кокардой висела на ремне кобура. «Привет, мужики,—сказал пожилой.—Стоят ваши сети?»—«Наши»,—ответил Анатолий. «Районная охотинспекция»,—представился пожилой. Спросил, кто такие и есть ли разрешение на оружие, видя висевшие ружья с карабином. Анатолий сходил в зимовье и вынес нужные бумаги. Проверив, тот сказал: «Всё в порядке. Только почему стоят крупноячейные сети? Браконьерите?» Охотники молчали. «Ладно, разберёмся,—сказал старшой, потом спросил:—Можно ли у вас попить чаю и обогреться?» Анатолий обрадованно пригласил к столу. Промёрзшие гости от спирта не отказались. Застолье затянулось за полночь, и гости остались ночевать.

Первым проснулся Кешка. Слил из кружек недопитый спирт и маленькими глотками его выпил. Посидел на чурбаке, уставившись в одну точку, пока не отпустило. Потом разжёг костёр и стал собирать на стол завтрак. Уже не остерегаясь охотинспектора, достал малосольную стерлядку, почистил картошку и поставил варить. Вскоре вышел пожилой гость. Подойдя к столу, по очереди заглянул в кружки, потом спросил Иннокентия: «Что, ничего не осталось?» Тот пожал плечами. Вышел Анатолий. Было видно, что ему тоже тяжело после затяжного застолья. Взятый из бочки спирт кончился, а показывать свою находку не хотелось. Зайдя обратно в избу, он вынес привезённую из дома двухлитровую банку. Понемногу налили. Кешка не сказал, что уже похмелился, и, к удивлению товарищей, быстро опьянел. Сварилась картошка. Анатолий слил бульон и немного подсушил её на жару, от этого она стала рассыпчатой.

Охотинспектора звали Никифорович. Он тоже помотался по свету в экспедициях, так что была тема для разговора, нашлись и общие приятели и знакомые. С Анатолием они стали почти друзья. Кешка с молодым инспектором долго не сидели. Сказалось вчерашнее застолье. Быстро опьянев, ушли спать в избу. Никифорович и Анатолий, закалённые в экспедиционных застольях, просидели до обеда. Потом Никифорович стал собираться в рейд. Анатолий попытался его уговорить ещё остаться на одну ночь, но тот был непоколебим. Растолкав молодого, они быстро собрались. Анатолий предложил им забрать оставшийся спирт, но Никифорович твёрдо отказался.

Оставшись один, Анатолий не знал, чем себя занять. Надо было проверять сети, но напарник спал пьяный. Он разжёг костёр, поставил варить собакам и, сев к столу, закурил. После застолья с разговорами он себя почувствовал одиноко, навалилась какая-то дикая тоска. Против его воли в голову лезли невесёлые мысли, что ему уже далеко за пятьдесят, а он одинок—ни семьи, ни родных. Где-то под Смоленском живёт младшая сестра, но он давно уже потерял с ней связь и не знает, где она и как живёт. Друзей тоже нет. Есть просто знакомые. Кешка? Так с ним свели обстоятельства, да они и нужны друг другу. Сколько лет они уже вместе? Лет пять, а он про жизнь Иннокентия не знает почти ничего, да и тот о жизни Анатолия ничего не знает, кроме отдельных эпизодов, связанных с пьянкой или охотой. Подняв голову, стал смотреть на небо, где бежали облака с рваными краями, принимая всякие причудливые формы, напоминающие плывущих зверей и что подскажет фантазия. В памяти всплыла песня Шевчука про осень. Последние слова из неё: «Что же будет с Родиной и с нами?»—с новым смыслом кольнули душу Анатолия. С какой-то внутренней злостью налил больше полстакана разведённого спирта и выпил, не закусывая. Пошатываясь, снял ведро с собачьей едой, постоял возле стола, глядя на оставшийся спирт, после раздумий налил ещё полстакана и выпил, опять не закусывая. Не дойдя до двери, его сильно качнуло. Последняя порция спиртного по мозгам ударила основательно. До нар добрался уже на автопилоте и рухнул на них в глубоком забытьи.

Иннокентий проснулся от какого-то непонятного звука. Лёжа, не открывая глаз, соображал. Потом до него дошло, что кто-то что-то лакал. Открыв глаза, увидел, что дверь распахнута и молодой кобель, поднявшись на задние лапы, лакает воду из чистого ведра, стоявшего на скамейке. Под руку попался точильный брусок, лежавший на столе. Бросок был точный. Собака, опрокинув ведро, с визгом выскочила на улицу. Иннокентий с удивлением глянул на лежавшего Анатолия: тот всегда спал чутко, а здесь от грохота опрокинутого ведра и визга собаки даже не пошевелился. Выспавшийся Иннокентий пошевелил головой. Вроде болит не сильно, а ощущение, что она набита плотно ватой. Поднялся и хотел поднять с пола упавшее ведро, но его вдруг повело куда-то в сторону, и если бы он не схватился за край нар, то наверняка бы упал. «Эк меня!»—удивился он. Выйдя на улицу, увидел, что опять натворили собаки. Чашки и котелки были растасканы, а стоявшее у костра ведро опрокинуто, и собачье

варево перемешалось с золой и углями. «Сами собак приучаем пакостить»,— с раздражением подумал он. Поймав крутившегося рядом молодого Анатольева кобеля, стал его тыкать носом в вылизанный котелок, приговаривая: «Нельзя, нельзя!» — и отоварил того палкой вдоль хребта. Варнак, лежавший в стороне, прижав уши, отвернул от этого безобразия морду. Кешка знал, что его старый кобель себе такой вольности не позволит, и, подойдя к нему, ласково потрепал по голове, приговаривая: «Молодых учить надо, а ты лежи, лежи!» Собрав растасканную посуду, он нашёл под столом уроненную собаками банку со спиртом, благо она была закрыта, и он не пролился.

Кешка разжёг костёр и поставил на него чайник и собачье ведро. Одному похмеляться не хотелось, и он пошёл будить напарника. Подойдя к нарам, стал его потихоньку толкать. Тот, что-то пробормотав, перевернулся со спины на бок и продолжил сон. Иннокентий стал толкать сильнее, приговаривая, что пора вставать. Анатолий продолжал лежать молча, и было непонятно, спит он или просто лежит, закрыв глаза. Кешка толкнул его посильнее с приглашением вставать и идти пить с ним чай. Вдруг Анатолий обложил его таким матом и послал его в такое место, что Кешка от неожиданности и обиды протрезвел. А обидчик продолжал как ни в чём не бывало лежать. Озадаченный Иннокентий вышел на улицу. Он так и не понял, во сне его обматерили или осмысленно. Достав солёной рыбы и хлеба с луком, он налил себе спиртного. Кешка не привык пить один. Когда выпиваешь в компании, то мысли тебя не одолевают, находится общая тема, идёт разговор ни о чём. Можно провести весь вечер, проговорив о незначительных вещах и в спорах. Но организму требовалось лечение. Кешка развёл в кружке спирт, получилась полная. «Многовато,— подумал он,— половину оставлю». Сделав маленький глоток, поморщился: крепко развёл,— и, отщипнув хлеба, закусил. Оглядел хмурую от сырости тайгу и далёкий противоположный берег Енисея. Желтеющий увядшими листьями тальник красиво оттенял черноту ельника, обрываясь на каменистой корге. Кешка отхлебнул ещё из кружки и снова уставился на далёкую коргу.

Это были его родовые угодья. Он прожил здесь всю свою жизнь. Под той коргой он мальчишкой ставил с отцом сети, а за поворотом на песках стоял их брезентовый чум. Перед глазами замелькали картины далёкого детства: как он купается вместе с сестрёнками, хлопотливая мать, жарящая рыбу на рожне и пекущая хрустящие лепёшки. Сейчас никого нет. Он остался из их рода один. Отец со своим родным братом утонул. Потом от туберкулёза умерли мать и сестрёнки.

Иннокентий протёр намокшие глаза и, сделав глоток из кружки, вяло закусил. Умный Варнак как почуял настроение хозяина. Подойдя к нему, положил морду на колени. Это так растрогало Кешку, что он отдал ему приготовленную закуску. И когда он ещё раз отхлебнул из кружки, то со страхом осознал, что родней и ближе этой собаки у него никого нет.

Кешка был тихий человек. Он никогда не спорил и не ругался, но робким его назвать было нельзя. В интернате всегда находился какой-нибудь балбес, который, видя тихого и слабосильного мальчика, выбирал его для своих насмешек и дурацких шуточек. И когда у Кешки кончалось терпение, тот неожиданно получал жёсткий отпор с царапаньем, кусанием и битьём чем попало под руку. Кешка был бесхитростным и доверчивым, чем пользовались его сверстники, ведь дети не задумываются над тем, когда поступают жестоко. Главное, чтобы было смешно. Когда он подрос, стал просто сторониться окружающих. В школе учителя поднимали тему, кто кем хочет быть. Ребятишки называли разные профессии. Это были лётчики, капитаны, геологи, меньше было врачей и учителей, и только Кешка говорил своим тихим голосом: «Буду охотником!» Как ребёнок бежит к матери, когда его кто-нибудь обидел или ему больно, так Кешка от всего уходил в тайгу. Это были недалёкие от посёлка походы, но и этого хватало, чтобы его сильнее и сильнее манила лесная жизнь со своими пугливыми и осторожными обитателями. В четырнадцать лет он напросился к промысловым охотникам, у которых угодья были недалеко от деревни, белковать. После той осени он уже не мог жить без охоты.

Иннокентий стал вспоминать, какой по счёту этот сезон. В его жизни было пропущено два или три года промысла. Кешка стал перебирать в памяти свою жизнь: выходило, где-то тридцать восемь осеней и зим он провёл на охоте. Вспомнил Генку по прозвищу Тугун, своего бывшего напарника, который утонул пьяный. Кешка с усмешкой подумал, что было бы, если бы они с Генкой нашли бочку спирта. Вернее всего, Генка предложил бы завалить эту бочку в лодку и отвезти в деревню, чтобы устроить общую пьянку. Кешка даже тихонько захихикал, представив эту картину. Анатолий никогда это не сделает! Ишь, торговать будем. Кешка мысленно хотел представить, как он торгует спиртом. Ничего не получалось. Интересно получается, плыли в его пьяной голове мысли, я зарабатываю деньги и покупаю водку, а здесь, выходит, спирт продал — и на эти деньги снова купил водки? Зачем этот круговорот? И, взяв кружку, допил до дна. На старое такая порция спиртного подействовала оглушающе. Иннокентий сидел, опустив голову, ни о чём уже не думая, медленно проваливаясь в какое-то равнодушное забвение.

Пакостный молодой кобель Анатолия подошёл к столу и, косясь на Кешку, потянул чашку

с хлебом. Тот, услышав шум, раскрыл глаза. Схватив сковородку, постарался ударить наглеца по голове, но ушлый ворюга отскочил, и Кешка ударил по банке со спиртом. Та разлетелась на осколки. Это вызвало волну какой-то оглушающей ярости, которая требовала тут же выхода. Кешка вскочил на ноги: «Убью сволочугу!»—кинулся к карабину, но, зацепившись за скамейку ногами, упал на землю, сильно ударившись. Это его почему-то успокоило. Перевернувшись на спину, он стал глядеть на бегущие облака. В голове замелькали обрывки каких-то мыслей, и он уснул пьяным сном.

Сквозь сон Анатолий услышал собачий лай. Лежал, вяло соображая, на кого это. Вернулся Никифорович? Не должен. Тут забу́хал своим хриплым басом Варнак. Это сразу вывело из дрёмы. Варнак на людей не лаял, но это и не по зверю—злобы нет, подумал Анатолий. Кое-как поднявшись, вышел из избы. Увидев лежавшего на земле Кешку, почему-то напугался и подумал нехорошее. Подойдя, он понял, что тот просто пьяный. От сердца отлегло, но стало нарастать раздражение, переходящее в тихую злобу: морда немытая, нельзя оставить—сразу нажирается до беспамятства.

Собаки, не переставая, лаяли. Выйдя из-за избушки, Анатолий увидел на одинокой лиственнице глухаря, обрадовался: мясо и похлёбка. Место было открытое, и на ружейный выстрел подойти было сложно. Он взял Кешкин карабин и, прислонив его к углу избушки, стал целиться. Как он ни задерживал дыхание и ни прижимал ствол к дереву, мушка ходила ходуном, выписывая восьмёрки вокруг глухаря. После третьего выстрела птица улетела. Раздосадованный охотник вернулся назад. Подойдя к столу, увидел осколки от банки: «Вот сука! Разбил, чтобы я не видел, сколько он выпил»,—была первая мысль, которая подлила масла в огонь. Нет чтобы карабин пристрелять или заняться делом, так он сразу ужрался, как свин! Анатолию хотелось подойти и пнуть валяющегося на земле Кешку, но он подавил это желание. Голова трещала с похмелья. Его мутило. Посмотрел на осколки—снова стало накатывать раздражение: зачем разбивать-то? Желание похмелиться было сильное, но он понимал, что один из бочки в ведро он не нальёт—много прольёт мимо, а может вообще бочку уронить. Подумав, взял шланг, которым наливают бензин. Промыл его водой и пошёл к бочке. Набранный через шланг спирт всё равно отдавал бензином, но голову поправил. Попробовал будить Иннокентия. Тот что-то мычал, говорил: «Счас, счас поднимусь»,—и продолжал лежать, не поднимая глаз. Анатолий прекрасно помнил своё недовольство, когда его поднимал Кешка, и как он его обругал. «Зря я так на него,—подумал он, сожалея о случившемся.—Дак он иначе бы не отстал!—попробовал он оправдать себя, но это мало его утешило.—Ладно, очухается—извинюсь»,—принял он решение, и на душе вроде стало легче.

Анатолий занялся хозяйственными делами, больше не трогая Иннокентия. Мысли, зародившиеся в голове о дальнейшей своей жизни, больше его не покидали. «Надо найти сестру и кончать с этой неопределённостью»,—думал он. Торопливо проплывающая самоходка напомнила ему, что у него договор поймать рыбы.

Иннокентий поднялся, когда уже еле-еле просматривался противоположный берег Енисея. Молчаливый Анатолий сидел возле костра на чурке и пил чай. Иннокентий молча подкатил другую чурку и так же молча сел. Допив чай, Анатолий спросил: «Ты зачем банку разбил?» Кешка молчал, потом молча налил в кружку чай, отхлебнув, спросил: «Похмелиться есть?» Из-за того, что его вопрос остался без ответа, в Анатолии снова стало нарастать раздражение: «Вот падла, чувствует себя хозяином! А кто ты без меня? Сидел бы сейчас в деревне, жрал бы налима со своим кобелём да таскался по улице в поисках опохмелки!» Извиняться перед Иннокентием за сказанную ранее грубость Анатолию расхотелось, наоборот, мелькнула мысль: «Правильно я тогда тебя обматерил, ишь ты—хозя-я-яин!» Кешка снова спросил про спирт. Анатолий грубо ответил: «В черепках посмотри, может, что и осталось». Кешка, помолчав, коротко рассказал, как было дело. Анатолию стало как-то неловко перед Кешкой, и он всё-таки попросил его извинить. Тот как-то поморщился и, лениво отмахнувшись, как вроде от мошки, протянул: «Да-а-а ладно!»—и уставился в огонь.

Анатолий достал отлитый из бочки спирт и налил Иннокентию. Тот, взяв кружку, спросил: «А себе?» Анатолий ответил, что он уже принял и ему больше не надо, на что Кешка сказал: «Я это не видел и один пить не буду!» Чувствуя свою вину, Анатолий налил спирту и себе. Выпили. Кешка сидел молча и, не мигая, смотрел на огонь. Анатолий рассказал ему про то, как стрелял глухаря, на что Иннокентий ответил: «Налей ещё». Анатолий стал его отговаривать, что всё, хватит, у них непроверенные сети, а он договорился заготовить рыбы. Помолчав, Иннокентий сказал: «Налей! Тяжело. Мать вспомнил, отца вспомнил, сестрёнок и Марию».—«Какую Марию?»—удивлённо переспросил Анатолий. «Мою жену»,—тихо ответил Иннокентий. Удивлённый Анатолий плеснул в кружку. Иннокентий, не глядя, сказал: «Лей полную!» Помедлив, Анатолий налил до краёв. Иннокентий долго держал её в руках, о чём-то задумавшись, глядя на огонь. Анатолий тоже молчал. Потом неожиданно для Анатолия тот вылил всё в костёр. Взметнувшееся высоко пламя высветило жёстко сжатые губы Иннокентия, отчего его лицо казалось суровым и жестоким. Анатолий с

удивлением и каким-то суеверным ощущением смотрел на своего напарника. Тот протянул снова кружку со словами: «Налей ещё!» Анатолий снова налил полную, но Иннокентий, сделав из неё глоток, отставил и взялся за недопитый чай.

Молчание затягивалось. Чтобы начать разговор, Анатолий спросил про Марию. Кешка ответил, что прожили с ней пять лет, потом она померла. «От туберкулёза?» — спросил Анатолий. Иннокентий отвёл взгляд от огня и стал смотреть Анатолию в глаза. Взгляд был нехороший, какой-то тяжёлый. Анатолий почувствовал себя неуютно и подвинулся к костру, вроде как поправить горевшие дрова. «Нет, — ответил Иннокентий. — Она замёрзла. Её нашли через неделю». Для Анатолия это была новость. «Где? В тайге на охоте?» — «Нет, в деревне», — тихо ответил Иннокентий и потянулся к кружке со спиртом.

Анатолий вспомнил, что не раз слышал в пьяном кругу про то, что когда-то в деревне стояла, ещё до них, геологическая экспедиция, и там молодые мужчины устраивали пьянки, спаивая женщин кето, у которых мужчины были на промысле, и что одна женщина, ушедшая от них пьяная, потерялась. Её нашли случайно — вырыли из снега собаки. Как она попала на зимний аэродром, остаётся тайной. Этим делом долго занималась милиция, но дело так и закрыли, не доказав никакого преступления.

«Её убили такие, как ты!» — вдруг выдал Иннокентий. Анатолий ошарашенно смотрел на него, не понимая смысла обвинения. «Как это? Объясни!» Иннокентий, отхлебнув спирта, снова молча смотрел на огонь. «Нет, ты объясни! — стал заводиться Анатолий. — А то укусил — и в сторону! Если сказал „А“, говори и „Б“», — добавил он. «Вы! Русские! Везде лезете! Учите всех, как надо жить!» — снова выдал Иннокентий, отчего у Анатолия от удивления открылся рот. «Как это?» — спросил он. «А так! — ответил Кешка. — Жили мы по своим обычаям и законам. Потом нам сказали: неправильно живёте! Надо жить вот так! Детей стали забирать в интернат, учить нас ненужным нам наукам, учить русский язык и вашу историю. А своё мы стали забывать. Затем стали делать из нас скотников, пилорамщиков, после интерната в тайгу вернулись немногие, а из женщин никто. Всем стало нравиться жить в посёлке, а вот этим (он поднял кружку со спиртом) вы лишаете нас ума и добиваетесь чего хотите». И, сделав глоток из кружки, замолчал, снова уставившись на огонь.

Анатолий, озадаченный таким поворотом, тоже молчал. Он даже представить себе не мог, что у этого вроде как неграмотного остяка такое скрыто в душе. Ему казалось, что в деревне у Кешки одна проблема — где достать водки, а охотится и рыбачит для того, чтобы было на что купить этого пойла. Задумавшись, Анатолий тоже себе налил и выпил, потом сказал: «Слушай, чем ты недоволен? Тебе дали охотучасток, у тебя льготы, ты можешь бесплатно добыть лося, тебе вот карабин дали». — «Мне вернули часть того, что у меня отобрали», — резко ответил Кешка, снова озадачив Анатолия. Помолчав, Анатолий снова сказал: «Но ведь вы жили в тайге и ничего, кроме охоты и рыбалки, не знали, а сейчас ты многое узнал. Я слышал, что когда ты был молодым, то брал в библиотеке книги и много читал. У тебя расширился кругозор».

Кешка молчал, потихоньку прихлёбывая чай. Костёр догорал, жар красивыми красками метался по раскалённым углям, между которыми трепетали синие язычки. Кинув полено в костёр, от которого поднялся сноп искр, он витиевато спросил: «Зачем знать рыбе, как живёт соболь? И сейчас я не так же рыбачу и охочусь, как мои предки! Все эти блага, которые предоставила моему народу власть, его уничтожили. Я знаю, как жили в Древней Греции и Риме, но мне в школе никто не говорил, как жили мои предки. Что я знаю, так это я нашёл и прочитал из книг, но этого мало, и это я сам захотел узнать!» Обычно говоривший тихим голосом Кешка сказал это резко. Анатолий понял, что это был крик души, к которой Кешка никого не подпускал, оберегая её от разных благодетелей. Не зная, что сказать, Анатолий стукнул своей кружкой по Кешкиной и молча выпил. Они ещё какое-то время сидели молча, каждый думая о своём.

Костёр разгорелся. Анатолий изредка поглядывал на отрешённое лицо товарища, которое то освещалось светом костра, то снова уходило в темноту, не решаясь его отвлечь от тяжёлых мыслей. «У нас завтра рабочий день», — наконец сказал он, вроде ни к кому не обращаясь. «Иди ложись, — ответил Иннокентий, — а я ещё немного посижу». Помолчав, добавил: «Пить не буду. Вот чай допью, и всё».

Под утро Анатолий проснулся от какого-то шума. Лежал, соображая, что это — дождь или ветер. По крыше застучало. «Ветер, это он ветки с осины обламывает», — догадался он. Накинув на плечи телогрейку, вышел на улицу. Дул прямой запад. «Всё! Хана сетям, — пронеслось в голове. — Так укатает и забьёт мусором, что и не поднимешь. Вот и наготовили рыбы», — съязвил он про себя. Раздосадованный, он, зайдя в зимовье, зажёг лампу. Кешка тоже не спал, лежал молча, слушая непогоду за стенами. Когда рассвело, они пошли на берег. Енисей, тяжело поднимая большую волну, с силой бросал её на галечный берег. Ударившись, она, обессиленная, с шипением сползала назад, но неведомая сила её снова гнала и била о камни.

«Что, Иннокентий, сможем отойти от берега?» — спросил Анатолий. Кешка, пожав плечами, неопределённо ответил: «Попробовать можно!» Развернув лодку носом на волну, подтащили её к воде. Анатолий стал заводить мотор на берегу,

чтобы заполнить топливную систему и чтобы на воде не было лишних хлопот с мотором. Взревевший мотор он тут же заглушил. Раскатали болотные сапоги, поставили вёсла в гнёзда, чтобы было всё готово к борьбе с волнами. Кое-как столкнули «Прогресс», который сразу занырял носом и попытался выскочить обратно на берег, но рыбаки дружно налегли на вёсла, и тот нехотя стал удаляться от прибоя. Отойдя приличное расстояние от берега, Анатолий отдал второе весло Кешке, а сам кинулся заводить мотор. Впопыхах не заметил, как ногой сорвал резиновый шланг с бачка. Мотор, немного поработав, заглох. Широкий «Прогресс» сильно парусил, и слабосильный Иннокентий не мог противостоять разгулявшейся стихии. Возившийся с мотором Анатолий упустил момент, когда ещё можно было отгрести от берега, и, как они ни махали, напрягаясь, вёслами, их выкинуло на берег. Пока поднимали мотор, им нахлестало пол-лодки воды. Сняв мотор и крепко привязав к камням затопленную лодку, они, мокрые и недовольные, пошли обратно к избушке.

Кешка сразу затопил печь и стал развешивать мокрое бельё. Анатолий же, сбросив сырое, залез в спальник отогреваться. Когда вскипел чай, сели за стол. Открыли сгущёнку, достали хлеб и сливочное масло. Кешка выпил спиртное просто так. Анатолий налил его в горячий чай, чтобы хорошенько согреться. Ветер пригнал тучу, и по крыше забарабанил дождь. Хорошо в такую погоду в тёплом и сухом зимовье. Печь, потрескивая дровами, равномерно отдаёт тепло. Собаки заглядывают в открытую дверь в ожидании какого-нибудь лакомого кусочка, брошенного хозяином. Хорошо, уютно. Непогода за окном и наполненная спиртом банка на столе располагали к разговору.

Анатолий рассказал смешной эпизод из своей экспедиционной жизни, как они глубокой осенью утопили на таёжном озере трактор, и начальник пообещал ящик водки тому, кто нырнёт в холодную воду и зацепит трос. Анатолий вызвался, и не потому, что ему нужна была водка,—ему захотелось погеройствовать перед смазливой поварихой. Ползая под водой вокруг трактора, он нацеплял на себя водорослей и тины. Трос он зацепил, но когда вынырнул, весь облепленный зеленью, грохнул дружный рёв. Смеялись все. Поварихин смех звенел среди хриплого хохота. Когда он по льду вылез на берег, его стала бить крупная дрожь, не помог и спирт. Повариха увела его на кухню в свой тёплый балок. Там быстро вскипятила чай, бухнула в него спирту и укутала Анатолия в тулуп. Он быстро опьянел. Скованность и робость прошли, и его язык заработал так, что он сам себе удивлялся. Остроумные шуточки, комплименты и так далее. С Варей они задружили. Она его выделяла среди других мужиков, которые вились вокруг неё, как комары. Потом прилетел вертолёт и привёз обещанный ящик водки. День был выходной, и мужики быстро организовали стол. Начиналось всё хорошо—чествовали героя. Когда хорошо подпили, вспомнили про Варю. Анатолий сказал, что сейчас её приведёт. Она была в балке́ одна и читала книгу. Анатолий развязно сказал, что мужскому обществу не хватает женщины, на что Варвара сказала: «Без женщин начинали, без них и заканчивайте». Слово за слово—разругались, и она его выставила на улицу. Он ей сказал какую-то пошлость, она молча захлопнула дверь. Как он потом ни каялся, она осталась непреклонна. Недели через две она сошлась с молодым геологом. Анатолий затосковал, уволился и уехал.

«Жалеешь?»—спросил Иннокентий. «Да как тебе сказать? Были у меня потом бабы, почти всех забыл, а она иной раз приснится—и такая тоска нападёт». И, помолчав, добавил: «Сам дурак!» Иннокентий, задумавшись, сказал: «А мне Мария часто снится. А если долго не снится, я беспокоюсь, что она меня забыла». Анатолий долго смотрел на Кешку, потом спросил: «У тебя другие женщины были?».—«Нет,—ответил он и спросил:—А зачем?»—«Ну как, мужику нужна баба»,—засмеялся Анатолий. «Она была мне не баба, а друг, она всё понимала».—«Она была красивая?»—снова спросил Анатолий. «Не знаю, она была мне другом. А красивый друг или нет—какое это имеет значение?»—«Да-а-а, Кешка, странный ты человек,—протянул Анатолий.—Давай выпьем за них, ведь как ни крути, а без них не очень-то хорошо. Чувствуешь себя обделённым простым человеческим счастьем». И, разлив по кружкам, не чокаясь, выпил одним большим глотком. Иннокентий, помедлив, тоже молча выпил. Проспали почти весь день.

Проснувшись, увидели, что ветер запал. Растревоженный Енисей ещё качал волнами, но было видно, что он уже не сердится, а просто не может успокоиться сразу. Световое время позволяло, и они, отчерпав воду из полузатопленной лодки, сплавали и поснимали сети. Сильной волной их поприбивало к берегу, забило и спутало с палками и всяким мусором. Сетей получилась полная лодка. Анатолий пошутил: «Ну вот, сразу и дров привезём». Сети свалили прямо на берег, выбрав из них рыбу. Стемнело, и заниматься сетями стало нельзя. Поднявшись в зимовье и попив чаю, легли каждый на свои нары. Спать не хотелось. Пить спирт тоже не было желания. Они лежали в темноте молча, каждый думая о своём.

Рано утром их разбудила воющая с реки сирена. Подошло какое-то судно. Выскочив на берег, Анатолий увидел стоящую на якоре самоходку «Колхозница». Это с её экипажем он договорился заготовить рыбу. «Некрасиво получилось,—сказал он Кешке.—Рыбы-то не приготовили».—«Возьмут в другом месте»,—спокойно ответил Иннокентий.

От судна отошла лодка и направилась к ним. Из подплывавшей лодки здоровенный парень заорал: «Эй, бичи таёжные, принимайте гостей!» Гостей было три человека. Увидев кучу сетей с мусором, тот же парень с хохотом сказал: «Это ты нам рыбы приготовил?» — «Нету рыбы. То рыбнадзор, то непогода. Не получилось»,— ответил Анатолий. Мужики, вытащив лодку, подошли, поздоровались за руку. «А на стол-то хоть есть что поставить? А то жрать охота, аж негде переночевать»,— сострил один из них. «Найдём. Сперва рыбалка пошла, а потом появилась рыбоохрана»,— кривя душой, оправдывался Анатолий. Толпой поднялись до зимовья. Зайдя в избушку и увидев банку на столе, один из гостей её открыл и потянул носом. «Вот она, родимая, и рыбалка, и рыбнадзор»,— насмешливо сказал он. «Да вчера сети снимали, промокли,— ответил Анатолий,— немного выпили для сугреву».— «Ну что, мужики,— сказал здоровый парень, ставя две бутылки на стол,— тащите малосол». Иннокентий сбегал за рыбой, а Анатолий быстро отварил вермишели, слил с неё воду, перемешал её с разогретой тушёнкой и луком на сковороде. Что для пятерых мужиков литр водки? Разлили и остатки спирта из банки. Хозяин самоходки, пожилой мужик с бегающими хитрыми глазами, сказал, что ему очень нужна рыба для своих дел, он обещал людям. У них есть несколько дней в запасе, и они останутся порыбачить сами ихними сетями. Анатолий, чувствуя свою вину, сказал: «Да оставайтесь, рыбачьте, и ночевать места хватит». Потом осёкся под внимательным Кешкиным взглядом.

После застолья пошли разбирать сети. Пять сетей разобрали довольно быстро. Стянув через край порванные места, двое гостей с Анатолием поехали их ставить. В остальные сети набило лиственных и еловых веток, и они распутывались плохо. Здоровый словоохотливый парень и Иннокентий остались их довести до ума. Парня звали Валентин. Он пытался начать с Кешкой разговор, но односложные ответы Иннокентия «да», «нет» отбили желание у него разговаривать. Они молча приготовили сети и пошли к избушке. Кешка поставил варить собакам и чайник на костёр. Валентин спросил: «У вас ещё выпить есть?» Иннокентий сказал, что надо спрашивать у Анатолия. Ему не хотелось показывать найденную бочку. Валентин ушёл в зимовье и, найдя старые журналы, завалился на нары. Иннокентий остался возле костра. По всему было видно, что чужим людям он не сильно рад, и его задело, что Анатолий, не посоветовавшись с ним, по-хозяйски распорядился насчёт гостей.

Вернулись рыбаки. Тепло одетый Анатолий не спешил отойти от лодки, что-то там переставлял и наводил порядок. Гости в лёгких осенних куртках, прибежав, жались, трясясь, к костру. Пожилой гость говорил, постукивая зубами: «Ведь вроде северок тянет не сильный, а на ходу пробирает до костей. Кажется, что и волосы на голове трясутся от холода». Иннокентий молча налил им по кружке горячего крепкого чаю. Мужики, облапив красными руками кружки, их отогревали, потихоньку отхлёбывая кипяток.

Поднялся к зимовью Анатолий. В руках он нёс полную банку со спиртом. Мужики сперва не поняли, что это, но когда Анатолий стал разводить его водой, они оживились. Пожилой радостно постучал зубами: «Так-так-так, это дело». Вышедший из избы Валентин, увидев банку, заорал: «Кэп! Я знаю, это у них не последняя!» Перекусив и хорошенько выпив, Анатолий с Валентином уехали поставить оставшиеся сети. Когда вернулись, то от спирта в банке почти ничего не осталось. Оставшиеся на месте гости сидели напротив друг друга и что-то громко доказывали один другому. К удивлению Анатолия, Кешка сидел возле костра почти трезвый. С возгласом: «Вот черти!» — продрогший Валентин подошёл к столу и, вылив в кружку почти всё содержимое из банки, никого не приглашая, выпил. «Ты что это так?» — раздражаясь, спросил его Анатолий. «Замёрз я сильно! Ты-то видишь как тепло одет, а у меня куртка на рыбьем меху. Да я знаю, у вас ещё этих банок понапрятано»,— с нагловатой усмешкой сказал он. Двое сидевших за столом, явно ничего не понимая, смотрели на них мутными глазами. Анатолий сел за стол и начал есть. С холода хотелось выпить, но не хотелось показывать бочку со спиртом. Анатолий попросил Иннокентия затопить в зимовье печь, рассчитывая, что Валентин уйдёт в тепло и тогда он сходит за спиртом. Так оно и получилось.

Когда Валентин вышел из тёплого зимовья и увидел налитый в банку спирт, с усмешкой сказал: «Ну, я же говорил!» Разведя спирт и нарезав хлеб с рыбой, Анатолий пригласил его к столу. Тот охотно сел. «Кеш? Ты будешь?» — крикнул Анатолий. Кешка, не оборачиваясь, помотал отрицательно головой. «Чего это твой остяк брезгует нашим обществом?» — насмешливо спросил Валентин. Анатолий молча смотрел на него. Тот взгляда не отводил, сидел выжидающе, с нагловатой пренебрежительной улыбочкой. «Ты знаешь что? — раздельно произнёс Анатолий.— Не зарывайся и не ищи на задницу приключений».— «Всё-всё»,— театрально выставив руки, ответил Валентин. Кешка, подойдя к столу, сам себе налил, молча выпил и снова отошёл к костру. Обстановка стала какая-то напряжённая. Валентин это почувствовал и сказал: «Всё, хорош!» Выпил почти полную кружку. Разговор не клеился, Анатолий удивился, что Валентин пил спиртное как воду, большими дозами, и не пьянел. Он сказал ему об этом, на что тот хвастливо ответил, что может пить всю ночь и его ещё никто не перепил. Потом, взяв банку

в руки, покрутил её, внимательно рассматривая. «А баночка-то всё та же»,—сказал он, указывая на скол стекла по краю. «Ну и что?»—спросил Анатолий. «А то!—торжествующе ответил тот.—Где-то у вас канистра со спиртом запрятана».—«Если и запрятана, тебе-то что?»—спросил Анатолий. «Как что?!—воскликнул Валентин.—Значит, гуляем!»—«Всё, отгуляли. Это последняя»,—ответил, поднимаясь из-за стола, Анатолий. Закрыв крышкой банку, он демонстративно убрал её под стол, давая этим понять, что застолье закончилось.

В зимовье чадила жирным дымом керосиновая лампа, от которого ламповое стекло стало чёрным, и поэтому свет пропускала тусклый. Стоял тяжёлый запах перегара, перемешанный с запахом непрогоревшей соляры. Всё помещение сотрясал разнотонный храп. От затопленной ранее Иннокентием печки зимовье сильно прогрелось, и от всего этого было душно и жарко. «Разве здесь отдохнёшь?—подумал Анатолий.—Как-то нескладно всё получается. И этот Валентин ведёт себя по-хамски. Надо его всё-таки поставить на место, а то совсем борзеть начнёт»,—укладываясь на нары, решил он.

Ночь прошла в какой-то полудрёме. Анатолий иногда проваливался в короткий сон, но бормотание и храп гостей снова его будили. Он слышал, как заходил Иннокентий и, забрав свой спальник, сшитый из собачьих шкур, снова вышел наружу. Анатолий догадался, что тот будет спать на свежем воздухе. «Мне тоже надо было уйти под лабаз. Там место сухое»,—вяло подумал он.

Вчерашний северный ветер за ночь навёл порядок на небе, вымел начисто лохматые неопрятные тучи, которые шли несколько дней, цепляясь за вершины высоких сопок, оставляя на сучковатых листвягах свои лохмотья. Выглянувшее из-за далёкого мыса солнышко, кажется, замерло от неожиданности, что Енисей так изменился. От зеркальной поверхности воды отражались синее небо и ощетинившиеся елями тёмные хребты, а над водой короткими языками плыл белый туман.

Гости, кроме Валентина, мрачные сидели за столом. Иннокентий сидел возле костра, ждал, когда закипит чайник. Подошедший Анатолий пошутил: «Что, кто-то умер?» Капитан ответил: «Пока нет, но вот-вот. Выручай». Анатолий заглянул под стол. Вчерашней банки не было на месте. «А где Валентин?»—спросил он. Мужики пожали плечами. «Кеш, ты не в курсе, куда гость потерялся?»—спросил он у молчавшего Иннокентия. «Он ночью ходил по берегу с фонариком. Потом столкнул лодку и на вёслах уплыл, наверное, на самоходку. Там слышался стук о борт»,—ответил Иннокентий. «Да, мужички, тут баночка оставалась, а теперь её нет»,—глядя на мужиков, сказал Анатолий. «А этот боров её видел?»—спросили они. «Да, я при нём её закрыл и поставил под стол».—«Ясно! Козёл! Он ведь пока всё не выхлебает, не успокоится! И ведь говорили ему по-хорошему, и побить грозились. Трезвый вроде соглашается, что не прав, а как за воротник попало—опять за своё. И что за лошадиное здоровье у человека!» У костра послышался дребезжащий звук—это запрыгала крышка на закипевшем чайнике. «Ну что, мужики? Пьём чай—и по сети? А то часам к одиннадцати колыхнёт север Енисей-батюшка. Это он под утро затих, а днём раскачает»,—сказал Анатолий. Гости молчали. Потом один просящим голосом спросил: «Что, действительно ничего не осталось? Нам не пьянства ради, ведь всю лодку обрыгаем. Если есть, то налей немного поправить голову».

На берегу загремели о лодку вёсла. Послышался шум вытаскиваемой на галечник лодки. Все молча ждали появления Валентина. С кривой улыбочкой он подошёл к столу и поставил пустую банку. «Ты что, Валентин, опять за старое?»—недовольным голосом спросил капитан. «Да какая-то тоска навалилась. Вы все спите, а я тут один, как в попе дырочка, ну и не удержался»,—ответил провинившийся совсем не виноватым голосом. Все сидели молча. Кешка поставил горячий чайник на стол и хотел кинуть туда заварку, но Анатолий остановил его. «Пойдём, Кеш, со мной. Поможешь! Придём, потом свежего попьём». Взяв чистое ведро и банку, они пошли к лодкам. Налив немного спирта и набрав в ведро воды, они вернулись.

Похмелившись, мужики ожили. Начались какие-то разговоры, но Анатолий прекратил это дело, сказав, чтобы они ехали и проверяли сети. «Ценную рыбу забирайте себе, а остальную нам. Вон сколько лохматых дармоедов бегает,—кивнул он на собак.—Вы поезжайте на своей лодке, а мы не поедем, нам надо готовиться к промыслу. Время идёт».

К лодкам спустились вчетвером. Иннокентий не пошёл. Когда гости столкнули свою лодку, залезший в неё капитан напустился на Валентина: «Ты зачем из-под воды чистые канистры сюда приволок?» Валентин, как-то вскользь глянув на Анатолия, ответил: «Так, решил воды из ручья набрать». Анатолий по этому быстрому взгляду почуял что-то нечистое. Жизнь его по экспедициям выработала в нём интуицию на всяких мутных людишек, и он ей доверял. Анатолий сказал капитану: «Если ветер будет набирать силу, то сети лучше снять, а то их снова забьёт мусором, а когда он вечером западёт, то на ночь снова поставить».

Когда лодка отошла, Анатолий пошёл снова к зимовью. Они с Иннокентием решили посвятить день заготовке дров. Взяв что нужно для этой работы, они пошли к бочке со спиртом, где рядом были и принесённые весенней водой боланы. Подойдя к бочке, Анатолий стал заправлять бензопилу горючим. Кешка стоял рядом, посматривая по сторонам. Его что-то заинтересовало, и он подошёл

к большому плоскому камню. Потом подозвал Анатолия. Тот, отставив пилу, подошёл. Иннокентий указал на лежавший на большом камне другой камень, плоский и клиновидный, сказав: «Раньше его здесь не было. Это не ты его положил?» — «Нет, — ответил Анатолий. — Зачем мне это?» — «Странно. Ты не ложил. Я тоже не ложил. А как он здесь оказался?» — задумчиво спросил Кешка. «Да пойдём, хватит хернёй заниматься», — пробурчал Анатолий, берясь за бензопилу, но Кешка задумчиво стоял у камня. Анатолий смотрел на него выжидающе, когда тот бросит созерцать этот булыжник. Вдруг Иннокентий, взяв этот камень, подошёл к бочке и, вставив узкий конец в пробку, как отвёрткой, её легко открутил. «Вот для чего лежит тут этот камень», — сказал он Анатолию. До Анатолия дошло, что Валентин ночью всё-таки нашёл эту бочку, и сразу вторая мысль промелькнула: а не под спирт ли он приготовил канистры? Точно, под него. Вот проныра сволочная! Он рассказал Иннокентию про канистры, тот с ним согласился и, размахнувшись, закинул камень в воду. Когда заканчивали с дровами, вернулись рыбаки. Хоть по Енисею стала ходить порядочная волна, сети они не сняли, объясняя тем, что в уло́ва, где стоят ловушки, она почти не доходит. «Дело ваше, — сказал Анатолий, — сети чистить вам».

Рыбы попалось неплохо. Анатолий выбрал крупную стерлядку на уху и здоровенного налима на жарёху. «Как такой кабан попал в восьмидесятку? — удивился он. — Килограмм на восемь-девять потянет». — «Да он и не в сеть попал, — ответил Валентин, — а заглотил окуня. Так его с ним и успели выдернуть. Он уже в лодке от него отцепился. Вот до чего доводит жадность», — назидательно закончил он. Анатолий многозначительно поддакнул: «Да-да, она до добра не доведёт», — и в упор посмотрел на Валентина. Тот отвернулся, как вроде ничего не понял.

Поднялись к зимовью. Рыбаки сразу разлили остатки спиртного на всех. Получилось по полкружки. Выпили, закусили кто чем мог. Анатолий сказал: «Идите прибирайте рыбу, я буду готовить обед. Иннокентий, ты вари собакам». Все разбрелись, стали заниматься делом. Когда Анатолий стал чистить рыбу и кинул отходы в собачий таз, то подумал, что мужикам тоже надо отнести посуду, чтобы они тоже собирали туда головы и кишки. Он сказал про это Иннокентию, и тот понёс таз к рыбакам. Придя, сказал, что два мужика там, а Валентина нету. «Вот ты посмотри на него! — в сердцах сказал Анатолий. — Как пакостливый кобель вокруг мяса на лабазе». Кешка молчал. «Ну пусть думают, что мы ничего не замечаем, — сказал Анатолий. — Но если что, то я ему устрою козью морду!»

Обед был готов, мужики закончили свою работу и подошли к костру все трое. Что-что, а готовить Анатолий умел. Он сам про это знал и говорил, что страсть к скитаниям погубила великолепного повара. Проголодавшиеся мужики совали к костру красные носы и, втягивая аромат ухи, от удовольствия крякали. «Ну, кушать готово, садитесь жрать», — сказал он словами из известного фильма. Валентин показал глазами на банку и сказал: «Хозяин! Такой обед — и как без этого?» Остальные тоже уставились на хозяев зимовья. Анатолий догадался, что все знают про бочку. Он взял ведро и, позвав капитана, пошёл с ним и налил, не жалея, с запасом. Капитан не стал разыгрывать удивление, сказал, что им про него рассказал сегодня Валентин. Вернувшись, сели за стол. Подождали, когда спирт хорошо перемешается с водой, определяя это, тихо постукивая по банке обухом ножа. Когда звук перестал быть глухим, разлили по кружкам. Все были голодные и, выпив, ели жадно и молча. Потом выпили ещё. Уже между хлебаниями ухи начал завязываться разговор, но как-то рассказывал и спрашивал почти один Валентин.

Когда доели уху, Анатолий поставил на стол большую чугунную сковороду, где лежали аппетитно поджаренные куски налима. «Да под такую закусь ведро спирта нужно выпить», — заорал возбуждённо Валентин. «Только не чужого», — ответил Анатолий. Валентин ничего не ответил на эту колкость, а, взяв банку, разлил по лошадиной дозе во все кружки, потом, взяв свою, молча выпил, сел, закусил, и когда прожевал — сказал Анатолию: «А он и не твой, этот спирт. Ты что, его купил, что ли?» Анатолий сразу стал как-то вроде подпружиненный, весь подобрался и, глядя сузившимися глазами в глаза Валентина, раздельно сказал: «Я, может, его и не покупал, но ты на него рот не разевай, а то можешь поперхнуться».

Валентин, наливаясь краской, стал медленно подниматься с лавки. Анатолий сидел всё в той же позе, смотря в глаза противника. Валентин, видать, привык, что противник пасовал перед его огромной тушей, и когда поднялся, решил хорошенько пугануть зарвавшегося мужичка. Резко поднял свою лапу над головой Анатолия, но тот, прошедший по экспедиционным пьянкам и вообще побывавший в переплётах, был не из пугливых. Тяжёлая чугунная сковорода ребром резко вошла Валентину в пах. Тот от неожиданной боли согнулся. От второго удара по голове уже дном сковороды завалился за лавку. Над столом торчали носки его сапог сорок седьмого размера. Держа за деревянную ручку сковороду, Анатолий ждал, но Валентин лежал спокойно. Молчание было недолгим. Первый с матами подал голос капитан, что, дескать, допились, и, встав, начал тормошить Валентина. Второй, прикрикнув на собак, которые кинулись собирать разлетевшиеся куски жареного налима, стал собирать их сам.

Кешка отошёл в сторону избушки, где висело оружие. Стоял, молча наблюдая за происходящим. Наконец Валентин замычал, затряс головой, потом поднялся. Сел за стол, ни на кого не глядя. Посидел молча, видать, полностью приходя в себя. Взяв банку, сделал из неё крупный глоток. Никто ничего не говорил. Анатолий подошёл к костру, из чайника налил кипятка в сковороду и ушёл в сторону вроде как её помыть. За стол он потом не вернулся, а ушёл в избушку.

Гости остались сидеть за столом. Раза два ещё разливали по кружкам и выпивали. Потом капитан сходил к Анатолию в избушку и сказал, что они, наверное, сейчас соберутся и отправятся дальше, в сторону своего дома. «Дело ваше»,—ответил Анатолий. «А как быть с рыбой?»—спросил капитан. «Ну как? Что наловили, то и забирайте». Капитан помялся, что-то ещё хотел спросить, но, видно, так и не решился, ушёл. Зашёл Иннокентий, сказал, что мужики забирают всю рыбу, и ловленную для собак тоже. Анатолий ответил: «Кешка, хрен на них и на эту рыбу, лишь бы они скорее исчезли отсюда. Что мы, рыбы не поймаем, что ли?» Кешка согласно кивнул головой, что да, поймаем. «Кеш, сходи, понаблюдай за ними, а то эти канистры не дают мне покою». Кешка молча вышел. Через какое-то время зашёл и сказал, что лодка отошла к самоходке, но перед этим Валентин ходил к бочке со спиртом и принёс оттуда пустые канистры: видать, они были где-то рядом спрятанные. «Пойдём, Кешка, к столу, выпьем с тобой, а то ощущение, как будто в дерьме вывалялся».

Они вышли, сели за стол. Было слышно, как заработал дизель на самоходке. Выбралась якорная цепь. Выпив, они пошли посмотреть, как уйдёт самоходка. Из-за кустов было видно, как она с работающим двигателем идёт самосплавом вниз по течению. Неожиданно внизу взревел лодочный мотор и сразу заглох. Выскочив из-за кустов, они увидели самоходскую лодку с одним человеком, который ковырялся с мотором. Бочки на берегу не было. «Кешка, быстро за карабином»,—сказал Анатолий, а сам побежал к своей лодке. Давай её сталкивать, но обратил внимание, что в ней нету бачка с бензином. Посмотрел в кубрике—там тоже его не было. «От суки! Специально спрятали, чтобы не догнал!» В это время завёлся вражий мотор, и Анатолий увидел за лодкой большой бурун воды. «Валентин тащит бочку на прицепе»,—догадался Анатолий. Выбежал Кешка с карабином, который сразу догадался, в чём дело. Давай торопить: «Давай, давай быстрее, догоним». И побежал к лодке. Подошедший Анатолий объяснил: «Бачок спрятали, а может, и с собой увезли». Валентин, видя, что они стоят возле своей лодки и ничего не предпринимают, встал и, показав им непристойный жест, прощально помахал рукой.

Кешка вдруг бегом кинулся к крутому берегу. Анатолий недоуменно смотрел ему вслед: что с ним? Кешка, забежав повыше, развернулся и поднял карабин. До Анатолия дошло, что Иннокентий забежал повыше, чтобы изменить угол удара пули о воду, чтоб не рикошетила. Раз за разом ударили десять выстрелов, поднимая возле тащившейся бочки фонтанчики. «Молодец, Кешка»,—радостно подумал Анатолий. Валентин засуетился в лодке и, сбавив скорость, отскочил от мотора. Иннокентий не спеша загнал вторую обойму и—видать, уже для собственного удовольствия,—давай обстреливать лодку. Он стрелял не по лодке, а вокруг неё. Хорошо было видно, как пули поднимают вокруг лодки прозрачные брызги. Валентин упал на дно лодки и не показывался. Было видно, что продырявленная бочка затонула. Кешка развернулся и пошёл к зимовью. Постояв ещё немного и понаблюдав за лодкой, Анатолий тоже поднялся.

Кешка сидел на лавке, положив карабин рядом на стол. Подойдя, Анатолий постоял, потом, достав ведро с оставшимся спиртом, перелил его в банку. Вышло ровно два литра. Посмотрел на Кешку и сказал: «Это нам до декабря». Кешка как-то легко засмеялся и, закивав головой, повторил: «Да-да, до декабря»,—чем рассмешил Анатолия, и они, глядя друг на друга, продолжали смеяться, чувствуя, что с этой минуты у них стало совсем другое отношение друг к другу.

Игорь Креймер

Святой

Не в настроении я был выслушивать сказки о трудном детстве. Слыхали-с. В мой кабинет впихнули маленького человечка, возрастного, несуразного, с глубокой печатью зоны во всём обличье. Такие с малолетки за колючкой и на свободе подолгу не гуляют. Но какие-то отчаянные у него глаза. Вора поймали в офисе. В обеденный перерыв проник в кабинет — и к сумочке, но залезть не успел. А третьего дня у работницы... и тоже в обеденный перерыв. На лице неудачника свежие ссадины. Его уже немного поучили... Огромные отчаянные глаза. Что будет? Сдадут ментам или побьют и отпустят? Может, побьют не сильно. В зону не хочется, а пожрать бы... Мне тоже вроде всё ясно, но ментов вызывать неохота. С ними больше мороки, писанины. Залезть в сумочку вор не успел, а намерения к делу не пришьёшь. Опера знакомые сами горазды грузить трудностями службы, недостатками материальной базы и непониманием начальства. Я, в раздумьях, что делать, демонстрирую возможность решить тему и по понятиям:
— А погоняло у тебя есть?
— Да... С-святой.

Святой?! Этот заморыш?! За какие заслуги? Шапка уж явно не по Сеньке. Я лично знаю о добрых делах очень большого «авторитета», но кличка у него гораздо скромнее. Я, к сожалению, лично осведомлён о множестве мерзких дел, сотворённых теми, кто по долгу службы должен «охранять и защищать», но называть их приходится по имени-отчеству. Глаза не могли меня не выдать. Заморыш вдруг почуял надежду и, заикаясь, продолжил:
— А раньше другая была. Я тогда в далёкой зоне, ещё при коммунистах. Срок заканчивался... Послабления давали почти отбывшим... Днём свобода: выходить мог из зоны, гулять по посёлку без конвоя, а вечером опять в хату. Меня зэк один попросил — из культурных, в очках, который антисоветчик или кто. Ну, бумажки какие-то надо из зоны вынести и вольному передать. Я сам их посмотрел — вроде там ничего такого, ну, ничего не понял, в общем. Прилепил к пузу пачку. Утром на выходе не обшмонали. Короче, вынес и отдал, как этот просил. Мне за это... А в камере вечером сам всё и рассказал. Надо мной долго ржали: ты идиот или святой? Ты же себе чуть срок не вынес! Так и приклеилась — Святой, а до этого другая была.

Кем был тот очкарик? Какая рукопись не сгорела? А ведь мог Святой и стукануть, заслужить поблажку. Кто это «управил так»? Есть одна народная заповедь: не настучи. Сколько крови и слёз за ней? Кто познал? Поймёт ли тот, кто не стоял перед выбором? Где учат? И всенепременно «этого ещё будет».

Я попросил охрану выйти... Никто бы меня не понял. Как поверить в какую-то байку и дать вору денег? А я просто откупился. Потом попросил выпроводить и больше не учить; сказал, что он всё понял. Хотя Святой ничего не понял и только таращил на меня глаза. Возможно, несколько дней он был сыт. Надеюсь, что разжал ненадолго клещи жестокой его судьбы. Ходит ли он ещё по земле?

Избави меня судить. Но, может, на каких-то иных весах зачтётся ему? Перевесят ли спасённые листки уворованный хлеб? Может, эта миссия — оправдание его бытия?

Пусть Святой спас чей-то труд не из любви к ближнему, но он сделал! Из ненависти к системе, вопреки жизни своей, от которой не видел добра и не имеет надежды его (добра) ожидать, но он сделал это! Это его протест! Его собственное решение — маленький подвиг загнанного человека: он рисковал, он не настучал!

Сибирь не тот край, где «светло от лампад», который просил указать поэт. «Где поют, а не стонут» — точно не здесь. Но каково думать, что в наших суровых зонах поэты, писатели или философы зрели, «как ананасы в оранжерее»... если по почкам не настучат? Где лежали бы бумаги, смысл которых не понял Святой, окажись они у зоновского начальства? Может, существуют такие места, где что-то ещё пылится?

Уважаемые господа, допущенные к архивам карательным служб — ГУЛАГа, ГУИНА, МГБ, КГБ, ГУФСИНА и прочая, — осмотритесь! Среди старого хлама забытых и сломанных судеб вдруг найдёте рукописи, запрещённые тогда файлы, имеющие ценность для потомков, невинно сидевших или для всех нас? Когда человек унижен и уничтожен, у него остаётся только слово — слово, устремлённое в счастливое, непременно справедливое будущее. Не должно сгореть или пропасть такое слово. Пусть вернётся оно в мир и сделает его лучше. Уважьте его — и воздастся вам. Всё

равно — потешите открытием тщеславие своё или просто получите сердечную благодарность людей, которая несравнимо дороже прочих благ. На полках, в пыли и прахе, ждут открытия запретные, написанные заключёнными, и отобранные у них литературные или философские шедевры. Среди строк могут найтись завещанные нам ордера на всеобщее счастье, мысли о бесконечности, звёздах и других материях, озарившие людей, посланные в награду за страдания и личную катастрофу.

Да откроются миру все светлые идеи, да явится нам вожделенное справедливое завтра!

Надо же — Святой! Глаза… Вспоминаю иногда… Нет, не могу забыть.

ДиН стихи

Дмитрий Филиппенко

На границе счастья и разлуки

• • •

Моя любовь замёрзла у реки,
И чувства зябкие — фарфоровые узы.
А через душу проплывают сквозняки
И жалят сердце мне, как будто бы медузы.

Мосты зевают, и не спит Нева.
Хрустальный ветер прозвенел и в небе скрылся.
Я перед ней в трёх бедах виноват:
Недолюбил, не позабыл, не спохватился.

• • •

Остался цирк, он в городе полгода,
Артисты голодают в тишине
И принимают пищу от народа,
Чтоб прокормить животных. На стене
Висят афиши из вчерашней жизни,
И клоунам давно не до детей.
Метут проспекты вопреки харизме,
Чтоб накормить талантливых зверей.
…Уже зима. Но цирк на том же месте.
По снегу ходит поседевший лев.
Под гривою висит блестящий крестик
Как символ Божьей веры на земле.

Не бросай

Не бросай в пустоту, в тишину —
Я не выживу в этом молчании.
Слёзы, нервы — и звоны печали, и
Я один долго не протяну.

По следам ты моим не пойдёшь —
Не заметишь нелепой пропажи.
Ты меня от огня не спасёшь.
Ты не ходишь по пеплу и саже.

О городе в себе

Монеты кидайте, кидайте монеты
В могилы шахтёрские вновь.
Кровавою смесью стекают рассветы
По окнам страдающих вдов.

Мы чёрное небо оставим потомкам
И грязные лица берёз.
Убейте природу — не трогайте только
Сибирский колючий мороз.

Но с каждою тонной теряем мы воздух
И нежность весенних дождей.
Добились того, что не падают звёзды
На травы кузбасских полей.

Слухи

По шахте тоже ходят слухи,
И с каждым годом всё сильней.
Как осланцованые духи,
Распространяются по ней.

Звенят по переулкам шахты,
На почве крысами сидят.
На них шахтёры-космонавты
Глазами медленно глядят.

По слухам — слухам всё печальней,
Они остались взаперти.
Участка доблестный начальник
По шахте слухи запретил.

А ламповщицы на скамейке
Сидят и шутят про ребят.
И побрели по шахте фейки —
Пылинки сланцевых утят.

Ольга Штыгашева

Дядя Лёша—Дед Мороз

Алексей Иванович был Дедом Морозом со стажем. Как ушёл из театра по причине старческой досадной немощи, так и переквалифицировался в новогоднего волшебника. А что? И копеечка к празднику есть, и деткам приятно, и самому нескучно в длинные вечера последних дней года. Любил Алексей Иванович эти редкие и такие весёлые халтурки. Спасибо ребятам из театра. Не забывают дядю Лёшу. Хотя если бы не уши, которые совсем перестали слышать, то фиг бы он ушёл бы на пенсию. Детское отитовое эхо отозвалось. Сначала чуть-чуть звук приглушился, потом словно вату в уши набили, а потом совсем худо стало. Силился Алексей Иванович голоса услыхать, глаза пучил, руками подмахивал, а—тщетно. Гул сплошной, и только. Скинулись всей труппой, купили аппарат. А толку-то? Как с ним к зрителям выходить? Куда прятать-то? Не все парики скрывали. Да и не очень слышимость была—на другом конце сцены уже реплики не слышал. Помаялся с ним главреж, почертыхался и, пряча глаза в манжеты рубашки, предложил уйти достойно на заслуженный отдых. Проводили с помпой. А как же: считай, без малого сорок лет театру отдал. Пора и честь знать, подумал Алексей Иванович, наглыкался шампанского, купленного в складчину, закусил профкомовским небогатым бутербродом со скукожившейся ветчиной и гордо удалился за кулисы, перекинув плащ короля Лира через плечо.

Пенсия встретила сурово. Он так долго не давался ей в руки, что месть последовала буквально с первых же дней. В виде ненужности и невостребованности. И потянулись дни, хмурые и затяжные. Поначалу подрывался в девять утра, как на репетицию. Долго вглядывался в серый рассвет за окном, вздыхал и брёл на кухню, не переодеваясь, в пижаме, пить традиционный утренний чай. А к вечеру начинался зуд. Зудели ноги, которые привыкли за много лет в это время расхаживать по сцене, зудели руки, по привычке желающие прижать к груди госпожу Раневскую, потерявшую сад и заодно смысл жизни. Чесались даже уши с аппаратом, которому сейчас нечего было слышать, кроме радио и бодрых новостей с полей и строек.

Однажды, когда одиночество навалилось, словно мешок с цементом на неокрепшие плечи подрабатывающего грузчиком студента,—ни вздохнуть, ни выдохнуть,—взял он деньги, преподнесённые в виде премии за неустанный труд на ниве культуры, купил билет и махнул, не думая, в Питер. К сыну. Зря не подумал. Санька, конечно, обрадовался. Не знал, где посадить, чем накормить. Невестка глядела радостно. Но в глазах таилась настороженность. Надолго ли? Не насовсем ли? За многие годы лицедейства Алексей Иванович научился и по глазам читать. Не рады ему здесь. Он помешивал в тарелке наваристый борщ и думал. Нет, так нельзя. С чего он взял, что имеет право вот так, с бухты-барахты, врываться в чужую жизнь? А в другую жизнь очень хотелось. Хотелось с внуками и на футбол, и в зоопарк, и из школы забирать. Хотелось длинных семейных ужинов под абажуром, с заливистым детским смехом и добродушным уважением к нему, дедушке—основателю фамилии, так сказать. Но в малогабаритной двухкомнатной квартире для такого счастья не было места. Не помещалось счастье в эти квадраты. Через две недели невестка Тамара, косо поглядывая и вздыхая напоказ, горестно и протяжно, заявила, что из деревни мама хочет приехать погостить. По внукам соскучилась—громко добавила Тамара в сторону комнаты, где Алексей Иванович собирал с мальчиками картинку из пазлов. Иван-царевич на сером волке. Эх, мне бы такого волка, подумал Алексей Иванович и пошёл собирать рюкзачок, совершенно правильно расценив реплику Тамары.

Возле вагона они с Санькой молча покурили. Сын виновато прятал глаза, но слов сожаления по поводу отъезда отца не говорил. К чему слова? И так всё ясно. У сына своя жизнь, у отца—своя. Погостевали—и хватит. Они крепко обнялись, троекратно чмокнулись, и Алексей Иванович полез в поезд, неловко цепляясь вещами за поручни. Тамара на радостях, что свёкор оказался таким деликатным и понимающим, наложила полную сумку питерских гостинцев. Это чтобы Алексей Иванович в дороге не голодал. Шутка ли, трое суток ехать. А в ресторанах так всё дорого сейчас, никаких денег не напасёшься. Алексей Иванович не обижался. Ну что поделать-то? Хотя бы три комнаты было. А тут две только. А их пятеро вместе с ним. Как в коммуналке. Нет, это не жизнь! Алексей Иванович всё понимал. Поэтому и не держал зла на невестку. Спасибо за внуков.

Да и сын при домашней еде да чистой одежде всегда. Хорошая жена Тамара. Так думал он под стук колёс, невольно возвращаясь мыслями в уютную питерскую квартирку, где ему было радостно и не одиноко…

Собственная квартира встретила его неуютной, почти враждебной пустотой брошенного жилища. Хоть и оставлял Алексей Иванович запасные ключи соседке на предмет непритязательной уборки раз в неделю, да, видать, занедужила Клавдия Семёновна, а иначе не позволила бы серым унылым ковром прописаться пылюке на лакированных поверхностях серванта и шкафов. Он прошёл в кухню. На плите сиротливо скучал чайник, забывший уже, когда радостно пыхтел паром, приглашая хозяина к общению. Алексей Иванович открыл форточку. Ворвался морозный свежий ветерок, и запах необитаемости исчез под напором бодрящего и чистого запаха зимы. Ну что ж, будем жить дальше. Скоро Новый год, и скучать опять станет некогда. А дальше — жизнь покажет.

За несколько дней до праздника молодая поросль в лице комика Геши и подающего надежды драматического актёра Вересаева, носящего великий псевдоним назло своей стеснительности перед сценой, привезла дяде Лёше оплаченные заказы, адреса и купленные родителями заранее, в соответствии с письмом Дедушке Морозу, подарки. Дядя Лёша был рад несказанно, усадил молодых коллег за стол и заставил выпить чаю вприхрустку с баранками и театральными байками. Ребята почаёвничали, поулыбались от души дяди-Лёшиным шуткам и заторопились по делам. А Алексей Иванович с любопытством залез в коробку с подарками. Чего в этом году желают получить детки от Дедушки? Разглядывая глянцевые коробочки и контейнеры с радужными этикетками «Маде ин Чина», в которых притаились до поры до времени немыслимые монстры с квадратными челюстями, какие-то человечки в красно-синих костюмах, маленькие машинки с огромными пультами управления, небесной красоты куклы с золотыми волосами и фигурами Софи Лорен, Алексей Иванович в очередной раз удивлялся и разводил в восхищении руками. Игрушечная индустрия шагала вперёд семимильными шагами. Он даже записал некоторые названия, чтобы потом, ближе к весне, купить внукам на подарки. Деда Лёша твёрдо обещал Лесику и Мишане, что теперь никуда не денется из их жизни и что у них теперь будет настоящий, не телефонный, дед. Хоть и редко приезжающий, но весёлый и добрый, как и положено настоящим дедушкам. Алексей Иванович убрал новогодние сюрпризы в бордовый плюшевый мешок, отороченный искусственным мехом и серебряными расписными снежинками, и, довольный сегодняшним вечером и предстоящей работой, пошёл смотреть новости…

Накануне праздника, тридцатого декабря, Алексей Иванович прошёлся по магазинам. Он всегда откладывал свой поход напоследок — сохранял маленький кусочек традиции времён семейной жизни, когда необходимые и забытые в сутолоке мелочи докупались буквально перед самым Новым годом. Горошек и колбасу для оливье, курицу, мандарины (больше для запаха, чтобы разбудить уснувшую память), неизменную селёдку и маленький кусочек сливочного сыра. Алексей Иванович не собирался в новогоднюю ночь выуживать из памяти потускневшие картинки былых праздников, зажёвывая свою печаль унылыми полуфабрикатами. Он поздравит детишек, выслушает положенное количество стишков, подарит игрушки, с видом фокусника выуживая их из таинственного волшебного мешка, вернётся домой и, как все добропорядочные пенсионеры, будет лопать салат и смотреть новогодний концерт. Может быть, даже выпьет шампанского. Если сердце против не будет. А то что-то расшалилось, разладилось в последнее время. Так и норовит из груди к горлу перебраться да и выпрыгнуть. Сходить, конечно, надо к терапевту. Вот после праздников и сходит…

Он обмазал бодро торчащую мясистыми ляжками курицу смесью из горчицы с мёдом и оставил на несколько минут пропитаться. Потом принялся строгать остывшие отваренные овощи для салата. Готовить за пять лет вынужденного вдовства ему пришлось научиться, да кое-что помнил от покойной Натальи Кирилловны. Пять лет Алексей Иванович холостятствовал, а всё никак не мог смириться с уходом шумливой, добродушной «своей хохлушки», как ласково называл жену. Да и сгорела-то как-то быстро, в месяц. Алексей Иванович даже не успел привыкнуть к мысли, что один останется, что не встанет уже супружница с постели, не всколыхнёт уже исхудавшей рукой его седую шевелюру, не запоёт всё ещё звонким голосом свою любимую «Запрягайте, хлопцы, кони». Да уж… Прирастают люди друг к другу за столько лет-то совместных. Даже не прирастают, а прорастают, переплетаются душами, как две лозы виноградные, и уже не найти ни начала, ни конца в этом сплетении. И если червь какой уничтожит, или ураган сломает, или, того хуже, винодел неумелый срубит первую ветвь, то вторая скукожится листвой, проплачется утренней росой и перестанет плодоносить на веки вечные… Алексей Иванович вздохнул, засунул курицу в духовку (завтра только разогреть) и закурил в задумчивости… Спать улёгся пораньше.

Первый заказ был с утра. В одиннадцать. Многие заказывали утром. Дешевле. Алексей Иванович облачился в бархатный красный халат сверх куртки, напялил пушистую, в кольцо, бороду,

шапку с нависшими бровями, взвалил мешок на плечо, посох в руку—и вышел из квартиры. Домой он вернётся в лучшем случае часам к девяти…

На улицах было празднично и людно. Народ завершал год, с готовностью расставаясь с деньгами и стараясь не думать, что намеревалось потратить три тысячи, а получилось в два раза больше, потому что в последний день старого года вдруг вспоминалось, что не куплен подарок сестре/тёще/свекрови/двоюродному брату/коллеге (а она ведь подарила же глиняного медвежонка). Один раз в году среднестатистический россиянин мог позволить себе не думать о будущем. И не важно, что будущее наступит уже завтра, а потом придёт пятнадцатое, двадцатое января с суровыми напоминаниями банка о просроченном платеже, о квартплате, и опустевший холодильник сердито загудит пустыми полками с забытой баночкой оливок и маринованными огурцами от «Дяди Вани». Но это всё—потом. А пока Алексей Иванович протискивался сквозь шумящую предпраздничным настроением, бурлящую, словно муравейник, толпу, ловя на себе улыбчивые, дружелюбные взгляды. Потому что у нас Дед Мороз—народное достояние, всегда несущее радость и добро. Даже в магазине, куда Алексей Иванович заглянул по необходимости, его пропустили без очереди, так же улыбаясь и с пониманием глядя на его мокрые валенки. В магазин он заходил всегда перед работой. На всякий случай. А случаи действительно бывали разные. Пригласят, например, к одному ребёнку, купят паровозик какой-нибудь или куклу, а в доме вдруг ещё оказываются детишки, готовые рассказать стишок или песенку спеть. И тянут, тянут за полы халата, чтобы Дедушка задержался, чтобы ещё послушал и их, одобрительно похмыкивая. Вот для таких-то случаев и покупал Алексей Иванович пару-тройку шоколадок да дешёвых плюшевых зайцев. Ну имели же право ребятишки на сказку…

К вечеру Алексей Иванович совсем выбился из сил, дыхание сбилось. Сердце опять настойчиво напомнило о своих неполадках, но Дед Мороз отмахивался от всякой мысли о болезни. Только не сегодня. Он засунул под язык мятную таблетку валидола и поспешил, как мог, на последнее поздравление. «Улица Тимирязева, дом шестнадцать, подъезд четвёртый, этаж четвёртый»,—мысленно твердил, как заученный стишок, адресную строчку, записанную в блокноте. Лифт не работал. Алексей Иванович усмехнулся. Вот так всегда! Когда очень надо, тогда и не работает. Медленно, отдыхая на каждом лестничном проёме, добрался до нужной квартиры. Дверь серьёзная, отделанная лаковым деревом. Дорогая, наверное. Он нажал на кнопку звонка. Раздался нежный, журчащий звук какой-то до ужаса знакомой мелодии.

—О! Дед! А мы заждались тебя. Проходи давай, Морозище,—открывший дверь молодой мужчина был уже навеселе. От него несло хорошим коньяком и недешёвым мужским одеколоном.—Ну давай, давай, заходь по-быстрому. Че притулился-то?—мужчина нетерпеливо схватил Алексея Ивановича за рукав шубы и потащил в комнату.
—А смотрите-ка, кого я вам привёл! Где наш маленький мальчик с большим именем Фёдор?—неумело сюсюкая, спросил мужчина.
—Да. А где мальчик, который знает много стишков про Новый год?—решил подыграть отцу семейства Дед Мороз.—Да где же он? Я так долго ехал, хотел поздравить мальчика Федю!—буквально возопил Дедушка и уселся на стул. Мешок поставил рядом.

Из комнаты вышла нарядная женщина. Вокруг её головы была намотана мишура. За руку она держала мальчика лет четырёх в плюшевом костюме зайчика. Мальчишка упирался всеми четырьмя конечностями и знакомиться с Дедом Морозом явно не собирался. Он покраснел от натуги, но не плакал. Алексей Иванович одобрительно крякнул.
—Ну что, Федя, какой стих ты мне расскажешь? А я тебе уже и подарочек приготовил,—пробасил Дедушка и добродушно протянул руку навстречу ребёнку.

Федя налился малиновым цветом, стоически спрятал ладошки за спиной и сделал шаг вперёд.
—Ну что ты? Меня не надо бояться. Я же добрый дедушка,—приободрил мальчишку Алексей Иванович и привстал со стула.—Подойди-ка. Я тебе покажу что-то очень интересное. Хочешь?

Малыш кивнул и несмелыми шажочками приблизился к чудищу с меховым лицом и в красном халате. Он по телевизору, конечно, видел таких дедушек. Но это же по телевизору. Наконец он подошёл совсем близко и вопросительно уставился на Деда Мороза.
—Я открою мешок свой волшебный, а ты мне расскажешь стишок. Договорились?—Алексей Иванович ласково приобнял мальчишку.
—Договорились,—прошептал Федя, глядя на свои заячьи пушистые лапки.—А стих про маму можно?
—Э-э-э, про маму?—растерялся Дедушка.—Ну, давай про маму. Чего ж с тобой делать-то?
—Рядом с мамой я усну, к ней ресницами прильну. Вы, ресницы, не моргните, мамочку не разбудите!—неожиданно громко продекламировал Федя и, довольный собой, неловко поклонился.

Женщина в мишуре (видимо, мама и была) радостно захлопала, подскочила к сыну и чмокнула его в макушку. Папа в нетерпении нарезáл круги вокруг праздничного стола и явно страдал от отсутствия возможности прильнуть к новогоднему изобилию.
—Ну вот, стишок рассказали, можно и подарок получить,—бодро заявил папа и облегчённо вздохнул.—Давай, Дед, развязывай мешок свой.

— Пап, а я ещё можно расскажу про щенка? — осмелел мальчик Федя и приготовился вещать, набрав в лёгкие воздух.
— Не, ну хватит уже! — поморщился папа. — За стол пора. Дед, выкладывай подарок, и простимся с тобой до следующего года.

Мама с уговорами попыталась оторвать сына от полюбившегося вдруг Дедушки. Федя упрямился. Ему непременно хотелось ещё немножко славы и внимания. Он знал ещё много стихов. Мишура с маминой головы сбилась и повисла блестящей лентой вдоль руки. Алексей Иванович растерялся. Как тут быть-то?
— Мне нужно спешить, мальчик. Ведь другие детки тоже хотят получить подарок, — наконец нашёлся Дедушка и стал раскурочивать завязку на мешке. — Вот он! Вот твой подарок, — торжественно провозгласил Дед Мороз, выуживая на свет Божий коробку с игровой приставкой.

Фёдор мельком глянул на чудо китайской техники и опустил заячьи уши.
— Мне бабушка с дедушкой такую же подарят. Я знаю уже, — пробурчал он и поплёлся в комнату, даже не простившись с Дедом Морозом.

Папа чертыхнулся. Мама заправила ершистую ленту в причёску, метнула гневный взгляд на мужа и пошла к сыну.

Алексей Иванович с жалостью взглянул на главу семейства и молча направился в прихожую. Эх вы, родители…

На лестничной площадке он прислонился к стене и достал таблетку. В мешке практически ничего не осталось, и можно отправляться домой. Разогревать курицу, накладывать в хрустальную пузатую салатницу оливье и звонить своим. У него Новый год наступит много раньше. Успеет поздравить. Алексей Иванович перекатывал плоский камешек валидола во рту и старался глубоко, но не часто дышать. Так врач говорил. Но сердце свербело не только от боли. Осадком горечи и беспомощности упали в него последнее поздравление и мальчик Федя. Он понимал умом, что в этой ситуации никто не виноват. Темп жизни такой. Но всё же, всё же… Как-то надо, наверное, по-другому. Времени нет на детей, ну так любви тогда должно быть больше. Чтобы компенсировать…

Вдруг за соседней дверью послышался скрежет открываемого замка. Но за дверью тишина, словно прислушивался кто-то, тихонько прислонив ухо. Алексей Иванович напрягся и уже собрался было спускаться вниз от греха подальше. Народ-то крепко навеселе уже. Дверь на щёлку открылась, подумала немного и приоткрылась ещё чуть-чуть. Появилась маленькая русая головка с двумя розовыми пышными бантами, и два насторожённых глаза уставились на Алексей Ивановича.
— Вы чего тут? Вам плохо, что ли? — строгим голосом спросили банты.
— Немножко. Сейчас отдышусь и пойду, — ответил Дед Мороз, пытаясь разглядеть обладательницу строгого голоса.

Дверь отворилась шире, и в проёме появилась девочка лет шести, в рюше-пушистом воздушном платье, на ногах тапки-зайчики с крупными помпонами.
— А, так ты поздравлять приходил? Значит, ненастоящий, — разочарованно протянула девочка, но продолжала стоять.
— Конечно, ненастоящий. Ты же взрослая, сама понимаешь, что таких дедушек не существует, — почему-то ей Алексею Ивановичу не хотелось говорить, что он приехал на санях, специально по просьбе детишек, из далёкой-далёкой Лапландии, причём на оленях.

Этим глазам не хотелось врать. Даже во благо. Даже ради сказки.
— Ну, я так и поняла, — удовлетворённо констатировала девочка. — Хоть не врёшь, — одобрила она. — Воды принести?
— А тебя как зовут? Меня дядя Лёша. Принеси, пожалуйста. От таблеток рот пересох, — неожиданно для себя Дед Мороз почувствовал такое странное доверие к этому ребёнку, словно это была его старая, давнишняя знакомая.

Девочка исчезла ненадолго и появилась со стаканом.
— Меня Катерина зовут, — важно сказала девчушка и присела в самом настоящем реверансе.

Алексей Иванович чуть не поперхнулся.
— Это кто ж тебя так научил-то? — удивился он.
— Мама. Она у меня учитель по танцам, — коротко ответила Катерина. — Правда, бабушка говорит, что от её танцев только пустой холодильник и спина болит, — с серьёзным видом добавила девочка.

Алексей Иванович протянул пустой стакан. Полегчало. Сердце снова билось ровно, не сбиваясь с накатанного ритма. Поживём ещё, ничего.
— Катерина, ты с кем разговариваешь? Бабушка звонит? — раздался звонкий голос из глубины квартиры.
— Не. Это Федька зашёл. Подарок свой показывает, — ничуть не смущаясь, прокричала в ответ Катерина.
— Она у меня мнительная очень, — рассудительно заметила Катерина и сложила по-взрослому ручки на пышных рюшах. — С чужими же нельзя разговаривать.
— Ну да. Мама права, — согласился Алексей Иванович. — С чужими нельзя.

Катерина притулилась к дверному косяку и задумалась о чём-то. Её серые с рыжими лучиками глаза затуманились, заволоклись какой-то недетской мыслью.
— Кать, — позвал её негромко Дед Мороз.
— Катерина! — отрезала она. — Меня все так называют, — смягчилась девочка.

— Катерина, а можно я тебе маленький подарочек дам? В честь Нового года. Ну, у меня просто остались ещё,— осторожно спросил Алексей Иванович, боясь разрушить грань доверия, установившуюся между ними.
— Да можно. Я же знаю, что ты ненастоящий,— великодушно разрешила Катерина и с любопытством уставилась на мешок.

Алексей Иванович пошарил, вытащил «Сникерс» и немного помятого плюшевого мишку.
— Ну извини, поиздержался в дороге,— виновато пошутил он.

Катерина внимательно оглядела подарок. Радостные огоньки полыхнули в её глазах, и она кинулась к Деду Морозу.
— Дедушка Мороз, дядя Лёша, так ты настоящий?? Я же не писала письмо. Денег у мамы нет вечно,— причитала Катерина, сжимая шею Алексея Ивановича крепкими ручонками…

Домой Алексей Иванович шёл в приподнятом настроении. Скоро Новый год. Что он принесёт — кто его знает? Но жизнь полна приятных неожиданностей. И есть замечательная девочка Катерина, к которой он обязательно заглянет ещё.

Аркадий Гонтовский

Фонарь над бездной

Деревня

Дождями дали занавесило,
И сиротливо, на углу,
За целый свет — один, невесело
Горит фонарь сквозь дождь и мглу.

И ни души. Всё точно умерло.
Лишь даль колёсами стучит.
Там скорый мчится мимо сумерек,
Несётся прочь глухой ночи.

Несётся скорый по-над весями…
А за окном — хоть ночь обшарь.
За целый свет — один, невесело
Горит над бездною фонарь.

Старушка

Дома темны, застыли тайнами.
Какой здесь год? Какой здесь век?
Какою давностью за ставнями
Дрожит и опадает свет?

Там у свечи старушка клонится,
Молитву шепчет образам.
А с образов глядит бессонница
В её усталые глаза,

За рубежи, за эхо летнее.
Она припомнит и вздохнёт.
И вздохом, долгим, как столетие,
Свечу погасит. И уснёт.

* * *

Брожу с дождём по сумрачному скверу.
Я осенью опять разорван в клочья.
Поговорим — я всё приму на веру,
Но дождь роняет только многоточья.

Вздохнёт. И вновь обрушится слезами.
Осенний дождь — поэт, каких немного.
Его любить — сплошное наказанье,
Так любят одиночество и Бога.

* * *

Стороны родной захолустье,
Тишина да небесный свод.
И текут переливы грусти,
Словно, струн коснувшись, отпустит
И опять меня кто-то зовёт

Сквозь года, сквозь далёкие громы
Молодых и ликующих гроз,—
Нет в Отечестве родины, кроме
Стороны, где родился и рос.

До земли поклонюсь этой грусти,
Поклонюсь и пойду, а вослед —
Слышит сердце — тоскуют гусли,
И плывут переливы над Русью,
Окликая потерянный свет.

Андрей Растворцев

Тринадцатое полнолуние

1.

Четыре неожиданно образовавшихся выходных Василий Егоров решил использовать с пользой. Знакомые мужики на катере по реке забросили его на Глухое озеро порыбачить.

Обустроил он свою палатку на старом таборе, где останавливался в прошлом году. Место проверенное, добычливое. Днями рыбачил с надувной лодки, на ночь ставил сетушки. Пойманную рыбу тут же солил. Времени для сна и витания в облаках практически не было. Всё в заботах. Заботы эти потом сторицей окупятся — в городе такой продукт, как вяленая рыбка, на ура уйдёт. Любителей пива нынче о-го-го сколько! Так что овчинка выделки стоила. Только к полуночи управлялся с заботами и у костерка, под чаёк, давал душе и телу отдохнуть.

Сегодняшняя ночь необычная, интересная. Ночь тринадцатого полнолуния, или, как её ещё называют, «ночь голубой луны». Хитрые люди — англичане — и тут смогли подменить своим кургузым: «Once in a Blue Moon» («Однажды при Голубой Луне») простое русское понятие «редко, почти никогда». Хотя ничего мистического и очень уж редкого в этом понятии нет: просто бывает в одном месяце два полнолуния, из-за того что промежуток между полнолуниями меньше календарного месяца, вот раз в два с половиной (примерно) года и «набегает» лишнее, тринадцатое полнолуние.

Луна огромным серебряным диском висит над тайгой. Кажется, протяни руку — и вот она: можно гладить, трогать, отламывать от неё кусочки, ощущать под кончиками пальцев её кратеры, лунные моря и горы. Под серебряной луной и тайга серебряного отлива. Дорожка лунного света, разрезая пополам чёрную гладь озера, упирается в берег перед палаткой.

Тишину ночной тайги да течение путаных мыслей нарушает только лёгкое постреливание догорающих в костре веток. Лёгкий, но уже тяжеловато-сырой ветерок пробивает свитер и холодит уставшее тело. Егоров просунулся в палатку, пошарил в её тёмном чреве рукой, нащупал ватник. Вынул его и накинул на плечи. Подсел ближе к костру. Где-то в глубине леса проскрипел коростель, да неожиданно пару раз, видать спросонья, откуковалась кукушка: «Гу-ку-у, гу-ку-у…»

Подперев спиной сосновый выворотень, Василий бездумно вглядывался в затухающий костёр. С детства приученный не заливать костёр водой (огонь — это жизнь), дожидался, когда костёр догорит сам. А уж потом на боковую…

Краем глаза, да даже не краем, а каким-то боковым, периферийным зрением заметил движение у дальней кромки озера. Неясный, расплывчатый силуэт двигался вдоль берега. Егоров, не вставая, подтянул за ремень к себе карабин. Не из боязни — так, для душевного спокойствия. Тайга…

Силуэт приближался. Очертания его становились чётче. Человек. Однозначно. Широкий островерхий капюшон и какая-то мохнатая накидка. Идёт спокойно, уверенно. Словно при свете дня. Ни споткнётся, ни хрустнет веткой. Местный, видать. Чужак бы давно ноги переломал. Василий уже с нескрываемым интересом поджидал гостя.

Но гостя не случилось.

Не доходя пары десятков метров до костра, незнакомец, даже не взглянув в сторону Егорова, повернул в тайгу. И когда пересекал лунную дорожку, Василий с удивлением разглядел, что мохнатая накидка на плечах незнакомца — медвежья шкура. И это очень Егорову не понравилось. Передёрнув затвор, загнал патрон в патронник.

Клацанье затвора инородно прозвенело в прозрачной тишине над озером.

Незнакомец остановился. А затем медленно повернул голову в сторону Егорова.

Лица у головы не было.

Только чёрная леденящая пустота в обрамлении капюшона. И это чернота то ли втягивала Василия в себя, то ли сама на него наползала. Сердце Егорова опустилось куда-то в область желудка, душу захлестнуло арктическим холодом.

Выстрел! Искры взметнулись над разнесённым пулей костром. Это палец Василия, сведённый судорогой страха, непроизвольно нажал спусковой крючок…

Незнакомец медленно, будто нехотя, отвернулся от оцепеневшего рыбака и продолжил свой путь. Дойдя до кромки леса, шагнул за неё — и словно его и не было…

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день…» — Василий выдохнул шёпотом и опустился на землю.

«Вот тебе и сказки! Вот и не верь старикам: без лица, в медвежьей шкуре, в полнолуние… Лунный Охотник! Вот это я врюхался…— мысли путались, бились одна о другую, кидались то врозь, то навстречу друг другу.— Где прошёл Лунный Охотник — не охотятся. Рискнувшему — один приз: смерть. Оно мне надо?! Ну а порыбачить? Тьфу! Что за глупости в башку лезут? Когти рвать нужно. Всё одно дословно легенду-то не помню, может, там ещё чего было. А может, не дёргаться? До утра уж чуть осталось…»

2.

Сонное распаренное солнце медленно выкатывалось из-за дальних сопок. Лёгкий туман курился над озером. На широком вымахе крыл, выглядывая добычу, кружился над сопками ястреб. День обещал быть жарким. Вместе с восходящим солнцем рассыпались в прах и пропадали ночные страхи.

Просидев, не смыкая глаз, всю ночь у костра, Василий на солнечном пригреве стал поклёвывать носом. Напряжение и усталость брали своё…

«Эй, у костра, слышь меня, что ли? Не пульни чего доброго с испугу — это я, дед Иван, Иван Михалыч, с Клычево. Слышь, что ли?..»

«Слышу, дядь Иван. Иди — не бойся. Это я, Василий».

«Который Василий-то? Василёв много…»

«Егоров».

«А-а, это ты, Василий?.. Чего зазря людей по ночам пальбой пугашь?»

Раздался хруст веток, шевельнулись кусты, и на поляну к палатке вышел старый Евсюков. Иван Михалыч. Трудно сказать, сколько ему лет: может, шестьдесят, может, восемьдесят. Бабы на селе про него говорят: «Сносу старому нет». Есть ему выгода немощным притвориться — восемьдесят, а с молодухой позубоскалить — и шести десятков не наберётся. Охотник-промысловик. Всю жизнь в тайге. Да и дети его тоже где-то по тайге бродят. Вся его родова такая. Лешаки, одним словом.

«Здоров, Вася! Один кукуешь? А я тут недалече, за мыском, обустроился. Рыбалю маненько. А ночью слышу: бабах! У меня внутрях всё и опустилось. Ктой-то, думаю, палит?! — рука Ивана Михалыча в пожатии крепка. Есть ещё порох в пороховницах.— Чайком старого побалуешь?»

«Можно и чайком, можно и чем покрепче…»

«Не надось покрепче, чайком-то оно пользительнее».

Пока Василий гоношился с чаем, Евсюков полянку всю как есть глазом оббежал.

«Так ты чего, Вась, пуляешь по ночам? Не видно ж ни хрена! Спужал кто?»

«Лунный Охотник».

Иван Михалыч рассмеялся: «Энтот может! Время-то ныне его — полнолуние».

Но, видя, что Василий на шутку не отзывается, построжел лицом и неуверенно спросил: «Взаправду или как?..»

«Взаправду».

«Вона как…— Евсюков почесал затылок.— Слышать-то я много об ём слышал, но чтобы лично встречать эту тварь богомерзкую — нет, не доводилось. А ты, значит, сподобился. Ну и как?..»

«Ты ж, дядь Вань, выстрел слышал — вот и как…»

«Что ж, так прям ты по нему и пульнул?..» — Евсюков удивлённо выкатил глаза.

«Да ну тебя, старый! Скажешь — по нему! Да он как на меня глянул, и я про карабин-то забыл, да и про остальное тоже. Думал — всё! Аушки! Руки свело, вот палец на спуск и нажал, в костёр я и бахнул. А он и ноль внимания — отвернулся и дальше пошёл…»

«Как же он на тебя глядел-то? Говорят, у него и лица нет».

«Да лучше было б! Там под капюшоном — чернота одна. Бездна! И оттуда, из этой черноты,— холод. Ледяной! Будто на тебя вся преисподняя глядит. И тленом пахнет. И тянет туда, просто затягивает. Короче, ещё б секунда — либо крякнул бы я, либо штаны стирать пришлось…»

«Ну дак это понятно. Это ж чистое зло. Так сказать, в первозданном виде. Жизнь-то всяку нашу, вселенскую-то, Вась, два брата сотворили. На пару, значит. Пока дело-то делали — миром жили, а как дело-то к концу — повздорили. Вот с тех пор одного Богом зовут, другого чёртом. Отсюда и пошло: белое — чёрное, хорошее — плохое, день — ночь, добро — зло,— так сказать, борьба противоположностей. Вот этот Лунный Охотник — зло в чистом виде и есть. Выкормыш чёртов…»

«Слышь, Иван Михалыч, вот только философий не нужно сегодня разводить. Меня и так до сих пор потряхивает».

«Да какая это философия, Василий? Это факт. Как есть голый факт. Ну дак где чаёк-то?»

«А-а, извини, старый, заболтал ты меня. Секунду».

Чаёк у Егорова хорош, забористирепок. С листом брусничным. Но даже этот чай дремоту из Василия не выгнал.

«Иван Михалыч, ты чаёк-то погоняй, а я дреману часок, сил нет — глаза слипаются».

«Отдыхай, Василий. Не боись — тварь эта днями не бродит. Да и я покараулю…»

3.

«Ох и силён ты, Василий, ухо давить. Я уж и порыбалить успел, и ушицу заварганил. Иди морду-то сполосни да подгребай к столу — свежачка похлебам. Юшка-то ажно золотая получилась! Да куда ж ты в воду-то обумши? Ты хоть гачи в голяшки заправь — мокры ж будут! Тюха!» — дед откровенно потешался над ещё не проснувшимся Егоровым.

Уха действительно получилась на славу. Под такую уху-то Василий уговорил Михалыча и на рюмочку. Дед было отказался, но после первых выкушанных ложек ухи объявил: «Наливай!» Под рюмочку-другую уху быстро оприходовали.

Отодвинув пустую тарелку, дед уселся на любимого конька—за жизнь порассуждать.

«Вот, Вася, уговорил ты меня под ушицу выпить. Не хотел ведь я. А ты убедил. Без всякой аргументации уговорил. А ведь неправильно это. Людей, Василий, убеждать нужно аргументированно. Значит, чтобы до человека сразу доходило, что он неправ. Вот возьми батю моего покойного: как он словом владел! Как его люди понимали! Потому как с душой он к ним, и всё через неотразимые аргументы. Когда колхозы-то у нас организовывали, в других-то районах, сёлах раздрай—кто в лес, кто по дрова, а тут у нас всё чин чином—собрание, на ём батя, значит, речь пламенную, а потом голосование: кто за? кто против? И батя так, промежду делом, стволом пулемёта своего любимого „максимки“ по рядам-то и водит. И ты понимаешь, Василий, вот что значит сила убеждения—ни одного против! Все за колхоз! Или, там, когда батю-то леспромхозом командовать поставили—опять же леспромхоз первым был. Гремел на всю область. И всё благодаря простому человеческому слову. Вызовет, бывало, отец кого провинившегося к себе, маузером наградным своим ткнёт тому в нос и спрашивает: „Чуешь, контра, чем пахнет? Правильно—дымом. Значит, только что стреляли из него. А в кого? Да в такого же провокатора и бездельника, как ты“. И человек сразу признаёт, что неправ. И работает потом с таким удовольствием, что любо-дорого! Вот что слово-то доброе, аргументированное с людьми делает. Чё ты всё ха-ха да ха-ха? Я тебе за жизнь, а тебе всё смешочки».

«Ну, с такими аргументами, как у бати твоего, и я бы любого убедил».

«Э-э, нет. В тридцать восьмом пришли за батей три контры ежовские, с бумагой при печати, со словами грозными, тоже аргументами трясли, наганами, значит, да только пустое это, против батиного аргумента—тьфу!—растереть и забыть! Не убедили. Так и легли у нашего крыльца кажный с дыркой во лбу. Конных прислали—так батя их с крыши, с „максимки“ безотказного и положил. А потом с пятью мужиками, друганами своими, в тайгу и ушёл. На дальние заимки. Перед уходом парторгу леспромхоза и сказал: мол, ежели чего власти с бабами нашими и, не дай Бог, детьми сотворят, аргументированно закопаю—каждого! И ведь не тронули! Во-о-от, а ты не веришь, что слово доброе души злые исцеляет. И глаза плохим людям на мир открывает. Да, конечно, подёргали мамок наших, постращали, но ни одну из пятерых не тронули. Умел, умел батя людей в их неправоте убеждать…»

«Так слышал я—сидел он, батя твой?»

«Ну а как не сидел? Как все в нашей стране, как положено—сидел. Они ведь, все пятеро, в сорок-то первом через другую область на фронт подались. Какая ни есть, а родина. Как же её в беде-то бросишь? Двое в сорок пятом с фронта всего и пришли. Батя и друг его, Ефрем Козырев. У Ефрема ажно орден Ленина, у бати две „Славы“ да медалей горсти две. Мы пацанами потом из их блёсны для рыбалки делали. Самые лучшие блёсны из „Отваги“ да „Боевых заслуг“ получались. Серебряные. Ну, это я так, к слову. Вот отгуляли победу, и подались они с Ефремом в органы сдаваться. Сами. Вину отмывать, хоть и не виноваты. Повезло мужикам, после войны-то на некоторое время смертну казнь-то отменили, вот их и не постреляли. Да и дали орденоносцам, как батя говорил, по справедливости. По году за каждого пешего ежовского контрика и по году за каждого конного. Итого по восемь лет на брата и набралось. Мужики и рады были. В пятьдесят третьем осенью и вышли. Радостные: Берию прижучили! Ох, погуляли. Последний раз. Потом уж не до гуляний было. Работа, заботы. Вот так, радостные, вольные, с отмытыми грехами, в пятьдесят седьмом один за другим и ушли. Лагеря—это не шутки, кто честно сидел—те долго не жили… Аргументированно».

«Так зачем батя-то на родину вернулся? Глядишь—и не посадили бы, да и пожил бы подольше. Или бы вас, ребятню всю с матерью, к себе перевёз, ну, туда, где его не знали. На войне ж его органы не дёргали?..»

«Как тебе, Василий, объяснить-то? Понимаешь, человек—не кукушка, ему без гнезда никак. В смысле—без родины. Чужой край—он и есть чужой, а с родным-то краем человек пуповиной повязан. Это сейчас люди без корней живут, как перекати-поле. Оттого и нелады на земле. А тогда душу, особливо крестьянскую, от родной-то земли никакой силой не оторвать было. Да и от самого себя всю жизнь не набегаешься».

После перекуса да праздных разговоров накачал Егоров лодку и сходил на ней до выставленных сетей. Выбрал улов да переставил сети на новые места. Может, улов там покрепче будет. Последняя постановка. Завтра утром уж мужики должны за ним прийти на катере…

4.

Евсюков едва дождался возвращения Василия с озера. Помогая вытащить лодку на берег и разгрузить улов, перескакивая с одного на другое, частил: «Ты, Вась, только подумай: тут, почти в упор, гон у коз диких. Козлы так лбами рогатыми и сходятся. Искры по лесу! Километра не прошёл, а у них там—игрища. Козлы вверх сигают метра на полтора! А козы-дуры стоят, рты раззявили—женихов

выбирают. Слышь, Вась, жизнь прожил—такого большого сборища не видывал. Дай карабин, одного рогатого завалю! Одного, нам же больше не надо. От их не убудет, там их—у-у-у!—прорва! А нам в радость—душу потешили да свеженинкой побаловались. У козы-то печёнка до чего сахарна! Тёплу её ещё в солюшку-то помакашь—ой, и в рот—да никаких коврижек не нужно! Да слышь ты меня, Василий?!»

«Ну?»

«Чего—ну? Когда ещё такой талан в руки привалит, а? Вась, давай завалим рогатого! Чего они там попусту прыгают?»

«Нельзя».

«С какого перепугу нельзя?!»

«Сам говорил: где прошёл Лунный Охотник—охотиться нельзя».

«Ну дак это тебе нельзя—ты его видел. Это тебе он свои владенья обозначил. А я тут при чём?! Ничего и знать не знаю. Мало ли где он ходит? Мне-то он ничего не обозначал. А я вроде тебя и не видел. А, Василий?»

«Иван Михалыч, не дам. Чёрт его знает, как оно там: видел—не видел, знаю—не знаю? Не приведи Бог, случится что с тобой—век себе не прощу. Ведь долго живёшь, а всё как малой».

«Долго живут только сказки да легенды, вот как эта—об Охотнике. А я человек. Мне всё одно уходить. Мне и покуролесить можно. А потом покаяться».

«Будет ли возможность покаяться-то?»

«Не сомневайся даже. Дай карабин».

Не соврал старый Евсюков—быстро управился. Не прошло и часа, а он уже свежевал добытого козла. Всё у него получалось ловко, споро да ладно. Что говорить—промысловик. Всю жизнь на охоте. И осуждать-то язык не поворачивается.

Егоров участие в этом действе не принимал. Не потому, что осторожничал, просто Михалычу в данный момент помощники и без надобности. Он был в своей стихии. И просто млел от радости.

«Иманух бить нельзя—от них приплод. А иман сейчас в самом соку. Жиру по этому времени в нём больше, чем в тарбагане. Ох, не зря я к тебе с утра подгрёб! Вишь, к вечеру с какой добычей!»

Под разговоры, свеженинку да крепко заваренный чаёк не заметили, как и стемнело. Егоров прибрал в мешки всё, что нужно будет погрузить утром на катер: чего мужиков зря задерживать? Оставил только палатку, спальный мешок да кусок мешковины—старому-то тоже на чём-то нужно ночь скоротать.

Присел к костру по-вчерашнему, уютно откинувшись спиной на старый сосновый выворотень. Костёр постреливал в ночное небо синеватыми угольями. Над озером висела огромная, в голубой дымке, луна.

«Вот, Василий, легенды, оно, конечно, чтить надо, но без дрожи в ногах. Кого касаемо, тому—да, нарушать лесной закон не моги! Ни-ни! Ну а кому…»

Дёрнулось пламя костра, словно ветром сорвали его с прогоревших поленьев, разом захолодало. Егоров зябко передёрнул плечами—даже сквозь телогрейку холод пробрал до костей. Что за чёрт? Рановато для заморозков. Только тут обратил внимание, что Иван Михайлович молчит, да и смотрит не на него, Василия, а куда-то ему за спину. Встал, обернулся…

Антрацитово-чёрная бездна, чуть прикрытая островерхим капюшоном, безмолвно смотрела (если применимо здесь было это слово) на людей. Леденящий холод и сладковатый запах тлена тянулись из её глубин…

«Всё»,—это единственное, что успел выдать мозг Егорова.

Старик Евсюков сделал шаг в сторону чёрного небытия и молча, столбиком, лицом вниз рухнул на землю. Ещё мгновение, показавшееся Василию бесконечным, фигура в медвежьей шкуре стояла неподвижно. Затем развернулась и ровным, размеренным шагом ушла в тайгу…

Егоров мешком осел на землю. Мозг был пуст. А потом вдруг ясно и чётко пришло понимание, что старого Евсюкова убил не Лунный Охотник, а он, он—Василий Егоров. Убил своим языком. Это он, Егоров обозначил старику границы охотничьих угодий Охотника. Он, Егоров, зарядил Михалыча знанием о предупреждении Лунного Охотника. Он, Егоров, дал старику карабин для охоты…

Промолчи Василий о своих видениях в полнолуние—и ничего бы старику не было за его стрельбу. А так—знал старик, всё знал и нарушил закон тайги.

А закон таёжный—не закон людской, от которого откупиться можно. Тайга сама судит. Сама выносит приговор. Сама его и исполняет…

Евгений Шестов

Стеклянные блики

Деда привезли после обеда, часа в три пополудни. Дождались, пока сторож откроет высокие ободранные двери, два мужика-соседа за бутылку сгрузили из кузова гроб и небрежно бросили его посреди пустого гулкого двора. Только после этого послали мальчишку за отцом Евфимием. В церкви всё было готово к отпеванию. Не было только народа. Обычная на похоронах суета, нищие, хор, соседи и близкие покойного, случайные прохожие—всё было с утра. С утра собрались, долго ждали, обсудили все последние новости, потом разошлись, усталые и хмурые. А уж ко времени приезда Семёна с гробом ни внутри, ни снаружи церкви никого не осталось. Мокнуть под дождём никому не захотелось.

Тётка Марья всю дорогу ехала в кабине. От тряски она вылезла из машины ни жива ни мертва, хоть рядом с дедом ложись в могилу. Домой не зашла, только махнула на ходу рукой дочери Вале да велела принести ей таблетки. Семён же ехал в кузове у гроба покойника, успел выспаться за три часа пути.

Полумрак церкви несколько остудил разгорячённые дорогой головы и нервы Семёна и его тётки Марьи.

Тётка Марья как вошла в церковь, тут же опустилась на скамейку у входа, закрывая трясущейся ладонью искривлённый рот да приспуская всё ниже на глаза тёмно-синий платок. Семён зашагал от одной стены к другой, глядел в ожидании на едва различимые в полумраке образá в рамах. Не думалось ни о чём. Мысли путались. Где-то за стеной пронзительно пропел петух, нарушив неспокойную тишину маленького, но гулкого пространства церкви. Тётка Марья вздрогнула, закрыла ладонями лицо, концами платка отёрла набежавшую слезу, резко поднялась с места. Хоть и тяжела была тётка Марья с виду, но в хозяйстве оказывалась скорая и сноровистая. Вот и теперь после долгой дороги временная затяжка на месте, видимо, начала её раздражать. Несмотря на усталость, она решила действовать и уже готова была пойти навстречу отцу Евфимию.

Скрипнула дверь, Семён обернулся на звук, но вместо отца Евфимия в церковь вошёл мальчик-служка, взял у Семёна документы и снова удалился. Никто не сказал ни слова. Только где-то вверху, у потолка, летала муха, гудящая на низкой ноте, внося какое-то разнообразие в тягучую тишину. Через минуту мальчик вернулся, зажёг свечи и снова удалился.

Семён вышел на крыльцо. После тёмного внутреннего пространства свет улицы его ослепил. Семён зажмурился, мотнул головой раз-другой, спустился со ступенек, расстёгивая на ходу пуговицы куртки и оттягивая свитер. Не дышалось.

Дождь почти прекратился, только в глазах Семёна стояла какая-то пелена, совсем такая же, какая бывает при первых признаках обморока. Пелена не была похожа ни на капли дождя, ни на морось, ни на туман. Водяная пыль окутала деревню сверху донизу, покрыла серым налётом и дома, и деревья, и покосившийся колодец на краю деревни, полуразрушенный и брошенный людьми, но памятный для Семёна. Здесь, из этого самого колодца, Семён брал воду, когда впервые приехал к деду. Здесь, у церкви, стоял он с двумя вёдрами посреди белого дня и жарился на солнцепёке, дожидаясь, пока в вёдра наберётся вода, бегущая в это время суток медленно и лениво. Как посмотрела тогда на него мелкая деваха, проходя мимо, прыснула со смеху и убежала. Потом он узнал, что зовут её Маринка, что живёт она здесь с матерью и отчимом, учится, между прочим, в седьмом классе в Горках, что в трёх километрах отсюда. И что школа там большая, тоже узнал Семён потом. Дед рассказал. И познакомился Семён с Маринкой дней через пять-шесть, когда послал его дед к соседям за хлебом. А соседи-то возьми да и окажись родителями той самой Маринки. Вот такая связь колодца и девахи Маринки получилась в голове Семёна.

Влажный ветер с реки освежил и продул лёгкие Семёна. Резкие порывы взметали на поверхности луж пену, сноса в то же время с деревьев и крыш набегающую водяную волну. Семён обошёл церковь с правой стороны, посмотрел вниз с крутого обрыва на реку, примерился, сможет ли он спуститься по откосу или съедет вместо этого на заднице, весь в грязи и ссадинах, на самый берег. Решил не рисковать. Долго смотрел на открывшийся вид в серой водной пелене. Совсем собрался уже уходить, даже поднял воротник куртки, зябко ёжась от сырости и ветра. И неожиданно остановился, приложил руку к больным векам. Показалось, там, вдалеке, над рекой желтеется

что-то, как просвет какой. Мелькнуло вроде ярко и вдруг опять тут же заволокло, как и не было. Вспомнилось дедово слово: «блик». Слово какое-то нерусское. Где он его услышал? Надо же придумать: «блик». Мелькнул и пропал, как и не было. Опять же дедово слово: «какинебыло».

Что же сегодня Семён слова-то вспоминает дедовские вместо самого деда? А может, и не вместо, а вместе с дедом? День-то сегодня его. Похороны. Смотрит он, поди, сейчас на Семёна, упорно так смотрит, с вызовом: мол, что, сокол, приуныл? Аль напакостил опять что? Делом пойди займись. Не стой как пень. Тётке, опять же, помоги.

Мысль о тётке погнала Семёна в церковь. Но не дошёл он до места, не повернулась рука открыть тяжёлую дверь, чтобы услышать молитвы и быть свидетелем службы. Остался снаружи. Присел на мокром крыльце на корточках, прислонился к колонне, фуражку снял и голову опустил. Сидел, слушал, что творилось там, внутри. На душе было спокойно и радостно. Захотелось запеть что-то своё, тренькая на разбитой гитаре, как когда-то в детстве. Деду уж больно нравилось, что поёт он под гитару. И не какую-то там лабуду, попсу дешёвую, а романсы знает русские, песни душевные, хоть и застольные, но напевные и со смыслом. А не эту зековскую дребедень. Семён знал, что деду нравится. Он и пел для него то, что хотелось старому. А остальное приберегал для других компаний.

Подошла Валя, принесла таблетки для тётки Марьи.

— Сидишь? — спросила.

Он не ответил. Валя постояла около него минуту и вошла в церковь.

Семён оглянулся на скрипнувшую дверь, поднялся с крыльца и пошёл в сторону дома тётки.

Желтизна неба разлилась очень широко. Теперь она уже не походила на отдельные всполохи, блики, а скорее была похожа на половодье жёлтой реки, вышедшей из берегов неба и затопляющей всю округу от горизонта до самых ближних подступов к церкви. Через сотню метров Семён свернул в переулок, прошёл между двумя дощатыми заборами. Во дворе одного дома он увидел надувной бассейн, полный воды, которая накопилась во время дождя и теперь покрывала борта бассейна. А на земле, мокрой и оттого бурой, виднелся широкий след потока, который совсем недавно иссяк, но ещё не успел просохнуть.

Семён почему-то задержался на короткое время, навалился грудью на гнилой штакетник, присел на кленовый обрубок, оставшийся здесь после того, как клён спилили. За три года пенёк не успел совсем почернеть, лишь подёрнулся сверху тонкой сеткой морщин и мелких трещин да чуть загорел на солнце. Глаза смотрели на этот надувной бассейн цвета морской волны и не видели, скорее, различали тени, грубые очертания предметов, уводящих в далёкое прошлое, в очень, казалось бы, далёкое прошлое. И этот бассейн, и вода в нём, и странный след потока воды на земле напомнили сейчас Семёну место последней встречи с Люськой, его полюбовкой, чуть не ставшей его женой. Тогда он её напугал. Ой как напугал! Она бежала от него через всю деревню, даже не закричала, хотя и должна была вроде. Хотел он ей рассказать, да не захотела она его слушать. Сочла его за дурного. Так побежала, что догнать её не мог. Заперлась в доме и молчком сидела, пока он не ушёл. И тогда он уехал. Собрался на следующее утро и укатил в город. Даже не попрощался.

Жаль, конечно, что не получилось с Люськой. Он ведь её оценил! Сразу, как только увидел. Как она купалась в своём бассейне, в таком же вот, как этот. А может, это и есть тот самый бассейн. Цвет вроде тот же. И по загибам с углов как будто он. Михалыч вроде говорил, что Люська продала бассейн кому-то из соседей для внуков. Придумала же, дура, покупать бассейн в деревню, где озеро совсем близко. Дойти-то до него минут пятнадцать. А на велосипеде так и вообще за пять минут доехать можно. Зачем он ей нужен был? Странная она всё-таки баба!

А чё, хоть и странная, а в хозяйстве, как говорят, пригодилась бы. Нет, конечно, он сам виноват, не объяснил ей вовремя, что к чему. Ему тогда и самому-то не очень понятно было про эти блики. Дед ему объяснял, да он до конца так и не понял. Что-то такое мудрёное… Говорил, что ему нравится глядеть на блики, ловить их каждое появление, караулить их, когда восходит солнце, или, наоборот, выбирать такой особый ракурс, когда во тьме мелькнёт и погаснет огонёк и отразится в стекле лампы.

Это дед Семёну стал говорить не сразу, а как тот пообвыкся малость. Ну, про блики эти самые. Помнится, пошёл Семён на рыбалку. Поутру сам встал рано, с будильником, чин по чину, деда будить не стал, собрался, только за порог — а дед тут как тут. Ты, говорит, принеси мне ключевой воды от ручейка, что по дороге к озеру. В бутылку набери и принеси. Да пригляди, говорит, за солнышком, как оно играет. Полюбуйся на него, на отражения в воде, может, и поймаешь чего. А чего там ловить-то? Рыба в озере, в ручье её нет и никогда не было. Мал он слишком, ручей этот.

А нашёл его Семён сам, когда в первый день приезда добирался до дома деда. Вода там действительно хороша! Холодная, вкусная, даже как будто вкус у неё какой-то особый имеется. До сей поры Семён помнит, как шёл он полем от остановки, как оттягивались его руки сумками, как потел он и сдержанно улыбался, костеря в сердцах позвавшего его погостить деда.

Уже отчаялся дойти Семён до деревни Майоровки, что под горой за леском, да пахнуло откуда-то справа свежестью, мелькнуло что-то яркое среди кустов; трава ли здесь зеленее ему показалась, или почуял что, но свернул с тропинки вовремя вправо и через пару шагов увидел озерко недалече. Чуть дошёл до берега, сумки поставил, рубашку скинул, пошёл умыться. Да так и замер. Так и загудело где-то в затылке его от тишины полдневной. Ровным зеркалом вода стояла, не шелохнулась, пока не тронул он её рукой. Стояла и послушно отражала все предметы окружающие, что посылали ей свои образы текучие. А как тронул поверхность её зыбкую, зарябила мелким бисером, разбрасывая всполохи искр солнечных. Залюбовался Семён тишиной и солнцем. Разделся полностью, чтоб подышало тело всё целиком, а не только горлом. Да нырнул подальше да поглубже, задевая подводные камни. Да проплыл ещё не спеша, да понежился на водной глади. И ни одного лица. Ни одного голоса, даже птичьего. Уже не говоря о людских голосах в эту пору.

Посидел на бережке, где купался, поглядел на другой бережок, рыбацкий. Там, среди камышей да осоки, вешки были видны хозяйские. А кто хозяин? Да какая ему, Семёну, разница, кто хозяин? Может, и объявится через день-два. Или встретит его Семён утречком на рыбалочке. Как-никак с малых лет пристрастился Семён к нехитрой этой безделице—рыбалке. А вот ведь тянуло его к воде, к мелочи этой живой, что в руке трепыхалась. Хоть и не был Семён раньше у деда, а знал, что припрятана где-то в сенях дедова старая удочка. С ней-то и пойдёт Семён утречком сюда, на озеро. А теперь пора в путь. Отдохнули, можно и дальше двигать.

Недалеко отошёл Семён от озера. Попался ему навстречу мужчина в плотной брезентовой куртке, болотных сапогах и шляпе, с рюкзаком и удочкой в руках. Семён спросил его про Майоровку, правильно ли он идёт.

— А ты чей будешь?—спросил мужчина.—Не Старкова ли, случаем?

— Его. Племяш я его внучатый.

— А, внучатый. Ну-ну. Дед он тебе, значит, да?

— Ну да. Дом-то его далеко отсюда?

— С этого края, как колодец пройдёшь, там ещё гуси будут у забора, так его дом-то пятый будет справа, с бордовой крышей. Он её в прошлом году красил. А я пошёл. Давай.

Мужчина ушёл, Семён же, проводив его взглядом до первого поворота, зашагал к дому деда.

Теперь-то Семён помнил каждый изгиб ручейка, мог доподлинно узнать шелест его среди других лесных шумов и шорохов. А тогда, в первый день приезда, совершенно случайно набрёл он на этот чистый источник. Два камушка положены были добрыми людьми для удобства, да досочка постелена сбоку. Как увидел Семён впервые доску-то, да замелькали солнечные отражения на поверхности ручья, так захотелось Семёну из него напиться да голову смочить. Приустал он добираться до деда. А как вкусил воды ледяной, как ощутил зубами холод подземный, так и ударил ему в нос аромат медвяный с полян лесных. Разбудить захотелось ему лес спящий, в жаре томящийся. Гаркнуть так, чтоб птицы всполошились да с ветвей вспорхнули ввысь. Умылся тогда Семён, посидел пяток минут у воды. И вновь пошёл искать деревню. Только через минуту показалась она ему сама, как на взгорок-то он забрался да вниз глянул.

А уж когда на рыбалку пошёл, добрёл до первых берёзок с края леса, спустился к ручью, набрал в бутыль прохлады чистой и ароматной да на просвет сквозь бутыль посмотрел, ища случайные крупицы мусора. А поймал только солнечный луч, что больно кольнул его в глаз, и улыбка на лице его заиграла. Блик он тогда поймал солнечный, стеклянный, только не понял он ещё всей красоты явления. Уж много позже, месяца через три, после объяснений деда, он стал искать эти блики. Да только перестали они ему попадаться. Вот вроде должен быть сейчас здесь. Ан нет. Дед его ещё и отругал. Что ты, говорит, судьбу подгоняешь? Что тебе неймётся? Оставь ты их специально ловить. Они сами придут, дай время.

Семён встряхнулся, поднялся с кленового пенька. Вот куда воспоминания его завели. Далеко по времени, да близко по сердцу, почти к самому началу. К самому истоку его знакомства с бликами этими. А что же дальше? Что было следующим в этой цепочке событий?

Семён вспомнил, как дед сказал ему однажды:

— Ты думаешь, вода—она что… течёт себе, живёт в ней кто-то… и всё? Ну да… Колышется, отражает бугорки там всякие, буруны, волны. А как успокоится?.. А встанет зеркалом чистым?.. А как мелькнёт лучом? Вот тебе и блик. Блик! И всё! И душа запела! Оно ж ведь живое существо… стекло-то воды. Оно дышит.

А когда же он Семёну это успел сказать? Это было…

Да… Сидели они вечером во дворе. Только прошёл летний короткий ливень. Скамейка была мокрой, но дед накрыл её клеёнкой, а сверху постелил старое одеяло. Солнце как будто ещё и не думало заходить, а лишь намекало на позднюю пору красноватыми отсветами. Жестяная бочка наполнилась дождевой водой. И теперь ещё тонкие ручейки стекали с крыши по тонкому жёлобу и капали звонко в маленькое, но глубокое озеро внутри бочки. Семён прислушивался к биению этих капель, их звуки казались ему сейчас удивительно музыкальными.

Дед помолчал, а потом глянул на небо, на бочку, усмехнулся, поднял руку и тихо сказал:

— Вот он, лови его, фотографируй!

И тут же, как по заказу засветился над водой в бочке, заиграл, замельтешил огонёк солнечно-красный. Капли падали в бочку, а огоньки множились, разбегаясь к краям бочки мелкими волнами.
— Ты прям волшебник, дед,— Семён смотрел заворожённо на сверкающие блики над огненно-кипящей бочкой воды, улавливая тонкие звуки падения капель в полной предзакатной тишине.
— — Не веришь? — спросил дед с горечью.— А вот ты послушай. Раньше я тоже, как и ты, не видел этой красоты. Открылась она мне поздно, когда уж всякий смысл этой жизни терять стал. Видел бы ты в ту пору мой сарай! Когда Марья ко мне приехала да начала разбирать там хлам всякий, мешков семь или восемь только одних бутылок набрала. Пил я тогда, грешным делом, по-чёрному. После смерти Глики-то моей, бабушки твоей родной. Ох, затосковал я тогда. Думал, сам сгину. Думал, напьюсь и замёрзну в каком-нибудь сугробе. Или в прорубь кинусь. А только знаешь, подойду, бывало, к полынье зимой, гляну в черноту её да и закину сразу удочку, чтоб не совсем сплошное пространство было тёмное. Космос-то подводный — он, знаешь, бездонный, манящий, как магнит. Так и спасался от пропасти вином и рыбалкой. А весной Марья ко мне приехала. Как начала меня шерстить, как взялась наводить порядок. Хотел прогнать её, а она ни в какую. Прижилась у меня. А как вышла на пенсию, так и совсем у меня обосновалась.
— И красоту эту она тебе открыла? — Семён незлобно скривился, хотел сплюнуть, да передумал, постеснялся.
— Нет, не она… — дед поглядел опять в сторону светлой закатной полосы.— Но она поняла меня сразу. С первого раза. А ведь я её тогда чуть не пришиб. В пьяном угаре да со злости-то, что все бутылки выкинула, я за топор схватился — да за ней. А она от меня к церкви побежала. У Бога, значит, защиты просить прибежала. Да… А как прибежала да на обрыв-то встала, так ноги-то у неё и подкосились. И если б не поддержал я её тогда, нырнула бы она вниз-то через меня. Успел её поймать. А как схватил её руку, меня как обожгло. Смотрю на неё, а она вся в зареве солнечном закатном, вот как сейчас. И зазвенело где-то у меня в голове что-то такое мятежное. И тут же следом за звуком этим прошлась по реке волна, да так ярко блеснула, такими красками развернулась, бликами солнечными мелькнула да ударила по моим пьяным глазам, что протрезвел я враз. Обнял я её, на колени встал, поклялся, что брошу всю эту пьяную вакханалию. Так с тех пор, кроме чая да кваса, ничего и не пью.
— А она мне и не говорила ничего такого,— Семён смотрел на деда новыми глазами.
— А что тут говорить?.. И так всё ясно, без слов.

Действительно, что тут можно говорить, когда человека узнаёшь только после его смерти? И то по воспоминаниям. Пока жив человек, не думаешь, чем он дышит, кого любит, куда мысли его текут. А как помрёт, сразу начинают люди вопросы задавать да сказки-небылицы выдумывать.

А в августе гроза на деревню налетела. Провода многие порвала, деревья повалила да людей обездолила. Сидели четыре дня без света, достали из погребов и подвалов старые светильники, лампы керосиновые, свечки везде понаставили. Вот тебе и цивилизация!

Только когда мужики сходили в соседний колхоз да выпросили машину с электриками, дело пошло. День ковырялись, но к вечеру (уж и не чаяли) сделали.

За три вечера, что сидели в потёмках, Семён не один раз почувствовал, что дед живёт какой-то особой жизнью. Совершенно изменилось его отношение к окружающим предметам. Или Семён не обращал внимания на странности старого?

В первый вечер они долго сидели на воле, дышали свежим воздухом. И хоть тепло было днём, к вечеру потянуло свежестью. Ёжились, сидя на скамейке, но в дом не шли. Уже когда совсем стемнело, это уж где-то часов в одиннадцать, решили зажечь свечку да готовиться ко сну. Дед покопался в кладовке, нашёл свечи, поставил одну в подсвечник, приготовил ещё одну на всякий случай, но зажигать не стал. Обошёл весь дом по кругу, освещая стены и нагоняя на них причудливые тени.
— Это,— сказал,— для того, чтоб изгнать всю нечисть из дома, всю отрицательную энергию. Давно я этого не делал.

Весь следующий вечер дед просидел около окна, глядя на соседний дом через улицу, на пьяного Гришку, который шёл по селу и песни орал, на то, как надвигалась темнота, как стали зажигаться мелкие огоньки в домах поодаль. Когда в соседском доме зажгли свечки, дед поднялся.
— Что ж, пора и нам зажигать свой фитилёк.

Он чиркнул спичкой, поднёс её к свечке, стоящей на холодильнике. Когда свеча разгорелась, дед подошёл к столу и, видимо, хотел её поставить, но вдруг замер и как-то несмело посмотрел в окно, против которого оказался.

Семён сидел за его спиной и не видел того, что поразило деда. Но напряжённая спина старика выдавала некоторый интерес его к тому, что было за окном.
— Чего углядел, дед?
— А блики-то не только от солнца бывают! Едрён-ть… Ты погляди, какая необычность! Какой блеск и стройность. Горит свечка ровно, и отражение её в стекле живёт спокойной жизнью. Чуть затрепетала свеча, так и отражение колышется как на ветру, отгибает его в сторону, будто нехотя, будто против его воли. И какие переливы света, какая живая гармония в этом мёртвом стеклянном блеске просыпается. Блик есть. Значит, должно

быть солнце? А солнца-то и нет вовсе. Вот ведь в чём вопрос-то безответный. Стеклянный блик-то получается, не солнечный.

Дед ещё постоял у окна, вглядываясь в темноту, как бы ожидая чего-то. Повернулся в красный угол, перекрестился и задул свечу.

А следующим вечером, сидя в полутёмной комнате, дед вдруг сказал:
— Ты знаешь, если я вдруг умру, ты последи, чтобы на похоронах обязательно сверкали блики. Солнечные или стеклянные, не важно. Но хочется мне, чтобы они меня сопровождали. Жить помогали, так пусть и при кончине моей будут рядом.
— Ты о чём говоришь-то, дед? Ты вот сейчас о чём говоришь-то? Ты хоть сам понимаешь? — Семён даже растерялся от неожиданности.
— Да не пугайся ты раньше времени. Не собираюсь я сейчас умирать. Я ещё поживу. Но если вдруг… Понимаешь? Если вдруг я помру… Ты мне пообещай, что привезёшь меня в этот дом. Я, конечно, всё понимаю… Вам жить хочется спокойно, не мешать друг дружке с Марьей-то. А она Валюху хочет сюда привезти. Здоровьем девчонка слабая, её надо беречь, воздух ей нужен чистый, деревенский. Пусть Марья здесь останется, а я к тебе в город на зиму переберусь. Чай, не помешаю?
— Нет, пожалуйста, конечно, только как-то всё это неожиданно.
— Чего набычился-то? Или угол отнимаю у тебя? Ладно, забудь. Считай, что я пошутил неудачно.

Дед ушёл в сени, чем-то там громко и долго гремел, пришёл обратно и сразу лёг спать. Даже свечу не стал гасить. Семён поднялся от окна, где сидел, задёрнул занавеску, задул свечу и тоже лёг. Когда он заснул? Сказать трудно, потому как ночь — она обмануха. Лежишь без сна час, а кажется, что все три прошли.

Утром проснулся с головной болью, как со страшного бодуна. Деда в доме не было. В огороде тоже…

Семён заглянул в сени. Сапог и удочки в сенях не было, только на полу в углу, где хранились удочки, темнело маленькое пятно от удилища. Семён собрал несколько бутербродов, налил в термос горячего крепкого чая, завинтил его крышкой и отправился к озеру.

Моросил мелкий дождь. День начинался серо и холодно. Частые круги на воде делали поверхность озера щербатой и как бы мелко рубленной. На привычном месте деда не оказалось. Семён покружил некоторое время по берегу, заглянул в лощину с мелким потоком, который вытекал из озера, но и там никого не нашёл. Оставалось одно место, где Семён всё-таки надеялся найти старика. Так и случилось. У самой церкви под крутым обрывом торчали две тонкие тросточки, в которых угадывались удочки деда.

Сам дед стоял на берегу и не смотрел на воду. Казалось, он совсем забыл, зачем пришёл сюда. Кепка была сдвинута низко на лоб, отчего глаза его совсем спрятались и не показывались из-под козырька. Однако у самой воды в мелком ведёрке плескались пара окуней да две-три сорожки. На земле лежал кусок белого, смоченного водой хлеба.
— Так ты сегодня на хлеб решил ловить? — Семён подошёл к деду почти вплотную.

Тот не отвечал.
— Хлебни чаю, согрейся, — Семён протянул деду стакан с горячим дымящимся напитком. — Как ты любишь.
— Проснулся? — дед искоса посмотрел на внука, взял стакан, отхлебнул осторожно глоток. — Рассказывай, что надумал.
— А что рассказывать? Вот думаю в прихожей обои поменять, купить что-нибудь этакое, в виде природного пейзажа, лес там какой-нибудь или озеро. Ты же любишь озеро.
— С ума сошёл? Из-за меня обои переклеивать? Не смеши народ. Не жениться же ты собираешься?
— Ну вот и ладно. Когда поедем?
— А вот как Марья приедет дня через два-три, так и поедем.

В тот день они не торопились. Не договариваясь, всё ждали чего-то. И оно случилось. Солнце вышло. Блеснуло сначала робко, неуверенно, слегка разгоняя тучки, а потом всё больше напрягаясь и работая мощным поддувалом, ударило по мокрой земле горячим лучом — и заклубилось всё вокруг, зашипело с удовольствием. Блик только в этот день не пришёл. Солнце было, а блик не пришёл. Солнце разгорелось, а дед потух, загрустил.

А через три дня, как и сказал дед, приехала Марья, ещё через два дня они стали собираться и уехали в город. Осталась Марья полновластной хозяйкой в дедовом доме.

И вот теперь дед вновь вернулся в свой дом. Потребовалось всего ничего. Потребовалось только провести три года вдали от дома и умереть, чтобы вновь обрести покой на своей земле. Он вернулся в свой дом, не заходя в него. Теперь для него домом стали четыре доски и ком сырой земли. Но земля всё-таки была родной, той самой, которая грела его своей близостью, давала пищу для размышлений и дарила иногда солнечные блики.

Семён бросил горсть землицы на крышку гроба, следя краем глаза за неторопливыми движениями могильщиков. После дождей земля была мокрая и липла к лопатам. Но могила была на удивление сухая и ровная. Она постепенно заполнялась. Вот уже крест с фотографией занял своё место в ногах покойного. А над крестом широко развернулось серое, беременное тучами небо. И только где-то очень далеко, почти у самого горизонта, горела жёлтая полоса. Да жалобно запел тонкий голосок колокольчика, друга велосипедистов. У церкви гулко хлопнула дверь, и послышался скрип задвинутой металлической щеколды.

И даже когда стихли уже все звуки, в мире всё равно не стало спокойно. Не было в этом мире бликов. Умерли они, что ли, вместе с дедом? Но ведь так неправильно! Зачем он унёс их? Зачем не оставил, хоть в память о себе?

Семён вскинул голову к горке, на которой покоилась старенькая деревянная церковь. И там, внутри церкви, что-то как будто блеснуло, что-то затеплилось, что-то притянуло жаждущий видеть взгляд. То ли ходил там кто-то со свечкой, то ли разжигали свечки, готовясь к очередной вечерней службе. Но свет этот неяркий трепетал и мигал, то замирая, то вновь оживая, выдавливая благодарные слёзы.

Д*и*Н симметрия

Владимир Нарбут

В огне

Овраг укачал деревню
(глубокая колыбель),
и зорями вторит певню
пастушеская свирель.
Как пахнет мятой и тмином
и ржами — перед дождём!
Гудит за весёлым тыном
пчелиный липовый дом.
Косматый табун — ночное —
шишига в лугах пасёт,
а небо, как и при Ное;
налитый звёздами сот.
Годами, в труде упрямом,
в глухой чернозём вросла
горбунья-хата на самом
отшибе — вон из села.
Жужжит веретёнце, кокон
наматывает рука,
и мимо радужных окон
куделятся облака.
Старуха в платке, горохом
усыпанном, как во сне…
В молитве, с последним вздохом,
ты вспомнила обо мне?
Ты вспомнила всё, что было,
над чем намело сугроб?..
Родимая! Милый-милый,
в морщинах прилежный лоб.
Как в детстве к твоим коленам
прижаться б мне головой…
Но борется с вием-тленом
кладбище гонкой травой;
но пепел (поташ пожарищ)
в обглоданных пнях тяжёл…
И разве в дупле нашаришь
гнездо одичавших пчёл;
да, хлюпнув, вдруг захлебнётся
беременное ведро:
журавль сосёт из колодца
студёное серебро…
Пропела тоненько пуля,
махнула сабля сплеча…
О тёплая ночь июля,
широкий плащ палача!
Бегут беззвучно колёса,
поблёскивает челнок,
а горе простоволосым
глядит на меня в окно.
Ах, эти чёрные раны
на шее и на груди!
Лети, жеребец буланый,
всё пропадом пропади!
Прощайте, завода трубы,
мелькай, степная тропа!
Я буду, рубака грубый,
раскраивать черепа.
Моё жестокое сердце,
не выдаст тебя закал!
Смотри, глупыш-офицерик,
как пьяный, навзничь упал…
Но даже и в тесной сече
я вспомню (в который раз)
родимой тихие речи
и ласковый синий глаз.
И снова учую, снова,
как зёрна во тьме орут,
как из-под золы лиловой
вербены вылазит прут.

1920

Алёна Бабанская

Мотыльковое

• • •

У чайника с болящей головой
Причины нет для третьей мировой,
Хотя идеи носятся повсюду,
Он—честная немецкая посуда.
Когда ты в нём завариваешь чай,
Звон ложечки—как лязганье меча.
Он кипятится: всюду вражьи силы!
И надо пить, покуда не остыло.

• • •

Однажды, когда насмотрюсь, наконец,
На золото степи, на балок багрец,
На пахоты, на неудобья,
На скал иссечённые взлобья,
На соек проворных в плетистых ветвях,
На ветер, что в лопастях вертит ветряк:
Всё солнцем рассвечено ловко—
Мне будет в пути остановка.

• • •

Здесь на каждом кусте и травинке
Паутинок висят пуповинки,
Под полуденным солнцем блестя,
А на ниточке каждой—дитя.
Паутину когда обрывают,
«Про надкушенный плод забывают»,
В поднебесье летят—и молчок.
Каждый сам за себя паучок.

Берет

Хорош из Англии берет.
Его и время не берёт—
Семь лет прошло, а сносу нет:
И матерьял хорош, и цвет.
Крушились царства и миры,
Нередко нити рвали парки.
А вот в берете—ни дыры,
Мне в нём ни холодно, ни жарко.
Сносились туфель восемь пар,
И даже злато стало тленом.
А я один хожу как пан:
Не нахожу берету смены.

• • •

Мой папа нынче к бою не готов.
Но я ему всегда ужасно рада.
Он кормит наглых соек и дроздов
Орехами да сладким виноградом.
А птицы—несознательный народ.
Кто нам, скажи, оплатит неустойки?
Вот поутру заглянешь в огород—
Там небо на крылах разносят сойки.

• • •

Как вкусно пахнет не у нас—
В каком-то расчудесном месте.
У нас, конечно, свет и газ,
Но мерзостью разит в подъезде.
Там где-то—тапочки, уют,
Читают книжечку под пледом.
У нас, вестимо, водку пьют
И выражаются при этом.
Догонит дружеский кулак,
Так вызывают неотложку.
А где-то опера, аншлаг.
И балерина тянет ножку.

Картина

У Саши—новая картонка.
Поверх неё положит грунт
И нарисует то, где тонко:
Где умирают, режут, лгут.
Там подмалюет, тут подмажет,
Здесь подберёт погуще тон.
Пусть всё окажется пейзажем—
Мы дружно молимся с котом.

• • •

Вот холмов золотая орда.
В небе кречет.
Остывает донская вода
И не лечит.
Только лодки ласкает рукой
Невесомой.
Только в воздухе вечный покой
Нарисован.

Мотыльковое

Дерева скрипучая калитка
Словно открывается в молитву:
То кузнечик, давший стрекача,
Сломанную ветку покачал.
Листья опадают повсеместно,
Я лечу, чужой и неуместной
Обличима птичьим языком,
По частям и даже целиком.
Что ж я никого не восхитила?
У меня же платье из хитина!
У меня же шёлковый платок,
Свернутый колечком хоботок!

Плещеево озеро

Где в озере Плещеевом
Иголочка Кощеева?—
Ищи её свищи:
Лишь жабы да лещи.
Где жили меря? Вымерли.
А тучи с полным выменем
Пасутся на холмах,
Да ветрено в умах.
Мы были здесь на выгуле.
Нам ветры душу вынули.
На Клещином валу
Зову её: ау!

Заклинатели воды

(Фантастическая поэма)

Часть 1

Где весёлые русалки,
По ночам играя в салки,
Обрывали невода,
Из реки ушла вода.
Всё завалено песком:
Лодки плавают пешком.
Моряки на барже курят,
Ухмыляются в бушлаты.
Их бычки летят как пули.
Ах, вода, куда ушла ты?

На мели сидит баржа,
Разъедает стенки ржа.

Всполошилась вся округа,
Аж огонь горит в глазах,
Обвиняют все друг друга:
Не вернуть воды назад.

Губернаторы и мэры
Говорят, что примут меры.
Их поддерживают СМИ,—
В общем, лягут все костьми.

Часть 2

Наша сельдь идёт по тверди,
Скачет жерех, точно конь.
Чебаки хвостами вертят,
И повсюду запах смерти:
Ужасающая вонь.

Как-то стало всё иначе,
Перевёрнуто вверх дном.
Все коты в деревне плачут,
Петухи, коровы, клячи—
Словом, форменный содом.

Плачут верхние станицы,
Плачет нижнее Подонье,
Влага всякая сгодится,
Всё становится водою.

Нам же плакать не впервой
После каждой мировой.

А кому сегодня сладко?!
Но немножко покумекав,
В бочагах, тазах и кадках
Возвращаем воду в реку.

Я на Сонькину косу
Воду вёдрами несу.

Часть 3

Все участвуют в процессе—
Так сплотила нас беда.
Воду льёт политик в прессе,
Как обычно, без стыда.

Пишет высшее начальство:
Мол, чего мы там бузим?
Чтоб вода могла начаться,
Присылает нам бензин—
Пошутили так в Газпроме:
Ничего не будет, кроме.

Резюме выносит Оксфорд:
Тектонический разлом.
Папа Римский пишет остро
Про борьбу добра со злом.

Заклинатели дождя
Ходят, жезлами водя.

Едут банки и заводы
Посмотреть на наши воды—
На отсутствие, скорей,
На рыдания зверей.

Нам затычку из металла
Присылают Северá.
Коль у вас воды не стало,
Значит, есть у вас дыра.

Может, нам предметом этим
Залатать дыру в бюджете?

Но пока оставим шутки,
Ведь дыра у нас в рассудке.

Часть 4

Посмотри, светлеют лица
Мужиков, детей и баб:
Кто умел, пошёл молиться,
Даже если сир и слаб.

Поднялись над речкой вихри.
И коты у нас притихли.

Замелькали всюду тучи
Чёрных галок и ворон.
Мы глядим, а землю пучит,
Мы глядим, а небо пучит,
И вода со всех сторон.

Час великий ликованья
И купания в грязи!
Сувениров наковали,
Хоть на экспорт вывози.

Тушим нашею водою
Мы в Австралии пожар.
Даже если не Подонье,
Кенгуру нам ихних жаль.

Бутилируем водицу,
Возим к разным берегам.
Стали жабы разводиться—
Говорят, они к деньгам.

Чтоб опять заткнулись хляби,
Обращаться будем к жабе.

Часть 5

Мы привычные, в России,
Вечно думаем потом.
Только воду попросили,
А теперь у нас потоп.

День и ночь водища хлещет,
Покрывает плесень вещи.
Проплывает меж дворов
Стадо мокрое коров.

И опять орут коты—
Не выносят мокроты́.
Мы придумали из грабель
(Что ни день—синяк на лбу)
Возвести большой корабель
И уплыть пытать судьбу.

И станица—точно остров:
Ближний берег не видать.
Что не так, ответь нам, Оксфорд?
Отчего живём непросто?
Где нам будет благодать?
Постарайся угадать.

Алексей Чернец

Чтоб вечно стоять на Угре…

* * *

И понял человек про заговор вселенский,
И в сердце у него погиб Владимир Ленский,
Теперь из глубины сибирских руд
По громкой связи демоны ревут.

То мерит коридор—подобие хайвея,
То грезит что-то там из Бредбери из Рэя,
А то вскричит: какой, к чертям, ремонт,
Когда не разберёшь, где тыл, где фронт?!

Присядет, постучит, как пианист, по клаве:
На, выкуси, фейсбук, мы тут, чай, не в Китае.
Скажи-ка, дядя, дело наше—дрянь?
А Швабрин, слышь, реально негодяй!

* * *

Сверкая в светлооком фонаре,
Кружатся мимолётные снежинки.
И градус жизни, замкнутый в нуле,
И проводов дрожащие поджилки…

Воздушных масс, разбитых о фасад,
Колонна проносилась полным ходом,
Фонарь погас, но отыграл назад—
Как смерть и жизнь, одним двоичным кодом

Пробили брешь—и душу в оборот,
Куражась: мол, да есть ли в этом теле?
Ударил свет, завьюжил хоровод,
И полегли обугленные тени.

* * *

Говори, говори мне, золотце,
Как летят по дефолту деньги!
Печенеги тебе не половцы,
Половцы—не печенеги.

И сказал бы: не знали,—знали же,
Не напрасно гуляли слухи.
Говорят «жалюзи́»—не «жа́люзи»,
Как от стенки отскок от скуки.

Отчестив негодяев загодя,
Гогоча, омываем длани,
И журчит загово́р, как за́говор
Между ухарством и Уханем.

* * *

Чужого горя легче жёрнов,
Как ни прикидывай извне,
И ту шинель с плеча чужого,
С дырой, с кровищей на сукне,

Не примеряй, не будут впору
Ни та война, ни тот устав.
Вот маму с полпути на скорой—
Сегодняшний, реальный страх!

Да нет же, обойдётся, что мы,
И прежде знали пневмоний.
Вот дети вырастут без школы,
Без книг, в беспамятстве—одни!

И в день какого там парада—
Хоть самому себе не верь…
Наверно, Господи, так надо—
Проснуться в этот майский день.

Переосмыслишь то, чужое,
Пока щетинишься, как ёж:
Ну, это, с Днём Победы, что ли?!—
И вспомнишь будто, и поймёшь.

* * *

Я ради красного словца
Спешил добраться до конца,
До той безлюдной станции.
А где тут выход? Нет как нет.
Нет ни газет, ни сигарет,
И бесполезны санкции.

Теперь назад спешу—туда,
Где день—какой?—ах да, среда,
Делюсь бесценным опытом.
Там тело скучное, как воск,
Там чей-то шёпотом вопрос:
«Ты слышишь, слышишь? Кто-то там!»

Тут я на нерве: «Слышь, кончай!
А как же жизнь? А как же чай!»
Блин, из огня да в полымя…
А тот, покорствуя судьбе,
Лежит и думает себе:
«Всё надо делать вовремя!»

● ● ●

Не чипируй меня, не привязывай—
Я родился на том берегу.
Недоверчивый взор неприязненный
Мечет молнии в сердце врагу.

Устрашившись врага бессердечием—
Вкривь и вкось, поперёк да повдоль:
Не придумать страшнее увечия,
Чем душевная липкая хворь.

Прирастает бурьяном некошеным
Неживая ползучая рать.
Отпусти ты меня по-хорошему
На родной стороне проживать.

Присылай мне счета да квитанции,
И однажды в предутренней мгле
Я вернусь к соблюденью дистанции,
Чтобы вечно стоять на Угре.

● ● ●

Крикливым, нервным стал Харон:
Вы у меня вот здесь, в печёнках!
От ваших грёбаных корон
Потонет утлая лодчонка!

Иль это, боги, мстится мне,
Иль это подослал сам чёрт их?
Но сколько ж их, живых царей,
Когда припёрло столько мёртвых!

Иль каждый сам себе колпак—
Вознёсся, хряснулся о купол?
Со смертью можно разве так—
Не по-товарищески, грубо?..

Задетый за живое, дед
Табличку накарябал: «Клосед».
Вас, мол, ко мне—а смерти нет,—
Бастует и не перевозит.

● ● ●

У меня в запасе вечность,
Проведу её как надо.
Иссушись от злобы, нечисть:
С козырька сверкнёт кокарда.

Что ж я маленький не сдох?
Потому что видит Бог!

Потому что прямо в уши
Снег и ветер, снег и ветер,
Потому что жить не скучно,
Если вспомнилось о Лете…

Как всегда, на берегу—
Слышь, проверю забегу!

● ● ●

Отойди от меня—не дрогнут
Ни рука, ни слепая вера.
Я не спятил—я весь подобран,
Обращён до зубного нерва.

У меня заболела мама—
Я в аптеку, купить лекарства.
А сомнений во мне ни грана—
Только нервы: чуть тронь—искрятся.

Оплечь небо, в ногах дорога,
Да вода по спине как с гуся.
Сколько есть—мы одни у Бога.
Отойди, говорят, не суйся.

Юрий Олеша

Беатриче

Георгию Аркадьевичу Шенгели

Ты, Боже, Герцог… но каких владений?
Какое имя из других нежней?
Перебираю сладкие, земные
И руки отряхаю и гляжу:
Текут, текут и падают, звеня…
Тоскана?
Видишь? Это Твой Георгий!
Смотри: смеётся—шлем раскрылся розой…
Ему не страшно биться в день такой
На зелени, средь лютиков, в росе,—
Когда на небе облак или плод,
Архистратиг—садовник или воин?
Конь бел, как горлинка, как рыба;
Он плещется и вьётся от сиянья
Двух длинных шпор—двух золотых комет.
Дракон не страшен всаднику такому:
Дракон для грешников—исчадье ада,
Для праведников—ящерица лишь,
Для Рыцаря Святого—только сердце,
Засохшее и чёрное, как боб!
Тоскана?
Ты не хочешь?—Есть другие…
Вот—Роза.
Слушай: Роза! Роза!

Был инок, неумелый в ремесла́х:
Ни драгоценной алой киноварью
Заглавия по золоту писать,
Ни рисовать, как круглою рукою
Подносит Ева яблоко Адаму,
А с пальмы змей качается над ней;
Ни сочинять в сладчайший лад псалма
О том, как лань зелёною тропою
Из мокрых кущ явилась, и сиял
Крест на челе—весенним смутным утром…
Так ничего не знал он, не умел,
Но только пел, как ветер, пел—Мария!
Но Богоматерь, Деву Пресвятую
Из братьи всей—превыше почитал…
Смеялись иноки. Но Ты, о Боже,—
Ты знаешь всё—кому удел какой!—
И вот, когда он умер, на устах,
Покрывшихся смертельной чернотою,
Вдруг расцвели паникадилом дивным
Пять алых роз—пять страстных букв—Мария—
Стеблями от замолкнувшего сердца,
Чей вес златой ты пробовал в тот миг.
Нет! Ты не хочешь розы! Я найду…
Так говорят, что видит Алигьери?
Куст розовый, где листья—латы, розы—
Без рукавиц
В покое розовеющие руки:
Пять лепестков—персты сложились купно,
Отягчены сияющей пчелой!
Она уйдёт, уйдёт, звеня,—с венца в ладонь,
В темнеющую кровью сердцевину,
Где листья вкруг—военные зубцы
Железных нарукавников доспеха!..
Где голова, когда так много рук?
Кто их поверг и смял под конским брюхом
И улетел, пылая стременами,
Стремительный, как искра из меча?
Но поднимает очи Алигьери
И узнаёт, кто рыцарей поверг…
Там, над кустом,—шумел, сиял и открывался Рай…
Струился свет, стекая, как Архангел,
Меняя драгоценные цвета,
Огромный свет—свет конницы небесной,
Свет плата Вероники…
Свет от одежд, очей, лица, от рук
Там, над кустом, представшей Беатриче…
И Алигьери знал, какое имя
Дать Господу владениям Его…

Он так сказал: «Как к Господу, умерши, прихожу,
И спросит Он: Чего тебе я не дал?
Что мне хотеть?—тогда Ему скажу,—
Раз я любовь великую изведал…
И покажу: гляди, по тёмным странам,—
Там, в высоте, в текущей смутной мгле
Горит звезда. Её Альдебараном
Живущие назвали на земле…
Когда бы вдруг с небес рука Твоя
Меня совсем забыла меж другими,—
То и тогда—что требовал бы я,
Раз у нея нежнее было имя?»

Одесса, октябрь 1920 г.

Алексей Зябкин

Пело в руках ремесло

* * *

Шумит вдали, шумит вдали,
А сердце словно напевает:
Уйдёшь с земли, уйдёшь с земли,
А грусть останется живая…

Во всём она — в огнях тревог,
В снегов сверкающей постели,
Как данный Господом исток,
Какой вовек не оскудеет.

Пусть не услышишь голоса
И то не сбудется, что снится,
Когда вспаришь ты в небеса,
Которыми теперь не спится…

Прошла зима — пришла весна,
Где всё по кругу хороводит,
И тонут проблески ума
В угаре вешних половодий —

Тем слова не расслышать, нет,
Но жажды время не отнимет:
Пройдут года, придёт поэт —
Живую грусть с земли поднимет…

* * *

Стоит сентябрь, парят мечты,
И что-то держится в погоде;
И вечер замер у черты
На пешеходном переходе,

Покуда, словно дирижабль,
Покачиваясь неуклюже,
Не раз по кругу обежав,
Свою просоленную душу

Вверх по реке несёт трамвай,
И кто-то, взяв тебя за руку:
«Давай попробуем, давай,
Быть снисходительней друг к другу», —

Тихонько скажет… А пока
Шумит вода, и ждётся чуда,
И ночь приходит, как строка,
Казалось бы, из ниоткуда…

* * *

Тишины нарушать не хочется,
Пусть побудет, пока легка…
Не поглядывай озабоченно
На вечерние облака.

Заповедал друг друга радовать
Нам Всевышний давным-давно,
А не будущее выгадывать,
Бесконечно смотреть в окно.

Ничего уже там не высмотреть —
Всё давно уже даль взяла,
Подхватила рекой немыслимой,
Покружила и унесла…

Счастье поровну не разделится,
Жизнь о главном всегда смолчит,
И не лучшее перемелется,
И хорошее отзвучит.

Подожди, наберись терпения —
Благодатный прольётся дождь.
Не ищи в тишине знамение —
То, которого не найдёшь.

* * *

Как в утро горели иконы,
Как в комнате было светло,
И в воздухе таяли звоны,
И пело в руках ремесло!..

И новою чистой страницей
Та вера являлась во мне,
Которою веруют птицы
В небесной своей вышине;

Та вера, с которой, по сути,
И не усомнишься ничуть,
Каких бы ни знал перепутий
Твой долгий и горестный путь;

С которою падают листья,
Слегка задевая карниз,
С которой так хочется в жизни
Побольше подобных страниц…

* * *

Рыжая собака, рыжая собака—
Жарко ей, наверно, в этот майский день:
Льётся на дорогу солнечная брага,
А среди деревьев притаилась тень.

То, как лошадь, рысью впереди хозяев
Ринется куда-то, за собой зовёт,
То бежит послушно, то опять отстанет,
И стоит поодаль, и чего-то ждёт.

Вспомнилось мне время, годы золотые,
Думы удалые, розовая мгла:
Рыжая собака, я не вспомню имя,
В точности, как эта, у тебя была…

Мы дружили крепко, пропадали вместе,
В глупом ли угаре годы пронеслись:
Умерла собака, позабылись песни,
Что любить и помнить без конца клялись…

Растревожит сердце юности отвага,
Но гляжу спокойно из иных забот,
Как из тёплой лужи рыжая собака
Языком шершавым лижет небосвод…

На Вознесение Господне

Всё нынче так—и ясно, и не ясно,
Но видится по-новому уже:
Не просто день—с земли уходит Пасха,
И оттого так странно на душе…

Как скоро в этот вечер гаснет солнце,
И слышится за шёпотом берёз:
Всё позади, Он завтра вознесётся
Туда, где нет ни времени, ни звёзд…

Стопой своей почтит тот самый камень
И оттолкнётся с лёгкостью Творца,
И вслед мы за Его учениками,
Как дети, проводившие отца,

Смотреть то в небо будем, то с прищуром
Куда-то вдаль, как бы остаться мог,
В надежде, что знакомая фигура
Покажется из глубины дорог…

Ему—вослед… Но что нам остаётся?
Был близ Господь, и вот—далече Он…
Любовь—та, для которой нет сиротства:
Он с нами! С нами!.. До конца времён.

* * *

Вот ляжет снег—и то отрада,
И счастлив будь на вираже:
А много ли на свете надо
На вид загадочной душе?

Где не угрюмый, не печальный
Блуждает люд по краю бездн
И никого звездой хрустальной
На тёмном бархате небес

Не удивишь, да и не нужно
Карабкаться так высоко,
Нужна душе зачем-то стужа—
Ей в стужу дышится легко.

И думать хочется о разном:
О жизни, вовсе не любой,
О Рождестве, а там—и Пасхе,
И о каёмке голубой,

О том ещё, что, матерея
Из века в век, за годом год,
Низвергнуть не сумеет время
Ту землю, что душой живёт.

Зима придёт без разговоров,
Теперь о многом говорят—
Уже и купола соборов
Совсем по-зимнему горят.

* * *

Гагарин летел в неизвестность,
Земля напряжённо ждала;
Внизу была сельская местность,
Вверху—непроглядная мгла…

И думал, потом уже, после,
В знакомой приветливой мгле:
Зачем эти тусклые звёзды
Прекрасной огромной Земле?

Неужто без них невозможно
Любить и шуметь городам?
И вновь становилось тревожно
Спустя ему, но не тогда,

Когда снова ехал в кортеже,
И вновь, вышибая слезу,
Поток, как людские надежды,
Букеты держал на весу…

А может, совсем не о звёздах
И всей этой гонке стальной
Молчал, а о том лишь, как после,
Когда возвратится домой,

И, скинув вселенские туфли,
Не небо, что видел он там,
Вручит, а по новенькой кукле
Любимым своим дочерям…

● ● ●

Знакомый дрозд наш прилетел,
Вновь из своих вернулся странствий
И на одну из веток сел,
Там, видно, не сумев остаться,

Где голос утренней звезды
Звучал особенно и чутко,
И щегольнуть, как все дрозды,
Любил при ней своею грудкой…

Бросают школьники снежки,
Былое сердца не тревожит,
И появляются стихи
О том, что всё ещё быть может.

О, сколько зим и сколько лет,
В годах трезвы, в сужденьях метки,—
Дрозда того давно уж нет—
Мы без конца сменяем ветки…

● ● ●

Век можно долго и упорно
Тут всевозможных ждать чудес,
Слагать стихи, мечтать о вздорном,
На чём-то жирный ставить крест,

Свою особенную данность
Провозглашая тут и там,—
Всему придёт однажды август,
Что расставлял ты по местам.

Все те досадные огрехи,
Что были с поиском твоим,
И мимолётные успехи
Развеяв по ветру, как дым,

Разбудит горестно и свято
В душе бессмертие души—
Одним-единственным закатом,
На всю оставшуюся жизнь…

● ● ●

Стынет вечер за берёзами,
Не желая уходить,—
Не меня в накидке розовой
Соберёшься проводить

Ты, желанная и скромная,
И пойму, покуда свет,
До чего земля огромная,
А такой и вовсе нет…

Полюбилось то, что истинно,
Остальное было—так,
Остальное в осень с листьями
Упадёт в сырой овраг…

Схлынет оторопь дремотная,
Отзовётся сердцем жаль,
Жизнь, как птица перелётная,
Полетит в иную даль,

Отойдёт за лёгкой поступью
Всё, что было и что—нет,
Как твоей накидки розовой
Вдалеке растает свет.

● ● ●

Окно открыто, но не слишком,
А в беспокойных небесах
Видны отчётливые вспышки:
Там где-то всё ещё гроза,

Здесь прогремевшая недавно,
Где голоса наперебой
Сливались в гул, пока державной
Та наливалась синевой…

И только ветер, запрокинув,
Не затихая допоздна,
Тревожит дрёмные вершины,
Но, проникая в створ окна

(Оно едва-едва открыто),
Совсем легонько холодит,
Как чем-то так и не забытым
Мне снова душу бередит:

Грозой ли, напитавшей воздух,
Фривольный на исходе дня,
И так же, как вершины, просто
Тревожит прежнего меня.

Александр Рудыка

Отрог

● ● ●

Последний звук затих под сводом,
И хлынул долгожданный свет.
Шагнули зрители в проходы,
Под впечатлением и нет.

Кулис качнулись аксельбанты,
Смыкая занавеса шёлк.
Ушли из ямы оркестранты…
И театральный мир умолк.

А в нём—покинутое всеми
В погасшей зальной глубине—
Свой ход остановило время,
Прислушиваясь к тишине.

● ● ●

Так странно… Время тихо тает,
В душе—осеннее жнивьё,
Но всё яснее проступает
Из прошлого лицо твоё.
Во взгляде с нежностью ранимой,
Надежду хрупкую неся…
И для меня ты в этом вся.
Так и не ставшая любимой.

Отрог

Бесконечна дорога,
Словно чья-то печаль…
До заветного срока—
Неоглядная даль.

Встали кедры как вехи
Там, где горный отрог
Обрывает навеки
Бесконечность дорог.

● ● ●

На грани
Неба и земли
В сетях
Заката золотого
Забилось
Брошенное слово,
Как рыба
На речной мели.

● ● ●

Сгорел деревенский юродивый.
Ступил на небесную твердь.
Он смерть не почувствовал вроде бы…
А можно ли чувствовать смерть?!

Спаситель старух и болезненных,
Ленивым—покорный слуга,
Он тихую душу болезную
Для всех раскрывал донага.

И часто по делу по-пьяному
Курил в приоткрытую печь…
Как будто судьбу окаянную
Спешил он нечаянно сжечь.

● ● ●

Должно быть, грустной стала Муза,
Когда поспешная рука
Вдруг приоткрыла дверь Союза—
По глупости наверняка.

И вот зашёл путём коротким,
Как будто бы к себе домой,
Самоуверенной походкой
Творец с полупустой сумой.

Он говорит, а не глаголет—
Не настрадавшийся пиит…
Стихи, пришедшие без боли,
Не прочитаются навзрыд.

● ● ●

Сияньем солнечного
　　　　света,
Зелёной гулкою
　　　　волной,
Летящим эхом
　　　　без ответа,
Шуршащим ветром
　　　　под луной
Осталось в прошлом
　　　　наше лето…

А впереди—за пеленой—
Покой небесный и земной.
И крик зовущий—без ответа.

Предрассветное

Туманный свет за берегами,
Где невесомые стога
Парят над сонными лугами…
И под стогами-облаками
Не просыпаются луга.

И в призрачно-туманном свете,
Неразличимая пока—
Её увидим на рассвете,—
За тишину и ночь в ответе
Течёт неспешная река.

Ни плеск, ни шум и ни журчанье
В минуты эти не слышны.
Река в сонливом состоянье…
Её спокойное дыханье
И есть звучанье тишины.

К Шукшину

Пикет. Постою у подножия…
Разуюсь у всех на виду.
А то, получается, что же я—
Обутым к босому иду!..

Миную подъём, что накатанный,
Пойду по зелёной канве—
По благоухающей ладаном
Цветущей июльской траве.

Вершина—венец восхождения.
Подобно святому лучу,
Ко мне снизойдёт откровение,
Что тщетно повсюду ищу.

Вгляжусь я в глаза изваяния,
А в них оживает печаль…
На что через все расстояния
Он смотрит задумчиво вдаль:

На дерево, серьги надевшее,
Катунской водицы струю,
На поле, ещё не созревшее,
А может быть, в душу мою?..

Прощальное

Уезжаем завтра—на исходе лета.
Закружила в небе птица нашей грусти.
…Горы, мои горы,
вы простите это—
Но пора настала возвращаться к устьям.

Как в ущелье эхо—закрутились ветры,
Принесли внезапно расставанья осень.
Вскроет непогода
белые конверты,
Стылые метели будут биться оземь.

Там, где поседеют голубые ели,
Первозданным снегом
некому умыться!..
Замерла живица
на кедровом теле,
Над оглохшим лесом
замирает птица..

● ● ●

Мой парнасский брат…
А. Пушкин

Увы, но вдохновенья лиру
На всех никак не поделить.
И рвут связующую нить
Собратья по перу и пиру.

Ведь в поиске заветных строк,
Затерянных в бездонном мраке,
Есть место подковёрной драке,
Есть время для нелепых склок.

Но выпал нам единый путь!
Различны лишь земные сроки…
И голос Пушкина высокий
Глаголет истину как суть!

Геннадий Рязанцев-Седогин

Вне времени

Морской волне

Когда бы ты не знала берегов,
Гонимая солёными ветрами,
Ты в бездну увлекла б и скарб, и кров,
Сомкнувшись над людскими головами.

Но бьёшься ты в скалистую гряду,
Как злобный зверь, не достигая цели.
Дымятся гребни в штормовом аду
И воют, словно русские метели.

Сочельник

Ребёнку

Мы побредём с тобой, ребёнок,
В простор безбрежно-снеговой.
Твой голос так лучист и звонок,
Как этот неземной покой.
Зажгутся звёзды золотые,
Погаснет розовый закат.
Сейчас к тебе, моя Россия,
Прикован Бога нежный взгляд.
Нас ожидает нынче чудо.
Смотри, как светит на поля
Хвостатая звезда. Верблюды,
На них три статных короля.
Сосредоточены их лица,
Одежды тканые, чалмы.
Они идут, чтоб поклониться
Младенцу Богу средь зимы.
Темно в России. Звёзды ярки.
Волхвы несут в своих руках
Неслыханные здесь подарки
В тяжёлых, крепких сундуках.
Пойдём с тобой верблюжьим следом.
Ты видишь: на краю села,
Укрывшись снегом, словно пледом,
Вертеп—и у ворот осла.
Нас встретит нежно Матерь Божья,
С высокой грустью у чела.
Она сюда по бездорожью
Вчера с Иосифом пришла.
Внутри уж надышали жарко,
Стоят, склонившись, короли.
Младенец спит, и три подарка
Тревожат сон Его, смотри…

Путём зерна

Пахали в ночь. Погожие деньки.
Успеть, успеть посеять в землю зёрна.
Седые небеса пространны, глубоки,
Земля вздохнувшая покорна.

Кормилица и ласковая мать,
Тебе не занимать терпения и воли,
Ты не устала со смиреньем принимать
Людей, не помня ни обид, ни боли.

Падёт зерно в твою святую плоть,
Его пробудит дождь, взлелеют ветры.
Путём зерна, считая километры,
Пойду и я—благослови, Господь.

Моя жизнь

Своей судьбе всегда покорный,
По жизни с кротостью иду,
И смрадных сплетен пепел чёрный
Сметает ветер на ходу.
Один, в годину бед суровых
Я голову не преклонял,
И ради увлечений новых
Я убеждений не менял.
Меня моя судьба хранила
За верность Родине моей,
И часто голос музы милой
Спасал меня во мраке дней.
И, зо́ву сладкому подвластный,
Я прославлял тоску небес,
Бег облаков, и день ненастный,
И речку, и шумящий лес.

Поклонные кресты России

Молись крестам, Святая Русь,
Храни бессмертные глаголы,
Пусть светлая нисходит грусть
В твои леса, поля и долы.

Враги со всех сторон идут,
Но сквозь пространства огневые
Кресты, как знаки верстовые,
Тебя к спасенью приведут.

Молодая Земля

Целый день ходили облака,
Пеленая яркое светило,
Белые, как брызги молока.
А потом неведомая сила
Затянула пологом восток.
Ветер вдруг подул, густой и влажный,
Каждый трепетал листок,
Ожидая бури.
Стриж отважный,
Чёрной молнией носился над рекой,
Словно и не видя непогоды,
Чужд ему был сладостный покой.
Хмурились темнеющие воды,
Капли крупные холодного дождя
Обжигали спину, руки, плечи.
Я бежал, как малое дитя,
С тёмной бурей опасаясь встречи.
Ветер, перемешанный с дождём,
Зашумел в деревьях, травах, крышах,
И раскатисто ударил гром,
С жарким гулом возносясь всё выше.

Как ты молода ещё, Земля,
Коль таишь такое страсти пламя,
Громами клокочешь под ногами,
К звёздам мечешь всполохи огня!

Прощание

Всходило солнце в шесть утра,
Сначала освещало раму,
Затем портьеру, часть ковра
И спящую тихонько маму.

Свет огибал овал плеча,
Изгиб руки, волос колосья,
И яркость первого луча
Делила мир на до и после.

Вера

Ветер нынче угрюмый
Гонит тучи во мгле.
Залегла на челе
Скорбь бессмысленной думой.

Опустившись до дна
Неизбывной печали,
Знай: в изменчивой дали—
Только вера одна.

Элегия

Уж птицы больше не поют
Над опустевшими полями.
Поднялся обмелевший пруд,
Залитый серыми дождями.

И куст озябший бузины
Склонился к вымокшим воротам,
И перелески не видны,
Туман зовёт к глухим дремотам.

Иду за дом по росным травам.
Притихший, опустевший двор.
Он шумным отличался нравом—
Молчит пила, притих топор,

Не слышно голосов старинных…
Но я иду к тебе опять,
Мой ветхий кров времён былинных,
И время возвращаю вспfive.

Вне времени

Идём, шуршим сухой листвой.
Что чувствует в ночи моя собака,
Застыв на миг передо мной,
Заслышав стон степного мрака?

Полночный древний, дикий стон,
Как горьковатый вкус полыни,
Идущий из седых времён—
Бездушной, неживой пустыни.

● ● ●

Мне снится, что я умираю
В тревоге и тесноте.
Не вижу ни ада, ни рая,
Лишь только скользят по воде,
Своим отраженьем любуясь,
Два ангела, белых как снег,
И облако, нежно целуясь
С водой, продолжает свой бег.
И, не дожидаясь ответа,
Кукушка меня позвала,
Тростник наклонился от ветра,
А может, от взмаха крыла.
Здесь так гармонично движенье,
У тростниковой гряды,
Здесь ангельское оперенье
Сливается с всплеском воды.

Детство

Всё позади—
И детство, и любовь.
Нет чувств живых,
Волнующих и новых,
Но память
Возвращает душу вновь
В приют туманных дней—
Прекрасных и суровых.

Я счастлив был,
Как радостный цветок
Тем, что он жил
На этом белом свете,
Тянулся головой
За солнцем на восток,
Как всё живое
На моей планете.

Я смутно помню
Матери глаза—
Усталую,
Но светлую улыбку,
И помню,
Как летела стрекоза
И на ладонь мне села
По ошибке.

Я смутно помню
Старое крыльцо,
Приезд отца
Внезапный из района,
Его колючее,
Небритое лицо
И сумку чёрную
В руках у почтальона.

Я помню девочку,
И смоляной барак,
И мерный скрип
Раздолбанных качелей,
И я сидел часами,
Как дурак,
Смотрел, смотрел
Из-за зелёных
Елей.

Качается или сидит
Она,
Укрывшись на качелях
Старой шалью…
А ночью я дежурил у окна,
Завешанного тюлем,
Как вуалью…

Всё позади—
И детство, и любовь.
Нет чувств живых,
Волнующих и новых,
Но память возвращает
Вновь и вновь
В приют туманных дней—
Счастливых и суровых.

Вера Арямнова

Пёс

Муж Антониды превратился в пса. В крупного, хорошего пса непонятной породы. Произошло это постепенно. По какой причине—Антонида не знает: может, вирус какой подхватил, два года болтаясь вдали от семьи, а может, думает она иногда с обидой, без всякого вируса, по собственному желанию. Потому как ни разу не видела Антонида, чтобы мелкие—поначалу—изменения, которые замечали оба, его огорчали или хотя бы удивляли. Он казался даже довольным, обнаруживая новые собачьи признаки на собственном теле.

А началось всё с запаха. Вернее, с его пропажи.

Антонида собирала рубахи Алексея в стирку. И по женской слабости, а скорее—по старой памяти, ведь женской слабости к мужу у Антониды к тому времени уже не осталось, прижала их к лицу и вдохнула запах. Вот тут-то и обнаружилось, что прежнего, родного духа от них не исходило—рубашки резко и явственно пахли псиной. Большого значения этому Антонида сначала не придала и, может, вскоре забыла бы об этом, если б не событие, последовавшее аккурат в тот вечер, когда выстиранные «Тайдом» с лимонным запахом рубахи она тщательно выгладила и повесила в шкап на плечики—по две рубашки на каждое.

Закончив работу, она вошла в большую комнату, где последнее время спал на диване муж. Алексей смотрел телевизор, но на приход жены отреагировал, протянув к ней обе руки. Антонида легонько погладила его и присела на диван. Алексей с готовностью подвинулся и тут же, зевнув, потянулся во весь свой огромный рост. Одеяла не хватило, и одна нога выпросталась наружу. Ладно бы нога, а была это не нога, а собачья лапа. Рыжеватая на вид, с крупными растопыренными когтями…

Антонида, вскочив, оторопело глядела на неё, а после перевела взгляд на мужнино лицо. Он тоже смотрел на лапу, и, похоже, она занимала его больше, чем донельзя удивлённая Антонида. Потом, как бы с сожалением, втянул лохматую под одеяло и через секунду снова выпростал, но уже не лапу, а свою вполне человеческую ногу.

— Фу ты, причудится же такое!—облегчённо выдохнула Антонида и снова посмотрела на лицо Алексея.

Он как ни в чём не бывало смотрел на экран. «Куда ж это мне мозги-то повело?—подумала Антонида.—С чего мне всё это приблазнилось?» Антонида устыдилась собственных галлюцинаций в отношении мужа и почувствовала себя виноватой перед ним.

— Алёша, можно я побуду с тобой?—жалобно сказала и обняла мужа.

Тот заулыбался, глянул в глаза Антониде ласково и преданно. Она положила голову на плечо Алексея и вдруг услышала упругие дробные удары в мягкую спинку дивана. Скосив глаза, увидела: крупный собачий хвост в лёгкую загогулину колотит, как бы от радости, по обивке дивана, и на ней остаются рыжеватые шерстинки. «Линяет…»—последнее, что подумала Антонида и хлопнулась в обморок.

Сначала Антонида пыталась разговаривать с Алексеем, надеясь остановить процесс.

— Я всегда изнутри был псом,—сообщил муж.

— Как это псом? Я же влюбилась в тебя, замуж пошла, детей тебе родила! Никакого пса ты даже отдалённо не напоминал.

— Ну да,—ухмыльнулся Алексей,—я же старался тебе понравиться, на задних лапах перед тобой ходил.

— А почему же теперь не ходишь?—всхлипнула Антонида.

— Ну нельзя же всю жизнь на задних лапах проходить. Ты вот попробуй всю жизнь—на цыпочках…

На такой резон Антониде и не возразить было.

Дальнейшие разговоры на эту тему муж обрывал лаем. Как только заговорит Антонида об этом, Алексей—в лай. А потом стал лаять и по другим поводам.

Совсем прохудилась на веранде крыша. Антонида купила рубероид, Алексей покрыл половину крыши и забросил дело. Как только она напоминала ему о приближающихся вместе с осенью дождях—начинал лаять. При этом у него то уши собачьи прорастали ненадолго, то нос покрывался шерстью, а то и вся голова превращалась в псиную. Антонида пугалась и отступалась от него. Что делать с крышей, никак придумать не могла. Не просить же соседа чинить—при живом-то хозяине? В округе все знали Алексея как мужика

с золотыми руками и большой силищей. У всех на виду Алексей когда-то один этот дом из разрухи поднял: и фундамент под него подвёл, и крышу сменил, и веранду пристроил, и много ещё чего. Соседи, кажется, ещё не догадывались, что происходит с Алексеем.

Антонида весь этот ужас переживала вдвойне. Десятилетний Колька был свидетелем отцовских превращений, и хотя его-то малолетство хранило от глубокого переживания происходящего, Антониду, как мать, не спасало ничто.

Она шла на работу. Сначала на одну, потом на другую — помимо основной, подрабатывала мытьём полов в двух магазинах и в подъезде жилого дома. Весь день, таская с собой Кольку за руку, она чувствовала, что думает с ним об одном.

— Вообще-то, мам, я всегда мечтал о собаке. Как думаешь, папа когда-нибудь превратится в собаку насовсем? — высказался однажды Колька.

Антонида не сдержалась и заплакала.

«Насовсем» Алексей превращался в собаку довольно часто и собакой нравился ей больше, чем человеком. В собачьей ипостаси мужа проглядывала его бывшая человеческая сдержанность и дружелюбие. В человеческом же обличье и при частичных превращениях Алексей стал невыносим. Он чесался задней ногой, не снимая ботинка, добивался, чтобы вылизанные им тарелки и сковородки считались вымытыми, за стол с нею и Колькой садиться перестал, а издали, неотрывно и преданно глядя на людей, дожидался, когда Антонида поставит еду перед ним на пол. Колька порой забавлялся: служи! И Алексей, подмигивая сыну человеческим глазом, выхватывал подачку. Антонида впадала в истерику, Алексей начинал злобно рычать и скалить уже вполне собачьи клыки — он не выносил отрицательной эмоциональной реакции на своё поведение. А собакой ластился, лизал руки… Но однажды попытался обнюхать Антониду под подолом.

— Прочь, прочь, пошёл вон!.. — закричала она не своим голосом, и пёс, поджав хвост, проворно выскользнул за калитку.

Любопытно, что задвижку открыл быстро, вполне по-человечьи — передними лапами, встав на задние.

Быть женой полупса-получеловека невмоготу. Антонида тосковала и однажды излила тоску соседке Алле, рассказав всё. Алла была супругой бизнесмена. Новенький дом их горделиво возвышался среди других, выросши, как гриб, за одно лето. Мужики-соседи проходили мимо, отвернувшись, потому как у себя дома отбивались от жён, ставивших им мужа Аллы в пример. Доказывали жёнам: никакой работой денег таких не заработаешь — только воровством. Зато женщины относились к новой соседской паре уважительно-подобострастно, сразу признав за ней первенство над всей улицей. И шли к Алле с любой нуждой — позвонить, денег занять, помочь похлопотать о чём-то, просили советов. Алла соседок привечала: ведь никакие железные решётки на окнах не спасут от грабителей, а вот хорошее отношение соседей ввиду такой опасности — дело совсем не лишнее.

Рассказ Антониды близился к концу, когда зашла Нина — позвонить с Аллиного телефона. А Антонида остановиться не сумела, досказала свою историю при ней. И если глаза Аллы по мере рассказа становились всё более удивлёнными и испуганными, то Нина как будто не нашла в нём ничего удивительного.

— Ну и чего ты ревишь-то?[1] — строго сказала Антониде Нина. — Эко дело — пёс! Солидное существо, дом охранять станет. У меня вона пятый год Васька пятак да хвост закорючкой отращиват, копыты опять же. Да ишо хрюкат, как по пятаку-то хлопну газеткой или чем попало. Совсем превратится — куды его? На мясо, что ль? Никак нельзя, двои робят у нас, внуки.

— Женщины, вы с ума сошли или разыгрываете меня?! — почти взвизгнула Алла. — Идите с Богом. Думать надо было, за кого замуж выходите и от кого детей рожаете! И вообще, всё это бред, бред!

— Дак вовсе не бред, Аль, — сказала Нина. — От винища всё. Сперва пьют-пьют, а под конец така мутация и выходит с имя́. Ничё не понимают, ничё не делают, обыкновенный алкоголизьм. Только раньше не превращались, а теперь превращаются. Вона, смотри, спида раньше тоже не было, а ноне есть. Мало ли какого сраму нанесло? И это тож…

Алла меж тем уже поднялась с дивана, совладав с собой. Вежливо выпроваживая женщин, вышла с ними на крыльцо. Глаза её вдруг округлились, она смотрела в направлении дома Антониды. У калитки стоял Алексей и, глядя на пробегавшую мимо собаку, преображался на глазах: встал на четвереньки, оброс шерстью, хвостом, завилял им и весело побежал за собакой…

— Ну вот и отдохнёшь от его теперь, — заявила Нина Антониде. — Он за сучкой-то далеко убежит — может, с неделю его не будет, может, доле. Ты пока будку спроворь, он, может, больше в человечье обличье и не придёт, я об таком слыхала. Лучше б и не вертался, опосля того тебе с ним ишо хуже будет. Мне Ваську-то кастрировать пришлось, как он к соседской хрюшке в сарай зашёл… А твой не дастся — эко пёс какой громадный!..

1. Ревишь — костромской диалект.

Вячеслав Лютый

«У берега вода чиста и холодна…»

Красота и смысл в стихах Владимира Шемшученко

Туда, где пахнет яблоком и хлебом,
Туда, где Бог людей своих хранит,
Под русским не кончающимся небом,
Где всё и вся — по-русски говорит.
Владимир Шемшученко

Совместить гражданскую тематику с пейзажными и собственно лирическими стихотворениями удаётся далеко не всякому автору. Подобное свойство таланта присуще, как правило, только большим поэтам. Во всех остальных случаях одни творческие приоритеты, теряя выразительность и единственность художественного высказывания, уступают другим — и перед читателем предстаёт по преимуществу либо трибун, либо певец затаённых переживаний.

Стихи Владимира Шемшученко почти всегда остросоциальны, их отличает жёсткость национальных и родовых акцентов, духовная определённость. Эти приметы воплощены в интонации, в словаре, в логике развития сюжета и его контрастах. С полным правом их можно отнести к «поэзии мысли». Однако образность и способность поэта совмещать далёкое с близким и мгновенное с вечным выходят за границы подобного лирического ареала и рождают вещи поистине нежные и тонкие.

Новая книга стихотворений Шемшученко «Мысль превращается в слова[1]» знакомит нас с автором во многом универсальным, а название сборника словно бы говорит, что слова, напитанные мыслью, притягательны и широки, глубоки и подчас самодостаточны, поскольку в них живёт красота, которая выше всякого рационального суждения. И в заглавном тезисе книги самым важным оказывается *превращение*.

Шемшученко здесь предстаёт фигурой неожиданной в каждой последующей строке. Он может проявиться тихо и доверительно, в жанровом отношении — занимательно. И вдруг возникает сюжетный поворот — или, точнее сказать, сюжетный перелом, — и образ автора становится предельно отчётлив, а речь его обретает твёрдость и непререкаемую интонацию. В новом сборнике он кажется более лиричным по сравнению со своим литературным обликом прежних лет. Большой цикл стихотворений «Марине» является в этом смысле центром книги, в которой, разумеется, есть и другие тематические позиции. Однако такое единство любви и призвания, экзистенциальной тоски и социальной рефлексии, природных картин и жанра делают эту вещь своего рода «художественным позвоночником» всего корпуса представленных вниманию читателя поэтических повествований.

Чиркну спичкой — и станет светло,
И в оконном стекле отраженье
Передразнит любое движенье,
И рука превратится в крыло…
…
Вспомни, как не плясал под чужую дуду,
Как старался в дугу не согнуться…
Не гони меня — я без тебя пропаду,
И стихи по земле разбредутся.
…
Я вижу рождение зла и добра
В лучах отражённого света.
Я знаю, как чёрная смотрит дыра
Из табельного пистолета.
…
Перебранка полешек, бормотанье огня
И волос твоих рыжих волнующий запах…
Я тебя назову — свет осеннего дня,
Или лучше — предзимье на заячьих лапах.

У Шемшученко в построении сюжета очень большую роль играет созерцание. Причём автор, вглядываясь в пейзаж или ситуацию, не остаётся вдалеке от событий, но как-то неуловимо к ним приближается, будто скользя и тем самым преодолевая дистанцию. В этом есть элемент кинематографа, хотя чувство меры позволяет поэту погасить движение и остановиться вовремя, не превращая дальнее в фантасмагорию деталей, что так примечательно в текстах модернистских авторов. Он помнит, что «Россия — это тишина», а русское созерцание приближает человека к самой материи бытия, преображая быт, который на деле — только малое, самое начальное средство, необходимое для прозрения.

1. *Владимир Шемшученко.* Мысль превращается в слова. Избранные стихотворения. — СПб, 2020.

Человеческая память живёт в природе, в её нерукотворных составных частях—реке, поле, лесе, которые однажды могут воспалиться и восстановить эпизоды прошлого: в печали—и радости, в беспощадном ужасе—и щедрости измученного сердца. Вот почему так много биографических отсылок в стихах поэта к истории рода и дружбе с корневыми, прошедшими жестокие испытания людьми, порой со страшной судьбой, но с не засохшим сердцем.

…Ты слышишь, как растет трава
Из глаз единственного брата…
…
Он был болен и знал, что умрёт.
Положив мою книгу на полку,
Вдруг сказал: «Так нельзя про народ.
В писанине такой мало толку».
Я ему возражал, говорил,
Что традиции ставят препоны,
Что Мефодий забыт и Кирилл,
Что нет места в стихах для иконы.

«Замолчи!—оборвал он.—Шпана!
Что ты смыслишь? Поэзия—это…»
И закашлялся. И тишина…
И оставил меня без ответа.

Русское начало у Шемшученко никогда не пряталось и не отрекалось от самого себя, он—человек наследства. Красный и белый цвет в его строках постоянно спорят друг с другом, будто имперская Россия и её советское воплощение. Ни один цвет не берёт верх постоянно. Эти краски, каждая по-своему, дороги автору и вошли в его плоть и кровь. Между тем он с болью понимает, что сегодня русский человек на родной земле стал фигурой неприкаянной. Исподволь, более изображая, а не называя вещи должными именами, поэт предлагает читателю мизансцены, в которых азиатский уклад теснит изначальный, славянский:

Всё назойливей запахи кухни восточной,
Но не многие знают—так пахнет беда.

У него чрезвычайно обострено вглядывание и вслушивание в реальность. Он чувствует: что-то происходит,—и обозначает—*что*. Осязает всей кожей: какие-то события готовятся и вот-вот свершатся,—и обозначает—*почему*.

Проснусь среди ночи, как в детстве, луну отдышу
В замёрзшем окошке, и свет снизойдёт к изголовью…
У Господа я всепрощенья себе не прошу,
Я только молю, чтобы сердце наполнил любовью.

Когда надо мной в одночасье нависнет вина
За то, что себя возомнил и судьёй, и пророком,
Я чашу раскаянья радостно выпью до дна,
Чтоб сын, повзрослев, из неё не отпил ненароком.

Многие приметы настоящего и прошлого Шемшученко показывает вскользь на фоне размеренной интонации лирического рассказа. Сочетание мелькнувшей жизненной грани, острой и ранящей, со спокойной сюжетной основой оказывается на редкость пронзительным. Точно так же построены и подготовлены почти все финальные строки самых важных стихотворений поэта. Примечательно, что, когда он пишет о природе или о любви, о быте или о творческом призвании, у него совершенно непредсказуемо, но очень естественно в строке возникает человек русской идеи, русского уклада и русского характера: («Как всё просто, по-русски, без глупых прикрас»; «…от безбожных отцов не рождаются русские дети»; Я—смиреннейший подмастерье, / данник русского языка»; «Мы ляжем в нашу землю здесь, мы не уйдём, мы коренные, / И рюмку водки с коркой хлеба оставим на краю стола»).

В художественном созерцании поэта есть одна важная особенность. Соприкасаясь с большими вещами, он не умаляет собственную мысль, не принимает свою зримую малость в виду огромных окружающих предметов. Он—их часть, которая столь же велика. Это слияние человеческого космоса—с космосом вещественным, слияние *на равных началах*. Потому что *видимый человек* есть только тень *человека подлинного* («…Между небом и мной—неразрывная нить»; «…тучи тычутся в колени / И тают от тепла руки»; «…заново научишься дышать / И чувствовать губами привкус звука»).

Не в последнюю очередь в таком мироощущении сказывается происхождение автора. Он может посетовать на «западный» Петербург, который ему куда ближе срединной и пёстрой Москвы («Всё никак не привыкну к лесам и болотам, / Не хватает простора глазам степняка»), однако все его стихи о городе теряются на фоне более общих сюжетов. Кажется, что в них нет сверхзадачи, лирического откровения. И в том—совсем не изъян поэта Владимира Шемшученко, тут видны бытийные провалы *города* как такового. Наверное, мы вплотную подошли к черте, отделяющей органичную жизнь от искусственной, вольное и радостное присутствие в мире—от вымороченного и безысходного. Близость подобной вехи в той или иной степени сказывается на всём строе современного ума и душевного обыкновения—в России это кажется несомненным…

У берега вода чиста и холодна.
Прозрачные леса отчаянно красивы.
Плесни-ка мне, дружок, карельского вина,
Затеплим костерок—ну, хоть у этой ивы.

Она среди камней стоит, едва дыша,—
Объятия ветров настойчивы и грубы…
Мы наберём с тобой сухого камыша
И для неё сошьём из дыма лисью шубу.

Как дышится легко! Как звёзды высоки!
И воздух не горчит, а первым пахнет снегом…
Я подниму с земли листочки-лепестки,
И глубоко вдохну, и выдохну: О-н-е-г-а…

Говоря о превращении замысла в слово, необходимо обозначить творческие черты поэта, который, собственно, и осуществляет это, без преувеличения, волшебство. Фигура его противоречива, своенравная натура позволяет ему без церемоний, «прямо в губы», целовать слова. Хотя такой облик во многом напускной: автор вслушивается в звучание речи и искусно организует её, оживотворяя художественными образами — и уходя от первоначальной сухости тревожащего сердце и душу замысла («Подснежник скукожился в банке, / Как ставшая былью мечта»). Поэт рисует нравы литературной среды в духе традиций Блока и Есенина, одновременно насыщая сюжет отблесками социальных явлений, драматизмом судьбы художника.

Позарастала жизнь разрыв-травой.
Мы в простоте сказать не можем слова.
Ушёл, не нарушая наш покой,
Безвестный гений, не нашедший крова.

У Шемшученко есть очень мудрое стихотворение, скромно определённое автором как «дидактика». Поэтическое вдохновение, по его словам, стоит соединять с реальным миром, с яркими чувствами, с любовью к Родине, с неподвластной разуму песней. Поэзия — вся здесь, рядом с нами и внутри нас, на грани видимого и невидимого. И в этом её загадка и великая сила.

Не заглядывай в бездну, поэт:
Жизнь земная — всего лишь минутка.
Расскажи, как цветёт незабудка,
Поднебесья вобравшая цвет.
<…>
Расскажи, как туманный рассвет
Режет крыльями дикая утка…
Не заглядывай в бездну, поэт:
Своеволье не стоит рассудка.

У Владимира Шемшученко очевидна драгоценная для нынешнего времени особенность таланта: он способен видеть предмет и картину как нечто целостное. Острота художественного зрения позволяет ему вглядываться в детали, не расчленяя действительность на мёртвые составные части, что с энтузиазмом душевнобольного делает сочинитель-постмодернист. Красота и смысл — не инструменты познания отчуждённого мира, а часть человека и царства, в которое он был некогда призван Создателем. Хочется верить — не по ошибке.

Ди*и*Н симметрия

Георгий Шенгели

Рыдания сквозь время

Семиты

Разомкнут горизонт, и на простор из плена
Прибоем яростным летят сыны земли.
В излогах берегов воздвигнулись кремли,
Сидона гавани и молы Карфагена.

А на глухой восток, где каменная пена
Ливанских гор горит, вся в щебенной пыли,
В горящий зноем горн упорно залегли, —
В двенадцать областей, — ревнивые колена.

Их чёрные глаза во глубь обращены,
Считают вихри сил в провалах глубины,
Где в тёмном зеркале мерцает лик Йеговы,

Где наковальнею и молотом душа
Сама в себе плотнит навечные оковы,
Вдали от вольных вод безвыходно греша.

Разрушение

Кровь стала сгустками от жажды воспалённой.
Иссохшая гортань не пропускала хлеб.
И город царственный весь превратился в склеп.
И в знойных улицах клубился пар зловонный.

И вот — задавлены. Искромсаны колонны,
И покорённый царь под иглами ослеп,
И победители, как по пшенице цеп,
Прошли по всей стране грозою исступлённой.

Из чаши жертвенной поили лошадей,
Издрали мантии для сёдел и возжей,
И Летопись Царей навек запечатлели.

Минувшим, небылым святая стала быль.
Но в Раме выжженной восплакала Рахиль,
И те рыдания сквозь время пролетели.

1920

Елена Крюкова

Книга живых

Александр Орлов. «Епифань». Москва, «Азбуковник», 2018

Поэзия—картина мира автора.

И—картина мира Божия.

Огромное, безбрежное полотно.

В нём и воздух, и свет, в нём и библейский (*«тьма безвидна и пуста»*) мрак войны, в нём медленно перемещаются родные фигуры, плывут родные лица—чтобы мы могли их в тумане времён увидеть, разглядеть, запомнить.

Поплакать над ними.

Постоять на панихиде в их память в родном храме.

Три духовные материи—рабочие материалы поэта Александра Орлова, коими он пишет это полотно: *время* (и народ, что ушёл во время и там теперь живёт), живые близкие *люди* (с наиважнейшими, точными подробностями их живого бытия), и ещё—*вера*: она одна на всех, но многолика, как в деревенской церкви родимый иконостас—тут и наши незабвенные святые, и тихие службы, и праздники, и похороны, и война, и мир, и снова возвращение к святости, но уже к незаметной, часто невидимой святости живых («дорогих родных», как раньше в письмах писали…), что завтра станут настоящими святыми—в приделе нашей памяти, на гигантской конхе великой страны, Родины нашей.

И все три эти бесценные материи поэт сопрягает—когда деликатно, когда прямо и не боясь, когда призрачно, далёким воспоминаньем или детским сном.

Читаю Александра Орлова, и ясно видно: напрасны споры и скрещения копий, что же чудеснее и правдивее всего—традиция или новаторство. Скажу прямо и смело: поэзия—это не записанный в столбик текст той или иной степени искусности. Поэзия или есть, или нет её. И бывает так, что она есть в сложнейших (вербально, семантически!), вполне авангардных стихах, и вот она—рядом, в стихе прозрачном, как весенний ручей, простом и непритязательном, созданном в традиционных ритмах и знакомых любому русскому человеку интонациях; и её нет—в невероятных изысках того же авангарда и в унылых банальностях и расхожих штампах «простой» лексики и привычных «гладких» катренов. Загадка, тайна поэзии—в ней самой. И мало виртуозно владеть словом. Сейчас (почти) все грамотные, у всех работает фантазия, а творческий порыв ещё никто не отменял. Но часто в таких красиво сложенных, словесно богатых стихах нет того, что есть у редких поэтов,—вот этого самого драгоценного сочетания, сопряжения трёх этих, не побоюсь высокого слова, великих вещей: времени, любви, веры.

Книга стихотворений Александра Орлова «Епифань»—воистину *книга*; слово-то само «книга»—священное; в древних книгах, будь то накрученный на остов пергаментный свиток или увесистый, облачённый в выделанную телячью кожу фолиант с «Цветной Триодью» или «Четьями-Минеями», лежащий на монастырском аналое, таилась мудрость земли; а нынче таится либо нечто настоящее, подлинное и насущное, либо притворное, поддельное. Люди, занимающиеся искусством, не всегда и не все искренни. Многие превосходно научились подделываться под искусство, хитро подменяя чувство лживым пафосом, а живую любовь—её пластмассовым муляжом. Как отличить подлинник от подделки?

Александр Орлов великолепно доказывает и показывает нам это.

…Да ничего он не доказывает и не показывает. К счастью читателя и объёмного, подкупольного пространства русской культуры, он просто *живёт*—в стихе он дышит, стихом молится, стихом вспоминает, стихом гневается и прощает, стихом заглядывает в будущее, скрытое за тяжёлой завесой всепожирающего времени.

И удивительно: стиховая музыка Александра Орлова—это откровенная победа над временем. Его личная, тайная победа, которая через бытие его авторской жизни в книге становится всечеловеческой, людской,—Божией.

Не улыбайтесь, прошу, и не возмущайтесь постоянным поминанием веры в Бога в моих раздумьях: я сейчас меньше всего обращена к конфессиональным вопросам и далека от пафосных упований—ибо слишком много их видела-слышала-читала на протяжении того времени, когда к нам вернулось

разрешение на воскрешение—храмов, священства, молитв, иконописи, нашей святой огненной веры.

Есть художник самодостаточный, он превосходно обходится без Бога. И он правда считает, что всё, что он делает,—это продукция его собственной, личной и бесспорной воли. И есть художник, прекрасно понимающий: если он нарушит, порвёт ту золотую незримую нить, что связывает его со всем сонмом его предков, он останется гол как сокол, один на пустыре, и для него пустозвонными криками станут история, кровь, память, земля.

Земля и родные люди на ней—да ведь это и есть культура.

У нас была крестьянская—народная—культура.

Сквозь ужасы всей нищеты она прорастала, и корни её уходили в народную память, в древнейшее время счастья рода и время героев.

У нас была церковная культура. Счастье воцерковлённости.

И это тоже было народное счастье.

У нас была культура, несомая благородным дворянством, военными чинами—забудьте про солдафонов и помните Кутузова, Багратиона, Нахимова, Ушакова и иже с ними.

У нас случилась революция—так, с кровью, менялось и перекраивалось время.

И наш народ погибал, перекраивая его, и всё равно не позволил себя перекроить.

Память! Лейтмотив поэзии Александра Орлова.

Память пламенная; звёздная; неопалимая; невытравимая.

От московской незваной гордыни
Становлюсь я нередко свиреп
И спешу на тот берег Смядыни,
Где заколот был юноша Глеб,

Где молитве, как старенькой няне,
Каждый пришлый подвластен вовек,
Где защиту находят смоляне
В теплоте страстотерпца опек,

Где в года мировых пятилеток,
Неподвластный безбожным властям,
Проезжал мой расстрелянный предок
По дорогам из кочек и ям,

Где округа извечно смолиста,
Где все жили во имя труда,
Где встречали с войны гармониста
Божий крест и победы звезда.

Вот это: «*Божий крест и победы звезда*»,—разве это не есть наш портрет, портрет русского народа прошедшего века? И так просто это сказано. Гордо и точно. И так скорбно. И так свято.

Здесь есть пафос. Но не дешёвый, не бутафорский, а родной—единственный.

С греческого «пафос» переводится как «страсть», «страдание».

Это ведь Страсти Христовы.

Так горда и высока—и в музыке, и в сакральности древних слов—церковная служба.

Почему меня не покидает странное ощущение при чтении стихов Александра Орлова—будто я стою в забытой-заброшенной деревенской церковке, на обрыве над широкой холодной Волгой, на ракитовом бугре, на сельской панихиде, от которой слёзы набегают на глаза, а поминальная служба эта идёт в память всех русских людей, что на самом деле не умерли, а навсегда живы—в шелесте трав, в шёпоте летних листьев, в шуме серебряного ливня, в духмяном запахе хлеба?

Почему я так ясно вижу просвеченную насквозь светящимся сердцем поэта водную, воздушную толщу канувшего времени?

Мне продали щекастые смолянки,
Стоящие под проливным дождём,
Ржаные, ещё тёплые буханки—
И хмурый вечер показался днём.
<…>
Я видел, как работают все живо—
Поют, смеются, рассуждают вслух,
В их душах—поспевающая нива,
Прародина плетёнок и краюх.

Они ещё доленинской закваски,
И прячут их помазанные лбы
Пословицы, поверья, песни, сказки,
Коленопреклонённые мольбы.

Война постоянно и больно, будто в живой колокол бьёт, ударяет по внутреннему миру поэта, будоражит его, заставляет смотреть ей, страшной, прямо в чёрное лицо. «Висельник», «Барин», «Помню, учили меня быть надёжным и смелым…»—всё это даже не стихи, хотя они и укладываются в рифму, ритмику и традицию: это личные, потаённые *песни* поэта о войне и её страданиях,—впрочем, такими и должны быть выстраданные человеческие слова о невероятной боли войны. О её героях, прожигающих нам именами память.

…Снова под утро тревожат скупые просветы,
Наши свиданья с роднёй обречённо редки.
Грозным Смоленском в стальное подымье одеты
Мельница, сад и наш дом в изголовье реки.

Орлов помнит всё.

Не только смерти войны.

Но и смерти на Родине—русским людям—от рук русских людей.

Трагедии революции, Гражданской войны, раскулачивания, расстрелов, тюрем и лагерей не покидают поэта: да это вечные, роковые спутники русского человека. Наша общая память насквозь

прожжена ими. Это наши молчаливые ангелы с наших расстрелянных фресок, что скоро уже век плачут кровавыми слезами. Мироточат слезами настоящими—при свете солнца и в ночи.

Сам себе приказал: зубы стисни,
Пусть весь мир на мгновенье замрёт,
Вздрогнет смерть от сияющей жизни,
Что о всех знает всё наперёд.
<…>
Будет воздух в дороге псалтырен,
Будет ветер шептать, словно чтец,
Будет петь поминальную сирин,
Вознося горечь русских сердец.

Самоцветами просвечивают здесь знаковые церковные слова. Совсем рядом раскрытая на столе, под тусклой лампой, дедова псалтырь… и рядом сказочная, ангельская птица Сирин, что песнею своей обращает наше неизбывное горе в заоблачную память небесной радости.

Кто только не писал о близости милой деревенской печи, о пляшущем печном огне! Но такого ви́дения ещё не было ни у кого из владеющих словом:

…И пахло лесом, дымом, полем,
Рожденьем, жизнью, нищетой,
Коротким счастьем, долгим горем,
Второй и Первой мировой.

На языке горчила жжёнка,
Ручьём катился пот по лбу,
И видел я в себе ребёнка,
Чьи сны уносятся в трубу.

Я догадалась, какую миссию выполняет поэт: словами, стихом он, как суровою нитью, сшивает холстину времён, их ветхое, а на деле незыблемо-крепкое—не разорвать!—посконьё, и это почти мастеровое действие преображается—становится словесным действом, на глазах переходя, перетекая в музыку, родную, близкую музыке народной.

Люди, люди, люди… Народ… Наш народ… «Беспалый», «Бедник», «Каноница», «Староста»; а вот рядом с живыми людьми и наши ду́хи, наши живые, потусторонние или на миг (чтобы мы увидели их!..) посюсторонние существа—«Полудница», «Хозяин вод», «Житник», «Жихарь»: без них славянин не живёт, они то помогают, то наказуют, и вступить с ними в разговор—всё равно что нырнуть в незнаемое пространство-время, что без границ и без дна, и вот оно, сопряжение мира дольнего и мира чудного, иного:

…Что тебе надобно, потусторонник?
Брось меня здесь, посреди луговин.
Вижу крапиву, фиалку и донник,
Горькую мглу и разломанный тын.

Вижу колосьев забытых останки,
Тень полевого в последних снопах.
Свет огнеликий мгновенно зачах.
Я—словно ветер на хлебной делянке.

Я и не я пробуждаюсь впотьмах.

Наше общее вечное упование: ах, если бы не смерть… приди попозже… а сможешь, так вообще не приди… а может, я буду вечен, бессмертен… время, ну что тебе сто́ит?.. Наш народ уходил на войну. Наш народ жизни отдавал—за жизнь.

Наши поэты пели песни свои, не помышляя о том, бессмертны они или смертны: они просто—пели. Дышали. Жили. Потому что так им Богом суждено было. Наши иереи свершали во храме требы и каждодневно молились за всех нас.

За воинство наше, за царей наших, за каждого простого живого человека нашего.

А смерть? Где она?

«Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа?

Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мёртв во гробе!»

Бессмертно «Слово огласительное на Пасху» святого Иоанна Златоуста.

А мы, художники,—кто мы у Бога?

Приемлем мы смерть или отвергаем?

Молимся мы жизни или проклинаем её, часто страшную, страдальную?

Поэт Александр Орлов тоже глядит в то зеркало, где отражены—рядом, близко—жизнь и смерть.

И стихами своими он даёт нам утешение.

Обречённости нет, если есть любовь.

…И молний огнедышащий моток
Вдруг сматывает кто-то тихо-тихо,
И всем понятно, кто кого сберёг,
И тонет смерть, безумная пловчиха…

Почему же всё-таки «Епифань»? Павел Епифанович Орлов—прадед поэта. Ему посвящено стихотворение «Барин». А давайте вспомним, что такое «епифания», переведём это слово с греческого.

Оно означает «явление».

Ещё—«раскрытие», «обнаружение».

То, что явлено—и, может быть, чудом.

И может быть—Чудом.

Теофанией. Богоявлением.

Крещенские морозы. Крещение Господне. Водосвятие.

И наш, русский Христос идёт к нам по снегам.

Нет смерти, улыбаясь, шепчет Он нам.

Книга стихотворений Александра Орлова «Епифань»—о жизни и смерти.

О нас с вами.

И да, отныне и навсегда—о времени, народе и вере.

Дмитрий Косяков

«Золушка» и философия восемнадцатого века

Polly wants a cracker…
Курт Кобейн

История Золушки — столп современной культуры

Недавно я ходил на балет «Золушка» и задумался о значении и смысле этой сказки. В наше время история Золушки стала буквально символом, идеологемой. Эта идеологема гласит: у каждого есть шанс подняться с самого низа на самый верх. История Золушки в тысячах различных интерпретаций присутствует в современной массовой культуре. Само слово стало нарицательным, относимым к человеку, чьи достоинства были недооценены, но который внезапно сумел добиться признания и вырваться из ничтожества и безвестности.

В самом голом виде эта сказка воплощает надежду на повышение своего статуса через удачное замужество (или даже женитьбу). И мы получаем истории вроде «Пятидесяти оттенков серого», «Моей прекрасной няни» или диснеевского «Аладдина». Бывают и более сложные версии, не связанные с любовью и свадьбой. Они рассказывают о том, как девушка или парень из низов волею случая попадает в высшее общество и, получив шанс проявить себя, оказывается принятым на самом верху.

Более того, герой в итоге может даже отказаться от предложенного ему высокого положения ради прежнего низкого статуса. Но ядром истории остаются открытость и лёгкость перехода снизу вверх — от бедности к богатству. Главное — заполучить шанс, обратить на себя внимание высоких лиц и проявить свои лучшие качества.

Даже телевизионные шоу построены по схожему принципу: никому не известный талант выступает на большой сцене перед суперзвёздами и вызывает у них (срежиссированный) восторг.

Купюры и вставки Шарля Перро

Давайте взглянем на историю вопроса. Причём слишком далеко заглядывать нам не придётся, ведь та история Золушки, которую мы знаем, — это версия французского поэта-классициста Шарля Перро.

Шарль Перро переделывал сказки («Золушка», «Красавица и чудовище», «Спящая красавица» и др.) не только в соответствии со своим вкусом, но и в соответствии со своими взглядами. То есть он не только исключал из услышанных от кормилицы своего сына сказок жестокие эпизоды (например, то, как сёстры калечили себя, чтобы надеть туфельку), но и усиливал нравоучительную составляющую.

Недаром на русский язык эти сказки были впервые переведены под заглавием «Сказки о волшебницах с нравоучениями».

Шарль Перро придерживался довольно прогрессивных взглядов (по крайней мере, выступал за прогресс в искусстве), даже само обращение к жанру сказки было по тем временам новаторством. Он жил и писал в преддверии эпохи Просвещения, когда под скипетром французского абсолютизма вызревали буржуазные отношения. Соответственно, в его сказках можно различить зачатки буржуазной этики и морали.

Уже само включение народной сказки в систему жанров высокой литературы было прогрессивным актом, способствовало демократизации литературы.

Буржуазная мораль и философия Просвещения противостояли устоям сословного общества. Но это не мешало самим просветителям быть аристократами или сторонниками просвещённой монархии. Многие просветители выступали против сословных перегородок, но опору в борьбе за гуманистические идеалы видели в монархе. Последним великим выразителем такой идеи можно назвать Достоевского.

Вопиющая разница

Но вернёмся к сказке о Золушке. Обратим внимание на следующие моменты. Золушка унижена, обделена по сравнению с мачехиными сёстрами. Подчёркивается разница качества их жизни:

«Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжёлую работу в доме: она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень — своих сестриц. Спала она на чердаке, под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестриц были комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями, разубранными по последней моде, и с большими зеркалами».

При этом Золушка трудится, а сёстры—праздны. Это было главным обвинением со стороны идеологов буржуазной революции в адрес аристократии—«праздность». Буржуазные памфлетисты ещё в ходе Английской революции окрестили аристократов «трутнями».

Обратите внимание, что «бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу». Это тоже было вполне в духе буржуазной мелодрамы, одним из предшественников которой можно назвать «классициста» Перро. Плеханов пишет:

«Когда господство аристократии стало подвергаться оспариванию, когда „люди среднего состояния“ прониклись оппозиционным настроением, старые литературные понятия начали казаться этим людям неудовлетворительными, а старый театр недостаточно „поучительным“. И тогда рядом с классической трагедией, быстро клонившейся к упадку, выступила буржуазная драма. В буржуазной драме французский „человек среднего состояния“ противопоставил свои домашние добродетели глубокой испорченности аристократии»[1].

В этой драме буржуа выступал тружеником и безропотным страдальцем, попираемым развращённой и всесильной аристократией. В сказках Перро всё отнюдь не так радикально, но зачатки этой идеологии можно вычленить. Ближе всего они к протестантской морали, также требующей безропотности и неустанного труда и обещающей за это чудесное воздаяние.

Итак, в сказке смирение противопоставлено высокомерию, трудолюбие—праздности.

Обидчики и арбитры

Мораль сказки «Золушка» опирается на представление о том, что внутреннее достоинство, внутреннее качество человека не зависит от его статуса: «Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с нею казались ещё хуже». И никакие унижения не в силах уничтожить внутреннюю (и внешнюю) красоту Золушки, точно так же как никакие наряды не способны прикрыть внутреннюю и внешнюю непривлекательность сестёр: «Золушка в своём стареньком платьице, перепачканном золою, была во сто раз милее, чем её сестрицы, разодетые в бархат и шёлк».

Хотя формально в сказке происхождение у Золушки и её сестёр равное (отец Золушки—«почтенный и знатный человек»), но всё-таки антитеза дана образно: тот, кто одет в бедное платьице и перепачкан золой, может быть лучше тех, кто разодет в бархат и шёлк. Оказывается, достаточно должным образом нарядить Золушку, чтобы она затмила всех на балу и завоевала сердце принца.

Стоит отметить, что король и принц выступают в сказке высшими арбитрами, которые закрепляют превознесение Золушки над её обидчиками. И это тоже своеобразный элемент антиаристократического монархизма Перро. Как видим, в пересказе Перро мифологический мотив «несправедливого притеснения и последующего вознаграждения и торжества» значительно усилен и приобрёл черты своей эпохи.

То есть, согласно сказке, несмотря на наличие притеснителей, сама система, иерархия выстроена правильно, и каждый может по воле высшего арбитра занять в ней то место, которое соответствует его внутреннему достоинству.

А внутреннее достоинство человека не зависит от его статуса и сословия, судить людей надо по их качествам, а не по положению в обществе и чисто внешним признакам богатства и знатности,—идея весьма передовая для восемнадцатого столетия, которую разделяли, развивали и пропагандировали впоследствии философы-просветители.

В развитом и оформленном виде идея природного равенства стала одной из идеологических основ Великой французской революции, приведшей к неслыханным преобразованиям в области права. Граждане были уравнены перед законом, сословия в конченом итоге были отменены. Идея природного равенства легла в основу представлений о свободной конкуренции, на которых зиждется современная экономика.

Неравенство—не вырванный корень зла

Однако со времён написания «Золушки» Шарля Перро прошло уже триста лет. И эта идея несколько поблёкла, а представления об устройстве общества и человека значительно углубились и усложнились. Сегодня мы понимаем, что статус гораздо сильнее влияет на душу человека, чем это казалось многим идеологам Просвещения и буржуазным революционерам. Образ жизни, быт формируют нрав, взгляды и даже внешний облик человека.

Роскошь, привилегированность могут развращать человека, прививать ему чувство собственной исключительности, особости и избранности, воспитывать презрение к низам, развязывать низменные стороны человеческой натуры. Но так же и бедность, унижение могут развить в человеке чёрствость и озлобленность. Неравенство деморализующе действует и на угнетателей, и на угнетённых, хотя и разным образом и в разной степени.

Увы, сословия были уничтожены, но кланы, «элиты», слои, классы сохранились. И формальным уравнением людей перед законом это исправить не удалось. «Историческое развитие привело к превращению политических сословий в социальные сословия, так что, подобно тому как христиане

1. *Плеханов Г. В.* Соч. Т. 14. М.: Государственное издательство. С. 105.

равны на небе и не равны на земле, так и отдельные члены народа равны в небесах их политического мира и не равны в земном существовании, в их социальной жизни»[2], —писал Маркс.

Тот, кто с детства трудится в поле, не будет иметь хорошенькой миниатюрной ножки, которую можно было бы втиснуть в хрустальную туфельку. Тот, кто не имел возможности посещать уроки танцев, не сумеет проявить себя на балу. Золушку Шарля Перро спасло то, что она была высокого происхождения и оказалась на положении прислуги случайно—не благодаря, а вопреки своему статусу.

Поэтому сегодня сюжет о Золушке выглядит наивной фантазией, если не сознательным обманом. Нас тешат байками о внезапно разбогатевших мечтателях, о внезапно вспыхнувшей любви между богачом и нищенкой, о безвестном таланте, ставшем суперзвездой. Может быть отдельные из этих случаев и правдивы, но они являются не правилом, а исключением, которое подтверждает иное правило: мир власти, богатства и роскоши герметично замкнут, и нас с вами никто не приглашал за барский стол.

Чтобы история Золушки стала правдой в наше время, чтобы труженики просияли, а надменные богачи оказались посрамлены и наказаны, бессмысленно надеяться на доброго царя, просвещённого монарха—необходимо в корне менять всю систему общественных отношений. Первые, пусть неудачные, попытки таких перемен уже предпринимались в прошлом, так что кое-какой опыт у человечества на этот счёт имеется.

Пора бы взять на вооружение нечто поновее, чем идеи трёхсотлетней давности.

ДиН симметрия

Василий Казин

Красная песня о кирпичах

Рубанок

Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.

Ой, вейтесь, осыпайтесь на пол
Вы, кудри русые, с доски!
Ах, вас не мёд ли где закапал:
Как вы душисты, как сладки!

О, помнишь ли, рубанок, с нами
Она прощалася, спеша,
Потряхивая кудрями
И пышно стружками шурша?

Я в то мгновенье острой мукой
Глубоко сердце занозил
И после тихою разлукой
Тебя глубоко запылил.

И вот сегодня шум свиданья—
И ты, кудрявясь второпях,
Взвиваешь тёплые воспоминанья
О тех возлюбленных кудрях.

Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.

Каменщик

В. Александровскому

Бреду я домой на Пресню,
Сочится усталость в плечах,
А фартук красную песню
Потёмкам поёт о кирпичах.

Поёт он, как выше, выше
Я с ношей красной лез,
Казалось—до самой крыши,
До синей крыши небес.

Глаза каруселью кружило,
Туманился ветра клич.
Утро тоже взносило,
Взносило красный кирпич.

Бреду я домой на Пресню,
Сочится усталость в плечах,
А фартук красную песню
Потёмкам поёт о кирпичах.

1920

2. *Маркс К.* К критике гегелевской философии права. М.: «РИЦ Литература», 2007. С. 178.

Остановись, мгновенье!

Сочинения участников Красноярского конкурса школьной публицистики «Суперперо»

Виктория Казарина

Лицей №8, 7 класс

«Ты знаешь, так хочется жить…»

(Из дневника)

10.07.2019

Есть такое высказывание: «Кто-то видит в луже грязь, а кто-то—отражение неба». Правда, в нашем городе небо грязное, поэтому, каким бы оптимистом ты ни был, в луже ты увидишь лишь грязь.

Третий день—режим «чёрного неба». Третий день ни о чём другом не думается. А так хочется вздохнуть полной грудью, поднять голову вверх и увидеть нежно-голубое небо с невинно-белыми облаками!

В средствах массовой информации город был признан самым загрязнённым городом мира. И это город, где кругом леса, поля, просторы! Как же так? В космос летаем, а безопасное топливо изобрести не можем! Или не хотим? Может, на химика пойти учиться?

13.07.2019

В Сибири горят леса. Ситуация всё больше начинает походить на экологическую катастрофу. Почему так получается? Куда бы ни ступила нога человека, одни загрязнения да уничтожение природы. Идёшь и то и дело спотыкаешься о какую-нибудь бутылку, что выбросили прямо на тротуар. По мне, так городу не хватает дворников. Хотя… «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», не правда ли? Дымят заводы, кругом мусор, несанкционированные свалки, огромное количество машин… А тут ещё и пожары! Я думаю, здесь тоже не обошлось без вмешательства человека. Кто-то костёр не потушил, кто-то сигарету выбросил. Загорелся огонёк, маленький такой, слабенький. Подул ветер—и вот уже пожар: горят деревья, горит трава. И вот уже вся тайга полыхает.

14.07.2019

Сегодня ела яблоко—абсолютно безвкусное! Совсем не настоящее, как пластмасса. И не только яблоко, к слову. Что ж это получается? Дышать нечем, так ещё и пластмассу есть должны, что ли? Эх, ну совсем непорядок!

Недавно родители рассказывали, что раньше еда была другая. В сосисках—мясо, а не химия, не было пальмового масла и ГМО. Попасть бы хоть на денёк в те годы, попробовать вкус натуральных продуктов!

15.07.2019

Сегодня грустный день. У моего друга погибла собака. Сказали, онкология. Странно, раньше собаки умирали от старости, а теперь от рака. Даже у хомяков появляются злокачественные опухоли. Нам объясняют это экологической ситуацией. Так почему же нельзя что-то сделать, чтобы исправить её? Взрослые! Почему нельзя поставить фильтры на трубы заводов, использовать многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов—авоськи (мне бабушка про них рассказывала), прибирать дворы, спасать леса, уважать природу и защищать её? Неужели вы нам, своим детям, не хотите оставить чистой планеты?

18.07.2019

Перечитала свои записи за последнюю неделю. Жутковато. И всё про экологию. Ты знаешь, так хочется жить… В чистом городе, со свежим воздухом, где нет пыли, сажи и вони, где не валяется мусор, где натуральные продукты, и там, где животные не умирают от плохой экологии, а в лужах отражается небо, голубое-голубое, с пушистыми облаками!

По-моему, пора действовать, а не просто возмущаться и мечтать! Пойду соберу хотя бы крупный мусор во дворе. Может быть, кто из соседей присоединится?..

Ульяна Афанасьева

Школа №145, 9 класс

Неподходящий момент

«А потом…»—интригующе прозвучал Колин голос и тут же растворился в гомоне наших голосов

и хохоте. Да, скоро нам будет этого не хватать: постоянных ссор с вожатыми по поводу утренней зарядки, манящего запаха столовой, пропитанного горячим какао и творожными запеканками с противным изюмом, берега моря, такого тихого и таинственного.

Солнце не спеша катилось за могучие синие горы, подкрадывалась вечерняя прохлада, и морской ветер робко щекотал наши спины.

Конец смены. Совсем скоро вожатые разожгут прощальный костёр, и начнётся последняя за это лето «свечка».

В моём отряде собрались классные ребята, буду скучать по ним. А будут ли они по мне? Хм, а ведь и правда, за всю смену я не смогла влиться в так называемый «коллектив», не было подходящего момента. Всё ходила вольным слушателем: то Лика расскажет что-нибудь про свои певческие выступления, то Лёва, немного важничая, начнёт о рыбалке, а закончит об охоте, а если Коля возьмётся шутить, то тут уж собирался весь наш отряд.

Да, Коля, конечно, занимает отдельное место в сердце каждого из нас. Высокий, с раскатистым голосом и заразительным смехом, с горящими глазами, полный доброты и душевности. Вдобавок—с отменными музыкальным и литературным вкусами. По нему я буду скучать намного дольше. Всегда боялась заговорить с ним, выглядеть глупо. Перед отбоем в голове возникало столько тем для разговора, шуток и фраз, а Коля их будто бы распугивал, превращая меня в молчаливого, внимательного слушателя. Когда-нибудь всё изменится. Вот приеду в следующем году—уезжать обязательно буду с кучей друзей. Может, сейчас просто время не то, момент неподходящий?

Внезапно все стали расходиться, хохот умолк. Это наконец-то вернулись наши вожатые.

Мы расстелили пледы вокруг кострища и уселись близко-близко друг к другу. В руках Игоря Саныча шаркнула спичка, и яркое пламя костра осветило наши лица. Каждый по очереди высказался о незаметно пролетевшей смене. Девочки плакали, и долгие их речи сопровождались шмыганьем, хлюпаньем и хрюканьем. Я же коротко поблагодарила всех за смену и сказала, что буду скучать. Близился следующий этап прощального вечера—личные пожелания.

Все девчонки мигом облепили Колю. Из кучи малы вокруг него разными голосами доносилось: «А распишись мне в блокноте», «Ой, на память напишешь мне?», «А подари мне значок на память»… Я осталась возле костра. Что мне и кому говорить? Хватит жалеть о том, чего ни наверстать, ни исправить,—глупо это. Я обняла колени и закрыла глаза.

Вдруг я ощутила чьё-то присутствие и резко обернулась. За моей спиной был Коля. Внутри у меня всё сжалось до тошноты, по спине запрыгали мурашки. Он спокойно начал свою речь, отчего-то немного запинаясь и смущаясь. Но слова его путались, вылетали из моей головы, так что я и не слушала толком. Я думала о другом.

Несколько минут—это много или мало? Для бабочки—весомая часть её жизни. Да и для человека порой достаточно, чтобы жизнь перевернулась.

Нервы отчаянно выплясывали чечётку, мысли метались в голове. А я всё ждала, ждала момента. Коля замолчал и взглянул на меня. Вот он. Мо-мент.

«Я улыбаться перестала,—я заговорила еле слышно, но голос мой крепчал и становился всё громче,—затем, что нестерпимо больно душе её любовное молчанье».

Я уткнулась в Колину куртку и крепко его обняла. Внезапно раздался бас Игоря Саныча. Отряд возвращался в корпус. Я поспешила скрыться от Коли. Не знаю, что сейчас чувствовал он, но я себя ощущала полнейшей дурой. Благо, мы больше никогда не встретимся. Колина группа уезжает из лагеря самой первой, так что ни сегодня, ни уж тем более завтра он меня не увидит.

Стыд не оставлял меня, вызывая какую-то необъяснимую тошноту; я пыталась отвлечься, собирая сумку, но всё равно продолжала взвешивать каждое слово. Уснула я поздно, проворочавшись до полуночи.

Как и ожидалось, утро выдалось суетливым и беспорядочным. Естественно, моя группа опаздывала на автобус, а девочки в истерике искали зарядки, расчёски, косметички по всему корпусу. Я уже направлялась к автобусу, когда Лика всунула мне в руки конверт. Конверты для пожеланий. А я и совсем забыла про них. Я никому не писала, а мне уж точно никто писать не будет.

Наконец нас затолкали в автобус. Двигатель протяжно загудел, и мы тронулись. Лагерь всё быстрее и быстрее запестрил за окном, провожающие нас вожатые исчезли из виду, а вскоре и мы исчезли из лагеря. Ради любопытства я надорвала конверт. К моему удивлению, он был не пуст. Криво, видно второпях, сложенная бумажка выпала мне на колени.

Ещё не раз Вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.

После стихотворения был начёркан номер телефона. Я долго перечитывала, вертела бумажку в руках, а на душе мне стало так легко, так хорошо. И я не чувствовала себя глупо, хотя единственная из целого автобуса рыдающих сидела с неподходящей для этого момента широченной улыбкой. Для меня не было подходящих и неподходящих моментов. Момент нужно не ждать, его нужно ловить.

Дарья Семёнова

Лицей №2, 9 класс

Когда тебя окружает красота…

Сухая трава щекотала оголённые лодыжки, а колючие ветки кустарников цеплялись за штаны. Мы с Богданой уже полчаса пробирались через небольшую рощу на горе. Заходящее солнце проглядывало меж стволов деревьев, разливаясь по коже и окружающей нас природе тёплым оранжевым светом. Стояла спокойная, приятная тишина, даже птицы не щебетали, только листья шуршали под нашими ботинками.

Мы шли по опавшей листве, глупо шутили, смеялись, делали неудачные фотографии «на память», а иногда просто молчали: ведь друзьям зачастую совсем не обязательно разговаривать, чтобы слышать и понимать друг друга.

Я вдыхала прохладный лесной воздух и восторженно замечала, как снова начинаю чувствовать жизнь. Как будто кто-то вытер пыль с окна, через которое я смотрю на мир. Всё вновь стало ярким и чистым, пропали серость и блёклость. Рутина и монотонность, в которых я увязла, уступили место лёгкости и ощущению, будто каждый день — это новое приключение. Исчезла вереница мелких ежедневных забот и обязанностей, которую было так тяжело тащить за собой. Только освобождение, спокойствие и жизнь, наполняющая всё существо.

Мы вышли из леса почти на самой вершине, вид отсюда открывался великолепный: напротив тянулась другая покрытая лесом горная гряда, пылающее ярко-оранжевое солнце понемногу уползало за холмы, отражаясь в небольшом озере. Осень отцветала, выплёскивала последние краски, чтобы потом исчезнуть, уступив место зиме.

Нет ничего прекраснее, чем момент, когда тебя окружает красота, а на душе легко и спокойно. Такой момент хочется поймать, вложить меж страниц книги и всегда носить её с собой, чтобы греть душу этим мгновением в минуты трудностей. Или отпечатать на внутренней стороне век, чтобы каждый раз, когда закрываешь глаза, ты мог видеть эту красоту и чувствовать те же лёгкость и тепло. Как много таких моментов нас окружает постоянно! И сколько из них мы, слишком погружённые в свои тревоги, упускаем, не замечаем или не хотим замечать!..

Смеясь, мы с Богданой побежали по тропинке вниз с горы, протягивали вперёд руки, стараясь ухватиться за время и за это мгновение. А потом, пытаясь восстановить дыхание, шли по дороге туда, к закату, где солнце пылало огнём, заливая глаза своим удивительным морем оттенков. Мы шли и опять молча размышляли о том, что же будет, когда нам придётся вернуться в город, где снова придётся изо дня в день сражаться за свои цели и возможности.

В такие моменты я обычно очень некстати начинаю много думать. Почему-то, несмотря на всё это великолепие, мне не хотелось остаться в этом моменте навсегда и вечно жить среди красоты со спокойствием внутри. Наверное, я — неисправимый романтик, раз даже в трудностях и испытаниях меня что-то притягивает. Жизнь не должна быть вечным хорошим моментом, ведь это наскучит так быстро, что и понять ничего не успеешь, а потом вообще утратишь к ней вкус. Жизнь сложна, полна сражений, проигрышей, побед и авантюр, всегда кажется, что она против тебя, — но разве это повод отказываться от всего, что она пытается тебе дать? Жизнь — она как тот самый невыносимый, но почему-то всё же любимый школьный учитель. Он заваливает тебя заданиями, придирками, двойками, но от этого ты лишь стараешься усерднее, учишь, и ничто не вызывает у тебя большей гордости, чем полученная у него пятёрка, маленькая победа, которой он на самом деле желал тебе всем сердцем, но ты об этом до последнего не узнаешь.

Мне уже давно не давало покоя то, что Ирвинг Стоун писал в своём романе «Жажда жизни». Красоту порождает страдание. Возможно, это правда, ведь страдание является такой же частью жизни, как счастье. Оно делает тебя будто выкованным из стали, несгибаемым, но окрылённым. Оно делает любой светлый момент в сто раз прекраснее, учит ценить. Нигде всполох огня не кажется таким ярким, как в кромешной тьме, никогда смех не приносит такого облегчения, как в момент отчаяния. Трудности — это не до конца плохо и не до конца хорошо. Жизнь вся такая — ни плохая, ни хорошая. Можно найти радость даже в самой сложной ситуации, но расстроиться даже тогда, когда всё, казалось бы, хорошо. И никогда не стоит заглядывать вперёд и думать о том, что будет дальше, ведь по-настоящему важно только то, что происходит сейчас.

Погрузившись в эти мысли, я не сразу заметила, что всё это время смотрела себе под ноги. А когда подняла глаза, вид, открывшийся мне, был настолько великолепным, что ноги просто отказались идти дальше. Мне казалось, что я чувствую всё: как течёт под кожей моя кровь, как греет солнечный свет, как пыль оседает на ресницах, как мозг генерирует одну мысль за другой. Это и был тот самый момент, порождённый страданием, всполох огня, переполняющая меня жажда жизни.

Богдана заметила, что я встала столбом, и тоже остановилась, глядя на меня.

— У тебя бывает такое, — внезапно осипшим голосом начала я, — что ты чувствуешь, что живёшь прямо сейчас? И что этот момент никогда больше не повторится?

— Да,—она тоже задумчиво устремила взгляд на небо,—меня так тоже иногда торкает.

Да, у меня было похожее и ранее. Но сейчас меня не просто «торкнуло», как во все предыдущие разы. Меня ударило по голове осознанием, таким простым, элементарным, но меняющим жизнь.

Момент—он всегда разный, он может быть грустным или радостным, безнадёжным и воодушевляющим, ярким и нет, но он всегда один, он никогда больше не повторится и даже, может быть, забудется, канет в Лету навсегда. Но это именно то, что делает его ценным,—разовость, случайность, существование длиной в секунду. Даже на первый взгляд серая и ненавистная рутина полна мелких возможностей быть счастливым, которые мы не замечаем. Жизнь будет продолжать посылать испытания, но нет смысла бежать от них и прятаться—ты упускаешь момент. Теряешь время. С самого рождения человек противостоит не смерти, он сражается с жизнью, выносит уроки, преодолевает себя—в этом и есть смысл.

Момент ускользнул, ушёл вместе с солнцем, но это ничуть не расстраивало. Я посмотрела на Богдану. Почему-то я была уверена, что она поняла всё тоже.

— Домой?

— Домой.

Мы вместе глубоко вдохнули и зашагали вперёд, навстречу мгновению, не боясь больше ни возвращения в город, ни того, что пережили и ещё предстоит пережить. Имела значение лишь та секунда, в которую мы живём.

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

По волнам нашей памяти

Из книги «Тридевятое царство» (Красноярск: «Гротеск», 2001)

Ксения Дьяченко

10 лет

Последний лист

Нет уж листьев на деревьях,
Ветер их сорвал,
Но один лишь, но один лишь
Листик не упал!
И, качаясь на берёзе,
Думает о том,
Как прожить ему в морозе—
Не завянуть, не погибнуть,
И весну-красну увидеть,
И забыться сном.

Альмира Безъязыкова

8 лет

Кошка

У милой серой дочки
На лапках коготочки.
Она ступает важно
И ловит бант бумажный.
До двери провожает
И ждёт, когда вернусь я,
На стуле поджидает,
А звать её Маруся.

Артём Кулешов

12 лет

Осень на даче

Помню, как-то в слякоть на даче
Я сидел на крыльце в сапогах.
Тучи серые плавали, плача,
И кружили по луже в ногах.
Лето тихо шагало к прохладе,
Наступала осенняя грязь.
Я сидел, свою кошечку гладя,
А вода всё лилась и лилась…

Герман Соболев

11 лет

Безделушка

Зима, зима холодная,
И снег лежит в саду.
Какая ж ты безродная,
Игрушечка во льду!
Лежишь ты без хозяина
И мёрзнешь на ветру,
Но скоро холод кончится—
Тебя я заберу.

стр. 179 **Арямнова Вера Николаевна**
Казань, 1954 г. р.

Родилась в Башкирии, жила и работала в Набережных Челнах, Казани, Костроме. Автор книг стихотворений «Оловянный батальон», «В стране родной», «Бездомное сердце», «На закате не спят» и трёх книг прозы — «Синица в небе», «Ангелы», «Дама с прошлым». Стихи и проза публиковались в журналах «День и ночь», «Казань», «Идель», «Казанский альманах» и других изданиях. Член Союза российских писателей и Союза журналистов России.

стр. 47 **Астраханцев Александр Иванович**
Красноярск, 1938 г. р.

Родился на берегу Оби, в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области, в семье зоотехников (в дальнейшем — учителей). В 1959 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт, приехал в Красноярск по направлению на всесоюзную комсомольскую стройку. Работал мастером, прорабом, начальником участка на строительстве Красноярского целлюлозно-бумажного комбината, затем Красноярского алюминиевого завода, главным технологом, затем заместителем начальника Красноярского домостроительного комбината. Инженером-строителем отработал общим счётом 22 года. Окончил заочно Литературный институт имени Горького. Печатал прозу и публицистику в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Дети Ра» (Москва), «Приокские зори» (Тула), «Сибирские огни» (Новосибирск), «День и ночь», в альманахе «Енисей» (Красноярск). Лауреат журнала «Молодая гвардия» в номинации «Очерк» (1984). Отдельные рассказы выходили в сборниках «Лучший рассказ года» (Москва, изд-во «Современник», 1981; Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983, и др.). Автор 11 изданных книг прозы и драматургии. Член редколлегии журнала «День и ночь», член редакционного совета альманаха «Енисей». С 2006 по 2016 год исполнял обязанности председателя правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда России и члена президиума Международного Литературного фонда.

стр. 165 **Бабанская Алёна**
Москва

Родилась в подмосковном городе Кашира. Окончила филологический факультет Московского педагогического государственного института имени В. И. Ленина. Публикации в журналах «Дети Ра», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Арион», «День и ночь» и др. Автор нескольких поэтических книг.

стр. 32 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филфак Пермского госуниверситета. Автор книг «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и литературных премий имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель поэтических групп «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Был собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», «Литературной газеты», спецкором «Труда». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в альманахе «День поэзии — XXI век», в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени и медалью «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе». Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 154 **Гонтовский Аркадий Всеволодович**
Прокопьевск, 1959 г. р.

Родился в городе Прокопьевске Кемеровской области. Учился в Сибирском металлургическом институте на кафедре разработки подземных месторождений. Работал в шахте. Поэт. Публикации в журналах: «Невский альманах», «Бег» (Санкт-Петербург), «День и ночь» (Красноярск), «Союз писателей», «Страна озарения» (Новокузнецк), «Каштановый дом», «Звезда Рождества» (Украина). Сборник стихов «Неутолённые огни» издан на средства читателей в Тверской области.

стр. 171
Зябкин Алексей Владимирович
Калининград, 1977 г. р.

Родился в городе Бокситогорске Ленинградской области, в семье медработника и военного. Школьные годы провёл в Латвии. В Риге окончил среднюю школу №67. Публиковался в журналах.

стр. 84
Каренина Ирина
Минск (Белоруссия), 1976 г. р.

Поэт, журналист, редактор. Родилась в Нижнем Тагиле. В 1996–2000 годах училась на факультете культурологии Уральского государственного университета имени А. М. Горького, который не окончила. Сменила множество профессий: была корректором, фотомоделью, администратором рок-группы, танцовщицей в кабаре, переводчиком с английского технической литературы, преподавателем драматического кружка в ашраме кришнаитов, певицей в ресторане, режиссёром экспериментального театра, натурщицей, литературным редактором, театральным критиком, пресс-атташе муниципальной администрации, сценаристом документального кино, шеф-редактором деловых и глянцевых журналов. Участница нижнетагильской литературной студии «Ступени» при музее А. П. Бондина. Автор шести поэтических книг, редактор-составитель нескольких литературных альманахов и поэтических книг уральских авторов. Окончила Уральскую академию государственной службы (2001–2003) и факультет поэзии Литературного института имени А. М. Горького (2001–2007, заочно). Лауреат стипендии Министерства культуры Российской Федерации.

стр. 90
Козэль Ольга Сергеевна
Москва

Поэт, литературовед. Стихи публиковались в русской и зарубежной периодике. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Родилась в Москве. Работает водителем регулярных пассажирских маршрутов в четвёртой автоколонне 16-го автобусного парка. Окончила Литературный институт имени Горького и аспирантуру ИМЛИ РАН: кандидатская диссертация посвящена творчеству Фазиля Искандера. Публикации в журналах «Новый мир», «Москва», «Дружба народов», «Юность» и некоторых других. Вышло два сборника стихов.

стр. 187
Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайвтеатра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра». Дипломант Международного литературного форума «Золотой Витязь» (2020).

стр. 32
Красников Геннадий Николаевич
Лобня (Московская область), 1951 г. р.

Родился в посёлке Максай Оренбургской области. Поэт, публицист, критик, редактор, составитель отечественных антологий, педагог, доцент кафедры мастерства в Литературном институте имени Горького. В 1974 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работал корреспондентом районной газеты в городе Озёры Московской области. С 1978 по 1992 год — редактор издательства «Молодая гвардия», где вместе с поэтом-фронтовиком Николаем Старшиновым выпускал ставший легендарным альманах «Поэзия». С 1992 года — главный редактор издательства «Звонница-МГ». С 2006 года — доцент кафедры творчества Литературного института имени А. М. Горького, где ведёт поэтический семинар на заочном отделении. Член Союза писателей России. Неоднократно входил в состав жюри литературных поэтических конкурсов и фестивалей. Автор книг стихов «Птичьи светофоры» (1981), «Пока вы любите…» (1985), «Крик» (1987), «Не убий!» (1990), «Голые глаза» (Монреаль, 2002), «Кто с любовью придёт…» (2005), «Все анекдоты рассказаны» (2016). В центральных журналах и газетах публикует переводы, публицистику, эссе по вопросам литературы, истории и культурософии. В 2002 году увидела свет книга его эссеистики «Роковая зацепка за жизнь, или В поисках утраченного Неба», в 2011-м — «В минуты роковые. Культура в зеркале русской истории». Составитель и редактор книг русских и советских поэтов, в том числе — Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина, Александра Блока, Николая Гумилёва, Новеллы Матвеевой, Владимира Кострова, Юлии Друниной, Ларисы Васильевой. В 1999 году выпустил антологию «Русская поэзия. XX век» (совместно с Владимиром Костровым), в 2009-м — антологию «Русская поэзия. XXI век». Редактор альманаха «День поэзии — XXI век». Лауреат многих престижных литературных премий, среди которых — Большая литературная премия России, Горьковская литературная премия, премия имени Бориса Корнилова «На встречу дня!», премия имени Константина Симонова. Живёт в Подмосковье.

стр. 148
Креймер Игорь
Красноярск, 1957 г. р.

Родился в Хабаровске. В Красноярск приехал по распределению. Радиоинженер. С 1992 года — свой бизнес: электромонтажная фирма. В настоящее время — вне бизнеса. Автор остросюжетной психологической прозы.

стр. 184

Крюкова Елена Николаевна

Нижний Новгород, 1956 г. р.

Русский поэт, прозаик и искусствовед. Член Союза писателей России с 1991 года. Родилась в Самаре. Окончила Литературный институт имени Горького (семинар А. В. Жигулина, поэзия). Публикации: «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Бельские просторы», «День и ночь», «Za-Za», «Сибирские огни», «Юность» и др. Автор более двадцати книг стихов и прозы. Лауреат многих литературных конкурсов. Автор и куратор арт-проектов в России и за рубежом.

стр. 103

Кубурович Зорица

Белград (Сербия), 1951 г. р.

Известная сербская писательница, врач, публицист и переводчик. Родилась в Белграде. Окончила медицинский факультет Белградского университета со специализацией «Неотложная медицинская помощь». Работала врачом в белградском городском Институте скорой помощи, в том числе семь лет — начальником службы. Писательским трудом занималась без отрыва от основной профессии. Вышла на пенсию в 2016 году. Автор 14 романов, член редколлегии сербского православного журнала для детей «Святославский колокольчик». В 2015 году перевела на сербский язык сборник стихов и песен иеромонаха Романа (Матюшина). Вдова, мать троих детей и бабушка троих внуков. Живёт и работает в Белграде. «Лекарство из персиковых листьев» — её первая книга, увидевшая свет в 1987 году, — пережила пять изданий и переведена на польский язык. На русском языке не печаталась.

стр. 181

Лютый Вячеслав Дмитриевич

Воронеж, 1954 г. р.

Родился в городе Легница Польской Народной Республики, в семье советского офицера. Окончил Воронежский политехнический институт и Литературный институт имени А. М. Горького (1993, семинар критики), учился в аспирантуре. Служил в армии, работал радиоинженером, звукооператором театра драмы, заведующим московской редакцией журнала «Континент», инкассатором, менеджером коммерческого банка. В настоящее время — заместитель главного редактора журнала «Подъём». Литературный и театральный критик, публицист. Ведущий рубрики «Литературная критика» журнала «Гостиный Дворъ». Публиковался в журналах «Детская литература», «Подъём», «Сура», «Дон», «Донской временник», «Русское эхо», «Коростель», «Наш современник», «Москва», «Дом Ростовых», в альманахах «Тёплый стан», «Академия поэзии», а также в газетах «Завтра», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День литературы», «Российский писатель». Автор ряда статей о постмодернизме и его российской литературной практике, цикла работ о современной русской поэзии. Автор нескольких книг о современной литературе: «Русский песнопевец» (2008), «Терпение земли и воды», «Сны о любви и верности». Лауреат премии Общественной палаты Воронежской области «Живые сокровища славянской культуры», премий журнала «Подъём» «Русская речь» (2004), альманаха «Ковчег» (2008), Всероссийского конкурса литературной критики «Русское эхо» (2009), премии Союза писателей России «Слово-17» и ряда региональных литературных премий. Председатель совета по критике Союза писателей России. Живёт в Воронеже.

стр. 31, 117

Минин Евгений Аронович

Иерусалим (Израиль) 1949 г. р.

Поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в городе Невель Псковской области. Окончил Витебский станко-инструментальный техникум (1968). Служил в войсках ПВО (1968–1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976) и работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живёт в Иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Ведущий пародийной рубрики в «Литературной газете». Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль) победитель конкурса поэзии издательства «Олма-медиагрупп». Главный редактор журнала «Литературный Иерусалим». Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 57

Наговицын Вадим Николаевич

Красноярск, 1963 г. р.

Прозаик, драматург, публицист, поэт. Член Союза журналистов России. Родился в Норильске. Окончил в 1987 году Норильский индустриальный институт. Работал инженером-строителем на сооружении промышленных объектов Норильского горно-металлургического комбината, затем в райкоме комсомола. С 1991 года — в предпринимательских структурах. В 1994 году создал частную телерадиокомпанию и запустил первую в Норильске частную УКВ-радиостанцию «Нагорадио». Затем издавал журнал «Норильск», газету «Норильские ведомости» и другие. С 1998 года работал генеральным директором телерадиокомпании «Полюс», вёл общественно-политические, философские и литературные передачи на одноимённой радиостанции и на ТВ. Выпустил несколько десятков радиопрограмм. Имеет много публикаций в печатных и интернет-изданиях. С 2002 по 2017 год жил в Калуге. Работал главным редактором епархиального журнала «Православный христианин». Учредитель и директор

Калужского фонда русской словесности, главный редактор журнала «Золотая Ока». Автор нескольких книг стихов и прозы. Публикации в журналах «Золотая Ока», «День и ночь» (Красноярск), «Новая Немига литературная» (Минск). Три пьесы автора — «Меценат», «Последняя исповедь» и «Одноклассники» — поставлены Калужским экспериментальным театром Анатолия Сотника в 2011 и 2013 годах. Победитель V Международного литературного фестиваля «Славянские традиции» (номинация «Проза»). Сочинил около ста песен на стихи калужских и известных русских поэтов. С 2020 года — главный редактор литературного журнала «День и ночь» (Красноярск).

стр. 77
Попов Михаил Михайлович
Москва, 1957 г. р.

Российский прозаик, поэт, публицист и критик. Отец — художник, мать — преподаватель английского языка. Детство в основном прошло в Казахстане, в 1961–1975 годах жил в Белоруссии, окончил Жировицкий сельхозтехникум в Гродненской области, служил в армии (1975–1977). С 1978 по 1984 год учился в Литературном институте имени А. М. Горького (семинар литературоведа А. А. Михайлова), после чего работал в журнале «Литературная учёба» (1983–1989), затем заместителем главного редактора журнала «Московский вестник» (1989–1997). Член редколлегии альманаха «Реалист» (с 1995-го), редакционного совета «Роман-газета XX век» (с 1999-го). С 2004 года возглавляет совет по прозе при Союзе писателей России. Первая публикация, во время армейской службы, — поэма о партизанах в военной газете «За Родину». Первая значительная поэтическая публикация — стихи в московском альманахе «День поэзии» (1980). Первая значительная публикация прозы — повесть о Гражданской войне «Баловень судьбы» («Литературная учёба», 1983), где события войны показаны через восприятие подростка. Первый роман М. Попова «Пир» вышел в издательстве «Советский писатель» в 1986 году. В 1987 году в издательстве «Современник» вышел первый стихотворный сборник «Знак», в 1989 году в издательстве «Молодая гвардия» — поэтическая книга «Завтрашние облака». Один за другим выходят романы «Нежный убийца» (1989) и «Баловень судьбы», книга повестей и рассказов «Калигула» (1991). Автор более 20 прозаических книг, вышедших в издательствах «Советский писатель», «Молодая гвардия», «Современник», «Вече» и др. Кроме психологических и приключенческих романов, примечательны романы-биографии: «Сулла», «Тамерлан», «Барбаросса», «Калигула». Произведения также публиковались в журналах «Москва», «Юность», «Октябрь», «Наш современник», «Московский вестник» и других периодических изданиях. Автор сценариев к двум художественным фильмам: «Арифметика убийства» (приз фестиваля «Киношок») и «Гаджо».

стр. 127
Пырх Виталий Петрович
Красноярск, 1944 г. р.

Родился в Запорожье. Окончил Запорожский металлургический техникум. После окончания работал отжигальщиком термических печей на заводе «Запорожсталь». Служил в Советской армии. С отличием окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал корреспондентом, заведующим отделом промышленности и собственным корреспондентом республиканских и центральных газет. С 1987 года живёт в Красноярске, где работал корреспондентом газеты «Трибуна». Автор более двух тысяч газетных публикаций различных жанров, двух десятков статей в толстых журналах, а также нескольких книг публицистики, изданных в Москве и Сыктывкаре, шестнадцати поэтических сборников и трёх книг документальной прозы.

стр. 155
Растворцев Андрей Васильевич
Чебоксары, 1958 г. р.

Родился в селе Гонжа Амурской области. Детство и юность прошли в Бурятии, в посёлке Селенгинск, что находится в отрогах Хамар-Дабана у Байкала.По образованию геодезист. В 1978 году окончил Ленинградский топографический техникум. В настоящее время работает начальником топографо-геодезической партии Экспедиции №138. Член Союза писателей России. Автор двенадцати книг прозы. Публиковался в литературно-художественных журналах «ЛИК», «Таван Атал» («Родная Волга»), «Иван-да-Марья» (Чебоксары), «Невский альманах» (Санкт-Петербург), «Дальний Восток» и «Родное Приамурье» (Хабаровск), «Литера» (Йошкар-Ола), «Великороссъ» (Лобня), «Юность», «Молодая гвардия» (Москва), «Берега» (Калининград), «Однако, жизнь» (Белоруссия), в сетевом русскоязычном журнале «Испанский переплёт» (Испания), в международном интернет-журнале «Русский глобус».

стр. 174
Рудыка Александр Николаевич
село Верх-Кучук (Алтайский край), 1965 г. р.

Родился в посёлке Чуйский Бийского района Алтайского края. Выпускник Быстроистокской средней школы и ветеринарного факультета АСХИ. Работал главным ветеринарным врачом АО «Алтай», преподавателем Павловского аграрного техникума, заместителем главного редактора районной газеты. Инструктор по туризму, председатель охотколлектива, автор-исполнитель бардовской песни, руководитель литературного объединения «Берег». Автор нескольких книг стихотворений и книги афоризмов «Сюрреализм действительности» (Барнаул, 2014). Публиковался в журналах

«Алтай», «Барнаул», «Бийск литературный», «Пикет», «Встреча», «Огни Кузбасса», «Подъём», в «Литературной газете», «АИФ», коллективных сборниках и периодике.

стр. 176

Рязанцев-Седогин Геннадий Николаевич (о. Геннадий)

Липецк, 1954 г. р.

Родился в селе Карамышево Липецкой области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, Московскую духовную семинарию. Работал художником. В настоящее время — протоиерей, настоятель храма Архистратига Михаила в Липецке. Поэт, прозаик, эссеист. Автор десяти книг поэзии и прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского, литературных премий имени Ивана Бунина, Ярослава Смелякова, Алексея Липецкого, Евгения Замятина и других. Награждён большой серебряной медалью имени Николая Гумилёва. Обладатель золотых дипломов Международного литературного форума «Золотой Витязь».

стр. 3, 8

Саввиных Марина Олеговна

Красноярск, 1956 г. р.

Поэт. Публицист. Педагог. Автор более десятка книг стихов, прозы, художественной публицистики. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014), X Всероссийского поэтического конкурса «Мечети — Божьи храмы» (2016), Международного литературного форума «Золотой Витязь» (2020). Награждена орденом Достоевского I степени и медалью «Василий Шукшин». Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Председатель издательского совета РИЦ «День и ночь».

стр. 92

Сальникова Тамара Анатольевна

Екатеринбург

Родилась в Красноярске-26. Окончила Университет Российской академии образования (УРАО) по специальности «педагог-психолог». Публиковалась в журналах «Урал», «Работница», «Смена», «ЛиТерра», «Зарубежные задворки» (Германия), «Млечный Путь» (Израиль), «Чайка» (США).

стр. 95

Сванидзе Гурам Александрович

Тбилиси (Грузия), 1954 г. р.

Родился в 1954 году в Тбилиси. Окончил Тбилисский госуниверситет и аспирантуру Института социологических исследований АН СССР в Москве, кандидат философских наук. Работал журналистом, социологом, сторожем на Арбате, переводчиком в Бутырской тюрьме, в правозащитных организациях, в Комитете по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии. Публиковался в журналах «Нева», «Сибирские огни», «Дружба народов», «Волга», в различных интернет-изданиях.

стр. 88

Свищёв Михаил Георгиевич

Москва, 1969 г. р.

Поэт, журналист. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в 2000 году. Главный редактор издательского дома «ПЛАС». Печатается как поэт с 1996 года. Автор двух книг стихов: «Последний экземпляр» (Москва, 2009) и «Одно из трёх» (Москва, 2013).

стр. 118

Селянинов Владимир Николаевич

Красноярск, 1935 г. р.

Красноярский прозаик. Член Союза российских писателей с 2006 года. Автор четырёх известных книг: «Аист чёрный», «Земля трясётся», «Осень. Одиночество», «Очень хочется умереть». Родился в селе Заозёрное (ныне город) Рыбинского района. В 1958 году окончил лесоинженерный факультет Сибирского лесотехнического института. Работал строителем. В 1995 году вышел на пенсию. В 1997 году организовал предприятие по выпуску отделочных строительных материалов. С 1979 года пишет портреты (холст, масло). Работы, экспонировавшиеся в 2014 году на краевой выставке-конкурсе художников-непрофессионалов, отмечены дипломом. Писать начал в 1986 году. Обложки некоторых книг иллюстрировал сам.

стр. 103

Сердюк Михаил Валерьевич

Томск, 1971 г. р.

Родился в Томске. Окончил Томское высшее военное командное училище связи, служил офицером в Вооружённых Силах, затем в уголовно-исполнительной системе. Пенсионер Министерства юстиции с 2004 года. Сербским языком и переводами на русский язык произведений сербской литературы увлёкся в 2016 году, работая в администрации Томской области. Живёт в Томске, работает директором предприятия по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов. Повесть классика сербской литературы Лазы Лазаревича «Немка» в переводе М. В. Сердюка в декабре 2016 года впервые опубликована на русском языке томским литературным и краеведческим журналом «Начало века».

стр. 136

Соловьёв Геннадий Викторович

село Бахта (Красноярский край), 1949 г. р.

Охотник-промысловик. Родился в Боготоле Красноярского края. В ранней юности, коснувшись охотничьего мира, не мыслил себя без тайги и после армии уехал в Туруханский район, жил в селе Ворогово и других, пока не переехал в Бахту, где и живёт по сию пору. Будучи хорошим рассказчиком и обладая наставническими способностями, всегда был головой и душой нашего промыслового коллектива. Когда я задумал снимать фильм о героях

своих рассказов, то Геннадий Викторович не только обсуждал и продумывал со мной содержание будущего фильма, но и согласился сниматься, причём не оттого, что желал как-то выпятить свою персону и порисоваться с экрана. Нет. Тем более охотники сторонятся подобной публичности. Но с Геннадием Викторовичем случай особый—он согласился стать главным героем фильма о промысле, так как знал, что никто лучше него не расскажет. (Речь идёт о фильме, вышедшем под названием «Счастливые люди».) Прошло более десяти лет—и вдруг появились рассказы, один из которых мы и предлагаем читателю (Михаил Тарковский).

стр. 107
Тарасов Андрей Антонинович
Москва, 1942 г. р.

Прозаик, журналист. Родился в Комсомольске-на-Амуре. Детство прошло в Хабаровске и Уссурийске. Срочную службу проходил с 1961 по 1963 год в Туркмении механиком-водителем танка. После армии остался в Туркмении работать корреспондентом газеты «Комсомолец Туркменистана». Окончил заочно факультет журналистики ТашГУ. Работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Туркмении, Дальнему Востоку. С 1979 по 2003 год—обозреватель по науке и космосу «Комсомольской правды», «Правды», заведующий отделом науки «Литературной газеты». За личный творческий вклад в реализацию космических программ и проектов награждён Знаком Гагарина, а также орденом Трудового Красного Знамени. Рассказы, очерки и повести публиковал в журналах «Ашхабад», «Знамя», «Вестник ЮНЕСКО», «Искусство кино», «Россия», «Наука и техника», «Знание—сила» и других изданиях. Автор книг «Оболочка разума», «Болотный марш», «Обратный билет», «Связные истории», «Нет рая, кроме Нухура», «Звёзды и спутники», «Лаврушинский венок», «Домовая книга эпохи», «Полёт очевидца», пьесы «Перепохороны», более десяти книг-путеводителей по московским районам и примечательным местам столицы. Повесть «Танки любят идти напрямик» стала основой для художественного фильма «Офицерский вальс». За роман «Безоружный» получил первую премию Союза писателей Москвы—«Венец» (2010).

стр. 149
Филиппенко Дмитрий Александрович
Ленинск-Кузнецкий, 1983 г. р.

Родился в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Публиковался в журналах: «Огни Кузбасса», «Плавучий мост», «Ковчег», «Берега», «Байкал», «Начало века», «Русское эхо», «Культура Алтайского края», «Гостиный Двор»; в альманахах «Между», «Часовые памяти», «Отечества священная палитра»; в «Литературной газете»; в газетах: «ЛИК», «Истоки», «Поэтоград», «Площадь Пушкина»; в коллективном сборнике «Эхо восьми голосов». Главный редактор литературных альманахов «Образ» и «Кольчугинская осень». Автор четырёх книг стихотворений: «На ладонях берёзовых рук», «Небо на подоконнике», «На побережье пульса», «Зайди за мною жить». Лауреат межрегиональной премии им. В. А. Макарова (Омск). Награждён медалью «За веру и добро Кузбасса». Член Союза писателей России.

стр. 168
Чернец Алексей
Новосибирск, 1970 г. р.

Родился в Новосибирске. В 2011-м окончил Литинститут. Публикации: «Сибирские огни», «День и ночь», «Студенческий меридиан», «Поэтоград», «Новый Гильгамеш», региональные альманахи.

стр. 80
Шацков Андрей Владиславович
Москва/Руза, 1952 г. р.

Родился в Москве. Автор тринадцати поэтических книг. Член Союза писателей России и Международной ассоциации журналистов. Кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ и многих литературных премий и наград. Главный редактор альманаха «День поэзии—XXI век». Ответственный секретарь журнала «Невечерний свет» (Санкт-Петербург). Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры.

стр. 159
Шестов Евгений
Нижний Новгород, 1968 г. р.

Родился в Нижнем Новгороде. По образованию—актёр кукольного театра и филолог. Окончил Горьковское театральное училище и ННГУ имени Лобачевского. Работал в театре кукол, филармонии, школе, руководил театральным кружком, теперь работает в областной детской библиотеке. Автор романа «Филармония». Публикации в альманахе «Земляки» (Нижний Новгород), на сайте газеты «День литературы», в журналах «Южный островъ» (Новая Зеландия), «Новый континент» (США).

стр. 150
Штыгашева (Набережная) Ольга
Якутск

Работает преподавателем на филологическом факультете Северо-Восточного федерального университета. Пишет рассказы и повести, занимается литературной критикой. Рассказы публиковались в литературных журналах «Полярная звезда», «Луч». В апреле 2019 года стала золотым лауреатом международного литературного конкурса «Большой финал» в номинации «Триумф короткого сюжета».

стр. 5
Шулаков Сергей Иванович
Москва, 1970 г. р.

Писатель, литературовед, переводчик. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького (семинар Гусева В. И., специальность—литературная критика). Литературный редактор исторического

альманаха «Кентавр», главный редактор журнала и интернет-сайта «Сельская молодёжь» издательства «Подвиг». Автор исторических романов и историко-детективных повестей. Публиковался в широком круге изданий: «Книжное обозрение», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Независимая газета», «Новый мир», «Наш современник», «Русский колокол», «Российская газета», «Культура» и др. Лауреат премии имени В. Я. Лакшина (2009) в номинации «Критика, литературоведение» литературно-художественного и общественно-политического журнала «Юность». Лауреат Всероссийского конкурса «Вторая Отечественная» имени С. С. Бехтеева (2014). Обладатель «Бронзового Витязя» и золотого диплома Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2019). Член Союза журналистов России, Международной конфедерации журналистов, Московской организации Союза писателей России.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. Н. Наговицын

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Марина Наумова-Саввиных

РЕЦЕНЗЕНТ
Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Александр Астраханцев
Красноярск
Наталья Ахпашева
Абакан
Юрий Беликов
Пермь
Глеб Бобров
Луганск
Елена Буевич
Черкассы
Вера Зубарева
Филадельфия
Александр Кердан
Екатеринбург
Сергей Кузнечихин
Красноярск
Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург
Евгений Минин
Иерусалим
Виталий Молчанов
Оренбург
Миясат Муслимова
Махачкала
Александр Орлов
Москва
Олеся Рудягина
Кишинёв
Анна Сафонова
Южно-Сахалинск
Андрей Тимофеев
Москва
Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург
Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использована картина Валерия Сусина.

ИЗДАТЕЛЬ
АНО РИЦ «День и Ночь».
ИНН 770 207 0139

Расчётный счёт
4070 3810 4004 3000 0496

В филиале «Сибирский» банка ВТБ ПАО в г. Новосибирске

БИК 045 004 788
КПП 540 643 001

Корреспондентский счёт
3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3, т. +7 950 991 4349

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 1.11.2020
Дата выхода в свет: 18.11.2020
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт» г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340 эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+

Юрий Бралгин

Вечер

41 × 51

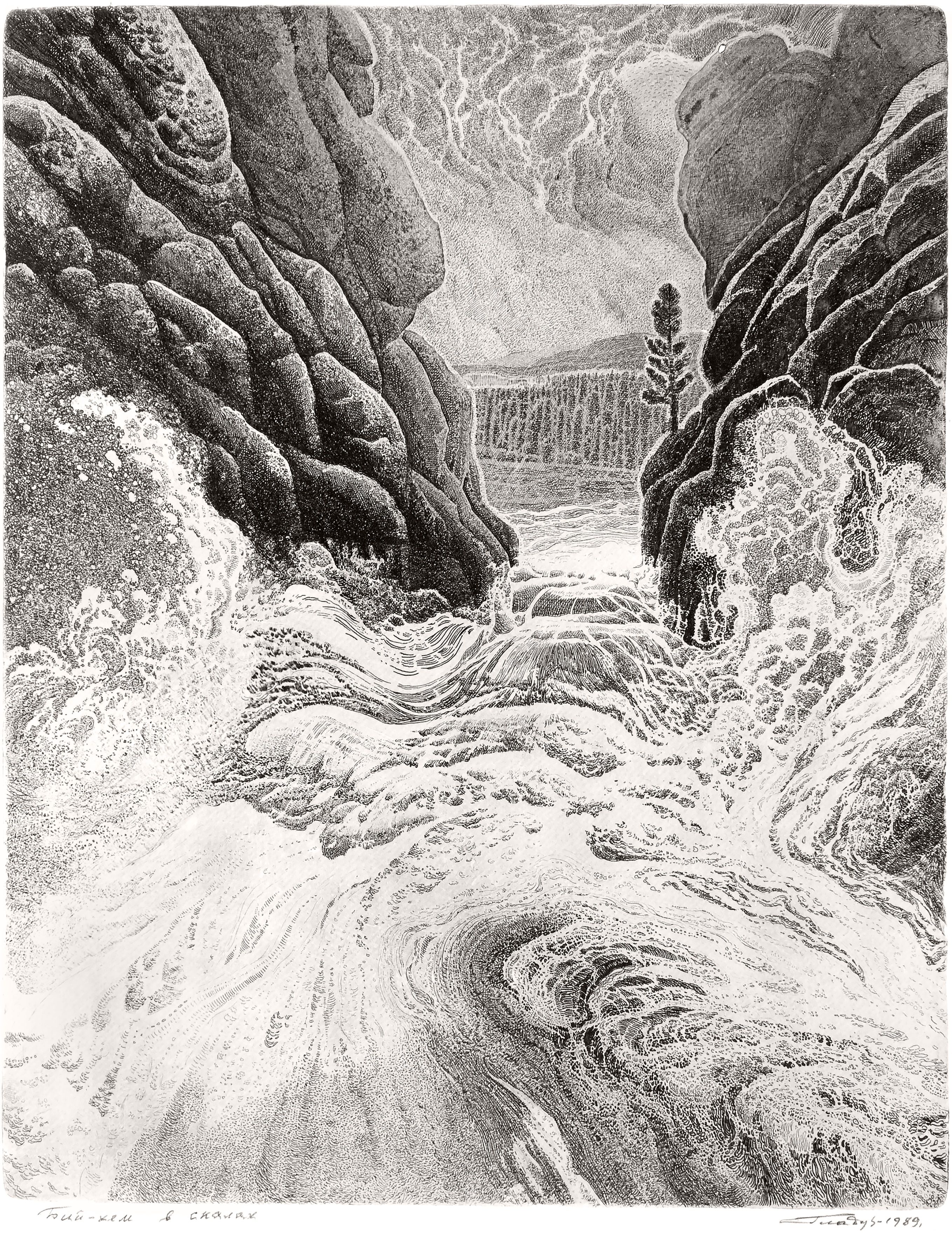
1990

Елена Касименко

Дачный дворик

41 × 51

1983



Михаил Гладунов | Бий-Хем в скалах | 40 × 31 | 1989 ***На обложке:*** **Валерий Сусин** | Осень на реке Кизир | 2014